This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

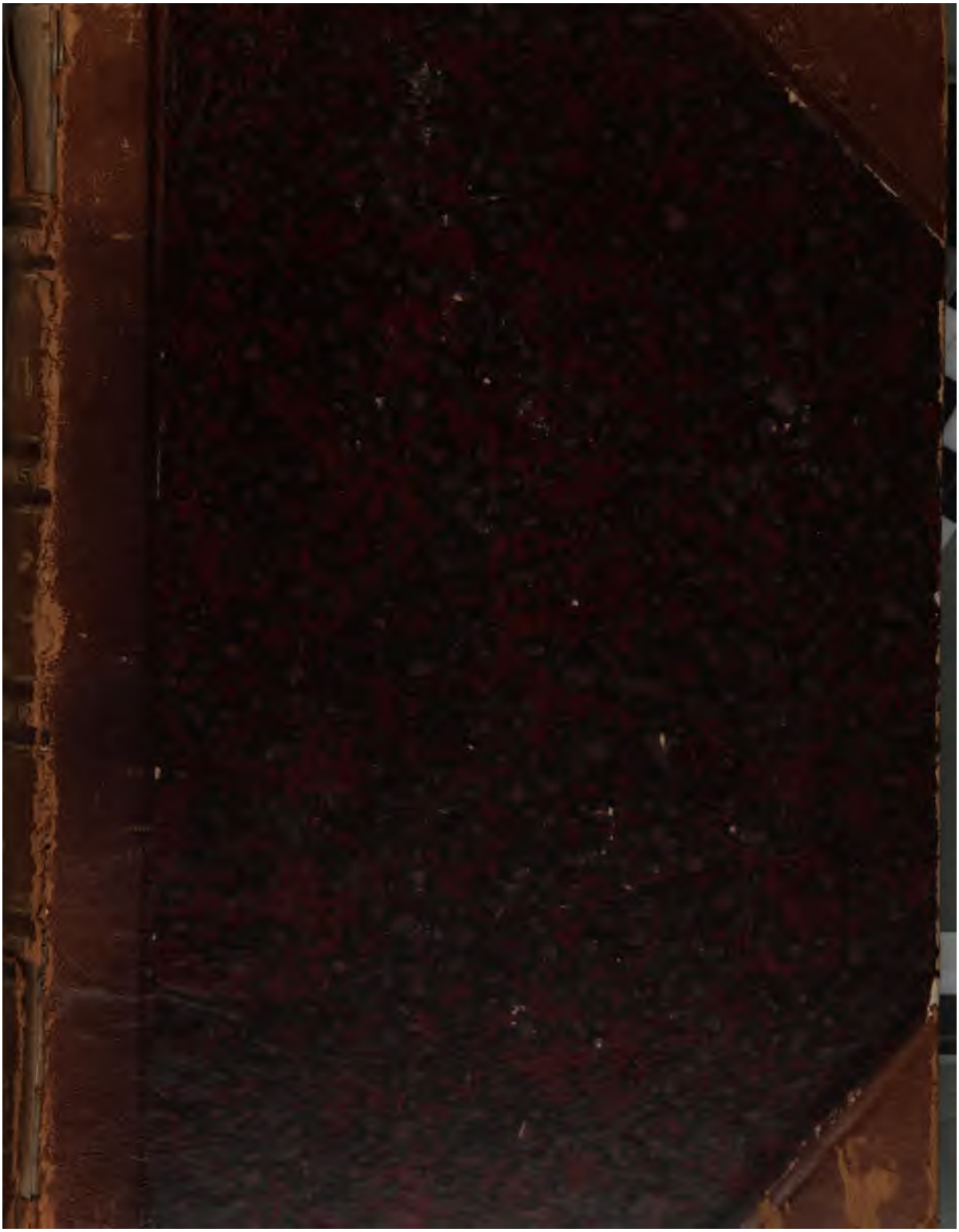
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

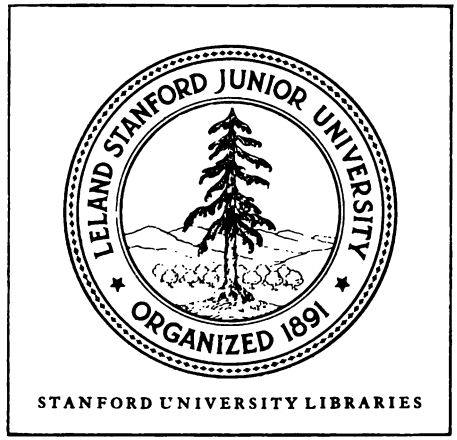
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



92866


LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Vengerov, S. A.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЪ ЕЯ

СОВРЕМЕННЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХЪ.

Критико-біографическіе этюды

Семена Венгерова.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Типо-Литографія Вилькина и Эттингера, Казанская, д. Вилькина № 22.
1875.

PG3435
V4

ЧАСТЬ I.

М. Д. Г.

въ знакъ любви и дружбы

посвящаетъ

авторъ.

Введеніе.

Du choc des opinions jailit la verité!

Новѣйшая историческая наука, въ лицѣ самыхъ видныхъ представителей своихъ, каковы Бокль, Дрэперъ, Лекки, Спенсеръ и другіе, выдвинула впередъ одинъ принципъ, который наиболѣе ее разъединилъ съ до нея существовавшими направленіями среди историковъ, имѣвшихъ предметомъ своего изслѣдованія ходъ развитія гражданственности въ какой нибудь странѣ, или старавшихся разыскать законы, которымъ человѣчество слѣдуетъ въ своемъ пути постояннаго усовершенствованія. Прежніе историки разсматривали исторію какъ описаніе дѣйствій великихъ людей, по ихъ мнѣнію и *дѣлавшихъ* исторію, составлявшихъ ея сущность. Полагали, что эпоха, мѣстность суть ничто иное какъ только атрибуты, нужные для того, чтобы рѣзче оттѣнить дѣйствія и характеръ выдающихся людей. Вообще историческое изложеніе группировалось вокругъ отдѣльныхъ личностей. Очень немногимъ историкамъ прежнихъ эпохъ приходило на умъ видѣть въ великомъ человѣкѣ что нибудь иное какъ характерное воплощеніе времени, среди котораго онъ живетъ и мѣстности, гдѣ ему пришлось дѣйствовать. Даже такой просвѣщенный историкъ, какъ Маколей, значительно находился подъ вліяніемъ прежняго *личностнаго* взгляда на исторію, не смотря на то, что жилъ въ одну эпоху съ Карлейлемъ, давшемъ въ своей «Исторіи французской революціи» блестящее дока-

зательство своего участія въ начинавшемъ получать права гражданства новомъ направленіи изученія исторіи. Безъ сомнѣнія попытки эмансипированія отъ вліянія отдѣльныхъ лицъ встрѣчались еще и въ прошломъ столѣтіи. Монтескье былъ изъ числа авторовъ такихъ попытокъ, но самою большею популярностью стало пользоваться новое воззрѣніе, когда въ защиту и подкрѣпленіе его выступилъ Генри Томасъ Бокль. Въ своемъ знаменитомъ сочиненіи объ исторіи Англійской цивилизаціи, онъ какъ нельзя болѣе опровергъ школу историковъ, для которыхъ существовали только однѣ личности и ничего болѣе. Бокль подкопалъ вѣру въ единичныя личности какъ двигателей исторіи, какъ людей, отъ каприза которыхъ зависѣло дать событіямъ тотъ или другой оборотъ. Со всей огромной силой своей подавляющей эрудиціи онъ выступилъ въ походъ противъ ученыхъ, проводившихъ въ своихъ многотомныхъ сочиненіяхъ, нерѣдко плодѣ долголѣтнихъ трудовъ, мысли о той или другой разительной перемѣнѣ въ ходѣ всемірной исторіи, могшей имѣть мѣсто, если-бы въ такой-то и такой день такой-то и такой-то великій человѣкъ всталъ-бы двумя часами раньше и имѣлъ-бы къ тому еще насморкъ. Если Бокль лично и не вооружался противъ такихъ кифамокіевическихъ *еслибы* до *кабы*, то во всякомъ случаѣ слабость мышленія лицъ, подобнымъ образомъ разсуждавшихъ, логически вытекала изъ всего ученія англійскаго философа. Но при всемъ своемъ гоненіи на личности, ни Боклю, ни кому нибудь изъ изслѣдователей одинаковыхъ съ нимъ воззрѣній не придетъ на умъ хотя на минуту усумниться въ важномъ значеніи отдѣльныхъ личностей въ ходѣ всемірной исторіи. Смѣшно было-бы если-бы кто нибудь изъ близорукихъ послѣдователей Бокля, вздумалъ отвергать вліяніе Людовика XIV или Наполеона I на развитіе своей страны. Никакой серьезный ученый утверждать этого не станетъ. Человѣкъ дѣйствительно проникшійся идеями Бокля и вообще новѣйшей исторической школы скажетъ вамъ: нѣтъ, *не личность, какъ личность* двигаетъ исторію, но личность какъ воплощеніе

Не потому Наполеонъ сталъ великимъ, что это было дѣломъ его личной геніальности, его единичныхъ способностей, его счастія наконецъ. Нѣтъ, Наполеонъ великъ, потому что эпоха въ которой онъ жилъ въ таковомъ человѣкѣ нуждалась; не появись онъ, нашелся бы другой съ инымъ именемъ, изъ иной мѣстности, но съ тѣмъ-же складомъ ума и характера. Самый завзятый сторонникъ прежняго личностнаго взгляда на исторію не станетъ спорить противъ того, что тотъ-же самый Наполеонъ, рожденный среди киргизъ-кайсаковъ дальше успѣшнаго захвата русскихъ барановъ не ушелъ бы. Этимъ весьма наглядно доказывается рѣшающее вліяніе окружающей обстановки какъ на развитіе цѣлыхъ народовъ вообще, такъ и отдѣльныхъ личностей въ частности.

И такъ личности исторіи не *дѣлаютъ*, но важную часть ея онѣ *составляютъ*, такъ какъ изъ изученія ихъ мы можемъ почерпнуть черты, характерныя для извѣстной мѣстности и эпохи. Въ великомъ человѣкѣ, въ выдающейся личности какъ въ фокусѣ собираются всѣ тѣ отдѣльныя черты, всѣ тѣ детали, которыя безъ того ускользнули-бы отъ нашего наблюденія и затерялись-бы ни кѣмъ незамѣченныя и ничего не освѣщая, между тѣмъ какъ теперь онѣ какъ нельзя болѣе удобны для нашего изслѣдованія и легко поддаются его анализу. Выдающійся человѣкъ въ своей жизни являетъ жизнь цѣлаго общества и мы слѣдовательно по немъ можемъ себѣ составить весьма удовлетворительное понятіе о цѣлой эпохѣ. Вотъ отчего біографіи намъ служатъ теперь болѣе чѣмъ когда нибудь прекраснымъ подспорьемъ для составленія картины извѣстнаго круга людей. Какъ въ естественной исторіи намъ достаточно нѣсколькихъ представителей животнаго царства для сужденія о фаунѣ извѣстнаго мѣста, такъ и въ исторіи цивилизаціи то или другое направленіе отдѣльныхъ личностей, можетъ намъ уяснить характеръ условій, вліяющихъ въ томъ и другомъ случаѣ.

Только что высказанныя соображенія приведены нами для того, чтобы читателю выяснилась-бы отчасти цѣль нашего труда. Но кромѣ чисто біографической части значительную и

даже бо́льшую половину его займетъ критика произведеній современныхъ писателей. Если многіе изъ этихъ писателей давнымъ давно разобраны, если сочиненія ихъ подверглись уже критикѣ прежнихъ эпохъ, то это нисколько непомѣшаетъ и намъ сказать свое слово. И вотъ почему мы это дѣлаемъ, почему считаемъ себя въ правѣ говорить о вещахъ, изъ которыхъ многія обладаютъ цѣлою трактующею объ нихъ литературою: мы намѣрены своимъ трудомъ облегчить будущему историку нашей эпохи многотрудную задачу въ изученіи различныхъ направленій и вѣяній, дающихъ извѣстную окраску нашему времени, мы намѣрены ему замѣнить тѣ «записки очевидцевъ», которыя такъ полезны всякому изслѣдователю, задавшемуся цѣлью написать не внѣшнюю, ничего не объясняющую государственную исторію, а дѣйствительную, основанную на описаніи главнаго двигателя исторіи — націи. Мы намѣрены дать рядъ характеристикъ современныхъ литературныхъ дѣятелей, слѣдовательно матеріалъ для изученія отношенія современной намъ читающей публики къ наиболѣе выдающимся писателямъ. Мы полагаемъ, что мнѣнія наши не суть выраженія миросозерцанія одного лишь автора настоящаго труда, мы полагаемъ, что онѣ именно служатъ представителями того характернаго направленія, которое приняло современное намъ русское общество семидесятыхъ годовъ. Если мы не ошибаемся то семидесятые годы составляютъ весьма трудно поддающуюся изслѣдованію эпоху. Только мы, люди ее составляющіе, знакомые со всѣми мелочами, что придаютъ всему извѣстный оттѣнокъ, можемъ имѣть о ней ясное понятіе. Человѣкъ-же послѣдующихъ эпохъ не будетъ имѣть почти никакихъ источниковъ для ея изученія, такъ какъ время наше, нечего таить истину, настолько бѣдно выдающимися явленіями, что ничего фундаментальнаго послѣ себя не оставитъ. Посмотримъ въ самомъ дѣлѣ, какія черты характеризуютъ нашу эпоху, въ чемъ состоитъ ея отличіе отъ прошедшихъ эпохъ, насколько она причастна въ прогрессивномъ развитіи русскаго народа, насколько послѣдній долженъ ей быть благодаренъ?

Въ жизни общества, какъ и въ жизни каждаго отдѣльнаго индивидуума намъ не трудно бываетъ замѣтить времена большей или меньшей энергіи, времена большаго или меньшаго умственнаго напряженія, времена большаго или меньшаго плодотворнаго результата человѣческихъ усилій въ достиженіи какихъ-нибудь цѣлей, въ удовлетвореніи стремленія къ извѣстнымъ идеаламъ. Какъ въ жизни каждаго человѣка и въ обществѣ намъ не трудно замѣтить, что организмъ послѣ сна, чувствуетъ себя бодрѣе, способнѣе къ обильной плодами дѣятельности. Силы его пріобрѣли большее напряженіе, онѣ успѣли подкрѣпиться и только ищутъ случая развернуться во всей своей могучести. Илья Муромецъ, этотъ вѣрный символъ русскаго народа, сиднемъ сидѣлъ цѣлыхъ тридцать лѣтъ, да какъ заходилъ, такъ разомъ нагналъ потерянное время и надѣлалъ такихъ вещей, что иному не подъ стать совершить и въ сто лѣтъ. И общество, а русское въ особенности, по временамъ засидится, да за то какъ ноги разомнетъ, такъ разомъ заживетъ двойною жизнью и съ лихвой отберетъ потерянное. Этотъ законъ сна и бодрствованія, акцій и реакцій какъ его можно было-бы назвать въ угоду одному русскому соціологу, нигдѣ такъ рѣзко не замѣчается, какъ въ русскомъ обществѣ. Мы русскіе живемъ толчками. У насъ нѣтъ прогресса, какъ постояннаго явленія. Даже при отсутствіи силъ, тянущихъ назадъ, такой порядокъ ненормаленъ, потому что первые моменты толчка мы живемъ усиленною жизнью, силы наши привыкаютъ дѣйствовать при экстраординарныхъ условіяхъ, а запасъ движенія мало по малу израсходуется и мы постепенно приближаемся къ мертвой точкѣ, гдѣ насъ ожидаетъ полная неподвижность. Поневолѣ приходится оглядываться назадъ или бросать робкіе взгляды въ туманное впередъ, туго поддающееся разгадыванію. Въ другихъ обществахъ такое положеніе дѣлъ было-бы крайне вредно для развитія страны. Одинъ учитель говорилъ: юноша который не умнѣетъ—глупѣетъ, и положеніе это, въ вѣрности котораго нельзя сомнѣваться, вполнѣ примѣнимо къ большинству современныхъ обществъ, еще сильно нуждающихся въ ростѣ и далеко еще не достигшихъ зрѣлаго

состоянія. Но по странной аномаліи правило, о которомъ только что была рѣчь не вполнѣ примѣнимо къ самому юному изъ всѣхъ обществъ—къ русскому. Подобно тому какъ иногда физическіе и химическіе законы, добытые на небольшихъ количествахъ не вполнѣ прилагаются къ большимъ массамъ, такъ и законы историческаго развитія, выработанные на основаніи изученія западныхъ цивилизацій, не всегда имѣютъ мѣсто относительно Россіи. Одинъ очень умный и ученный французъ, именно Леруа-Болье выразился въ своемъ сочиненіи «L'empire des tsars»: Dans cette empire d'une immensitée siderale, tout est sur un autre echelle que dans notre Occident». Въ другомъ мѣстѣ онъ сказалъ: «La Russie est une colonie, et, à vrai dire, elle l'a toujours été; toute son histoire n'est que l'histoire de sa colonisation». Въ третьемъ мѣстѣ онъ наконецъ даетъ еще слѣдующую характеристику Россіи: Elle tient de l'Amérique et elle tient de la Turquie. Cette antithèse peut seule donner l'intelligence de son caractère national comme de sa situation politique. C'est un pays à la fois neuf et vieux, une ancienne monarchie a demi-asiatique et une jeune colonie européenne; c'est un Janus a deux têtes, occidental par devant, oriental par derrière, vieux et usé par une face, adolescent et presque enfant par l'autre». Вслѣдствіе этого своеобразнаго характера русской гражданственности, мертвая точка не представляетъ для насъ такого смертоноснаго характера, она не ложится такими темными пятнами на исторіи нашей страны.

Постараемся доказать причину и истинность такого страннаго явленія.

Если мы проанализируемъ русскую исторію, начиная съ Петра Великаго, то постоянно въ ней можемъ замѣтить разладъ между парадною стороною жизни и настоящею-интимною. Въ самомъ дѣлѣ: Петръ по свойственной ему энергичности еще раньше Руссо догадался объ истинѣ, выражаемой словами: «vouloir c'est pouvoir». Онъ полагалъ, что если ему, получившэму безалаберное полуазіятское воспитаніе московскаго царэвича нетрудно было сдѣлаться европейцемъ, то и русскому народу стоило только захотѣть, чтобы сбросить съ

себя безобразные покровы, оставленные въ наслѣдство татарщиной. О первой части формулы, о желаніи, Петръ не желалъ справляться, полагая, что даже при его отсутствіи оно можетъ быть съ удобствомъ замѣнено его собственною волею. И вотъ онъ, полный увѣренности въ успѣхѣ, приступаетъ къ своему великому дѣлу. Часть русской интеллигенціи, извѣстная подъ именемъ славянофиловъ, громко порицаетъ Петровскую реформу, находя ее неестественною. Мы ничуть не желаемъ протягивать руки славянофильскому воззрѣнію и соединиться съ нимъ за одно въ неодобреніи дѣла, которое можетъ быть больше всѣхъ моментовъ нашей исторической жизни должно служить предметомъ истинной національной гордости. Но какъ во всякомъ человѣческомъ воззрѣніи, и даже заблужденіи, всегда есть своя доля правды, такъ и въ славянофильскомъ увлеченіи стариной и протеста во имя ея противъ новаго порядка вещей, справедливо то, что не все, введенное Петромъ было *необходимою* потребностью. Мы находимъ вполнѣ цѣлесообразной и своевременною Петровскую ломку, мы хотимъ только сказать, что желаніе перемѣны хотя и лежало въ русскомъ народѣ конца XVII вѣка, но его не было настолько, чтобы оправдать *всю* уже Петровскую реформу. Петръ сразу насадилъ множество формъ европеизма, слишкомъ еще незнакомаго для тогдашняго общества, чтобы онъ могъ вполнѣ привыться. Чтобы пояснить нашу мысль, мы приведемъ слѣдующее сравненіе, нѣсколько вульгарное, но какъ нельзя лучше иллюстрирующее наше положеніе. Представьте себѣ какое нибудь семейство, живущее въ отдаленной провинціи, гдѣ нибудь въ глуши. Деревня, гдѣ семейство это помѣщается, вслѣдствіе скверныхъ путей сообщенія почти не имѣетъ никакихъ сношеній съ внѣшнимъ міромъ и часто нуждается въ самыхъ необходимыхъ предметахъ ежедневнаго обихода. Нужда наконецъ достигаетъ того, что семейство видитъ себя принужденнымъ отрядить одного изъ членовъ своихъ въ ближайшій городъ, гдѣ можно всего достать. Ему даются инструкціи, чѣмъ и въ какомъ размѣрѣ всѣмъ запастись. Но, пріѣхавши въ ближайшій городъ, нашъ отряженный замѣчаетъ, что и въ сто-

лицу-то недалеко съѣздить—дорога удобная. Отчего-же такъ и не сдѣлать? Въ столицѣ вѣдь всего достанешь, да къ тому еще и лучшаго качества. Вотъ и отправляется онъ въ главный городъ, благо деньги есть и ему ихъ жалѣть не приходится. И такъ нашъ посланецъ въ столицѣ. Онъ выходитъ на улицу, смотритъ на магазины и глаза его разбѣгаются отъ множества выставленныхъ въ нихъ хорошихъ вещей. Ему хочется всего купить, всего привести къ себѣ домой, но не особенно свѣдущій въ новомъ для него дѣлѣ, онъ накупаетъ много предметовъ роскоши, а забываетъ не рѣдко самое необходимое, такъ что въ одномъ у него излишекъ, а въ другомъ недостача. Накупивши самыхъ разнообразныхъ вещей въ количествѣ нѣсколько разъ большемъ, чѣмъ ему было поручено, посланецъ отправляется домой, самодовольно представляя себѣ на дорогѣ, какъ обрадуются дома его покупкамъ, въ какой восторгъ отъ нихъ всѣ придутъ. Но вотъ онъ наконецъ дома. Приходитъ вмѣстѣ съ нимъ и транспортъ его вещей. Всѣ бросаются ихъ распаковать, новыя вещи нравятся, но восторгъ вовсе не такихъ размѣровъ, какъ льстилъ себя надеждой посланецъ. Люди, проведшіе весь вѣкъ свой въ глуши, не могутъ восхищаться многими предметами, потому что имъ совершенно чуждо ихъ употребленіе, для нихъ непонятна ихъ польза и удобство. И сколько вещей осталось еще нераспакованнымъ. Вѣдь неопытный посланецъ накупилъ ихъ множество возовъ, а пока все это разберешь, пройдетъ не мало времени. Изрядно приходится ждать, пока будутъ оцѣнены по достоинству всѣ эти столичныя штуки.

Наша притча окончена. Покажемъ ея примѣнимость къ Петровской реформѣ. Петръ есть именно тотъ неопытный посланецъ, у котораго глаза разбѣжались, когда онъ изъ необразованной Москвы попалъ въ вихрь европейской жизни. Все ему нравилось, всего ему хотѣлось *завести* въ своемъ царствѣ, все онъ считалъ примѣнимымъ къ своей полу-варварской странѣ. И вотъ начинается грандіозная ломка, одинъ изъ тѣхъ переворотовъ, подобныхъ которому очень мало въ исторіи, потому что даже французская революція не сдѣлала такой глу-

бокой бездны между старымъ и новымъ режимомъ, какую создалъ Петръ между до—и послѣ реформенной Россіею. Бездна эта стала очевидною только спустя большой промежутокъ времени, когда всѣ усовершенствованныя формы европеизма перешли въ кровь и плоть русской націи и сдѣлались ея неотъемлемымъ достояніемъ. Лѣтъ сто мы все разбирали и знакомились съ вывезеннымъ Петромъ изъ за-границы. На долго намъ хватилъ толчекъ, данный царемъ-богатыремъ; постоянные факторы движенія замѣнились у насъ огромностью первоначальной двигательной силы. И такъ тутъ впервые въ европейскомъ періодѣ русской исторіи была доказана та странная аномалія, по которой застой и регрессъ часто не бываютъ такъ страшны для насъ, какъ въ другихъ странахъ. Мы русскіе, какъ неживущіе вполнѣ жизнью нормально развивающагося народа, въ періоды возбужденія общественной жизни часто такъ сильно забѣгаемъ впередъ, что послѣдующія затѣмъ эпохи общественной апатіи служатъ для того, чтобы сдѣлать жизненными многія требованія, несвоевременныя въ моментъ своего появленія. Мы не станемъ приводить дальнѣйшихъ примѣровъ изъ русской исторіи для доказательства нашей мысли, нѣкоторыя обстоятельства мѣшаютъ намъ довести параллель до конца.... Укажемъ только на начало и конецъ царствованія Екатерины, на первые и послѣдніе годы правленія Александра Благословеннаго. Желающіе могутъ провѣрить основательность аномальнаго хода русскаго прогресса. Sapienti sat.

Обратимся къ болѣе поздней эпохѣ. Крымская компанія и связанныя съ нею обстоятельства сняли покровъ съ нашихъ общественныхъ язвъ и онѣ во всей наготѣ своей предстали предъ изумленными и страхъ выражающими взглядами русскихъ людей. Недостатки, не всѣми прежде замѣчаемые, дѣлаются настолько очевидными, что одна только недобросовѣстность можетъ ихъ не замѣчать. Всѣ приходятъ въ ужасъ отъ зрѣлища непригодности того порядка вещей, подъ владычествомъ котораго такъ долго находились. Неизбѣжною реакціею внезапнаго прозрѣнія является самое страшное самобн-

чеваніе, неумолимое отношеніе ко всему не хорошему и не раціональному; начинается благотворное время безпощаднаго анализа.

Но тутъ происходитъ весьма странное недоразумѣніе. Ножъ критическаго ко всему отношенія не щадилъ ничего изъ тѣхъ неказистыхъ сторонъ окружающаго, что осталось въ наслѣдство отъ прежняго времени, все глубже и глубже вонзался онъ въ общественное тѣло, все ярче и ярче показывалъ онъ его недостатки. Онъ разрушалъ и разрушалъ, и при томъ безъ всякаго снисхожденія; безъ всякой мягкости относился онъ къ тому, что такъ долго препятствовало русскому народу стать на равнѣ съ другими народами, составляющими культурную семью цивилизованныхъ націй. И вотъ въ одно прекрасное утро русское общество увидѣло себя въ крайне курьезномъ положеніи: все окружающее было уничтожено, свергнуто съ пьедестала, а въ замѣнъ стараго новое еще не народилось. Прекомичная или вѣрнѣе траги-комичная ситуація! Ненормаленъ-же, въ самомъ дѣлѣ организмъ, весь изъявленный страшными ранами, весь разложившійся и не видящій себѣ исцѣленія въ непосредственномъ будущемъ. Ненормаленъ-же человѣкъ, который хотя и путемъ строгаго и весьма похвальнаго самоанализированія дошелъ до сознанія своей непригодности, и никакого выхода изъ такого положенія не выдумалъ. Въ увлеченіи отрицательнымъ направленіемъ, русское общество или вѣрнѣе говоря значительная часть русской интеллигенціи, забываетъ первое правило органическаго существованія, по которому все претендующее на жизнь должно имѣть также какія нибудь положительныя качества. Мало узнать какъ *не* должно устроить свой образъ жизни, что *не* должно собою представлять. Изъ однихъ минусовъ составляются въ математикѣ только отрицательныя количества, не дающія никакого положительнаго результата. И въ обыденной жизни слѣдуетъ распредѣлить свое бытіе по какой нибудь программѣ, придерживаться какой нибудь системы. А какъ поступило русское отрицательное движеніе шестидесятыхъ годовъ? Что оно собою представляло, какія характерныя черты являло въ себѣ?

Что такое однимъ словомъ была интеллигенція шестидесятыхъ годовъ, что такое русское общество этого времени?

Корни стараго порядка были на столько подгнивши, что зданіе его рухнуло отъ перваго энергичнаго толчка и такъ скоро, что разрушители не успѣли создать ничего въ замѣнъ свергнутаго. Въ увлеченіи вандализмомъ русское общество не хотѣло оставить у себя даже то немногое хорошее, чѣмъ старое обладало; разрушающее направленіе не хотѣло ничѣмъ позаимствоваться даже отъ интеллигенціи прежняго времени, не особенно ниже стоявшей въ умственномъ отношеніи и тоже критически относившейся къ ненормальнымъ сторонамъ современнаго ей положенія дѣлъ. «Не такъ давно лѣтъ шесть тому назадъ, вскорѣ послѣ крымской компаніи», пишетъ Писаревъ въ 1862 году, «наши Рудины вообразили себѣ, что ихъ время настало, что общество приметъ и пуститъ въ ходъ тѣ силы, которыя они давно предлагали ему съ полнымъ самоотверженіемъ. Они рванулись впередъ; литература оживилась; университетское преподаваніе сдѣлалось свѣжѣе; студенты преобразились; общество съ небывалымъ усердіемъ принялось за журналы и стало даже заглядывать въ аудиторію; возникли даже новыя административныя должности. Казалось, что за эпохою безплодныхъ мечтаній и стремленій наступаетъ эпоха кипучей полезной дѣятельности. Казалось Рудинству приходитъ конецъ, и даже самъ г. Гончаровъ похоронилъ своего Обломова, и объявилъ, что подъ русскими именами таится много Штольцевъ. Но миражъ разсѣялся—Рудины не сдѣлались практическими дѣятелями; изъ-за Рудиныхъ выдвинулось новое поколѣніе, которое съ укоромъ и насмѣшкою отнеслось къ своимъ предшественникамъ. «Объ чемъ вы ноете, чего вы ищете, что просите отъ жизни? Вамъ, небось, счастья хочется, говорили эти новые люди мягко сердечнымъ идеалистамъ, тоскливо опустившимъ крылышки, да вѣдь мало ли что! Счастье надо завоевать. Есть силы—берите его. Нѣтъ силъ—молчите, а то и безъ васъ тошно».

И такъ предшествующая эпоха, не безъ основанія считавшая себя довольно причастною дѣлу русскаго прогресса,

получила, что называется, чистую отставку и вошла всецѣло въ область отрицаемаго. Лѣтъ семь, восемь продолжалось разрушающее вліяніе критицизма. Но вотъ наступаетъ, наконецъ, нѣкоторое затишье въ лихорадочной жизни шестидесятыхъ годовъ. Самый искренній и талантливый представитель отрицательнаго направленія—Писаревъ, начинаетъ догадываться о наступленіи поры создать себѣ какой нибудь положительный идеалъ общественной жизни. Къ прошедшему начинаютъ относиться не такъ уже враждебно, не все имъ выработанное предается посмѣянію. Пушкинъ не ставится ниже сапоговъ. Изъ этого ничуть, однакоже не слѣдуетъ, заключать, что мы тутъ имѣемъ дѣло съ явленіемъ консерватизма, съ поворотомъ къ старинѣ. Ничуть! Русское общество, или вѣрнѣе русская интеллигенція только сознала экцессы своего направленія начала шестидесятыхъ годовъ и стремится загладить прежнія увлеченія. Ничуть не отказываясь отъ *реальнаго* направленія шестидесятыхъ годовъ, мы начинаемъ мириться съ *идеальнымъ* сороковыхъ и вотъ результатомъ этой амальгамы, этого нѣсколько страннаго комбинированія и являются семидесятые годы. Люди семидесятыхъ годовъ эклектики; не имѣя ничего собственнаго, ничѣмъ монументальнымъ себя не заявившіе, они все черпаютъ изъ прошедшаго, но притомъ пропускаютъ его чрезъ перегонный кубъ современности и пользуются плодами такой дестиляціи безъ всякихъ угрызеній совѣсти въ анахронизмѣ.

Семидесятые годы *реально-идеалистичны*. Это нѣсколько парадоксальное названіе, отзывающееся свѣтлою мрачностью и черной бѣлизною, не такъ однакоже невѣрно, какъ многимъ съ перваго раза можетъ казаться. Мы сдѣлаемъ краткій смотръ нашимъ органамъ печати и на нихъ постараемся доказать характеристичную для нашего времени смѣсь двухъ совершенно разнородныхъ направленій, двухъ строевъ мысли, нѣкоторымъ образомъ другъ друга исключающихъ и не позволяющихъ существовать одному изъ нихъ при благоденствіи другого. Мы постараемся, доказать, что какъ идеальная критика сороковыхъ годовъ, такъ и чисто-реальная шестидесятыхъ въ одинаковой

степени непригодны, если пользоваться ими во всей неприкосновенности. Было-бы одинаково консервативно, если-бы мы всецѣло записались въ одинъ изъ двухъ вышеупомянутыхъ лагерей, потому что даже ультра-прогрессивные шестидесятые годы составляютъ уже достояніе прошедшаго. Мы постараемся примирить два враждующихъ направленія критической мысли въ силу того принципа, что даже въ величайшихъ нелѣпостяхъ можно всегда отыскать извѣстную долю правды, лишь-бы нелѣпость была искренна и не старалась подъ громкимъ именемъ философскаго убѣжденія скрыть другія, менѣе лестныя побужденія. Для идеалистическихъ сороковыхъ годовъ годилась критика съ таковымъ-же оттѣнкомъ, для реальныхъ шестидесятыхъ—реальная критика наиболѣе подходила, для переходныхъ-же и эклектическихъ семидесятыхъ годовъ болѣе всего пригодна эклектическая критика. Вотъ отчего не впадая въ пошлое поклоненіе «золотой середины», мы постараемся, однакоже избѣгнуть крайностей, чтобы сдѣлать отыскиваемое нами реально-идеалистичное направленіе *реальнымъ* для своего времени, т. е. выражающимъ характеръ эпохи и подходящимъ подъ ея настроеніе.

Начнемъ свой обзоръ съ ежедневныхъ газетъ, а потомъ перейдемъ къ «толстымъ» и не «толстымъ» журналамъ [1]).

Важнѣйшіе представители петербургской публицистики суть безъ сомнѣнія «С.-Петербургскія Вѣдомости» и «Голосъ». Мы не упустимъ изъ виду «Биржевыя» и «Русскій Міръ», но главнымъ образомъ обратимъ вниманіе на первые два столпа петербургской ежедневной печати.

«С.-Петербургскія Вѣдомости» [2]) носили вполнѣ эклек-

---

[1]) Введеніе писано до перехода «С.Пет. Вѣд.» и «Бирж. Вѣд.» въ другія руки. Впрочемъ, прежнія «Биржевыя Вѣд.» въ полномъ своемъ составѣ возродились въ «Новомъ Времени», а новыя «Биржевыя Вѣд.» привлекли къ себѣ силы «Отеч. Записокъ». Что-же касается до новыхъ «Петерб. Вѣд.» то значительное, можно даже сказать совершенное паденіе ихъ авторитета — лучше всякихъ словъ говоритъ само за себя.

[2]) Мы не считаемъ себя въ правѣ опускать не вполнѣ современную характеристику прежнихъ «С.-Петербург. Вѣдом.» такъ какъ десятилѣтняя дѣятель-

тическій характеръ, если хотите даже слишкомъ электическій, такъ что онъ немножко смахиваетъ на пресловутое juste milieu Придерживаясь отчасти такъ называемыхъ «буржуазныхъ» тенденцій въ экономическихъ вопросахъ, имѣя г. Скальковскаго постояннымъ сотрудникомъ по этому отдѣлу, «С.-Пет. Вѣд.», въ тоже время были весьма радикальны въ политикѣ. Ихъ политическій отдѣлъ главнымъ образомъ пополнялся парижскимъ корреспондентомъ, принадлежащимъ по своимъ политическимъ убѣжденіямъ къ радикальной группѣ оттѣнка Луи-Бланъ-Кине. Послѣднее обстоятельство не мѣшало, однакоже, «С.-Пет. Вѣд.» относятся болѣе чѣмъ благосклонно къ политикѣ центра и благовѣть предъ Казиміромъ Перрье. Для читателей «С.-Пет. Вѣд.» въ одинаковыхъ симпатичныхъ краскахъ являются Тьеръ и Гамбетта, Греви и Наке. Даже коммуналистическое движеніе 18 марта 1871 г. не возбудило большаго негодованія академической газеты и редакція одно время приводила съ большимъ сочувствіемъ отзывы корреспондента «Daily News», благопріятные для коммунаровъ. Соціалисты не третируются «С.-Пет. Вѣд.» съ высоты ихъ буржуазнаго величія и сотрудничество г. Скальковскаго не помѣшало появится въ «С.-Пет. Вѣд.» очень благосклонному разбору жизни Прудона по поводу корреспонденціи его, изданной Сентъ-Бевомъ. Всѣ вообще «утопіи» о преобразованіи настоящаго положенія дѣлъ не встрѣчали со стороны «С.-Пет. Вѣд.» того энергическаго отпора, котораго можно было бы отъ нихъ ожидать, судя по нѣкоторымъ статьямъ весьма «охранительнаго» характера.

Перейдемъ къ столпамъ редакціи гг. Суворину, Буренину, Стасову, Кюи, Вырубову и Де-Роберти.

Г. Суворинъ-Незнакомецъ, безъ сомнѣнія, самый даровитый и симпатичный изъ всѣхъ сотрудниковъ «С.-Пет. Вѣд.»

ность разсѣявшейся редакціи, дала ясное указаніе, что она какъ нельзя болѣе подходила подъ настроеніе огромнаго количества своихъ читателей. Притомъ направленіе и нравственная физіономія прежнихъ «С.-Петербург. Вѣдом.» на столько живучи, что, надо надѣяться, мы вскорѣ встрѣтимся съ старыми знакомцами въ какой нибудь вновь основанной газетѣ.

и на немъ намъ легче всего доказать наше мнѣніе о реально-идеалистическомъ характерѣ современной эпохи. Г. Суворинъ вполнѣ дитя своего времени. Возставая противъ того ложнаго идеализма, который близко граничитъ съ не лестнымъ пониманіемъ жизни, не признавая многаго въ дѣятельности людей сороковыхъ годовъ, г. Суворинъ горячо, однакоже, стоитъ за искуство, какъ возвышающій элементъ, какъ предметъ на столько-же поучительный и важный для образованія общества, какъ и естественныя науки. Ничуть не умаляя значенія послѣднихъ, г. Суворинъ все-же протестуетъ противъ увлеченія ими, находитъ что и въ нихъ нѣтъ того спасающаго «нѣчто», что покрыло-бы своими достоинствами глупости, во имя ихъ совершаемыя. Какъ нельзя болѣе убѣжденный въ томъ, что errare humanum est, онъ находитъ смѣшныя стороны и въ реальномъ и въ идеальномъ направленіи и, эмансипируясь отъ полнаго порабощенія однимъ изъ этихъ направленій, становится посреднѣ и потому очень нравится читающей публикѣ. Повторяемъ тутъ не замѣшанъ пошлый принципъ juste milieu, въ силу котораго люди мирятся съ самыми вопіющими мерзостями обыденной жизни, всегда находя лазейку для сдѣлокъ со своею совѣстью. Г. Суворинъ вовсе не пошлякъ этой категоріи. Онъ нравится только потому, что не вдаваясь въ ярый анохронизмъ слѣпымъ поклоненіемъ сороковымъ и шестидесятымъ годамъ онъ современненъ своимъ скептическимъ отношеніемъ ко всякаго рода эксцессамъ. Правда водится за нимъ одинъ грѣшокъ—недолюбливаетъ онъ эмансипацію женщинъ, ну да вѣдь не всякое-же лыко въ строку.

Критика «Петерб. Вѣд.», репрезентируемая г. Буренинымъ, очень насмѣшливо относилась къ увлеченіямъ апологистовъ «новыхъ людей». Тенденція, безразлично какого характера, порицалась и г. Михайловъ, наравнѣ съ «челядью» «Русскаго Вѣстника», получалъ неудовлетворительныя отмѣтки. Но при всемъ своемъ нерасположеніи къ «новымъ людямъ» во вкусѣ романовъ г. Витнякова, Клавдіи Коваленко и имъ подобныхъ «благонамѣренныхъ» прогрессистовъ, г. Буренинъ

находилъ все таки героевъ Ауербаха и Фрейтага филистерами, а ихъ мораль мѣщанскою. Г. Буренинъ въ одно и тоже время расхваливалъ Рѣшетникова и благоговѣлъ предъ Пушкинымъ. Отношеніе къ Пушкину современной критики вообще крайне характерно. Давно-ли прошло то время, когда хвалить великаго поэта значило рисковать нажить себѣ прозваніе человѣка отсталаго, «эстетика». А теперь на этотъ счетъ очень вольготно. Восхищаешься Пушкинымъ и ничего — сходитъ. И г. Буренину не приходится быть названнымъ ретроградомъ за симпатіи къ основателю художественной школы русскихъ поэтовъ. Г. Буренинъ вообще смотрѣлъ за тѣмъ, чтобы и «мысль» проникала извѣстное беллетристическое произведеніе и «художественность» была-бы соблюдена. Одна изъ этихъ двухъ принадлежностей всего относящагося къ изящной литературѣ его не удовлетворяла. «Вешнія Воды» наравнѣ съ тенденціозными романами «Дѣла» были неодобрительно встрѣчены г. Буренинымъ. Какъ видите онъ не эстетикъ-реалистъ à la Аполлонъ Григорьевъ и не реалистъ à la Писаревъ. И онъ себѣ избралъ благую часть эклектика, черпающаго повсюду хорошее и всецѣло ни къ какому *«толку»* не приписывающагося. Партіонность должна быть чужда критику, ибо она мѣшаетъ безпристрастному отношенію къ дѣлу.

Если гг. Суворинъ и Буренинъ характерны каждый въ отдѣльности какъ типы современныхъ литераторовъ, то гг. Стасовъ и Кюи важны какъ писатели, изъ совмѣстнаго сотрудничества которыхъ въ одномъ и томъ-же изданіи явствуетъ эклектическое направленіе его. Г. Стасовъ при всемъ своемъ стараніи одѣть на себя современный костюмъ, все же при параллели съ тенденціями 60-хъ годовъ окажется довольно расположеннымъ къ искуству для искуства и хотя ратуетъ за мысль, но послѣдняя у него не составляетъ Conditio sine qua non. Г. же Кюи, отчасти за одно съ тѣмъ-же г. Стасовымъ не художественнымъ критикомъ, а музыкальнымъ, доводитъ свое требованіе мысли до безобразныхъ размѣровъ. Не даромъ-же его прозвали музыкальнымъ нигилистомъ. Онъ въ музыкѣ, близкой для насъ именно своею неопредѣленностью, своимъ

свойствомъ поднимать въ душѣ слушателей хаосъ самыхъ разнообразныхъ ощущеній и чувствъ, всегда ищетъ строгой программности и полагаетъ возможнымъ изображать звуками самыя реальныя ситуаціи. Стремленіе къ реализму доведено у него до Геркулесовыхъ столбовъ, такъ что г. Суворинъ былъ очень правъ, зло осмѣявъ своего-же товарища по газетѣ, предложеніемъ поручать въ будущихъ операхъ главныя роли танцовщикамъ т. е. людямъ, умѣющимъ отбивать тактъ. Г. Суворинъ хотѣлъ этимъ сказать, что ультра-реалистическая музыкальная школа совершенно изгонитъ лирическій элементъ изъ искуства и все замѣнится физическими законами о томъ, сколько тактовъ нужно для выраженія бури, сколько для солнечнаго дня и сколько для слякоти. Если г. Стасовъ составляетъ плюсовое т. е. консервативное отклоненіе отъ современныхъ взглядовъ на искуство, то г. Кюи представится намъ въ видѣ огромнаго отрицательнаго количества въ сравненіи съ прежними требованіями, и такъ какъ по алгебраическому закону изъ взаимодѣйствія двухъ противоположныхъ величинъ, перевѣсъ остается на сторонѣ бо́льшаго количества, то и въ данномъ случаѣ, значительно смягченныя требованія г. Кюи явятся нормою современности. Вотъ мы опять имѣемъ дѣло съ реально-идеалистическимъ направленіемъ.

Гг. Вырубовъ и Де-Роберти какъ позитивисты, уже въ силу одной своей принадлежности къ школѣ Огюста Конта, предохранены отъ увлеченія въ ту или другую сторону. Не примыкая ни къ одному изъ обсуждаемыхъ нами направленій, они относятся ко всему строго объективно. Впрочемъ какъ рѣдко появлявшіеся на столбцахъ «Петерб. Вѣд.», они только въ незначительной степени подтверждаютъ нашу мысль. Притомъ они всегда такъ объективно философски выражаются, что подъ нихъ иголки не подточишь и личныя симпатіи никакъ не раскусишь. Они важны для насъ только своимъ отсутствіемъ увлеченія въ чью нибудь пользу. Для нихъ реализмъ и идеализмъ суть объекты изученія и ничего больше. Они кромѣ того важны для насъ, чтобы снять съ «Пет. Вѣд.» пошлую оболочку «золотой середины». Уже кого, кого, а г. Вырубова

и г. Де-Роберти въ этомъ трудно обвинить. Своимъ участіемъ въ «Пет. Вѣд.» они облагораживали ихъ эклектическій характеръ и придавали имъ болѣе научную подкладку.

Въ ожесточенной полемикѣ, происходившей нѣсколько лѣтъ тому назадъ между «Отечественными Записками» и «Петерб. Вѣд.», первыя характеризовали направленіе послѣднихъ словами: «должно признаться, хотя нельзя не сознаться». Въ этой каррикатурной фразѣ вѣрно только намѣчено совмѣщеніе академическою газетою взглядовъ, иногда противорѣчащихъ другъ другу въ своихъ деталяхъ. Но что-же дѣлать? Таковъ характеръ эпохи. И «Отеч. Зап.» не рѣдко должны признаться, хотя не могутъ не сознаться. И имъ приходится въ отдѣлѣ критики ругать тенденціозные романы г. Михайлова и рядомъ съ этимъ помѣщать повѣсть «Предъ зарею» или произведенія г-жи Смирновой, которой при всей ея талантливости, все-же трудно простить тенденціозность, доведенную до nec plus ultra.

Что эклектизмъ «Пет. Вѣд.» не случайный, а есть именно знаменіе времени, лучше всего намъ доказываетъ «Голосъ». Эта газета можетъ безъ всякаго преувеличенія быть названа барометромъ общественнаго мнѣнія и огромный ея успѣхъ всего лучше показываетъ, какъ умѣла она поддѣлаться подъ вкусъ и требованія публики. Мы ничуть не винимъ за это редакцію почтенной газеты, потому что еще совершенно не разрѣшенъ теоретическій споръ о томъ, должна-ли печать руководить страною или страна руководить печатью, должна ли газета быть выраженіемъ мнѣній ограниченнаго кружка лицъ, хотя-бы и высоко стоящихъ въ умственномъ отношеніи, или-же должна собою репрезентировать міросозерцаніе болѣе или менѣе значительной части народонаселенія. А теперешняя газетная публика требуетъ всего по немножку. Вотъ отчего «Голосъ» умѣренно-либераленъ въ своемъ общемъ характерѣ, чуть-чуть поддернутъ панславизмомъ при обсужденіи дѣлъ, касающихся братьевъ-славянъ и нерѣшительно относится къ славянофиламъ. «Голосъ» яро вооружается противъ классицизма, радикаленъ въ политикѣ и помѣщаетъ у себя передовыя статьи либераль-

наго профессора государственнаго права. «Голосъ» нападаетъ сильно на нѣмцевъ, но слабѣе на жидовъ и слегка на прочія національности, проживающія между русскими, когда онѣ станутъ поперегъ въ чемъ нибудь кореннымъ обитателямъ Россіи. «Голосъ» вѣчно въ перебранкѣ съ «Москов. Вѣд.» и «Русскимъ Міромъ»; смѣшиваетъ съ грязью «Гражданина» и не считаетъ никогда нужнымъ полемизировать въ серьезныхъ вопросахъ съ такъ называемыми либеральными органами. Для фельетонной перебранки дѣлается, разумѣется, исключеніе. «Голосъ» предпочитаетъ не комментировать разныя «движенія» среди учащейся молодежи и политическіе процессы не вызываютъ на его страницы никакихъ или очень мало разсужденій. Художественная критика «Голоса», главнымъ образомъ являющаяся въ видѣ его музыкальнаго рецензента г. Ларош, тоже благоразумно относится ко вкусамъ публики. Г. Ларошъ не напускается подобно г. Кюи съ яростью на Итальянскую оперу, зная слабость къ ней столичнаго люда, слегка похваливаетъ популярныя пьесы, разъ или два въ годъ, не чаще, отзывается хорошо о вагнеріанствѣ и основывается главнымъ образомъ не на своихъ личныхъ симпатіяхъ, а старается преимущественно придерживаться взглядовъ, провѣренныхъ критиками разныхъ европейскихъ странъ. Литературная критика «Голоса» во многомъ походитъ на таковую «Пет. Вѣд.», но только отличается почти совершеннымъ отсутствіемъ полемическаго задора. Для «Русскаго Вѣстника» и главнаго его скомороха г. А. это правило разумѣется недѣйствительно. Тутъ даже мирная критика «Голоса» не можетъ не выразить своего смѣха и негодованія [1]).

Сдѣланная нами бѣглая характеристика «Голоса» можетъ, однакоже, въ достаточной степени объяснить его популярность. Семидесятые годы составляютъ переходное время. А въ такіе эпохи всегда замѣчается неопредѣленность, неоформленность

[1]) Вышесказанное писано до перехода «Пет. Вѣд.» подъ новую редакцію. Начиная съ настоящаго года, «Голосъ», получивши многихъ подписчиковъ прежней академической газеты, поднялъ свой либерализмъ на тонъ выше. За новымъ воскреснымъ фельетонистомъ «*Гаммой*» уже многими признается значеніе г. Суворина, а вся газета вообще болѣе или менѣе удовлетворительно замѣнила газету г. Корша.

симпатій и стремленій. Вѣдь и въ пятидесятыхъ годахъ, даже второй половины, въ «Современникѣ» наряду со статьями Чернышевскаго и Добролюбова помѣщались стихотворенія гг. Фета и Тютчева. Вотъ отчего и въ наше время, одинъ и тотъ-же органъ можетъ имѣть въ своемъ редакціонномъ персоналѣ сотрудниковъ, которые пять лѣтъ раньше не хотѣли-бы другъ другу и руки протянуть, а пять лѣтъ позже тоже пройдутъ мимо не раскланиваясь. Чтобы покончить съ «Голосомъ» прибавимъ, что онъ имѣетъ умѣренное количество предостереженій, и разъ даже былъ пріостанавливаемъ. Умѣренное фрондерство есть тоже характеристичное явленіе нашего времени. Мы не любимъ дорого платиться за свободу своихъ мнѣній, но такъ слегка, чтобы и невинность сохранить и капиталъ пріобрѣсть, какъ поется въ вульгарной пѣсенкѣ, отъ этого мы не прочь: оно льститъ нашей маленькой слабости къ слегка сильнымъ ощущеніямъ.

Изъ сотрудниковъ «Биржевыхъ Вѣдомостей» или по теперешнему «Новаго Времени» достойныхъ вниманія остановимся на г. Эксѣ. Этотъ не лишенный таланта профессоръ первоначально попалъ на нѣсколько неподходящее для ученаго мѣсто воскреснаго фельетониста газеты не перваго разряда и потому его писанія оставались неизвѣстными большинству образованной публики, несмотря на то, что изъ всѣхъ петербургскихъ фельетонистовъ г. Эксъ человѣкъ наиболѣе просвѣщенный и больше имѣетъ возможность съ основательнымъ критицизмомъ отнестись къ явленіямъ общественной жизни. Недавно г. Михайловскій, разбирая въ «Отеч. Зап.» сборникъ фельетонныхъ статей г. Экса, напалъ на нихъ и за нѣсколько неудачныхъ мѣстъ произвелъ автора сборника въ типъ «современнаго» литератора, причемъ эпитетъ «современный» употребилъ въ нелестномъ смыслѣ. Мы совершенно не согласны съ г. Михайловскимъ. Да, г. Эксъ дѣйствительно типъ «современнаго» литератора, но въ этомъ ничего обиднаго нѣтъ. Нѣсколько не ловко выраженныхъ мѣстъ не должны вызвать нашего негодованія потому что фельетонъ не философская статья и фельетонисту никакъ нельзя вмѣнять въ вину все что онъ пишетъ.

Для насъ г. Эксъ важенъ тѣмъ, что совмѣщая въ своей особѣ званіе довольно выдающагося профессора и литератора, онъ являетъ въ себѣ какъ нельзя лучше то реально-идеалистическое направленіе, найти которое мы стараемся во всѣхъ органахъ печати нашей. Такъ г. Эксъ страшно вооружается противъ г. А. изъ «Русскаго Вѣстника», который въ своихъ quasi-критическихъ статьяхъ въ сущности наполняетъ страницы Катковскаго журнала извѣтами на петербургскую журналистику. Г. Эксъ весьма снисходительно смотритъ на движеніе шестидесятыхъ годовъ, съ уваженіемъ отзывается о видныхъ представителяхъ отрицательнаго направленія и ни-зачто не согласится примкнуть къ газетѣ антилиберальнаго оттѣнка. Сороковые-же годы и пятидесятые пользуются самою искреннею симпатіею г. Экса и онъ, нерѣдко крайне реалистичный въ отвѣтахъ г. А. и разборѣ беллетристики «Русскаго Вѣстника», вдругъ начинаетъ говорить о музыкѣ и искуствѣ тѣмъ восторженнымъ языкомъ художественныхъ критикъ прежняго времени, когда мѣждомѣтія составляли не маловажную часть подобныхъ статей. Третированіе г. Михайловскаго тѣмъ-болѣе ничѣмъ не заслужено, такъ какъ г. Эксъ уже за одно то достоенъ благодарности, что, участвуя въ газетѣ съ невполнѣ опредѣленною физіономіею, онъ могъ-бы, ничѣмъ не стѣсняясь удариться въ самый ретроградный тонъ, чего, однакоже, не дѣлаетъ.

«Русскій Міръ», безъ сомнѣнія имѣетъ свой «запахъ». и притомъ повременамъ переносящій васъ въ то блаженное время, когда либеральную «дурь» просто палками выкалачивали и съ вольнодумными газетчиками не особенно стѣснялись. Въ первое время своего существованія «Русскій Міръ» очевидно поставилъ себѣ задачею и идеаломъ дѣятельность того испанскаго рыцаря, котораго жизнеописаніе намъ оставлено Сервантесомъ. И Великій Боже! Противъ чего только не сражался «Русскій Міръ»! По истинѣ жалко становилось его публицистовъ, когда они со рвеніемъ, достойнымъ лучшей участи, своими передовыми статьями хотѣли, въ pendant точкѣ князя Мещерскаго, поставить русскому прогрессу запятую, но такъ

наивно это дѣлали, что живо собою напомнили знаменитую борьбу ламанческаго героя съ вѣтряными мельницами. Чрезъ нѣсколько времени «Русскій Міръ» однакоже смирился. Онъ увидѣлъ, что лбомъ стѣны не прошибешь, что противъ естественнаго хода вещей ничего не подѣлаешь. И вотъ въ одно прекрасное утро редакція извѣщаетъ, что она оставляетъ веденіе газеты и передаетъ его другимъ. «Другіе»-же объявили, что постараются сдѣлать свою газету сборникомъ свѣжихъ новостей и ослабятъ тенденціозность, ибо, говорили они, назначеніе газеты—сообщать безпристрастно свѣдѣнія и больше ничего. «Мы поставили себѣ цѣлью доставить нашимъ читателямъ какъ можно болѣе матеріала» гласило объявленіе новой редакціи. Это объявленіе какъ нельзя лучше показывало, что сами лица, стоявшіе во главѣ «Русскаго Міра», сознали невозможность вести изданіе въ прежнемъ непримиримомъ направленіи. Слишкомъ уже отвыкло наше общество отъ исправническихъ возгласовъ во имя возвращенія къ старинѣ и ворчанія устраненныхъ генераловъ о поворотѣ къ интендантскимъ порядкамъ до крымской компаніи. Въ настоящее время «Русскій Міръ» дѣйствительно довольно добросовѣстно исполняетъ взятое на себя обязательство давать обильный матеріалъ фактовъ и только въ журнальномъ обозрѣніи и по большимъ праздникамъ въ передовыхъ статьяхъ прорывается струнка ретроградства во имя какого-то мечтательнаго идеализма не отъ міра сего, смѣшаннаго съ запахомъ казармы. При всемъ своемъ не передовомъ направленіи, «Русскій Міръ» обидится однакоже, если его смѣшать съ «Гражданиномъ», который такъ и остается одинокимъ на горизонтѣ петербургской журналистики невѣдомо кѣмъ и зачѣмъ составляемый, да и невѣдомо кѣмъ читаемый. Юродивыя выходки княжескаго органа уже пріѣлись и потеряли прелесть новизны, а потому онъ и доживаетъ свои дни, всюду встрѣчая непривѣтливыя лица и пользуясь покровительствомъ одного только Виктора Ипатьевича Аскоченскаго, этого достойнаго товарища князя—точки.

Какъ «Русскій Міръ» такъ и «Гражданинъ» лучше всего показываютъ, что у насъ немыслимо сочувствіе общества ретроградному журналу, что старый порядокъ оставилъ слишкомъ

мало корней, чтобы дать что нибудь кромѣ самаго чахлаго деревца, въ видѣ беззубаго шамканья противъ новыхъ формъ русской жизни. Ну, скажутъ намъ, а какъ бы объясните распространенность «Москов. Вѣдомостей»? Вѣдь въ нихъ вы едва-ли найдете реально-идеалистическое направленіе, будто-бы овладѣвшее въ послѣднее время современнымъ обществомъ. Дѣйствительно, скажемъ мы въ отвѣтъ, «Московскія Вѣдомости» не подходятъ подъ это направленіе, но развѣ *ихъ* направленіе пользуется симпатіею? Развѣ «Моск. Вѣд.» имѣютъ *успѣхъ?* Ни чуть! не слѣдуетъ смѣшивать успѣхъ съ *распространенностью.* Кто читаетъ «Моск. Вѣд.» по влеченію къ нимъ? Кто смотритъ на нихъ симпатичнымъ взглядомъ? Не вѣдомо почему, онѣ считаются какимъ-то что-то очень важное и многое выражающимъ органомъ, между тѣмъ какъ въ сущности заблуждающіеся подписчики ихъ имѣютъ дѣло съ органомъ человѣка, въ молодости «увлекавшагося» и потому теперь на старости лѣтъ изъ кожи лѣзущаго вонъ, чтобы ультра-плюсовымъ направленіемъ уничтожить прежній минусъ. Вотъ отчего, слѣдуя математическимъ правиламъ, вся его дѣятельность, весь итогъ его публицистической карьеры равняется именно тому, что оно есть, т. е. *нулю.* Нужно слишкомъ не знать русское общество, нужно слишкомъ быть ослѣпленнымъ, чтобы не видѣть, что между «Москов. Вѣд.» и русскою жизнью такая-же разница какъ между здоровымъ человѣкомъ и интриганомъ-докторомъ, кричащимъ изо всей мочи о болѣзни, чтобы имѣть возможность выслужиться и сдѣлаться «спасителемъ». Въ своей самозванной роли «Моск. Вѣд.» въ такой-же степени чужды истиннаго выставленія русской жизни, въ какой мѣрѣ тенденціозны и желаютъ видѣть то, чего нѣтъ и малѣйшихъ слѣдовъ. Прошло, къ счастью, то непродолжительное время, когда русское общество, напуганное нѣкоторыми чисто-внѣшними симптомами болѣзни, внимало авгурамъ «Москов. Вѣд.», самымъ безцеремоннымъ образомъ эксплуатировавшихъ это мимолетное настроеніе и тѣмъ самымъ подорвавшихъ свой собственный кредитъ. Не можетъ быть ничего общаго между безхитростнымъ русскимъ человѣкомъ и ослѣпленными партіонною враждою пу-

блицистами, которые не въ состояніи написать ни одной статьи, безъ того, чтобы не сдѣлать доноса на своихъ-же собратовъ по ремеслу и превратить литературу въ сыскное отдѣленіе. Нѣтъ! «Моск. Вѣд.» къ чести русскаго общества не являются представителями какого нибудь общественнаго вѣянія и дѣятельность ихъ пользуется лишь болѣе чѣмъ ничтожною симпатіею ничтожнаго количества лицъ, которые не могутъ переварить еще до сихъ поръ многое изъ того, что сдѣлалось неотъемлемымъ достояніемъ русской націи уже не малое количество лѣтъ.

«Московскими Вѣдомостями» мы можемъ покончить съ газетами. Хотя послѣднихъ существуетъ весьма много, но разбирать всѣ было бы только излишнею тратою времени, такъ какъ онѣ болѣе или менѣе представляютъ сколки изъ разобранныхъ нами ежедневныхъ періодическихъ изданій и новыхъ характеристичныхъ чертъ не заключаютъ. Надѣемся, что и сказаннаго относительно нашей «большой» прессы достаточно, чтобы убѣдиться, что наше мнѣніе о реально-идеалистическомъ направленіи современной эпохи не есть парадоксъ, а основывается на внимательномъ изученіи.

Перейдемъ теперь къ такъ называемымъ «толстымъ» журналамъ, гораздо болѣе пригоднымъ для изученія настроенія извѣстнаго времени, такъ какъ они не носятъ на себѣ характера сборника свѣдѣній, что вполнѣ допускается для газеты. Даже у самаго объективнаго журнала нетрудно добраться до его «credo», и лишь однѣ Ахматовскія и Львовскія собранія романовъ пихаютъ въ свои ежемѣсячныя книжки все безразлично, руководствуясь только тѣмъ, чтобы подписчикамъ было «занятно». Трудно найти такой малоуважающій себя журналъ, который не поставилъ-бы себѣ какой-нибудь цѣли при исполненіи своей задачи, который не обидѣлся-бы упрекомъ въ безпринципности. Вотъ отчего мы съ особенною любовью займемся разсмотрѣніемъ русскихъ ежемѣсячныхъ журналовъ, благо ихъ немного. Почерпнемъ изъ этого разбора свѣденія, характеризующія разные слои читающей публики, дающія намъ матеріалъ для уловленія разнообразныхъ міросозерцаній, формирую-

щихъ извѣстный колоритъ, извѣстную окраску данной эпохи. Если беллетристика и не вполнѣ намъ можетъ быть полезна въ этомъ отношеніи, то отдѣлы критики какъ нельзя болѣе для этого пригодны, такъ какъ лирическій элементъ, элементъ субьективизма не можетъ и не долженъ быть изгнанъ изъ живаго обсужденія чувствующимъ писателемъ современныхъ близко каждаго касающихся вопросовъ.

Начнемъ съ «Вѣстника Европы» какъ наиболѣе объективнаго изъ русскихъ журналовъ. Вступая въ возобновленное свое существованіе въ 1866 году простымъ сборникомъ историческихъ матеріаловъ, онъ вскорѣ преобразился въ ежемѣсячный журналъ съ отдѣлами литературнымъ и критическимъ. Таковымъ онъ остался и до сихъ поръ. Чѣмъ-же руководствовалась и руководствуется его редакція при составленіи книжекъ, какимъ духомъ проникнута она? Общій характеръ безъ сомнѣнія «*либеральный*». Но этимъ словомъ еще ничего неопредѣленно, ибо либеральна вся наша интеллигенція всѣхъ временъ и всѣхъ эпохъ. Исключенія, если и бываютъ, то онѣ рѣдко искреннія и за кулисами всегда скрывается общечеловѣческая слабость къ благамъ мірскимъ. По этому, называя «Вѣстн. Европы» либеральнымъ, мы этимъ даемъ только видовое обозначеніе, нужно еще опредѣлить семейство, классъ. Чтобы выяснить болѣе интимный характеръ журнала, обратимъ вниманіе на нѣкоторыя «специфическія» вещи, въ немъ помѣщенныя. Въ 1869 году на страницахъ «Вѣст. Европы» появляется романъ Гончарова «Обрывъ». Изъ первой части публика ни о чемъ еще не догадывается и полагаетъ, что въ Райскомъ имѣетъ дѣло съ героемъ романа; она думаетъ увидѣть въ немъ одну изъ тѣхъ диллетантскихъ натуръ сороковыхъ годовъ, прекрасныхъ людей, но непригодныхъ гражданъ, какихъ мы привыкли встрѣчать въ лучшихъ представителяхъ прежней эпохи. Однимъ словомъ всѣ полагаютъ увидѣть въ новомъ романѣ даровитаго художника, нѣчто въ родѣ апоѳеоза умирающаго Рудинскаго типа. Но вотъ дѣйствіе переносится въ провинцію и талантъ повѣствователя главнымъ образомъ употребляется на воспроизведеніе двухъ оригинальныхъ лич-

ностей Вѣры и Марка Волохова. Публика еще съ большею жадностью слѣдитъ за развитіемъ романа, ей интересно узнать, какъ отнесется одинъ изъ лучшихъ беллетристовъ нашихъ къ молодому поколѣнію, ее занимаетъ вопросъ такъ-ли вѣрно воспроизведетъ авторъ «Обломова» новѣйшую формацію, русской интеллигенціи, какъ охарактеризовалъ въ своихъ предъидущихъ сочиненіяхъ поколѣніе нашихъ «отцевъ». Но вотъ романъ пришелъ къ концу, развязка прочтена и публика въ недоумѣніи, она не можетъ придти въ себя отъ изумленія. «Какъ»! восклицаетъ она, «все молодое поколѣніе, все благотворное движеніе шестидесятыхъ годовъ, олицетворено въ плутоватомъ Волоховѣ, не гнушающемся поддѣлать чужую подпись, чтобы раздобыться деньгами? И это говоритъ авторъ, всегда вѣрно и не тенденціозно писавшій физіологію нашего общества, а произведеніе его печатается не въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а въ «Вѣстникѣ Европы», причисляющемъ себя къ фалангѣ либеральной прессы»? Недоумѣніе и негодованіе было всеобщее. Справедливо-ли оно относительно Гончарова, мы разбирать теперь не станемъ; объ этомъ надѣемся поговорить въ другой разъ. Насъ собственно интересуетъ редакція «Вѣстника Европы». Неужели-же и она считаетъ Марка Волохова вполнѣ вѣрнымъ представителемъ новой Россіи, неужели-же и она записалась въ катковскій цѣхъ для уничтоженія разныхъ вредныхъ «измовъ»? Намъ очень пріятно отвѣтить на эти грозные вопросы вполнѣ отрицательно. Какъ послѣдовавшими романами и статьями такъ и прямо въ одной изъ критическихъ статей г. Евгенія Утина, редакція высказалась противъ основной тенденціи Гончарова и если не прямо и рѣзко осудила ее, то потому, что разъ напечатавъ на страницахъ своего журнала «Обрывъ» изъ уваженія къ талантливому воспроизведенію другихъ типовъ, «Вѣстнику Европы» неловко было уподобиться немедленнымъ выраженіемъ порицанія библейской рабѣ, которая сама себя побила. Но кромѣ «Обрыва» «Вѣстникъ Европы» никакихъ «прегрѣшеній» противъ «либерализма» не совершилъ. Какъ «С.-Петерб. Вѣдомости» въ ежедневной прессѣ, такъ «Вѣстникъ Европы» въ ежемѣсячной,

носитъ также вполнѣ эклектическій характеръ съ реально-идеалистичнымъ направленіемъ. Какъ-же иначе прикажете назвать журналъ, гдѣ г. Евгеній Утинъ пишетъ ультра-реалистическія критическія статьи, а г. Евгеній Марковъ до нельзя восторгается произведеніями искуства въ венеціанскихъ церквахъ, мысли особенной не имѣющихъ и которыя поэтому могутъ привести въ восхищеніе только «эстетика» на прежній манеръ, т. е. диллетанта сороковыхъ годовъ, поклонника искуства для искуства. Въ «Вѣстникѣ Европы» постоянно сотрудничаютъ Полонскій, графъ Алексѣй Толстой, наряду съ Левитовымъ, Глѣбомъ Успѣнскимъ, Боборыкинымъ.

Но самымъ лучшимъ критеріумомъ для характеристики направленія «Вѣстника Европы» можетъ служить г. Пыпинъ, который въ своихъ статьяхъ о литературныхъ мнѣніяхъ періода времени съ 1820 года по 1850 какъ нельзя болѣе является представителемъ современнаго примиренія съ идеализмомъ во имя реализма. Въ самомъ дѣлѣ, г. Пыпинъ всегда относится съ уваженіемъ къ какому бы-то нибыло образу мыслей, былъ-бы лишь онъ не напускнымъ и служилъ-бы дѣйствительно выраженіемъ какой-бы то нибыло умственной работы. Если онъ съ славянофилами несогласенъ, то это не мѣшаетъ ему цѣнить въ нихъ стремленіе къ истинѣ, безкорыстное отношеніе къ наукѣ, искренность ихъ міросозерцанія. Г. Пыпинъ, хотя и «западникъ», настолько безпристрастенъ, чтобы отдать славянофильскому движенію должную справедливость признаніемъ за нимъ заслуги пробужденія національнаго чувства, на первый разъ, положимъ, выразившагося въ нѣсколько уродливыхъ формахъ, но все-же положившаго начало тому сознанію собственнаго достоинства, безъ котораго не можетъ существовать въ равной степени какъ отдѣльный индивидуумъ, такъ и ассоціація ихъ, претендующая на какое нибудь значеніе въ дѣлѣ развитія и прогрессированія общечеловѣческихъ идей и стремленій. «Западничество» не мѣшаетъ г. Пыпину усмотрѣть слабыя стороны этого направленія и при разборѣ его, онъ дѣлается гораздо болѣе строгимъ и взыскательнымъ, такъ какъ ошибки западничества, при жизненности этого строя мыслей,

принесли бо́льшой вредъ, нежели умствованія славянофиловъ, никогда къ дѣйствительности не прилагавшіяся и потому вслѣдствіе одного такого обстоятельства имѣющія право на снисхожденіе. Касаясь интеллигенціи сороковыхъ годовъ, г. Пыпинъ дѣлаетъ ей много горькихъ упрековъ за малую пользу, которую она при богатствѣ и обиліи силъ, принесла своей странѣ. Г. Пыпинъ ставитъ въ вину многимъ первоклассным дѣятелямъ прежней эпохи ихъ легкое отношеніе къ истиннымъ насущнымъ потребностямъ своего народа и деллетантизмъ на всѣхъ попрыщахъ. Г. Пыпинъ не можетъ простить заоблачность тенденцій и стремленій. Въ этомъ недовольствѣ, въ этихъ упрекахъ слышится реалистъ, человѣкъ шестидесятыхъ годовъ, который не можетъ забыть, что все должно носить отпечатокъ дѣйствительности, характеръ жизненности. Казалось бы при такихъ воззрѣніяхъ, г. Пыпинъ долженъ былъ безпощадно отнестись къ сороковымъ годамъ, мы должны были бы встрѣтить то-же отношеніе къ нимъ, къ какому мы привыкли при чтеніи журналовъ начала прошлаго десятилѣтія. На самомъ дѣлѣ, этого однакоже нѣтъ: реализмъ не ослѣпляетъ г. Пыпина, хотя онъ не менѣе своихъ ультра-реалистичныхъ собратовъ сознаетъ барскій характеръ прежней интеллигенціи и понимаетъ, что не совсѣмъ лестная обломовщина составляетъ значительный ингредіентъ характера нашихъ «отцевъ». Несмотря на это, г. Пыпинъ находитъ несправедливымъ и не вполнѣ научнымъ строго упрекать людей за порядокъ ими несозданный и институты, отмѣнить которые не есть дѣло единичныхъ личностей или небольшаго кружка, хотя и сознающаго язву, истощающее общественное тѣло, но́ неимѣющаго все-же ни малѣйшей возможности вывести родную страну изъ такого ненормальнаго положенія. И такъ и въ г. Пыпинѣ мы видимъ представителя того примиряющаго направленія, которое убѣждено, что во всякомъ *искреннемъ* міросозерцаніи есть непремѣнно значительная доля правды и что слѣдовательно безпристрастіе есть элементъ наиболѣе нужный человѣку, задавшемуся повѣ- [illegible] гражданамъ результаты своего мышленія. Какъ [illegible] прежнюю эпоху, какъ человѣкъ въ

то-же время вполнѣ современный, г. Пыпинъ намъ важенъ тѣмъ, что доказываетъ собою неизбѣжность появленія у всякаго тонкоразвитаго человѣка переходныхъ эпохъ эклектическаго направленія. Переходная эпоха есть время передумыванія, время подведенія итоговъ раньше добытымъ результатамъ, время холоднаго критицизма и отсутствія увлеченія. Грустно только то, что для массы такія переходныя эпохи менѣе лестны, потому что эклектизмъ интеллигенціи является всегда спутникомъ отсутствія въ большинствѣ общества опредѣленнаго направленія и неоформленности строя мыслей.

«Отечественныя Записки» считаются всѣми за журналъ со строго-опредѣленною тенденціею, и притомъ радикальною, нѣчто въ родѣ группы лѣвой стороны, близко граничащей съ крайней лѣвой. Однакоже это не совсѣмъ вѣрно. «Отеч. Зап.» поставили себѣ цѣлью вѣрно преслѣдовать задачу и преданія «Современника» и надо отдать справедливость исполняютъ довольно успѣшно свое дѣло. Но отъ неизбѣжнаго дѣйствія времени и они не могли укрыться. Спрашивается рискнулъ-ли бы когда нибудь «Современникъ» назвать статью Писарева о Пушкинѣ вандализмомъ, подвигомъ похожимъ на разрушеніе Вандомской колонны коммунарами. А между тѣмъ г. Михайловскій неубоялся провозгласить эту вполнѣ вѣрную мысль. Устами г. Скабичевскаго «Отечественныя Записки» рѣзко высказались противъ тенденціозности какого-бы то ни было оттѣнка. Это-же неодобреніе принципа «цѣль оправдываетъ средства», принимаемаго даже въ самомъ возвышенномъ смыслѣ, редакція «Отеч. Зап.» выразила въ своемъ примѣчаніи къ статьѣ г-жи Цебриковой о Шпильгагенскихъ герояхъ. Редакція «Современника» врядъ-ли нашла-бы надобность въ подобномъ примѣчаніи. Въ «бутадахъ» Щедрина нерѣдко попадаются очень злыя насмѣшки надъ «нашимъ временемъ, когда». Какъ видите, самые выдающіеся сотрудники «Отечественныхъ Записокъ» ничуть не суть безусловные поклонники шестидесятыхъ годовъ, хотя ревностно выступаютъ въ ихъ защиту, когда разные перебѣжчики, какъ извѣстно всегда отличающіеся своимъ отчаяннымъ лаемъ на составленный лагерь, дерзаютъ

именовать благотворное время пробужденія анализа и общественнаго прозрѣнія «комическимъ временемъ на Руси». Да, противъ такихъ нападокъ и г. Скабичевскій и г. Михайловскій, и Щедринъ и Некрасовъ не откажутся вооружиться. Но имѣя дѣло съ своими-же единомышленниками, которымъ нечего объяснять азбучныя истины, вышеназванные писатели не могутъ не сознаться, что шестидесятые годы имѣютъ довольно много не вполнѣ раціональныхъ сторонъ и что слѣдовательно слѣпо поклоняться всему ими выработанному было-бы точно такимъ-же вреднымъ консерватизмомъ, какъ возведеніе въ идеалъ какимъ-нибудь «Русскимъ Міромъ» взглядовъ тридцатыхъ годовъ.

Изъ всѣхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» наиболѣе пригодности для уловленія «credo» этого журнала представляетъ г. Михайловскій. Въ своихъ ежемѣсячныхъ замѣткахъ о текущей литературѣ онъ ведетъ бесѣду о самыхъ разнообразныхъ предметахъ и потому невольно долженъ обо всемъ высказаться. Мы всегда съ особеннымъ удовольствіемъ читаемъ эти бесѣды, такъ какъ видимъ въ ихъ авторѣ очень умнаго и развитаго писателя, въ которомъ намъ чрезвычайно пріятно найти отыскиваемое нами реально-идеалистичное направленіе. Реализмъ г. Михайловскаго мы доказывать не станемъ: онъ слишкомъ ясенъ для всякаго читающаго его «замѣтки». Но стоитъ только внимательно всмотрѣться, что бы открыть въ нашемъ публицистѣ и идеальное міросозерцаніе. И дѣйствительно, г. Михайловскій высоко цѣнитъ искуство, онъ всегда обращаетъ вниманіе на художественное исполненіе при оцѣнкѣ достоинствъ беллетристическаго произведенія и благосклонно относится къ вещамъ, гдѣ даже абсолютное отсутствіе мысли замѣняется на столько прекрасною формою, что послѣдняя сама по себѣ уже представляетъ собою мысль, идею о красотѣ. Г. Михайловскій нерѣдко говоритъ въ своихъ обозрѣніяхъ о возвышающемъ дѣйствіи музыки и вообще изящныхъ искуствъ. Но всего рѣзче высказалось его отличіе отъ публицистовъ одного реальнаго направленія въ томъ обстоятельствѣ, что онъ очень благосклонно, даже слишкомъ благосклонно отозвался о «Греческихъ Антологіяхъ» Щербины, гдѣ во-

спѣвается голое тѣло и сладострастныя ситуаціи. Въ этихъ воспѣваніяхъ г. Михайловскій увидѣлъ полное усвоеніе Щербиною античнаго понятія о красотѣ и ставитъ ему это въ большую заслугу. Безъ сомнѣнія одобреніе г. Михайловскаго стихотвореній Щербины не такого сорта какъ былъ-бы восторгъ предъ ними одного изъ критиковъ-«эстетиковъ», хотя-бы, положимъ, покойнаго Николая Соловьева. Но намъ важно отмѣтить тотъ фактъ, что «греческія» стихотворенія Щербины съ ихъ желаніями обнять молодое, гибкое тѣло и прижать къ своей груди обнаженныя перси вакханки, предающейся сладострастнымъ удовольствіямъ, вообще со всѣмъ ихъ эротическимъ содержаніемъ не возбудили въ «прогрессивномъ» критикѣ «Отеч. Записокъ» гомерическаго хохота и глумленія надъ поэтомъ. Вѣдь если Писаревъ и вообще реальная критика не признавала никакого значенія за Пушкинымъ и Лермонтовымъ то нечего уже говорить что Щербина не былъ-бы поставленъ и на такую ступень. Его-бы въ былое время просто на просто окрестили-бы человѣкомъ, который свое дарованіе тратитъ на возбужденіе чувственности и никакихъ-бы идей въ его голыхъ тѣлахъ не замѣтили-бы. Примѣръ отношенія г. Михайловскаго къ Щербинѣ нагляднѣе всего показываетъ, что времена нынѣче перемѣнились, что идеализмъ, котораго реализмъ шестидесятыхъ годовъ чуть было не изгналъ изъ всѣхъ его укрѣпленій, снова поднимаетъ голову и начинаетъ играть значительную роль въ общественномъ міросозерцаніи. Да и неудивительно почему: идеализмъ необходимъ нашей эпохѣ какъ противодѣйствіе тому *матеріализму* и *меркантилизму*, что охватили въ послѣднее время часть нашего общества, хотя и ни въ какомъ случаѣ не составляющей его интеллигенцію, но все-же на столько обладающей силою и значеніемъ мірскими, что непросвѣщенное давленіе этой грубой силы замѣтно на всемъ обществѣ вообще. Меркантильный духъ былъ въ маломъ развитіи въ началѣ шестидесятыхъ годовъ и потому не помѣшалъ анти-идеалистическому движенію того времени принять одинъ только философскій характеръ реализма, между тѣмъ какъ теперь во многихъ случаяхъ реализмъ облекся въ грубыя и непривлека-

тельныя формы погони за мірскими благами. Вотъ отчего долгъ всякаго любящаго свою страну развитаго гражданина состоитъ въ настоящее время въ томъ, чтобы отвлечь своихъ согражданъ отъ поклоненія Мамонѣ и заставить ихъ потратить свое время на занятія предметами, польза изученія которыхъ не выразится немедленно-же въ видѣ акцій и банковыхъ билетовъ. Буржуазному духу нашего времени вредно и опасно давать опору въ исключительно реальномъ міросозерцаніи и вотъ почему неизбѣжною реакціею матеріализма массы является поддернутость современной интеллигенціи идеализмомъ, не мечтательнымъ идеализмомъ сороковыхъ годовъ, а тою здоровою идеальностью, которая играетъ роль предохранительнаго средства отъ заѣданія пошлостью матеріальнаго окружающаго, которая даетъ нравственную мощь съ презрѣніемъ оттолкнуть всякіе компромиссы, гдѣ вѣчные законы истины и справедливости жертвуются для удовлетворенія низменныхъ цѣлей стремленія къ наживѣ.....

Прибавимъ еще нѣсколько словъ о «Дѣлѣ» и о «Русскомъ Вѣстникѣ» чтобы покончить съ нашимъ обзоромъ главнѣйшихъ органовъ печати.

Если «Отечественныя Записки» являются какъ-бы продолженіемъ «Современника», то «Русское Слово» въ настоящее время имѣетъ своимъ преемникомъ «Дѣло». Въ первые годы своего существованія «Дѣло» только по наружности и названію отличалось отъ своего предшественника. Прекратившійся журналъ очень малымъ разнился отъ новаго. Несходство состояло только въ томъ, что «Русское Слово» выходило въ самый разгаръ *«нашего времени когда»*, а «Дѣло» подоспѣло, когда волненіе начало улегаться. Главный сотрудникъ «Дѣла» перваго времени,—Дмитрій Ивановичъ Писаревъ значительно пересталъ увлекаться и статьи его, при свойственной ему талантливости начали пріобрѣтать характеръ вполнѣ научнаго отношенія къ дѣлу. Но вскорѣ смерть унесла даровитаго критика изъ рядовъ горько оплакивавшей его потерю русской литературы и главнымъ критикомъ «Дѣла» становится г. Петръ Ткачевъ. Дѣятельность его весьма схожа съ таковою Писарева,

хотя, впрочемъ, у него далеко нѣтъ того замѣчательнаго, почти геніальнаго изложенія Писарева, за которое ему часто прощаются его критическіе промахи. Г. Ткачевъ началъ свое литературное поприще въ самомъ реальномъ духѣ, если онъ и не ставилъ Шекспира ниже сапоговъ, то потому только, что на столько все-же обладалъ талантомъ и критическимъ чутьемъ, чтобы не договориться до подобной невѣжественной нелѣпости. Но съ каждымъ годомъ онъ становится «смирнѣе» и о, Великій Боже! Въ 1872 году г. Ткачевъ начинаетъ толковать о «художествахъ». Читаешь и глазамъ своимъ не вѣришь: г. Ткачевъ, этотъ болѣе реальный чѣмъ реализмъ критикъ, упрекаетъ Тургенева въ отсутствіи «художественности»! Вторично приходится вложить въ ротъ палецъ удивленія, когда въ томъ-же «Дѣлѣ», гдѣ были напечатаны почти всѣ произведенія г. Михайлова-Шеллера, г. Ткачевъ, превратившись въ «Постнаго», читаетъ своему товарищу длиннѣйшую и обстоятельнѣйшую нотацію за тенденціозность его романовъ. Г. Постный не умягчается даже тѣмъ обстоятельствомъ, что въ романахъ Михайлова проповѣдуются «хорошія» идеи. Уже этоли не знаменіе времени! Разительнѣе мы ничего и привести не можемъ, да и надобности въ этомъ нѣтъ. И еще вотъ что замѣчательно: наряду со стараніями г. Постнаго поставить свою критику на вполнѣ реальную почву, вы замѣчаете, что тонъ его статьи поддернутъ легкою меланхоліею. Послѣднее, положимъ, зависѣло отъ нѣкоторыхъ совершенно не литературныхъ обстоятельствъ, но намъ важно то, что мечтательный субъективизмъ автора статьи не помѣшалъ ей быть помѣщенной въ журналѣ, всегда смѣявшемся надъ подобной сентиментальщиной, недостойной «реальнаго» критика, долженствующаго задать тонъ жадно внемлющей его словамъ читающей публикѣ. И г. Шелгуновъ, подъ фирмою Радюкина, начинаетъ «подпускать» въ своихъ статьяхъ прежде ему не свойственную чувствительность, а перебравшись въ фельетонъ «Недѣли» онъ окончательно переобразовывается въ тонко-чувствующаго человѣка, который никогда не станетъ смѣяться тѣмъ оскорбляющимъ душу смѣхомъ, къ которому мы привыкли въ статьяхъ

прежнихъ публицистовъ «Дѣла», въ душѣ убѣжденныхъ, что Лермонтовъ есть поэтъ чахоточныхъ барышень.

И такъ мы видимъ, что и «Дѣло» поддалось замѣчательному метаморфозу, происшедшему съ нашей интеллигенціею послѣдняго времени. Радикальная броня преемника «Русскаго Слова» не могла устоять отъ напора идеализма, долго прятавшагося отъ лучей дневнаго свѣта, но теперь воспрянувшаго въ обновленной формѣ.

Объ «Русскомъ Вѣстникѣ» много распространяться нечего. Какъ «Московскія Вѣдомости» въ ежедневной печати, такъ «Русскій Вѣстникъ» въ ежемѣсячной стоитъ совершенно особо отъ русской жизни и вся его дѣятельность напоминаетъ намъ лай дряхлой собаки, которая уже ничего не видитъ и не слышитъ, но все еще считаетъ своею непремѣнною обязанностью тявкнуть на всякое проходящее лице. «Нигилизмъ» кажется уже совсѣмъ въ архивъ сданъ, а «Русскій Вѣстникъ» все еще противъ него ратуетъ и отыскиваетъ лицъ, пропитанныхъ этимъ вреднымъ направленіемъ. Ретроградство его дошло въ послѣднее время до границъ невозможнаго. Посудите сами: въ 1874 году «Русскій Вѣстникъ» начинаетъ доказывать незначительность результатовъ французской революціи 1789 года. Удивительнѣе этого колѣнца и не выкинешь! Понятно, что при такихъ передовыхъ воззрѣніяхъ даже сороковые годы являются «вредными» въ глазахъ критиковъ архаическаго журнала. Двадцать пять лѣтъ, прошедшихъ послѣ смерти Бѣлинскаго никакъ еще не могутъ примирить катковское сокровище съ направленіемъ великаго критика и старческому уму его послѣдній все еще кажется опаснымъ новаторомъ. О тѣни Булгарина и Греча! Ликуйте во гробахъ своихъ. Вы имѣете вполнѣ вѣрныхъ представителей вашего направленія; духъ вашъ не умеръ. Онъ только принялъ другіе имена! Критическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника» наполняется белибердой г. А., прославившагося своимъ открытіемъ «петербургской» журналистики, въ отличіе отъ правовѣрной московской, въ беллетристической-же части фигурируютъ разные Лѣсковы, Маркевичи, Авсѣенки, Вс. Крестовскіе и имъ подобные, составляющіе ту знаменитую

«плеяду», которая, покамѣсть, признается только лицами ее составляющими. Лишь изрѣдка появится въ «Русскомъ Вѣстникѣ» что нибудь безъ обличенія разныхъ измовъ, въ родѣ талантливаго романа графа Сальяса, а затѣмъ опять пойдутъ писать разные талантики, а чаще всего бездарности, замѣняющія недостатокъ дарованія прохаживаніемъ по части клубнички и обличенія вредныхъ идей. «Челядь» «Русскаго Вѣстника», какъ остроумно и мѣтко назвалъ публицистъ «Отечественныхъ Записокъ» Катковскихъ молодцевъ, изъ кожи лѣзетъ вонъ, чтобы угодить своему патрону и потому неизмѣримо ниже стоитъ въ нравственномъ отношеніи дѣятелей «Гражданина». Тамъ вамъ смѣшно, забавно, и ничего болѣе. Здѣсь-же вы возмущаетесь на каждомъ шагу самымъ безцеремоннымъ извращеніемъ истины, самымъ нахальнымъ называніемъ бѣлаго чернымъ и наоборотъ, самымъ недобросовѣстнымъ и (будемъ мягки) не «гражданскимъ» отношеніемъ къ явленіямъ современной жизни, къ вопросамъ, волнующимъ русское общество. Роль «Русскаго Вѣстника» купно съ «Московскими Вѣдомостями» въ охранительной партіи имѣетъ вообще чрезвычайно много сходства съ положеніемъ Касаньяковъ въ бонапартисткой. Русскіе коллеги почтенныхъ редакторовъ газеты «Pays» стараются во всемъ походить на свой французскій образецъ и должно отдать справедливость, въ совершенствѣ переняли образъ дѣйствія Касаньяковъ. Аналогія до того поразительна, что даже отношеніе русской публики къ своимъ доморощеннымъ Касаньякамъ вполнѣ схоже съ отношеніемъ французской газетной публики къ настоящимъ представителямъ этого типа писакъ.

Мы кончили нашъ обзоръ періодической печати, мы разсмотрѣли главнѣйшіе органы русской мысли. Надѣемся, въ теченіи этого обзора, читатели могли убѣдиться, что именно реально-идеалистическое направленіе характеризуетъ наше время, составляетъ его отличительный признакъ. Но одно простое констатированіе истинности нашего предположенія не можетъ насъ удовлетворить. Мы вѣдь только убѣдились въ существованіи извѣстнаго факта и ничего больше. Мы ничуть

еще не доказали, что должны рабски подчиниться общему характеру современнаго общества, мы не доказали *законность* идеально-реалистическаго направленія, мы очень мало выяснили его права на сочувствіе интеллигентныхъ людей. Общественное мнѣніе и общественныя направленія не всегда безупречны, не всегда стоятъ на настоящей почвѣ. Внимательное изученіе теченія исторической жизни народовъ насъ убѣждаетъ въ томъ, что заблужденіе не есть свойство однихъ только единичныхъ личностей; нерѣдко цѣлые огромныя общества, цѣлые народы могутъ ошибаться самымъ непростительнымъ образомъ. Развѣ намъ слѣдуетъ извинить Варфоломеевскую ночь только за то, что въ этомъ злодѣяніи участвовалъ весь Парижъ? Развѣ мы должны сочувствовать квасному нѣмецкому патріотизму только потому, что вся Германія имъ охвачена? Развѣ намъ слѣдуетъ раздѣлять негодованіе Англійскаго общества начала этого столѣтія противъ «безнравственности» Байрона? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Наши симпатіи, наше влеченіе должны быть всегда на сторонѣ безпристрастной истины, а тамъ кто ее высказываетъ, одинъ-ли человѣкъ или цѣлыхъ сто, это для насъ абсолютно все равно. Слѣдовательно, желая своимъ трудомъ дать образчикъ отношенія реальной-идеалистической критики къ современнымъ литературнымъ дѣятелямъ, мы должны сначала показать жизненность этого направленія, показать законность его притязаній не пройти незамѣченнымъ въ массѣ общественныхъ вѣяній, когда-либо русскій народъ обуревавшихъ. Мы должны представить свое profession de foi, мотивированное какими-нибудь философскими или этическими принципами.

Среди своихъ многочисленныхъ боговъ и богинь, среди олицетворенія всѣхъ силъ и явленій природы, древніе греки имѣли одно божество, которое совершенно не походило на остальныя и составляло довольно загадочное исключеніе изъ антропоморфическаго характера древнегреческой миѳологіи. Божеству этому были подчинены всѣ боги и даже самъ великій громовержецъ Зевсъ не ускользалъ изъ подъ его власти и руководствовался его велѣніями. Грозное и могучее существо, обладавшее такою огромною силою не олицетворялось въ

человѣческомъ образѣ, не одарялось человѣческими страстями и стремленіями. Оно было безформенно, неосязаемо, мотивы его были неподчинены человѣческой логикѣ. Это всесильное и таинственное божество называлось судьбою, рокомъ, *ананке* по гречески. Видя въ обыденной повседневной жизни нерѣдкіе случаи торжества порока и гибель праведныхъ, греки никакъ не хотѣли приписать подобное неморальное явленіе своимъ богамъ, въ большинствѣ случаевъ воплощенію совершенства и справедливости. Конкретное міросозерцаніе древняго эллина отступаетъ въ данномъ случаѣ отъ своего обычнаго характера и создаетъ неоформленное слѣпое божество, по капризу котораго все во вселенной совершается; не исключаются изъ района его владычества даже обитатели Олимпа. Никто изъ смертныхъ не можетъ понимать дѣйствій ананке и въ этомъ его значеніе. Введя подобный съ перваго взгляда нераціональной элементъ въ свою довольно складную миѳологію, тонко-чувствующій и развитой сынъ Эллады, въ сущности поступилъ очень обдуманно. Подобнымъ образомъ онъ разъ на всегда положилъ конецъ своимъ нравственнымъ мученіямъ при видѣ несправедливостей, остающихся ненаказуемыми. Отсутствіе всякаго смысла вѣдь тоже иногда имѣетъ свой смыслъ. Ананке слѣпа и дѣлу конецъ. Она дѣйствуетъ по произволу, разгадать который никто не въ состояніи, а потому и не должно стараться человѣческою логикою оправдать поступки, совершаемые высшимъ существомъ.

Христіанство изгнало изъ своей догматики слѣпую, капризную судьбу и замѣнило ее принципомъ вѣчной справедливости, которая если и не всегда проявляется на землѣ, то за то всегда имѣетъ мѣсто въ загробной жизни. Подобное вѣрованіе не помѣшало, однакоже, грубымъ и матеріальнымъ среднимъ вѣкамъ удариться въ самый непросвѣщенный фатализмъ, далеко не носившій философскаго характера древнегреческой ананке. Что касается образованныхъ людей среднихъ вѣковъ, ученыхъ, то они отказались отъ попытокъ подвести міровыя явленія подъ какой-нибудь общій законъ и не тратили своего времени на отыскиваніе такой законности.

Среднія вѣка составляютъ одно такое сплошное явленіе несправедливости и попиранія самыхъ элементарныхъ основъ осмысленнаго существованія, что скорѣе ненормальнымъ являлось всякое проявленіе истины и справедливости. Въ вѣка поголовнаго обмана, честность близко граничила съ тѣмъ, что нѣмцы называютъ Einfältigkeit и наивенъ былъ всякій кто старался находить правду въ поступкахъ людей, надъ нею смѣявшихся и никакого уваженія къ ней не имѣвшихъ. Но вотъ мракъ среднихъ вѣковъ разсѣевается. Образованность вступаетъ въ свои права, а вмѣстѣ съ нею и идея справедливости. Все это мѣшаетъ просвѣщеннымъ людямъ удовлетвориться фатализмомъ прежняго времени. А между тѣмъ ничуть не умаляется количество дѣлъ, гдѣ попираются всякія правила добра и истины, ничуть не переводятся случаи, когда негодованіе есть единственное выраженіе нашихъ чувствъ. И вотъ почему на смѣну фатализму въ періодъ новой и новѣйшей исторіи является идеализмъ, наиболѣе проявившійся въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія. И для человѣка современной эпохи идеализмъ есть міросозерцаніе, имѣющее огромныя права на его сочувствіе и годное для удовлетворенія его духовныхъ потребностей, для смягченія душевной боли при безчисленныхъ случаяхъ проявленія элемента неправды.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ инымъ станетъ утѣшать себя человѣкъ реставраціонный эпохи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, когда онъ видитъ снова попранными права, кровью добытыя человѣчествомъ въ періодъ первой французской революціи, когда онъ вездѣ вокругъ себя видитъ мелкое себялюбіе и презираніе общественной пользы. Чѣмъ инымъ усмиритъ онъ свою тоску, какъ не твердою надеждою увидѣть современемъ все на своихъ мѣстахъ, какъ не твердымъ убѣжденіемъ въ живучести и будущей побѣдѣ своего идеала нормальнаго государства. Чѣмъ инымъ станетъ утѣшать себя республиканецъ, изгнанный государственнымъ переворотомъ втораго декабря, какъ не твердою вѣрою, что истина возьметъ свое, что рано или поздно, но спадетъ съ глазъ ею согражданъ

покровъ, ловко накинутый дерзкимъ авантюристомъ и они убѣдятся, что развитымъ и образованнымъ людямъ можно и должно жить только по законамъ, выработаннымъ на идеѣ торжества справедливости и раціональности. Какое иное міросозерцаніе кромѣ идеальнаго даетъ нравственную опору человѣку, который не разсматриваетъ успѣхъ какъ мѣрило правдивости и потому можетъ только съ омерзѣніемъ и отвращеніемъ смотрѣть на поклоненіе современной намъ эпохи желѣзной философіи Бисмарка, только потому не побиваемаго каменьями, что слѣпая судьба дала опору его несправедливымъ стремленіямъ и что большинство людей настолько матеріально, что могутъ истину сдѣлать только служительницею своихъ интересовъ, но никакъ не подчинить свое матеріальное положеніе требованіямъ истины. Какое другое возрѣніе кромѣ идеальнаго приходится усвоить лотарингцу или эльзасцу, когда онъ въ одно прекрасное утро видитъ себя отторгнутымъ отъ страны, всецѣло поглощавшей его симпатіи, отъ страны, въ пріобрѣтеніи свободы для которой онъ жертвовалъ своимъ достояніемъ и жизнью, въ чьей цивилизаціи онъ участвуетъ и въ ней такой-же неотторжимый элементъ составляетъ, какъ всякій коренной французъ изъ центра Франціи. Чѣмъ другимъ долженъ былъ успокоить боль души своей итальянецъ пятидесятыхъ годовъ при видѣ того, какъ прекрасную родину его терзаютъ разные пришельцы и непришельцы, которые, однакоже, въ своей отчужденности отъ общихъ интересовъ страны были для нея не менѣе далеки. Что должно было удерживать отъ отчаянія Гарибальди или Мадзини при видѣ долголѣтней невозможности своей помочь горю родной страны, вывести ее изъ плачевнаго состоянія, поставить на настоящую ногу внутреннаго благоустройства и національной независимости, смыть раны, зіяющія на окровавленномъ тѣлѣ Италіи. Только къ одному идеализму могъ присоединиться венеціанецъ, когда его сажали въ смрадную австрійскую тюрьму единственно за то, что въ вѣкъ еще полнаго владычества и поклоненія грубой силѣ онъ вздумалъ руководиться болѣе возвышенными принципами.

Какое другое міросозерцаніе, наконецъ, болѣе подходитъ къ гражданамъ тѣхъ государствъ, гдѣ образованность уже достигла степени, когда страна нуждается въ регламентаціи по примѣру другихъ образованныхъ націй, когда она нуждается въ разумномъ устройствѣ, которое соотвѣтствовало-бы истиннымъ нуждамъ страны, которое регулировало-бы гнетъ разныхъ ненормальныхъ общественныхъ институтовъ, которое не давало-бы возможности процвѣтать цѣлому легіону разныхъ двусмысленныхъ личностей, давящихъ и сокъ высасывающихъ изъ своего народа, которое клеймило-бы наказаніемъ и общественнымъ презрѣніемъ лицъ, забывшихъ вѣру въ какіе либо идеалы добра и истины и потому поставившихъ единственнымъ мотивомъ своихъ поступковъ личныя, своекорыстныя цѣли. Чѣмъ другимъ, спрашиваемъ мы, какъ не идеализмомъ будетъ руководствоваться гражданинъ вышеописанной страны когда въ награду за протестъ противъ ненормальнаго и неморальнаго порядка вещей, на него смотрятъ очень и очень не дружелюбно, а подъ часъ, когда его протестъ выразится въ болѣе рѣзкихъ проявленіяхъ, и совсѣмъ не благосклонно къ этому относятся.... И человѣкъ, не столько энергичный, чтобы мысленный протестъ его выразился-бы какимъ нибудь вещественнымъ образомъ, находитъ опору своему тоскливому настроенію въ идеализмѣ. Въ вѣчныхъ созданіяхъ искуства, онъ наталкивается на тотъ идеальный міръ чистой красоты и совершенства, который никогда въ сѣренькой пошлости обыденной жизни не встрѣтитъ. Тутъ онъ попадаетъ въ область, гдѣ всякое его справедливое требованіе не остается безъ удовлетворенія, въ область, гдѣ нѣтъ корыстныхъ разсчетовъ, гдѣ единственнымъ мотивомъ являются прекрасныя и чистыя цѣли. Во времена общественной приниженности, общественной неурядицы, отъ общества не зависящей, искуства и вообще художества находятся въ бо́льшемъ процвѣтаніи, потому именно, что большинство развитыхъ людей находитъ въ нихъ отдохновеніе отъ грустныхъ думъ и примиреніе со своими высшими требованіями. Вотъ отъ чего какъ нельзя болѣе естественною является интеллигенція сороковыхъ годовъ,

мотратившая всѣлучшія силы свои, весь запасъ природныхъ дарованій на воспроизведеніе въ художествѣ душевной боли своей; стонъ своего наболѣвшаго сердца. Поэзія, да поэзія; была необходима нашимъ «отцамъ», иначе они бы унизились до участія въ разныхъ несправедливостяхъ, до забвенія истиннаго понятія о человѣческомъ достоинствѣ и требованіяхъ осмысленнаго человѣческаго существованія.....

Мы изложили права идеализма на наше сочувствіе. Мы показали законность его владычества въ сороковыхъ годахъ. Этимъ мы все-же не желаемъ сказать, чтобы вполнѣ раздѣляли русскій идеализмъ прежней эпохи. Дѣло въ томъ, что какъ еще Наполеонъ сказалъ «du sublime au ridicule n'est qu'un pas.» Идеализмъ сороковыхъ годовъ ударился въ крайность. Онъ говорилъ, что въ искуствѣ не должно быть ничего «грязнаго». Только одно возвышенное и прекрасное. Совершено забыли ту элементарную мысль, что въ описаніи хотя-бы Гоголевскаго Акакія Акакіевича лежитъ столько-же любви къ человѣчеству и самой возвышенной гуманности, сколько въ описаніи томленія какого нибудь изящнаго джентльмена à la Райскій. «Эстетики» наши не сообразили, что требованіе ихъ объ изгнаніи изъ области искуства «грязнаго» тогда бы имѣло смыслъ, и являлось-бы законнымъ, если-бы жизнь была на столько прекрасно устроена, что зло, понимаемое въ обширномъ смыслѣ несовершенства, въ ней являлось-бы исключеніемъ. Тогда, пожалуй, незачѣмъ вводить случайный патологическій элементъ въ литературу. Но когда на самомъ то дѣлѣ оно совсѣмъ не такъ розово на свѣтѣ и скорѣе добро является спорадическимъ, то смѣшно и нелѣпо изгонять изъ области художественныхъ произведеній требованія дѣйствительной жизни и созидать себѣ какой-то небывалый міръ, гдѣ ничего не возмущаетъ спокойствіе вашего духа, гдѣ вы передаетесь самообману, нелѣпѣйшему самообольщенію, годному для маленькихъ дѣтей, но никакъ не для взрослыхъ людей. Въ этой фазѣ своего развитія русскій идеализмъ дошелъ до принципа искуства для искуства, до оправданія безъидейности ради прекрасной формы. Не удивительно, что эксцессы, подобные вышесказаннымъ, про-

извели рэакцію, которая получила страшное подкрѣпленіе въ критицизмѣ, овладѣвшемъ русскимъ обществомъ, когда крымская компанія, показала всю ненормальность множества основаній прежняго общественнаго устройства.

Реализмъ, реальное направленіе явились на смѣну идеальному. Оно поставило основою своего міросозерцанія *реальныя* нужды человѣчества, требованія его, вытекающія изъ реальныхъ, физіологическихъ потребностей человѣка. Искуство, какъ не физіологически необходимое для организма, отвергалось и было поставлено на степень забавы.

«Природа—мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ,—съ этою мыслью я готовъ согласиться», говоритъ Писаревъ разбирая «Отцевъ и Дѣтей»; но, развивая эту мысль дальше, я никакъ не прихожу къ тѣмъ результатамъ, къ которымъ приходитъ Базаровъ. Работнику надо отдыхать, и отдыхъ не можетъ ограничиться однимъ тяжелымъ сномъ послѣ утомительнаго труда. Человѣку необходимо освѣжаться пріятными впечатлѣніями, и жизнь безъ пріятныхъ впечатлѣній, даже при удовлетвореніи всѣмъ насущнымъ потребностямъ, превращается въ невыносимое страданіе. Послѣдовательные матеріалисты, въ родѣ Карла Фохта, Малешота и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ употребленіи наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно даже на нарушеніе должной мѣры, хотя признаютъ подобныя нарушенія вредными для здоровья. Если бы работникъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы въ свободные часы лежать на спинѣ и глазѣть на стѣны и потолокъ своей мастерской то тѣмъ болѣе всякій здравомыслящій человѣкъ сказалъ-бы ему: глазѣй, любезный другъ, глазѣй сколько душѣ угодно; здоровью твоему это не повредитъ, а въ рабочее время ты глазѣть не будешь, чтобы не надѣлать промаховъ *Отчего-же, допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не допустить наслажденія красотою природы, мягкимъ воздухомъ, свѣжею зеленью, нѣжными переливами красокъ.*»

Какъ видите искуство разсматривается исключительно

какъ десертъ послѣ обѣда, какъ праздничная чарка водки. Опять таки оно признавалось, если выражало какую нибудь мысль, которая при томъ тоже должна была быть реальною, а не выспреннею, не отъ міра сего. Какъ всегда бываетъ, послѣдователи, не обладающіе талантомъ основателя школы, доводятъ иное требованіе учителя до абсурда. Такъ и въ данномъ случаѣ, нѣкоторые близорукіе приверженцы реализма, свели даже реализмъ на узкую *практичность*. Одинъ критикъ выразился о беллетристикѣ «Дѣла», что цѣль иного многолистнаго романа, тамъ печатающагося состоитъ въ томъ, чтобы пропагандировать пользу сыроварень и ссудо-сберегательныхъ кассъ. Если идеализмъ увлекся, поставивъ принципъ искуства для искуства, то въ свою очередь реализмъ сталъ не на вполнѣ реальную почву, превратившись въ тенденціозность, сдѣлавъ беллетристику частнымъ случаемъ публицистики, дойдя въ своемъ протестѣ противъ искуства, въ протестѣ противъ рѣшающей важности формы почти до совершеннаго ея отрицанія, до низведенія художественности на степень лишней обузы, мѣшающей проведенію «здравыхъ» реальныхъ понятій. Критика «Русскаго Слова» признавала въ Некрасовѣ только гражданскій элементъ, она видѣла его значеніе только въ обличительномъ тонѣ его произведеній, она цѣнила въ немъ писателя, въ сжатой и энергической формѣ своего стиха умѣющаго такъ-же хорошо выражать свою «скорбь» объ современномъ порядкѣ дѣлъ, какъ иной на многихъ страницахъ публицистической статьи. Подобный ярый реализмъ, въ своемъ увлеченіи зашедшій до отрицанія Пушкина и Лермонтова, не могъ долго продолжаться. Онъ долженъ былъ уступить мѣсто направленію, которое, сбросивъ съ себя пошлый покровъ «золотой середины», все-же проникло сознаніемъ, что истина выйдетъ изъ сочетанія двухъ крайнихъ направленій, изъ отыскиванія хорошихъ сторонъ и здѣсь и тамъ. Новое направленіе поняло, что реализмъ имѣетъ громадныя права на существованіе тѣмъ, что построенъ огромною частью своего зданія на фундаментѣ дѣйствительныхъ требованій, на жизненности своихъ притязаній. Выражаясь наглядно, реализмъ есть кирпичный остовъ

дома, совершенно еще неотдѣланнаго, безъ крыши, безъ оконъ, безъ дверей. Согласитесь однакоже, что въ такомъ домѣ еще нельзя жить. Дѣйствительно, кирпичный остовъ есть главная часть будущаго зданія, но безъ отдѣлки, безъ окраски, оно не можетъ служить человѣческимъ жилищемъ. Идеализмъ есть именно то нѣчто, что суровое основаніе зданія превращаетъ въ пріятное помѣщеніе для человѣка, такъ созданнаго, что онъ однимъ необходимымъ никакъ не можетъ довольствоваться. Одни звѣри удовлетворяются необходимымъ, сказалъ какой то нѣмецкій философъ и вотъ почему безъ идеализма можно существовать только въ физіологическомъ смыслѣ. Наиболѣе искренніе представители чистаго реализма, сами того не сознавая, имѣли много глубоко-идеальныхъ сторонъ. Развѣ Писаревъ не сочувствовалъ глубоко Рудину, умирающему на баррикадахъ? Развѣ въ горячихъ, прочувствованныхъ, прямо отъ души вылившихся статьяхъ его не скрывалась благородная рѣшимость пожертвовать всѣмъ для приведенія въ дѣйствіе своей идеи? Все это есть идеализмъ и притомъ самый возвышенный.....

Надѣемся, мы достаточно распространились, чтобы читатель могъ понять характеръ нашего труда, его направленіе. Онъ можетъ видѣть, что мы желаемъ дать оцѣнку современнымъ писателямъ съ реально-идеалистической точки зрѣнія и оттого разборъ многихъ давно уже разобранныхъ произведеній не явится анахронизмомъ и пережевываніемъ стараго. Большинство нашихъ писателей подверглось либо заоблачно-идеалистической критикѣ, либо строго-реальной прошедшаго десятилѣтія. Одни критики обращали свое преимущественное вниманіе на *общественность* выведенныхъ типовъ, другіе совершенно не обращали на это вниманіе. Эклектической, вполнѣ безпристрастной критикѣ почти никто изъ современныхъ литераторовъ не подвергался и нашъ трудъ явится можетъ быть неудачной, но все-же первой попыткой въ этомъ родѣ. Авторъ настоящаго труда не имѣетъ никакихъ корней ни въ сороковыхъ ни въ шестидесятыхъ годахъ и поэтому къ обѣимъ эпохамъ можетъ отнестись одинаково объективно. Міросозерцаніе его

есть вполнѣ продуктъ послѣдняго времени и онъ не безъ основанія можетъ считать свои мысли нѣкоторымъ выраженіемъ современнаго направленія русской общественной мысли.

Что касается того, насколько это «*нѣкоторое*» будетъ простираться, покажетъ отношеніе читающей публики къ нашему труду. Въ ожиданіи этого, мы начинаемъ рядъ критико-біографическихъ этюдовъ, біографическихъ потому сдѣланныхъ, чтобы дать нашей читающей публикѣ понятіе о субъективномъ настроеніи ея выдающихся личностей. Послѣднее не должно показаться страннымъ въ виду упомянутаго нами въ началѣ нашего труда положенія о томъ, что субъективность выдающейся личности не представляетъ единичный, спеціально къ одному лицу примѣнимый интересъ. Нѣтъ, всякій выдающійся человѣкъ, какъ дитя своего времени намъ важенъ тѣмъ, что даетъ матеріалъ для очерка физіономіи цѣлаго общества, въ кругу котораго замѣчательная личность вращается и дѣйствуетъ. Какъ неособенно труднымъ является палеонтологу по одной даже кости составить себѣ понятіе о цѣломъ животномъ, такъ и у историка предстанетъ предъ глазами картина цѣлаго общества, если онъ познакомится съ характеризующими его лицами. Соціальный организмъ, не менѣе животнаго, построенъ на раціональныхъ основаніяхъ и все въ немъ также строго соразмѣрено; также строго логически одно обусловливаетъ существованіе другого.

Субъективныя черты мы будемъ сообщать только общеинтересныя и притомъ такія, которыя не составляютъ дорогое каждому личное достояніе его внутренняго міра, куда никто не имѣетъ право нахально врываться.

Мы начинаемъ рядъ своихъ этюдовъ съ Тургенева, какъ писателя, подвергавшагося критикѣ трехъ эпохъ, критикѣ Бѣлинскаго, Дружинина, Добролюбова и Писарева. Каждый изъ названныхъ критиковъ комментировалъ Тургенева въ современной имъ фазѣ общественнаго направленія и развитія Тургеневскаго таланта. Слѣдовательно эклектическая, примиряющая критика болѣе всѣхъ нужна автору «Записокъ Охотника» и «Дыма».

Если значительную часть предлагаемаго труда займетъ критика «Повѣстей» Тургенева, «Рудина», «Дворянскаго Гнѣзда» «Аси» «Наканунѣ», съ критиками на которыя читающая публика познакомилась уже въ сочиненіяхъ Добролюбова, Писарева и др., то за то, здѣсь въ первый разъ появляется разборъ стихотвореній Тургенева. Подробный разборъ «Записокъ Охотника», при всей ихъ извѣстности, тоже явится въ нашемъ трудѣ въ первый разъ. При разсмотрѣніи «Отцевъ и Дѣтей» мы пользовались матеріаломъ, не бывшимъ еще въ рукахъ рецензентовъ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Критико-біографическій этюдъ.

I.

Il faut que le poète, épris d'ombre et d'azur
Esprit doux et splendide, au rayonnement pur
Qui marche devant tous, éclairant ceux qui doutent
Chanteur mystérieux qu'en tressaillant écoute
Les femmes, les songeurs, les sages, les amants
Devienne formidable à des certains moments.
Parfois, lorsqu'on se met à rêver sur son livre,
Où tout berce, éblouit, calme, caresse, enivre,
Où l'âme, à chaque pas, trouve à faire son miel
Où les coins les plus noirs ont des lueurs du ciel;
Au milieu de cette humble et haute poésie,
Dans cette paix sacrée où croit la fleur choisie,
Où l'on entend couler les sources et les pleurs,
Où les strophes, oiseaux, peints de mille couleurs,
Volent chantant l'amour, l'espérance et la joie
Il faut que, par instants, on frissone, et qu'on voie
Tout à coup, sombre, grave, et terrible au passant,
Un vers fauve sortir de l'ombre en rugissant!
Il faut que poète, aux semences fécondes,
Soit comme ces forêts vertes, fraîches, profondes,
Plein de chants, amour du vent et du rayon,
Charmantes, où soudain l'on rencontre un lion.

Victor Hugo, Contemplations.

Каждый вѣкъ изъ пройденной человѣчествомъ исторической жизни имѣетъ свою характерную нравственную физіономію, свои специфическіе признаки, ставящіе рѣзкое отличіе и проводящіе отчетливую границу между слѣдующими другъ за другомъ столѣтними промежутками. Отличіе это можно прослѣдить какъ въ государственныхъ дѣлахъ, такъ и въ строѣ обыденной жизни, а точно также въ литературѣ, которая вѣдь есть ничто иное, какъ отраженіе нравовъ, обычаевъ, понятій

и идеалъ того общества, гдѣ она зарождается и выраженіемъ котораго служитъ. Поэтому, если каждому вѣку можно придать эпитетъ, всего типичнѣе и яснѣе выражающій его внутреннія качества, то тоже самое съ незначительными измѣненіями должно имѣть мѣсто и относительно литературы данной эпохи. Такъ напр. XVI и XVII столѣтія нашей эры можно назвать вѣками рожденія новаго времени, его младенчествомъ. Въ продолженіи ихъ человѣчество, забывъ чрезъ долгую ночь десяти среднихъ вѣковъ то, что древній міръ давно уже выработалъ, снова начинаетъ трудиться, чтобы дойти до сознанія истинъ, великихъ для своего времени, но элементарныхъ для Грековъ и Римлянъ, а тѣмъ болѣе для позднѣйшихъ поколѣній. XVIII вѣкъ—это юношескій возрастъ современной эпохи, время броженія молодыхъ силъ и подготовленія къ возмужалости. Человѣчество отбрасываетъ свои младенческіе идеалы, замѣняя ихъ зрѣлыми принципами, въ полной силѣ и ясности выступающими въ цвѣтущей порѣ молодости новаго времени — въ XIX столѣтіи.

Но тутъ характеръ прогрессивнаго движенія значительно видоизмѣняется. Прежде, когда дѣло шло о выработкѣ общихъ принциповъ разумнаго человѣческаго бытія, люди шли вмѣстѣ, не обращая вниманія на разнородность своихъ элементовъ. Германія XVI столѣтія какъ одинъ человѣкъ ополчилась, чтобы сбросить съ себя иго римской куріи. Тутъ завоевывалось право свободной религіозной мысли, въ одинаковой степени важное какъ для короля такъ и для крестьянина. По этому все соединилось, чтобы общими силами достигнуть того, чего не могло совершить каждое сословіе, дѣйствуя по одиночкѣ. Но съ теченіемъ исторической жизни союзъ сословій мало по малу разрушается, все чаще и чаще выдвигаются вопросы, гдѣ интересы разныхъ общественныхъ классовъ сталкиваются, прежнее единодушіе исчезаетъ и въ концѣ XVIII столѣтія мы, въ періодѣ первой французской революціи, видимъ народонаселеніе Франціи раздѣленное на два большихъ лагеря: привиллегированный и непривиллегированный. Послѣдняя категорія, забывая, что въ свою очередь распадается на весьма

различные элементы, именуетъ себя общимъ именемъ «третьяго сословія». Все это дѣлается въ виду общей опасности, угрожающей одинаковымъ образомъ всѣмъ составнымъ частямъ «tiers état». Но разъ эта опасность прошла, разъ общіе принципы свободы окрѣпли, — изъ нѣдръ третьяго сословія выдвигается четвертое, громко заявляя права на отдѣльное существованіе. Всего рѣзче разладъ сословій обрисовывается въ наше время и такъ какъ мы не имѣемъ еще права предъугадывать появленіе въ скоромъ времени пятаго сословія, то и можемъ не безъ основанія назвать вѣкъ, въ которомъ живемъ—вѣкомъ партій par préférence. Истина эта вполнѣ очевидна особенно при взглядѣ на современную Францію, гдѣ партіонная вражда достигаетъ крайнихъ предѣловъ, гдѣ вполнѣ примѣнима поговорка о людяхъ, имѣющихъ глаза, чтобы ничего не видѣть (кромѣ своей партіи) и уши, чтобы ничего не слышать.

Вполнѣ аналогичные и параллельные фазисы мы встрѣчаемъ и въ литературѣ. Писатели шестнадцатаго и семнадцатаго столѣтій разрабатываютъ темы и тенденціи, болѣе или менѣе [illegible]душѣ всѣмъ партіямъ. Шекспиръ въ XVII вѣкѣ беретъ [illegible]ою своихъ драмъ и трагедій общечеловѣческія страсти властолюбія, ревности, неблагодарности, корыстолюбія, національной и религіозной вражды. Расинъ, Корнель удаляются въ глубокую древность и этимъ однимъ уже лишаютъ свои произведенія какого бы то ни было партіоннаго оттѣнка. И въ области философіи Декартъ, Спиноза, Лейбницъ въ одинаковой степени признаются всѣми образованными людьми. Но уже въ восемнадцатомъ столѣтіи Вольтеръ и энциклопедисты удовлетворяютъ только демократическую Францію, а въ девятнадцатомъ всякая партія имѣетъ, не говоря уже о философахъ и публицистахъ, своихъ романистовъ, драматурговъ и вообще писателей, которые художественными образами проповѣдываютъ тѣ-же идеи, что ихъ политическіе единомышленники провозглашаютъ съ парламентской трибуны или въ публицистическихъ статьяхъ политическихъ журналовъ и газетъ.

Становясь исключительнымъ органомъ партіи, литература теряетъ чутье истины и создаетъ рядъ фальшивыхъ произ-

веденій; оказывающихъ лишь очень мимолетную услугу даже своей партіи. Такая литература, кромѣ своихъ единомышленниковъ, не встрѣчаетъ себѣ поклонниковъ и, даже при несомнѣнной талантливости, часто весьма справедливо отрицается. Читатель не долженъ, однакоже, заключать изъ вышесказаннаго, что мы стоимъ за безпечальное искуство для искуства, закрывающее глаза на разныя анормальныя жизненныя явленія и этимъ самымъ становящееся тенденціознымъ. Нѣтъ! Времена чистаго искуства давно прошли, да и не были долго при власти. Мы только изгоняемъ изъ области искуства тенденцію, такъ какъ послѣдняя противорѣчитъ требованіямъ реальной правды. Мы допускаемъ тенденцію, но основанную на дѣйствительности и построенную не на ходуляхъ, а на жизненности своихъ притязаній: тогда она перестаетъ быть тенденціею и превращается въ разумное требованіе. Истинный художникъ-беллетристъ долженъ намъ давать извѣстнаго рода типы, взятые изъ дѣйствительной жизни. Все его умѣнье, весь его талантъ долженъ уйти на то, чтобы выставить данный характеръ во всей его полнотѣ. А тамъ хорошъ-ли герой, не хорошъ-ли онъ — это уже дѣло вкуса и всякому читателю должно предоставляться самому выводить разныя заключенія по прочтеніи извѣстнаго беллетристическаго произведенія и наклеивать лицамъ, въ немъ выводимымъ, разные одобрительные или неодобрительные ярлыки. По этому мы держимся того мнѣнія, что писатель, произведенія котораго возбуждаютъ въ людяхъ одного и того-же класса, одного и того-же образованія разныя чувства и неодинаковое толкованіе поступковъ дѣйствующихъ лицъ, долженъ обладать сильнымъ талантомъ и притомъ не тенденціознымъ. Да и понятно отчего. Вѣдь въ дѣйствительной жизни поступки одного и того-же человѣка всегда встрѣчаютъ разнорѣчивое истолкованіе. Значитъ и книжный герой, если онъ дѣйствительно живое лицо, долженъ разно пониматься. Обязанность писателя быть объективнымъ и не принуждать читателя къ тому-же самому мнѣнію, которое имѣетъ о какомъ нибудь своемъ героѣ самъ авторъ. Онъ долженъ непосредственною силою одного лишь яснаго, отчетливаго представленія

дать возможность читателю обсуждать книжнаго героя такимъ-же точно образомъ, какъ если-бы онъ того-же героя встрѣтилъ въ дѣйствительной жизни.

Доказательствъ нашей мысли мы можемъ привести множество. Чтобы далеко не ходить за примѣромъ, возьмемъ русскую литературу послѣднихъ двадцати лѣтъ. Какія произведенія новѣйшаго времени наиболѣе возбудили разнорѣчивыя толкованія, какъ со стороны критики, такъ и со стороны всей читающей публики вообще? «Обыкновенная Исторія» «Обломовъ», драмы Островскаго, повѣсти Тургенева. За всѣми ими, однакоже, какъ приверженцами, такъ и антагонистами признанъ чрезвычайно сильный талантъ. Драмы Островскаго положительно создали спеціальную литературу. Критики разныхъ лагерей, только на основаніи матеріала, даннаго даровитымъ драматургомъ, приписывали послѣднему различныя тенденціи и неудивительно, что, благодаря объективности Островскаго, критики даже одного и того-же направленія радикально разошлись въ пониманіи однихъ и тѣхъ-же типовъ. Такъ напр. славянофильская критика распалась на два лагеря: одинъ видѣлъ въ драмахъ Островскаго карикатуру на народную русскую жизнь, основанную на первенствѣ главы семейства. Въ увлеченіи ложнымъ національнымъ чувствомъ эти критики совершенно невѣрно и произвольно смѣшали такія разнородныя понятія, какъ московское купечество и русскій народъ, принципы «Домостроя» и народное міросозерцаніе. Другіе славянофильскіе критики, принадлежащіе къ категоріи «проницательныхъ», прозрѣли въ Любимѣ Торцовѣ протестъ противъ «гнилаго» Запада и видѣли въ немъ идеалъ Островскаго о русскомъ человѣкѣ. Передовая критика иначе поняла нашего драматурга, что и разъяснилъ Добролюбовъ въ своихъ капитальныхъ статьяхъ о «Темномъ Царствѣ». И съ повѣстями Тургенева случилось подобное. Объ нихъ тоже существуетъ большая литература, хотя и не столь богатая противорѣчіями, но ихъ въ ней достаточно, чтобы доказать справедливость нашего мнѣнія. Гончаровъ не менѣе предъидущихъ писателей былъ различно истолковываемъ, и еще недавно О. Ѳ. Миллеръ

въ своихъ чтеніяхъ о русской литературѣ послѣ-Гоголевскаго періода старался снять съ автора «Обыкновенной Исторіи» обвиненія на основаніи мнѣній, несправедливо ему приписываемыхъ и противорѣчащихъ его художническому объективизму.

Намъ могутъ возразить указаніемъ на Некрасова, который, обладая несомнѣнно большимъ талантомъ, служилъ и служитъ выраженіемъ лишь одной партіи и не возбуждаетъ никакихъ разнорѣчивыхъ толковъ. Но вѣдь мы-же и не утверждаемъ, что всякое талантливое произведеніе должно возбуждать различныя толкованія. Мы только говоримъ, что разнорѣчивые толки доказываютъ талантъ писателя. Понятно, что «Размышленіе у парадnаго подъѣзда» допускаетъ только одно толкованіе. Но въ чистой беллетристикѣ, безъ примѣси лирическаго элемента, всякій романъ, повѣсть или драма должны вызывать разныя сужденія. А разсуждаютъ только объ лицѣ жизненномъ. Никто не станетъ горячиться изъ за героевъ «Бѣсовъ». Слѣдовательно и книжный герой, возбуждающій разныя чувствованія въ людяхъ одного и того-же образованія, вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности. По этому честь и слава писателю, съумѣвшему такъ хорошо обставить героя, что заставилъ читателя забыть о томъ, что онъ имѣетъ дѣло лишь съ фикціею, съ художественнымъ субстратомъ конкретнаго лица.

Къ подобнымъ талантамъ относится беллетристъ, чья характеристика есть цѣль настоящаго этюда.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ принадлежитъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ писателей, литературная дѣятельность которыхъ возбуждаетъ симпатіи самыхъ разнообразныхъ слоевъ читающей публики. Всякій находитъ въ немъ что нибудь себѣ по душѣ, всякому любъ одинъ изъ его героевъ. Такъ называемые «либералы» (мы говоримъ объ русской публикѣ) цѣнятъ въ Тургеневѣ человѣка, одного изъ первыхъ въ русской литературѣ выставившаго въ рельефныхъ и привлекательныхъ чертахъ типы протестующаго меньшинства. Консерваторы высоко ставятъ Тургенева за его безподобный языкъ, сильно выработанную художественность и нѣкоторыя позднѣйшія произведенія, смыслъ которыхъ былъ ими истолкованъ въ духѣ,

совершенно противномъ намѣреніямъ автора. Наконецъ, огромное большинство читающей публики, удобно характеризуемой подъ именемъ «неразсуждающей», инстинктивно поддается чарующему дѣйствію Тургеневскихъ произведеній и искренно ими восхищаются. И не одни русскіе считаютъ Тургенева въ числѣ лучшихъ своихъ беллетристовъ. Переведенный почти на всѣ европейскіе языки, онъ повсюду имѣетъ самый огромный успѣхъ и возбуждаетъ самое лестное вниманіе. «Neue Freie Presse» называетъ его геніальнымъ, французы направо и налѣво расточаютъ ему эпитеты «celebre romancier» «ecrivain tant aimé» и т. п., англичане и американцы издаютъ полное до мелочей собраніе его сочиненій и приравниваютъ Теккерю. Даже венгерцы, столь ненавидѣщіе все русское, не могутъ себѣ отказать въ удовольствіи насладиться произведеніями одного изъ лучшихъ представителей нелюбимаго, вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ, народа.

Тургеневъ безспорно принадлежитъ къ числу тѣхъ русскихъ людей, которые болѣе всего способствовали тому, что Западъ насъ причислилъ къ семьѣ культурныхъ народовъ. Съ другой стороны, какъ одинъ изъ важнѣйшихъ представителей «западничества» въ русской литературѣ, онъ русскому обществу оказалъ громадную услугу, не давая ему увлекаться болѣзненнымъ славянфильстомъ и употребляя свой громадный талантъ на честное служеніе дѣлу прогрессу. Кто тамъ не называй Тургенева ретроградомъ, не приравнивай его Аскоченскому, онъ всегда останется лучшимъ представителемъ, искреннѣйшимъ поборникомъ русскаго поступательнаго движенія и будущій историкъ русскаго общества, желая быть добросовѣстнымъ и безпристрастнымъ, долженъ будетъ признать за нимъ значеніе, аналогичное таковому писателей «Молодой Германіи» у Нѣмцевъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Аналогію здѣсь слѣдуетъ понимать не въ томъ, конечно, смыслѣ, чтобы Тургеневъ проводилъ такія-же опредѣленныя политическія тенденціи, какъ Гейне или Гуцковъ. Этого нельзя было по «независящимъ» отъ автора причинамъ. Да кромѣ того, и жизнь то русская, въ особенности двадцатью годами раньше, не да-

вала возможности нетенденціозному беллетристу писать вещи съ политическою подкладкою. Сходство заключается тутъ лишь въ томъ, что какъ тѣ, такъ и нашъ романистъ выступили противъ разныхъ отжившихъ правилъ и анормальныхъ явленій общественной жизни. Положимъ, у Гейне, Бернэ, Гуцкова была грандіозная тенденція — единство ихъ родины; но вѣдь и Тургеневъ-же ополчился въ одномъ изъ лучшихъ, многіе говорятъ даже самомъ лучшемъ изъ своихъ сочиненій во имя не менѣе великой идеи — освобожденія крестьянъ! Если въ другихъ своихъ повѣстяхъ Тургеневъ и не проводилъ такихъ великихъ мыслей, какъ «Молодая Германія», то не нужно-же забывать, какъ мы это уже выше замѣтили, что у насъ и условія-то иныя были. Но какъ бы то ни было большія повѣсти Тургенева были первыми признаками пробужденія русской жизни отъ долгаго сна, возрожденія къ новому лучшему бытію. Обладая необыкновенно чуткимъ талантомъ, Тургеневъ внимательно слѣдитъ за движеніями русскаго общества и, разъ убѣдившись, что извѣстное движеніе не мимолетное, увѣковѣчиваетъ его въ одной изъ своихъ большихъ повѣстей, которыя для будущаго историка русской цивилизаціи послужатъ самымъ лучшимъ историческимъ источникомъ, вполнѣ вѣрно отрозившимъ характеръ эпохи.

Тургеневъ достоенъ вниманія за свои стихотворныя вещи, въ высшей степени замѣчателенъ за «Рудина», «Наканунѣ», «Дворянское Гнѣздо» и *велик за «Записки Охотника.»*

Если хронологически «Записки Охотника» писаны раньше большинства Тургеневскихъ вещей, а мы ихъ поставили выше всѣхъ, то изъ этого не слѣдуетъ еще заключать, что мы видимъ въ нихъ апогей творческаго таланта Тургенева. Вовсе нѣтъ! Мы называемъ ихъ великими и это разъяснится изъ дальнѣйшаго изложенія, оттого что къ нимъ примѣшался «*гражданскій*» элементъ, который опредѣляетъ ихъ великое значеніе въ русскомъ общественномъ сознаніи. Русскій народъ взятый въ совокупности т. е. съ почти сплошною сѣрой, сермяжною массою долженъ уважать въ Тургеневѣ творца «Записокъ Охотника», но образованное меньшинство, отдавъ дол-

жное «Запискамъ Охотника», не поставитъ ниже ихъ большія повѣсти Тургенева, ибо въ нихъ съ полною силою вылилось все его тонкое, художественное творчество,

Еще Бѣлинскимъ была высказана мысль, что Тургеневъ преимущественно физіологъ въ литературѣ, способенъ на физіологическіе очерки т. е. что онъ ограничивается передачею существующихъ типовъ въ поэтическихъ образахъ, является, слѣдовательно, лѣтописцемъ жизненныхъ явленій, ихъ фотографомъ. Бѣлинскій вывелъ свое заключеніе на основаніи первыхъ, почти юношескихъ произведеній Тургенева. Позднѣйшія сочиненія разбираемаго нами писателя показываютъ, однакоже, что мысль великаго критика была только отчасти вѣрна. Главное свойство Тургеневскаго таланта не есть фотографичность. Не есть тотъ *только* фотографъ, который помощью удачной постановки аппарата, съумѣетъ снять ясно и хорошо какой нибудь отдаленный пунктъ, едва видный на горизонтѣ, что безъ этого только смутно мелькалъ въ нашемъ сознаніи, не вызывая никакого опредѣленнаго представленія. Не есть тотъ только фотографъ, который удачной ретушировкой, удачнымъ подборомъ тѣней можетъ вамъ дать полное понятіе объ извѣстномъ лицѣ не хуже чѣмъ живописецъ, имѣющій въ своемъ распоряженіи цѣлый арсиналъ красокъ. Не есть, наконецъ, фотографъ тотъ, кто владѣетъ лучемъ свѣта, какъ живописецъ кистью, кто умѣетъ его направлять туда, гдѣ въ немъ есть бо́льшая надобность и кто этимъ кладетъ на фотографическій снимокъ свой индивидуальный оттѣнокъ. Тургеневъ, какъ мы уже выше замѣтили, чрезвычайно чутокъ ко всѣмъ движеніямъ въ русскомъ обществѣ и первый опредѣляетъ характеръ явленія, всѣми уже инстинктивно чувствуемаго, но въ которомъ все-же таки никто не можетъ себѣ дать полнаго отчета. Другая его особенность заключается въ томъ, что, стоя всегда на строго-реальной почвѣ и фотографируя, слѣдовательно, дѣйствительную жизнь, онъ все-же кладетъ свой личный отпечатокъ и своимъ симпатичнымъ, до нельзя увлекающимъ изложеніемъ налагаетъ румянецъ на блѣдный негативъ. Задушевная теплота, съ которою Турге-

невъ постоянно пишетъ, проглядываетъ изъ каждой его строчки и придаетъ необыкновенную прелесть всѣмъ его произведеніямъ. Нѣтъ онъ не фотографъ, онъ даровитый, вдохновенный художникъ! Это не Гончаровъ, которымъ вы восхищаетесь чистоголовнымъ путемъ, который не затрагиваетъ васъ заживо и оставляетъ въ читателѣ лишь холодное удивленіе техникѣ автора. Тургеневъ не доводитъ художническій объективизмъ до изгнанія изъ беллетристическаго произведенія личности автора. Если онъ и изгоняетъ изъ своихъ сочиненій лирическій элементъ, то, все таки, общая идея автора вамъ болѣе или менѣе выясняется и вы инстиктивно, хотя не всегда безошибочно, чувствуете, что къ такому-то лицу Тургеневъ имѣютъ симпатію, а къ такому нѣтъ.

Вслѣдствіе живости, воспріимчивости своего таланта, Тургеневъ является манометромъ и притомъ весьма чувствительнымъ, русской жизни. Всякое измѣненіе въ послѣдней сейчасъ-же на немъ отражается. Къ сожалѣнію, употребляя глаголы «являться» «отзываться» въ настоящемъ времени, мы нѣсколько уклоняемся отъ истины. Нашъ романистъ въ послѣдніе годы постоянно находится за границею и оттого чуждъ русской жизни. Талантъ его остался въ той-же степени блестящимъ и просвѣчиваетъ изъ каждой строчки тѣхъ мелкихъ вещицъ, которымъ онъ «даритъ» каждый годъ одинъ изъ толстыхъ журналовъ нашихъ. Толки, что «Тургеневъ исписался» и не способенъ на что нибудь «порядочное» были блестяще опровергнуты «Вешними Водами», за которыми всѣ признали необыкновенно-тонкую художественную отдѣлку, но, къ сожалѣнію, мало мысли. Значитъ Тургеневъ оттого ничего крупнаго не производитъ, что ему не достаетъ сюжета и онъ долженъ рыться въ старыхъ воспоминаніяхъ, достаточно уже исчерпанныхъ какъ другими писателями, такъ и имъ самымъ. А живи Тургеневъ въ Россіи, недостатку въ сюжетѣ, и сюжетѣ достойномъ его пера, не было-бы.

Если современное русское общество, современная русская жизнь и не представляютъ такого интереса, какъ въ переходное время пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, то все-

же таки немыслимо, чтобы бытіе восьмидесяти — милліоннаго народа не давало-бы возможности умному и тонкому наблюдателю найти интересные типы, само собою разумѣется помимо изъѣзженой вдоль и поперегъ области «отцевъ» и «дѣтей». Вѣдь Тургеневъ тѣмъ и отличается, что первый догадывался о появленіи неизвѣстнаго дотолѣ настроенія. «Записки Охотника» «Наканунѣ» «Ася» «Отцы и Дѣти» явились-же жаворонками, предвозвѣщавшими появленіе весны новаго времени и прекращеніе длинной зимы «доброй старой» эпохи сороковыхъ годовъ. Новый романъ Тургенева, о скоромъ появленіи котораго извѣщали лѣтомъ 1874 г. газеты, можетъ быть опять поразитъ русское общество формулированіемъ неяснаго типа, уже въ немъ находящагося въ эмбріональномъ состояніи, но не на столько ясно выраженнаго, чтобы быть очевиднымъ для всѣхъ. Свое предположеніе мы основываемъ на томъ обстоятельствѣ, что Тургеневъ рѣшился провести лѣто 1874 г. въ своемъ орловскомъ имѣніи, должно быть для провѣрки непосредственнымъ наблюденіемъ своихъ теоретическихъ взглядовъ на современную русскую жизнь. А наблюдать есть что: нашимъ даровитымъ беллетристомъ совершенно еще не затронуты земскіе дѣятели, новый судъ и вообще вся послѣ-реформенная Россія. Сюжетъ при всей его животрепещности удобный для воспроизведенія талантливымъ писателемъ въ характерныхъ, не тенденціозныхъ типахъ.

Самый лучшій способъ для вѣрнѣйшей оцѣнки значенія Тургенева, есть методъ критико-біографическій. Этимъ путемъ мы можемъ оцѣнить вліяніе различныхъ эпохъ на характеръ творчества Тургенева и вѣрнѣе понимать *общественную* важность его произведеній.

II.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ происходитъ, какъ и многіе изъ русскаго дворянства, отъ стараго рода, возводящаго свою генеалогію до времени существованія какъ самостоятельнаго государства Золотой Орды. Отецъ нашего романиста былъ полковникъ Сергѣй Николаевичъ Тургеневъ, женившійся въ десятыхъ годахъ текущаго столѣтія на богатой дворянкѣ Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Отъ этого брака и родился Иванъ Сергѣевичъ 28 октября 1818 года въ городѣ Орлѣ. Въ губерніи того-же имени Тургеневъ прожилъ первые годы дѣтства; она-же была мѣстомъ его «охотничьихъ» похожденій. Здѣсь, наконецъ, удалившись въ началѣ пятидесятыхъ годовъ изъ столицъ, онъ имѣлъ возможность наблюдать типы людей сороковыхъ годовъ, которые уже перевелись въ большихъ городахъ, центрахъ умственной жизни, но уцѣлѣли во всей своей неприкосновенности въ провинціальной глуши.

Младенческіе годы своей жизни Тургеневъ провелъ въ имѣніи, принадлежавшемъ его матери, Спаскомъ-Лутовиновѣ. Тутъ онъ получилъ «первоначальное» образованіе свое. Чтобы составить себѣ понятіе о послѣднемъ, мы должны припомнить характеръ той эпохи, когда это все происходило. Двѣнадцатый годъ произвелъ взрывъ патріотическихъ чувствъ въ русскомъ обществѣ, но взрывъ не продолжительный. Все вскорѣ приняло прежній видъ. По старому безгранично господствовало слѣпое поклоненіе иностранному и полнѣйшее игнорированіе отечественнаго. Не только въ столицахъ господствовали нравы, такъ хорошо очерченные графомъ Л. Н. Толстымъ въ его превосходномъ романѣ «Война и Миръ», но и провинціальное

барство, самымъ не европейскимъ образомъ дравшее своихъ крестьянъ, считало достойнымъ своего званія исключительно иностранное воспитаніе, и притомъ главнымъ образомъ, французское. «*Гнилой Западъ*» не былъ еще изобрѣтенъ въ двадцатыхъ годахъ и не нарушалъ покоя галломановъ-дворянъ. Одинъ только Пунинъ качалъ головой, приговаривая: «—Охъ дворянчики, дворянчики! полюбились вамъ иностранчики! Отъ россійскаго вы отклонилися, на чужое преклонилися, къ иноземцамъ обратилися.....». Чацкій только что успѣлъ проговорить въ первый разъ свои грозныя, обличительныя тирады и высказать соображенія на счетъ смѣси французскаго съ нижегородскимъ. До деревни, въ которой воспитывался Тургеневъ, тирады эти еще не проникли, да еслибы и проникли, то тоже не произвели-бы желаннаго дѣйствія. Значитъ не было никакого препятствія сдѣлать изъ россійскаго отрока Вани французскаго Monsieur Jean, зубрящаго на парижескомъ нарѣчіи свои «Devoirs de mythologie» и не знающаго что дѣлается вокругъ него. Уже съ двухлѣтняго возраста къ нашему россіянину были приставлены разные иностранные уроженцы, которымъ было вмѣнено въ обязанность выучить ихъ питомца говорить на различныхъ діалектахъ, или вѣрнѣе говоря, по нѣмецки и французски. Для русскаго языка къ мальчику никто не былъ «приставленъ». Основательное его знаніе считалось излишнею роскошью. Научиться ему онъ могъ, отдавая приказанія «своимъ людямъ» или играя съ крестьянскими мальчиками, имѣвшими назначеніемъ потѣшать барчука.

Читая со своими чужеземными гувернерами классическія произведенія французской и нѣмецкой литературы, молодой Тургеневъ не имѣлъ понятія о родной словесности. Первымъ человѣкомъ, указавшимъ ему, что вообще существуетъ русская литература, былъ каммердинеръ его матери — типъ людей простаго званія, почитывающихъ книжки. Обыкновенно такимъ субъектамъ нравится «высокое» и «божественное». Они въ своемъ развитіи переживаютъ тотъ періодъ, встрѣчаемый въ каждомъ первоначальномъ фазисѣ всякой литературы, когда поэзія считается чѣмъ то совсѣмъ особеннымъ отъ жизни, такъ

что поэзія есть вещь сама по себѣ, а жизнь также сама по себѣ. Въ послѣдней повѣсти своей «Пунинъ и Бабуринъ» Тургеневъ если и не со стенографическою точностью копируетъ своего перваго наставника по русской словесности, то во всякомъ случаѣ даетъ понятіе о подобнаго рода грамотныхъ простолюдинахъ.

«Пунинъ преимущественно придерживался стиховъ звонкихъ, многошумныхъ стиховъ; душу свою онъ готовъ былъ положить за нихъ! Онъ не читалъ, онъ выкрикивалъ ихъ торжественно, заливчато, закатисто, въ носъ, какъ опьянѣлый, какъ изступленный, какъ Пиѳія! И еще вотъ какая за нимъ водилась привычка: сперва прожужжитъ стихъ тихо, въ полголоса, какъ-бы бормоча..... Это онъ называлъ читать на черно; потомъ уже грянетъ тотъ-же самый стихъ на бѣло и вдругъ вскочитъ, задрожитъ..... Такимъ образомъ мы прошли съ нимъ не только Ломоносова, Сумарокова и Кантеміра (чѣмъ старѣе были стихи, тѣмъ больше они приходились Пунину по вкусу)—но даже «Россіаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россіада» меня въ особенности восхитила. Тамъ, между прочимъ, дѣйствуетъ одна мужественная татарка, великанша-героиня, теперь я самое имя ея позабылъ, а тогда у меня и руки и ноги холодѣли, какъ только оно упоминалось! — Да говаривалъ бывало Пунинъ, значительно кивая головой; «Херасковъ — тотъ спуску не даетъ; иной разъ такой выдвинетъ стишокъ—просто, зашибетъ..... Только держись!..... Ты его постигнуть желаешь, а уже онъ—вонъ гдѣ! И трубитъ, трубитъ, аки кимвалонъ! — За то ужъ и имя ему дано! Одно слово — Херрасковъ»! Ломоносова Пунинъ упрекалъ въ слишкомъ простомъ и вольномъ слогѣ, а къ Державину относился почти враждебно, говоря, что онъ болѣе царедворецъ, нежели піита».

Таково было приблизительно лице, возбудившее въ Тургеневѣ любовь къ русской литературѣ. Въ предъидущемъ отрывкѣ по отношенію къ истинѣ есть только одно маленькое уклоненіе. Первымъ объектомъ посредствомъ котораго Тургеневъ познакомился съ русскою словесностью были не Кантеміръ и не Ломоносовъ, а именно «Россіада», автору коей имя такое

хорошее и много-выразительное дано—Херрасковъ! Тяжелые, шестистопные ямбы поэмы не были еще въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія настолько анахроничными, чтобы отбить у молодаго Тургенева охоту дальнѣйшаго ознакомленія съ русской литературой. Вскорѣ его перевезли въ Москву, гдѣ ему была дана возможность познакомиться съ родными писателями подъ руководствомъ болѣе просвѣщенныхъ словесниковъ, чѣмъ каммердинеръ его матери, или по нашей выпискѣ—Пунинъ.

Тургенева свезли въ Москву въ 1830 году, т. е. на двѣнадцатомъ году его жизни. Его отдали въ частный пансіонъ Вейденгаммера. Въ гимназіи того времени, дворяне рѣдко поступали. Обыкновенно состоятельные люди отдавали своихъ дѣтей въ частные пансіоны, приготовлявшіе своихъ питомцевъ въ университетъ. У Вейденгаммера Тургеневъ не долго оставался. Онъ вскорѣ перешелъ въ пансіонъ директора Армянскаго Лазаревскаго Института—Краузе. Составъ учителей въ этомъ учебномъ заведеніи былъ очень порядочный и Иванъ Сергѣевичъ съ любовью упоминаетъ въ особенности о трехъ изъ нихъ, а именно: П. Н. Погорѣльскомъ, преподававшемъ математику; И. П. Клюшниковѣ, читавшемъ исторію и Д. Н. Дубенскомъ по русской словесности. Объ этихъ трехъ лицахъ Тургеневъ хранитъ благодарную память.

Французско-нижегородское воспитаніе, которое получали дворяне того времени имѣло одну хорошую сторону: оно давало основательное знаніе хотя одного иностраннаго языка. Тургеневъ зналъ ихъ, уѣзжая въ Москву, цѣлыхъ два. Онъ дома основательно изучилъ нѣмецкій и французскій языкъ. У Краузе онъ увеличилъ свои лингвистическія познанія еще англійскимъ языкомъ. Вообще новые языки чрезвычайно хорошо дались нашему беллетристу; онъ владѣетъ ими въ совершенствѣ и вполнѣ свободно на нихъ изъясняется устно и печатно. Нѣкоторыя повѣсти писаны имъ по нѣмецки; есть его оригинальныя вещи на французскомъ языкѣ, а нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ помѣщалъ критическія замѣтки въ лондонскомъ «Athenaeum'ѣ». Знаніе иностранныхъ языковъ не мало содѣйствовало тому, чтобы сдѣлать Тургенева «западникомъ». На

русскомъ языкѣ въ тридцатыхъ годахъ было очень мало дѣльныхъ книгъ по предметамъ, какъ общаго такъ и спеціальнаго образованія и человѣкъ, желавшій пріобрѣсть основательныя знанія по какой-бы то ни было отрасли наукъ, по необходимости былъ принужденъ обращаться къ иностраннымъ источникамъ, къ иностраннымъ сочиненіямъ. Для Тургенева это не представляло никакого затрудненія. Значитъ, онъ имѣлъ неограниченную возможность познакомиться съ произведеніями западной культуры. А вѣдь извѣстно, что нерасположеніе къ чему нибудь очень часто зависитъ отъ незнакомства съ извѣстнымъ предметомъ. И наоборотъ, мы становимся горячими поклонниками, знакомясь съ вещами, бывшими до того совершенно индеферентными для насъ, или даже непользовавшимися нашею симпатіею. Тургеневъ, отвѣдавшій, благодаря своему превосходному знанію иностранныхъ языковъ, плодовъ западной цивилизаціи, уже однимъ этимъ обстоятельствомъ имѣлъ много шансовъ сдѣлаться поклонникомъ западнаго строя жизни, впрочемъ ничуть не въ ущербъ сознанію и увѣренности въ русскихъ силахъ, а только съ желаніемъ привыть эти лучшія формы гражданственности къ родной странѣ. Въ послѣднемъ лежитъ различіе между Тургеневымъ и Остзейскимъ барономъ. И тотъ и этотъ недовольны Россіею. Но одинъ отрицаетъ у нея матеріалъ для созиданія лучшаго образа жизни, между тѣмъ какъ другой скорбитъ о недостаткѣ методы; ему грустно видѣть какъ пропадаютъ втунѣ богатыя дары, полученныя русскимъ человѣкомъ отъ природы, онъ отыскиваетъ путь, при которомъ родная его страна въ состояніи стать на одну ступень съ тѣми цивилизованными націями, образованность которыхъ его восхитила своею разумностью.

Изъ пансіона Краузе Тургеневъ въ 1834 году поступилъ на словесный факультетъ Московскаго университета. Но здѣсь онъ пробылъ не долго. Смерть отца заставила его въ слѣдующемъ году перейти на тотъ-же факультетъ Петербургскаго университета.

Положеніе Петербургскаго университета въ научномъ отношеніи было въ то время далеко не блестящее. Хотя новымъ

уставомъ 1835 года нѣсколько было поднято его значеніе и по возможности смыты слѣды, оставленные хозяйничаніемъ мракобѣсцевъ Рунича и К-іи, желавшихъ выпустить вторымъ изданіемъ казанскую исторію, однакоже петербургская alma mater была очень далека отъ того идеала высше-учебнаго заведенія и разсадника образованныхъ людей, какимъ она должна была быть, какъ университетъ перваго города Россіи. Въ немъ не было именъ, окруженныхъ громкою славою, пріобрѣтенною на поприщѣ науки, тою славою, что такъ много содѣйствуетъ формированію молодыхъ научныхъ дѣятелей. Въ петербургскомъ университетѣ было мало ученныхъ традицій. Молодыя силы не подстрекались вслѣдствіе этого къ серьезной дѣятельности и уходили на совершенно не-университетскія занятія. Когда молодой человѣкъ, только что оставившій гимназическую скамью, вступаетъ въ университетъ, онъ вполнѣ уподобляется мягкой глинѣ, изъ которой скульпторъ, смотря по желанію и по таланту, можетъ вылѣпить прекрасную статую или ничтожную фигурку. Скульпторомъ, по отношенію къ молодому человѣку, вступившему въ университетъ, по отношенію къ каждому студенту являются весьма разнообразныя обстоятельства. Тутъ дѣйствуютъ и профессора, и товарищи, и университетскія преданія и даже учебныя средства; однимъ словомъ воздухъ, которымъ онъ дышетъ во время своего студенчества. Если этотъ воздухъ нормальный, здоровый, онъ благотворно на немъ сказывается. Трудно встрѣтить такую университетскую среду, чтобы вредно дѣйствовала на студентовъ. Но если она даже не производитъ никакого дѣйствія, ни въ одну, ни въ другую сторону, то и тогда она не удовлетворяетъ своему назначенію и составляетъ безполезную трату для общества. Университетъ долженъ быть центральнымъ пунктомъ интеллигенціи той мѣстности, гдѣ находится. Онъ долженъ внушать своимъ питомцамъ уваженіе къ наукѣ, къ духу изслѣдованія. Онъ долженъ имъ дать извѣстный запасъ силъ, для противодѣйствія пошлости, которая по выходѣ изъ стѣнъ университета ихъ охватитъ широкою струею. Онъ долженъ составлять въ воспоминаніи студентовъ свѣтлый пунктъ,

вокругъ котораго группируются лучшіе моменты юношеской жизни, время кипучихъ молодыхъ стремленій къ добру, истинѣ справедливости. Въ памяти бывшихъ студентовъ университетъ долженъ рисоваться какъ мѣсто, гдѣ прекращаются разныя мелкія страстишки, гдѣ не проникаетъ духъ погони за благами мірскими, гдѣ только тотъ можетъ разсчитывать на вліяніе и уваженіе, кто въ жизни своей являетъ примѣръ вполнѣ осмысленнаго существованія. Университетъ долженъ быть запечатленъ въ сердцахъ своихъ воспитанниковъ и питомцевъ какъ первый импульсъ къ умственной жизни, какъ разсадникъ правильныхъ взглядовъ на житейскія и общественныя отношенія. Велико и прекрасно назначеніе университета, но къ сожалѣнію рѣдко кто изъ нихъ вполнѣ удовлетворяетъ ему. Рѣдко кто представляетъ ту ученную республику, какимъ онъ долженъ былъ-бы быть при условіяхъ, благопріятствующихъ подобному устройству. Все поглощающая пошлость и филистерство проникаютъ и въ университеты и даже становятся тамъ гораздо отвратительнѣе, потому что прикрываются громкимъ именемъ науки и сквозь ученный покровъ не сразу становятся очевиднымъ для наблюдателя. Есть еще одна цѣль у университетскаго преподаванія, помимо внушенія своимъ слушателямъ высокаго понятія объ идеалѣ человѣческаго существованія. Университетъ долженъ внушать научный духъ, играющій въ прогрессѣ знанія весьма значительную роль, иногда даже имѣющій бо́льшее значеніе, нежели самые лучшіе руководители. Вотъ отчего нерѣдко бываетъ, что въ высшеучебныхъ заведеніяхъ, обладающихъ всѣми условіями, формирущими научный духъ, являются весьма дѣльные ученые даже по такимъ отраслямъ знанія, по которымъ не имѣется выдающихся профессоровъ. Но если не важенъ иногда хорошій профессоръ, взятый въ отдѣльности, то въ совокупности дѣльные ученые составляютъ важнѣйшую часть университетскаго вліянія, потому что въ связи съ ними являются и прочія условія. Вотъ этого-то существеннаго фактора, т. е. хорошихъ профессоровъ имѣлось въ очень недостаточной степени въ разсматриваемый нами періодъ существованія петербургскаго университета.

Преподавательскія силы факультета, куда поступилъ Тургеневъ, были далеко не выдающіяся. Профессорскія лекціи заключали въ себѣ очень мало самостоятельныхъ взглядовъ, а тѣмъ меньше еще собственныхъ изслѣдованій. Профессора обыкновенно читали свои предметы по какому нибудь «учебнику», русскому или иностранному. Въ настоящее время самый молоденькій приватъ-доцентъ обидится, если его спросятъ: «по какому учебнику вы читаете?». Тогда-же это было сплошь да рядомъ. Изъ учебника составлялся жиденькій экстрактъ въ видѣ тоненькой тетрадки, которая и зазубривалась къ экзамену, а послѣ него забывалась, такъ какъ не входила въ сознаніе студентовъ и не передумывалась ими. Даже незначительное меньшинство, поступавшее въ университетъ только ради того, чтобы пріобрѣсть высшее образованіе, далеко не жило умственною жизнью. А что уже говорить о той многочисленной категоріи юношей, разсматривавшихъ университетъ какъ средство къ достиженію разныхъ «земныхъ благъ», какъ способъ скораго полученія четырехъ чиновъ. По этому о серьезномъ отношоніи къ занятіямъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ не могло быть и рѣчи. Профессорскій персоналъ, недостаточно обладавшій нравственною и умственною мощью, чтобы силою своего таланта и отношенія къ наукѣ внушить студентамъ серьезныя стремленія къ достиженію высшаго образованія, не мало содѣйствовалъ этой научной и моральной апатіи.

Всѣ вышеприведенныя обстоятельства, какъ видитъ читатель, могли очень мало вліять на формированіе дѣльной университетской молодежи, одушевленной высшими стремленіями. Но иногда послѣдняя можетъ образоваться и помимо своей умственной родительницы. Бываютъ эпохи въ жизни каждаго общества, когда оно живетъ совсѣмъ особеннымъ образомъ, когда съ верху до низу оно охватывается лихорадочнымъ огнемъ, когда оно разомъ стремится усиленною дѣятельностію искупить прежній долгій сонъ, въ продолженіи котораго ничего не сдѣлало для общечеловѣческаго прогресса и покоилось на мелкихъ интересахъ повседневной жизни. Такія эпохи

особенно рѣзко выдаются у общества живущаго толчками, у общества, которое безъ особенныхъ импульсовъ въ состояніи заснуть, такъ какъ прогрессъ у него является роскошью, праздничнымъ явленіемъ, безъ чего въ будни оно очень хорошо обходится. Въ русской исторіи послѣднихъ двухъ столѣтій моменты пробужденія особенно рельефно обозначаются. Во времена такой усиленной жизни, университетская молодежь всегда идетъ во главѣ движенія, потому-что въ ней бездна натуры, въ ней бродятъ молодыя, но могучія силы, направляемыя общимъ потокомъ на полезныя и честныя цѣли. Въ такія эпохи она можетъ легко обойтись безъ университетскаго вліянія: что не укажетъ профессоръ, укажетъ жизнь. Но въ другое время, когда и жизнь Богъ знаетъ на что направляетъ и университетъ ее не замѣняетъ, молодежь портится и прозябаетъ, не принося своему обществу той посильной пользы, которую доставляла-бы при другомъ порядкѣ вещей.

Время, когда поступилъ въ университетъ Тургеневъ, принадлежало къ самымъ глухимъ. Русское общество, разшевелившееся нѣсколько въ царствованіе Александра I, вскорѣ завершило свое пробужденіе и снова погрузилось въ столь привычный ему глубокій сонъ. Соціальные вопросы стало трудно затрагивать и литература поневолѣ должна была всецѣло перейти на «художество», которое въ описываемую эпоху дѣйствительно достигло высшаго развитія. Народныя силы, неимѣющія возможность развиться въ одномъ направленіи устремляются къ другому, и, не проявляясь въ одномъ поприщѣ, съ блескомъ выступаютъ на другомъ. Пышный разцвѣтъ изящной русской литературы въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сорковыхъ годахъ параллельно умственному застою русскаго общественнаго развитія, служитъ лучшимъ доказательствомъ вышеупомянутаго положенія. И наоборотъ, упадокъ художественной литературы въ наше время многіе приписываютъ большему развитію гражданственности, разнообразію областей, куда могутъ направиться творческія силы русскаго народа.

Если впереди прогрессивнаго движенія часто идутъ университеты, то относительно Петербургскаго въ разсматривае-

мую нами эпоху это не могло имѣть мѣста. Профессора были люди больше чѣмъ «благонамѣренные» и съ относительно свободной профессорской кафедры никакихъ тенденцій, кромѣ самыхъ безобидныхъ и охранительныхъ не высказывали. Въ этомъ отношеніи Московскій университетъ въ тотъ-же періодъ времени стоялъ гораздо выше. Тамъ были профессора, воодушевленные либеральными мыслями, старавшіеся, хотя въ стѣнахъ храма науки, дать своимъ слушателямъ возможность узнать что-нибудь кромѣ тѣхъ идей, что въ достаточной степени заражали воздухъ и внѣ университетскаго зданія. Тамъ были Надеждинъ, Павловъ, Шевыревъ, въ то время еще не превратившійся въ зоила «вольныхъ» мыслей. Всѣ эти люди, каждый по своей спеціальности, старались пріучить студентовъ къ мышленію, сообщать имъ послѣдніе выводы умозрѣнія и изслѣдованія. Оттого-то Московскій университетъ и занимаетъ такое почетное мѣсто въ исторіи русскаго образованія и сороковыхъ годовъ въ особенности. Оттого-то симпатіи большинства дѣятелей предъидущей эпохи группируются вокругъ Москвы и минуютъ Петербургъ, какъ неимѣющій права на подобное вниманіе. Посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, кто такіе были люди, находившіеся во главѣ университетскаго преподаванія въ Петербургѣ въ срединѣ тридцатыхъ годовъ. Стояли-ли они на высотѣ своего положенія? Направляли-ли юношество на честный путь труда и желанія принести пользу своей родинѣ? Внушали-ли они ему высшія стремленія, которыя и составляютъ цѣль университетскаго образованія. Противодѣйствовали-ли они, наконецъ, той поголовной пошлости, что охватила почти все тогдашнее общество подъ вліяніемъ невыгодно сложившихся историческихъ условій?

Вопросы эти мы постараемся разрѣшить разсмотрѣніемъ профессорскаго персонала за періодъ съ 1835 по 1838 годъ т. е. за то время, что касается предмета настоящаго этюда. Но такъ какъ тотъ-же персоналъ функціонировалъ не только въ продолженіи этого короткаго срока, то разсмотрѣніе наше можетъ кромѣ того служить характеристикой положенія научныхъ силъ Петербургскаго университета въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ.

Мы не станемъ дѣлать очерка личностей всѣхъ профессоровъ, такъ какъ это только совершенно излишне увеличило бы объемъ нашего этюда. Мы коснемся только факультета, на которомъ находился Тургеневъ, такъ какъ задались цѣлью изучить вліяніе среды, гдѣ нашъ беллетристъ развивался.

III.

Кафедру богословія, обязательную, какъ и нынѣ, для всѣхъ факультетовъ, занималъ священникъ Райковскій, совершенно необладавшій способностью заинтересовать своихъ слушателей. Преподаваніе его состояло изъ сухаго чтенія и изложенія догматовъ господствующей религіи, не сопровождаемаго никакими комментаріями, какъ мы это встрѣчаемъ у нѣмецкихъ теологовъ. Райковскій не обладалъ къ тому-же и краснорѣчіемъ, изъ за котораго юношество готово слушать рѣшительно всякую науку. Историкъ Петербургскаго университета, профессоръ Григорьевъ, называетъ преподаваніе Райковскаго не соотвѣтствующимъ высотѣ университетской науки, или, менѣе высокопарно выражаясь, оно немногимъ отличалось отъ гимназическаго курса Закона Божія. Не будемъ однако-же претендовать на неудовлетворительность богословской кафедры. Богословіе вообще не процвѣтаетъ въ нашихъ университетахъ, потому что они не имѣютъ особаго богословскаго факультета и потому принуждены брать преподавателей этого предмета изъ Духовной Академіи. Неудивительно, слѣдовательно, почему выборъ профессора часто бываетъ неудаченъ: онъ производится людьми, не знакомыми съ науками, входящими въ составъ теологіи.

Для насъ гораздо важнѣе посмотрѣть какъ преподавалась философія, главнѣйшій въ то время предметъ, такъ какъ

естественныя науки не были еще настолько разработаны и популярны въ русскомъ обществѣ, чтобы привлекать любознательные умы студентовъ. Всѣ стремились изучать философію, какъ науку, разрѣшающую всякія сомнѣнія и дающую путь къ отысканію абсолютной истины. По этому въ другихъ университетахъ вниманіе слушателей всегда концентрировалось вокругъ кафедры философіи. Изъ устъ профессора этой науки выходили импульсы для умственной работы студентовъ, которые, въ свою очередь, распространяли уваженіе и любовь къ умозрѣнію далеко за предѣлами аудиторіи. Въ Петербургѣ философію читалъ австрійскій уроженецъ Фишеръ, окончившій курсъ въ іезуитскомъ лицеѣ. Преподавалъ онъ ее вполнѣ какъ слѣдуетъ подданному государства, гдѣ безгранично господствовалъ такой любитель просвѣщенія и изслѣдованія, какъ князь Метернихъ. Почтенные патеры, воспитавшіе Фишера, тоже не должны были краснѣть за него: онъ былъ вѣрнымъ репрезентантомъ ихъ идей. И безъ него малодумавшимъ юношамъ россійскимъ онъ проповѣдывалъ не давать воли пытливому уму, не увлекаться его мнимою силою, а строго слѣдовать и подчинять свои мысли указаніямъ Откровенія.

Первое время своего пребыванія въ университетѣ т. е. съ 1828 г. по 1835 г., Фишеръ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, былъ очень полезенъ своимъ малоподготовленнымъ слушателямъ въ томъ отношеніи, что начиналъ свою науку прямо съ азбуки. Но намъ кажется, гораздо вѣрнѣе будетъ просто назвать его преподаваніе азбучнымъ. Нѣтъ! скажутъ намъ, онъ не затуманивалъ непривычные мозги студентовъ запутаннымъ изложеніемъ философскихъ истинъ. Мы совершенно отрицаемъ подобную систему. Популяризація вещь хорошая, но она положительна вредна тамъ, гдѣ неумѣстна. Популяризація хороша для диллетантовъ, а университетская наука имѣетъ болѣе серьезныя цѣли. Въ данномъ случаѣ дѣло именно и сводилось на поверхностный диллетантизмъ. Мнимотуманное, а въ сущности довольно понятное, изложеніе философіи, могло такимъ казаться только въ началѣ, пока слушатели не познакомились съ терминами, не освоились съ философскимъ жарго-

номъ, съ отвлеченнымъ языкомъ. Но разъ это довольно незначительное препятствіе преодолѣно, дальнѣйшая популяризація можетъ только повредить университетскому преподаванію, которое должно носить строго-научный характеръ. Фишеръ слѣдовательно ничуть не поступалъ раціонально, излагая первое время свой предметъ совершенно школьническимъ образомъ, прибѣгая къ системѣ, впервые введенной Сократомъ т. е. искусною постановкою вопросовъ заставляя самыхъ-же студентовъ разрѣшать разные философскіе принципы. Доступность его лекцій создала Фишеру непродолжительную популярность въ университетѣ. Но она была настолько искуственна и эфемерна, что во время пребыванія Тургенева отъ нея остались весьма жалкіе остатки. Понятно тутъ играло нѣкоторую роль то обстоятельство, что въ періодъ десяти лѣтъ способность къ усвоенію высшаго образованія повысилась въ русскомъ юношествѣ и сократическая метода Фишера, да и все вообще его преподаваніе, отзывающее ладономъ, не могло уже такъ нравиться какъ когда-то. Студенты стороной уже слыхали о другихъ направленіяхъ, о другихъ профессорахъ. Имъ стало извѣстно то неподдѣльное удивленіе молодыхъ людей, когда они послѣ Фишеровскихъ лекцій попадали въ заграничные университеты. Фишеровскимъ слушателямъ тогда казалось, что они изучаютъ совсѣмъ новую науку. Такъ діаметрально противоположно было отношеніе западныхъ ученыхъ къ своему предмету съ подлизывающимся и старающимся отличиться преподаваніемъ Фишера.

Къ характеристикѣ Фишера не будетъ излишнимъ присоединить слѣдующій фактъ. На Естественное Право недружелюбно смотрѣли лица, заправлявшіе университетомъ. Запуганный исторіею съ Куницинымъ и доносами Магницкаго, Рунича и К-іи, Комитетъ для устройства учебныхъ заведеній разсматривалъ Естественное Право какъ источникъ вольнодумства учащагося юношества, какъ предметъ будто-бы дававшій опору и подтвержденіе революціоннымъ тенденціямъ, стремящимся къ разрушенію Престола и Отечества. По этому комитетъ былъ-бы радъ и совершенно выбросить Естественное

Право изъ круга университетскаго преподаванія, но этимъ подрывался-бы научный характеръ преподаванія юридическихъ наукъ. Изъ двухъ золъ нужно было выбрать одно меньшее, и вмѣстѣ съ тѣмъ постараться сдѣлать его какъ можно безвреднѣе. Надо было «исправить» Естественное Право и предподнести его студентамъ въ такомъ видѣ, чтобы они изъ него ничего «*противозаконнаго*» не извлекли-бы. Была снаряжена коммиссія, которой и поручили составить учебникъ по Естественному Праву въ надлежащемъ духѣ. Коммиссія состояла изъ професора Римскаго права Шнейдера, проф. Русскихъ Гражданскихъ законовъ—Барона Врангеля, профессоровъ Главнаго Педагогическаго Института Штекгорта и Бессера и предсѣдателя Балунгьянскаго, бывшаго профессора Энциклопедіи. Хотя по русской пословицѣ и выходитъ, что умъ хорошо, а два лучше, этого, однакоже, въ данномъ случаѣ не было. Профессора думали, думали и ничего не выдумали. Можетъ быть у нихъ не хватило духу сдѣлать операцію Естественному Праву, а можетъ быть они и не съумѣли ее произвести,— про это мы ничего не знаемъ. Несомнѣнно лишь то, что изъ ихъ совмѣстныхъ работъ ничего не вышло. Между тѣмъ преподаваніе Естественнаго Права было пріостановлено. Адъюнктъ Елпатіевскій, читавшій его, былъ уволенъ, а кафедра Естественнаго Права, хотя и не упразднена, но оставлена безъ преподавателя до составленія учебника. Допустить чтеніе по «собственнымъ запискамъ» профессора Комитетъ не рѣшался. Два года оставалась вакантною обсуждаемая нами кафедра вслѣдствіе неуспѣшнаго результата коммиссіи «пяти». Наконецъ, поручили дѣло Фишеру. Философъ превратился въ юриста и скомпилировалъ «надежный» учебникъ. Комитетъ удовлетворился и трудъ Фишера появился въ «Журналѣ Минист. Народ. Просвѣщенія» за 1836 г. Нѣкоторыя выписки изъ этой любопытной статьи могутъ дать понятіе какъ о характерѣ Фишеровскаго преподаванія, такъ и научности изложенія имъ Естественнаго права.

По всей статьѣ въ разныхъ мѣстахъ разбросаны мелкія шпильки «вольному духу». Руссо почтенный профессоръ не

можетъ иначе титуловать какъ «надменнымъ Женевскимъ гражданиномъ». По его мнѣнію «дѣйствительно весьма немного было такихъ, которые, *подобно Ж. Ж. Руссо и Фихте имѣли-бы столько дерзости*, чтобы проповѣдывать свои парадоксы безъ всякой умѣренности и не заботясь о послѣдствіяхъ, которыя изъ нихъ проистечь долженствуютъ». Онъ очень сожалѣетъ о томъ, что «*звучныя и двусмысленыя слова «свобода, равенство»* остались нѣкоторымъ образомъ какъ-бы стереотипными во французской литературѣ». О предметѣ своего изслѣдованія онъ выражается: «*Изступленіе метафизическаго фанатизма*, овладѣвше умами философовъ въ прошедшемъ столѣтіи, породило между прочими *химерическими отвлеченностями* и науку Естественнаго и Политическаго Права, не зависящую ни отъ какихъ положительныхъ данныхъ и, что еще важнѣе, ни отъ какаго нравственнаго закона. Эта наука, облеченная въ формы универсальности и необходимости, которыми тщательно украшали ее, и громко возвѣщающая указаніе твердыхъ и незыблемыхъ основаній политическаго законодательства, сначала разлила необыкновенный блескъ и даже ослѣпила большое число изъ тѣхъ адептовъ, которые, не утверждаясь на однихъ метафизическихъ отвлеченностяхъ, руководствовались обыкновенно въ своихъ сужденіяхъ наставленіями опыта. Время открыло всю неосновательность ея мечтательныхъ теорій и ужасныя послѣдствія, коими сопровождались первые опыты, сдѣланныя для осуществленія новаго порядка дѣлъ, достаточно могли показать всякому благомыслящему человѣку и истинную цѣну и истинное направленіе сего ученія. Судя, однакожь, по лестному пріему, какой и до сего времени оказывается самымъ безсмысленнымъ и нелѣпымъ брошюрамъ, если только онѣ имѣютъ предметомъ естественное право, можно заключить съ достовѣрностію, что нашему вѣку какъ будто-бы жаль отречься отъ *сумасброднаго* почитанія, которое еще такъ недавно воздавалось этому философическому кумиру исчезнувшимъ предъ нами поколѣніемъ, приносившимъ ему въ жертву свое счастіе и даже кровь свою». (Ст. 2).

Неправда-ли, слушая подобное чествованіе Естественнаго

Права, студенты могли-бы возымѣть большое къ нему почтеніе, если-бы, къ счастью, воззрѣнія Фишера не возбуждали въ нихъ сожалѣнія и не вызывали презрительной улыбки. Оригинальнымъ въ данномъ случаѣ является вообще чтеніе естественнаго Права въ университетѣ. Спрашивается, уже если оно такая пустая и *сумасбродная* наука, то зачѣмъ-же время тратить на его изученіе. Или можетъ быть оно нужно было чтобы внушать слушателямъ мысли, въ родѣ слѣдующихъ: «Въ числѣ первыхъ между проповѣдниками этого новаго ученія должно поставить Монтескье: онъ былъ непосредственнымъ предтечею революціонныхъ писателей. Его трактатъ о духѣ законовъ—сочиненіе, заслужившее во время появленія своего такой успѣхъ, которому мы нынѣ едва можемъ повѣрить — скрывалъ разрушительное направленіе подъ самыми невинными формами [1]); но, превознося выше мѣры представительное правленіе Англіи, восхваляя, какъ одно изъ существенныхъ совершенствъ хорошаго правленія, раздѣленіе и совершенную независимость властей законодательной, судебной и исполнительной, наконецъ, называя добродѣтель побужденіемъ къ дѣятельности въ гражданахъ республикъ, а дѣятельности гражданъ въ государствахъ монархическихъ приписывая побужденіе второстепенное—честь, онъ впускалъ по каплѣ незамѣтный ядъ въ умы многочисленныхъ своихъ читателей, усиливалъ *суетное желаніе нововведеній*, которое порождено было вышеизложенными обстоятельствами въ сердцѣ народа, и приготовилъ міръ къ слушанію безъ содроганія того ученія, которое, не обинуясь, повелѣвало низвергать все, что еще стояло, чтобы послѣ того жить сообразно мнимымъ требованіямъ разума». (Стр. 11). Ужасно боялся Фишеръ этого ненавистнаго разума: гдѣ только онъ могъ, онъ старался его уничтожить въ глазахъ студентовъ. Одна бѣда—не слушались послѣдніе этой проповѣди. Да и могли-ли они слѣдовать въ чемъ нибудь Фишеру, когда онъ, проникнувшись похвальнымъ принципомъ «не

[1]) Такъ говорилъ «благонамѣренный» профессоръ о сочиненіи, принятомъ Императрицею Екатериною II въ основаніе ея реформаціонныхъ предначертаній.

мытьемъ, такъ катаньемъ» проповѣдывалъ: «Въ числѣ тѣхъ, которые произвели наиболѣе вліянія, довольно наименовать физіократовъ, и преимущественно Мирабо-отца, Гельвеція, Мабли, Рейналя, Буланже, сочинителя системы природы (Лагранжъ или баронъ Гольбахъ), Вольтера, Ла-Меттри, Дидеро и Энциклопедистовъ, наконецъ Мирабо-сына и Аббата Сійеса—двухъ восторженныхъ адептовъ новой мудрости, *коихъ гибельная дѣятельность* въ великой драмѣ, приготовленной всѣми сими писателями въ продолженіе сорока лѣтъ, слишкомъ извѣстна. Революція, казалось, самымъ дѣломъ освятила новое метафизическое ученіе; но это была только пустая наружность, ибо довольствовались одними словами. Пышная декларація правъ человѣка, изданная національнымъ собраніемъ въ 1791 году, торжественно провозгласила самодержавіе народа, и, не смотря на то, первая конституція того-же года, основывавшаяся по видимому на этой декларації, немедленно ее отмѣнила: ибо народъ — этотъ новый самодержецъ — *принужденъ былъ* [1]) принять конституцію, не подавъ голоса, и не уполномочивъ на то своихъ представителей». Какъ видитъ читатель Фишеръ рѣшается даже защищать «новаго самодержца» лишь-бы унизить нелюбимое Естественное Право. Онъ настолько ослѣпленъ, что не видитъ всего глубокаго комизма своихъ доводовъ и отрывочныхъ выраженій. Не признавая ничего основательнаго во всемъ «Contrat social», онъ съ радостью ухватывается только за одно выраженіе и цѣнитъ на вѣсъ золота фразу Руссо о томъ, что «къ несчастію, правленіе столь совершенное не годится для людей; если-бы существовалъ народъ боговъ, онъ управлялся-бы демократически». «Эти *замѣчательныя слова* въ устахъ Руссо, торжествуетъ Фишеръ не суть-ли откровенное признаніе, что новѣйшіе метафизики, утверждая свою систему Права на воздушныхъ основаніяхъ общества, составленнаго исключительно изъ существъ, управляющихся разумомъ, не принимая въ соображеніе ни противоразумной стороны человѣка, ни множества

[1]) Курсивъ принадлежитъ Фишеру.

нуждъ и ненасытныхъ желаній его, и не обращая вниманія на время и мѣсто, коимъ подчинено всякое земное бытіе, изобрѣтали однѣ мечты, могущія осуществиться только тогда, когда мы не будемъ имѣть ни тѣла, ни страстей, и когда особенный разумъ, не находя въ насъ самихъ никакого для себя препятствія, будетъ въ состояніи обойтись совершенно безъ Права, какова-бы нибыла система онаго?» (Стр. 12). Вся эта, замѣчательная своимъ вполнѣ каммединерствующимъ краснорѣчіемъ, тирада произносится на основанія небольшой оговорки Руссо, имѣющей единственнымъ толкованіемъ сожалѣніе женевскаго идеолога о неполной примѣнимости его системы. Фишеръ не брезгаетъ никакими средствами для дискредитированія вредной науки: други и недруги имъ эксплуатируются съ этою цѣлью и онъ отовсюду хватаетъ клочки для усиленія эфекта. Результаты, однако-же, какъ-то не совсѣмъ выходили похожими на desiderata почтеннаго воспитанника іезуитскаго коллегіума и старанія его, если и производили дѣйствіе, то совершенно противоположное. Стремительность Фишеровской аттаки служила лучшимъ доказательствомъ, что Естественное Право не есть уже такой абсурдъ, какъ нашъ философъ-юристъ увѣрялъ и что бросаемая имъ въ эту науку грязь ничто иное, какъ неблаговидный полемическій пріемъ.

Исторію Всеобщую читали Куторга и Шульгинъ. Куторга — Древнюю и Среднюю, а Шульгинъ — новую.

Михайло Семеновичъ Куторга принадлежалъ къ относительно свѣтлымъ личностямъ въ преподавательскомъ штатѣ филологическаго факультета. Во времена Тургенева онъ не былъ еще тѣмъ археологическимъ классикомъ, подчасъ завирающимся, какимъ мы его видимъ въ настоящее время на страницахъ Катковскаго изданія. Тогда онъ только что воротился изъ Германіи, полный научнаго духа и живаго отношенія къ своему предмету. Нибуръ своимъ историческимъ критицизмомъ благодѣтельно на него подѣйствовалъ въ томъ отношеніи, что не далъ ему сдѣлаться записнымъ буквоѣдомъ латинскихъ и греческихъ древностей и заставилъ его вникнуть въ сущность

античной жизни. Вслѣдствіе этого лекціи Куторги были очень пріятною новинкою для студентовъ. Куторга открывалъ имъ особый міръ, до него казавшійся довольно скучнымъ, онъ разширилъ ихъ умственный кругозоръ, показывая, что начало нашей современной культуры должно искать въ древнемъ мірѣ, что міръ этотъ не составляетъ чего нибудь рѣзко отличнаго отъ послѣдующихъ эпохъ, а что въ немъ мы наблюдаемъ законы и проявленія, общія всей исторіи. Подъ вліяніемъ Нибуровскаго скептицизма Куторга показывалъ своимъ слушателямъ, какъ путемъ строго-историческаго анализа можно очистить древнюю исторію отъ сказочной формы и получить вѣрную картину жизни народовъ до-христіанскаго періода. Излагалъ Куторга свой предметъ очень краснорѣчиво чѣмъ тоже не мало привлекалъ симпатіи студентовъ, всегда большихъ охотниковъ до прекрасноговоренія. По отзывамъ современниковъ «лекціи М. С. Куторги явились по кафедрѣ Всеобщей Исторіи такою-же живительною и плодотворною новостью, какъ чтенія брата его С. С. Куторги по кафедрѣ зоологіи. Поступивъ изъ студентовъ университета нашего въ профессорскій Институтъ въ 1827 году, прибылъ онъ въ Дерптѣ до начала 1833 года, и защитивъ диссертацію «De tribubus Atticis eorumque cum regni partibus nexu» (Dorpati 1832), получилъ тамъ степень магистра философіи. Отправленный затѣмъ, для дальнѣйшаго усовершенствованія въ своей спеціальности за границу, Куторга слушалъ лекціи въ Парижѣ, Гейдельбергѣ, Мюнхенѣ, но большую часть двухгодичнаго пребыванія своего въ чужихъ краяхъ провелъ въ Берлинѣ. Критическая школа Нибура находилась тогда въ полномъ развитіи. По направленію имъ указанному трудились тамъ съ жаромъ надъ разработкою исторіи вообще и древней въ особенности. Древній міръ все болѣе и болѣе терялъ ту чуждую, непонятную для насъ оболочку, въ которой представлялся дотолѣ ученымъ и начиналъ являться въ ясныхъ, живыхъ, опредѣленныхъ чертахъ; политическій бытъ и учрежденія, созданія народнаго творчества, языкъ, религія древнихъ, все подвергалось анализу, все возсоздавалось и объяснялось путемъ строгой исторической критики. Этимъ новымъ

научнымъ направленіемъ, не только не проникавшимъ въ Петербургскій, но малоизвѣстнымъ тогда и въ Дерптскомъ университетѣ, пропитался нашъ молодой ученый, обладавшій уже богатымъ запасомъ положительныхъ свѣденій и предался, вслѣдствіе того, преобладавшему въ Германіи изученію древняго міра съ жаромъ который и пріобрѣлъ ему почетное мѣсто между современными эллинистами. Появленіе его на кафедрѣ Всеобщей Исторіи было, какъ уже замѣчено, эпохою. Во взглядѣ его на требованія университетскаго преподаванія не было ничего общаго съ гимназическими взглядами и пріемами его предшественниковъ по кафедрѣ. Источники и литература предмета съ критическою ихъ оцѣнкою не входили вовсе въ ихъ планъ: у Куторги составили они основу его чтеній. Несовмѣстнымъ съ критическою методою, имъ усвоенною, представлялось также слѣдованіе какимъ-либо учебникамъ, которыми они руководствовались: не останавливаясь на изложеніи общеизвѣстныхъ фактовъ, онъ, вмѣсто того, сталъ знакомить слушателей съ различными господствующими и господствовавшими научными на нихъ воззрѣніями, старался показать связь этихъ фактовъ съ предшествующими и послѣдующими явленіями, освѣтить ихъ, разъяснить ихъ значеніе, и представить такимъ образомъ живую и ясную картину постепеннаго развитія человѣческаго общества. Сначала, пока еще не былъ полнымъ хозяиномъ своей кафедры, читалъ онъ и Древнюю, и Средневѣковую, и Новую Исторію въ болѣе или менѣе полномъ объемѣ; въ послѣдствіи-же его курсъ Греческой Исторіи обнималъ обыкновенно только IV и V столѣтія, со введеніемъ, въ которомъ излагалъ вліяніе Востока на Грецію; въ курсѣ Римской исторіи ограничивался онъ первыми двумя столѣтіями Республики т. е. борьбою патриціевъ съ плебеями; въ курсѣ Средневѣковой Исторіи — феодальною системою, ея образованіемъ, развитіемъ и учрежденіями; въ курсѣ Новой Исторіи — событіями XVIII столѣтія до Семилѣтней Войны. Сверхъ того, въ послѣдніе годы читалъ «Введеніе въ Науку Исторіи». Не грузъ именъ и чиселъ выносили слушатели изъ его аудиторіи, а знакомились, на означенныхъ вопросахъ, съ методомъ на-

учныхъ занятій, съ требованіями научнаго изслѣдованія. Такое преподаваніе при дарѣ изложенія, естественно привлекало слушателей, и возбуждая въ нихъ самодѣятельность, располагало къ самостоятельному занятію предметомъ».

Таковъ былъ одинъ изъ профессоровъ исторіи. Къ сожалѣнію имъ, да отчасти еще Плетневымъ и ограничивалось число профессоровъ, стоявшихъ на уровнѣ своего положенія. Между остальными, если и попадались люди знающіе, то за то они только однимъ этимъ качествомъ и обладали. Узкіе спеціалисты они сообщали своимъ слушателямъ именно только тотъ грузъ фактовъ, именъ и чиселъ, отсутствіе котораго такъ пріятно констатировать въ чтеніяхъ Куторги.

Другой профессоръ Всеобщей Исторіи, онъ-же и ректоръ Университета въ Тургеневскій періодъ И. П. Шульгинъ, ничѣмъ особеннымъ не отличался ни въ научномъ, ни въ педагогическомъ отношеніи. Преподаваніе его почти безслѣдно проходило въ сознаніи его учениковъ, по этому мы и не останавливаемся на немъ.

Русскую Исторію читалъ Устряловъ. Безъ сомнѣнія это былъ человѣкъ знающій, хорошо изучившій свой предметъ, должно даже сказать очень дѣльный ученый, оставившій послѣ себя почетную память въ наукѣ русской исторіи своими многочисленными трудами. Но во время пребыванія Тургенева въ университетѣ Устряловъ не могъ имѣть вліянія на него во первыхъ потому, что ученная слава его главнымъ образомъ сформировалась въ послѣдствіи, а во вторыхъ потому, что онъ, при всей своей эрудиціи, не былъ историкомъ—философомъ, историкомъ — публицистомъ, какимъ впослѣдствіи явился преемникъ его по кафедрѣ—Николай Ивановичъ Костомаровъ. Устряловъ сообщалъ своимъ слушателямъ факты изъ русской исторіи, но общихъ взглядовъ на нашу прошедшую жизнь, философію русской исторіи, что именно и составляетъ цѣль ея изученія въ университетѣ, онъ не передавалъ аудиторіи, да и не могъ передавать, потому что принадлежалъ къ археологической школѣ историковъ, непризнающихъ никакихъ другихъ источниковъ, кромѣ архивной пыли. Спра-

шивается, въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ будетъ отличаться университетское преподаваніе отъ гимназическаго? Неужели-же только тѣмъ, что къ извѣстному изъ элементарнаго курса факту прибавитъ лишнюю подробность? Неужели-же изученіе исторіи состоитъ только въ томъ, чтобы привить своей памяти извѣстное количество событій съ ихъ хронологическимъ обозначеніемъ? Если такъ, то, право, званіе историка совсѣмъ не такое почетное, и изъ всѣхъ спеціальностей — самое узкое. Но въ томъ-то и дѣло, что подобный взглядъ на исторію есть анахронизмъ, а въ университетскомъ преподаваніи—анахронизмъ вредный, такъ какъ студенты, выходя изъ университета, не выносятъ оттуда умѣнія философски относиться къ явленіямъ прошлой жизни и извлекать изъ нея полезныя указанія для настоящей. Устряловъ давалъ работу только памяти; мышленія онъ не касался. Рѣдко можно встрѣтить человѣка, который былъ-бы въ состояніи хорошо запомнить, не говоря уже объ университетскомъ весь гимназическій курсъ. Слѣдовательно, нечего уже и говорить, что изъ обширныхъ чтеній Устрялова студенты выносили очень микроскопическую часть. Мыслить-же исторически онъ ихъ не пріучалъ. Значитъ польза его для петербургскаго университета только въ весьма отдаленной степени напоминала ту, которую должно было приносить его преподаваніе. Какъ и Карамзинъ, Устряловъ былъ историкъ «Русскаго Государства», но не «Русскаго Народа». Послѣдній составлялъ у него лишь аксессуаръ, а не центральный пунктъ, вокругъ котораго все должно сосредоточиваться. По этому въ лекціяхъ Устрялова есть много треску и бенгальскаго огня, не въ меньшей степени чѣмъ у сентиментальнаго родоначальника «государственной» школы историковъ.

Въ описываемую нами эпоху фактичное преподаваніе, подобное Устряловскому, было еще болѣе неумѣстно, чѣмъ теперь. Въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время на филологическій факультетъ поступаетъ очень ограниченное количество студентовъ. Значительный процентъ ихъ пополняетъ, по окончаніи курса, контингентъ «ученнаго» сословія. Значитъ для нихъ Устряловскія лекціи имѣютъ извѣстный смыслъ и могутъ

быть полезны въ томъ отношеніи, что знакомятъ съ техникою дѣла. Но во времена Тургенева туда поступали молодые люди, просто желавшіе получить общее образованіе. У нихъ не было ни малѣйшей охоты сдѣлаться спеціалистами. Они болѣе всего нуждались въ университетскомъ развитіи, а не кропотливомъ знаніи фактовъ. Оттого-то не особенно много знавшій Плетневъ гораздо больше остался въ памяти своихъ слушателей, въ томъ числѣ и Тургенева, чѣмъ многоученный Устряловъ и Грефе, о которомъ рѣчь впереди.

Все вообще преподаваніе Устрялова совершенно расходилось съ симпатіями студентовъ, которые всегда обладаютъ извѣстнымъ чутьемъ, извѣстною способностью распознаванія истиннаго отъ напускнаго, бьющаго на эффектъ предъ слушателями, а также не только предъ ними одними....

Обратимся къ профессору Греческаго языка—Ѳеодору Богдановичу Грефе, во времена Тургенева декану факультета.

Древніе языки были тогда въ упадкѣ. Изъ программы 1836—37 учебнаго года мы видимъ, что филологи проходили ихъ въ довольно мизерномъ объемѣ. Такъ напр. они изучали по греческому языку Одиссею и оды Горація по латинскому. Въ настоящее время воспитанники классическихъ гимназій проходятъ это въ 6 классѣ. Самое преподаваніе древнихъ языковъ велось вполнѣ школьническимъ образомъ. Понятно на подобное положеніе дѣла профессора классическихъ кафедръ имѣли самое большое вліяніе. Грефе былъ человѣкъ съ большою эрудиціею, но въ немъ не было способности заинтересовать студентовъ и заставить ихъ взяться за основательное изученіе древнихъ языковъ. Бывшій ученикъ его, проф. Благовѣщенскій, отзывается о немъ въ такомъ родѣ: «на него глядѣли, какъ на гиганта ученности. Но нельзя сказать, чтобы и преподаваніе Грефе способствовало распространенію вкуса къ ознакомленію съ Древностью въ писателяхъ ея и памятникахъ искуства. Этого и не могло быть при преподаваніи предмета русскимъ на латинскомъ языкѣ; Грефе-же, кромѣ того, принадлежалъ къ той школѣ преподавателей, которая не находила нужнымъ вдаваться въ историческія и археологическія подроб-

ности и ограничивалъ свое преподаваніе грамматическимъ и эстетическимъ (?) комментаріемъ объясняемыхъ авторовъ». Профессоръ Григорьевъ, тоже бывшій ученикъ Грефе, дѣлаетъ слѣдующую характеристику его чтенія: «На лекціи Римской словесности [1]) ходилъ я къ нему въ теченіи трехъ лѣтъ; но все это время объяснялъ онъ одного Горація и объяснялъ такъ, что я, сравнивая комментарій его на этого писателя съ комментаріемъ, какой давалъ намъ Сенковскій на Лебида или Харирія, находилъ чтенія Грефе крайне сухими и нисколько не вводившими въ міръ Римской жизни. Эстетическая критика его казалась мнѣ ничуть не выше Толмачевской [2]), а трепетъ, который ощущали предъ нимъ студенты — происходившій единственно отъ незнанія ими другого порядочнаго знатока Древности, съ которымъ бы они могли сравнивать его. Оскорбителенъ былъ также, на мои глаза, тотъ презрительный тонъ съ какимъ относился Грефе къ казеннымъ студентамъ, называя не рѣдко ignobile genus coronae, тогда какъ при обращеніи къ студентамъ нѣмецкаго происхожденія съ баронскимъ титуломъ, и грубый голосъ его становился мягокъ и черты лица, выражавшаго постоянно брюзгливость, складывались въ любезную улыбку. Студентовъ усердныхъ и успѣвавшихъ Грефе, впрочемъ, любилъ и отличалъ какого-бы они не были происхожденія; но и при этомъ выходило все какимъ-то образомъ, что русскіе его ученики не имѣли хода въ университетѣ».

Знали у Грефе студенты очень мало, хотя боялись его какъ огня. Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ сознается, что впослѣдствіи, когда онъ слушалъ въ Берлинѣ лекціи нѣмецкихъ профессоровъ по словесности древнихъ языковъ, онъ дома былъ принужденъ подзубривать латинскую и греческую грамматику. А былъ онъ далеко не изъ плохихъ канди-

---

[1]) Грефе часто читалъ и ее, помимо своей присяжной кафедры греческаго языка. *С. В.*

[2]) Толмачевъ былъ профессоръ Русской Словесности въ Главномъ Педагогическомъ Институтѣ. Его воззрѣнія считались отсталыми еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ. *С. В.*

датовъ. По этому можно судить, что классическая премудрость процвѣтала въ петербургскомъ университетѣ половины тридцатыхъ годовъ не въ бо́льшей степени, чѣмъ другіе предметы.

Мы не будемъ много говорить о профессорѣ Римской Словесности Фрейтагѣ и объ адъюнктахъ Соколовѣ и Шлитерѣ, первый по греческому языку, второй по латинскому. Отъ нихъ въ памяти слу́шателей едва можетъ быть остались имена. Скажемъ лучше нѣсколько словъ о профессорѣ, имѣвшемъ большое вліяніе на развитіе и образованіе студентовъ, хотя, можетъ быть, участіе его личныхъ заслугъ тутъ не было́ особенно велико. Мы говоримъ о Плетневѣ. Лучшею его рекомендаціею можетъ служить то обстоятельство, что всѣ его ученики хранятъ о немъ благодарную память. Не будучи приверженцемъ такъ называемыхъ «либеральныхъ» идей, онъ этимъ, однако-же, не шокировалъ своихъ слушателей, какъ мы это видѣли при Устряловѣ. Студенты видѣли въ немъ полнѣйшее отсутствіе Фишеровской угодливости и подлаживанія подъ господствовавшій въ нѣкоторыхъ сферахъ духъ. Къ тому Плетневъ былъ очень добрый человѣкъ и студенты не разъ имѣли случай убѣдиться въ этомъ его прекрасномъ качествѣ. Вотъ отчего, несмотря на особенно бо́льшую ученность, его въ университетѣ всѣ очень любили и уважали больше всѣхъ профессоровъ, изъ которыхъ многіе далеко превосходили Плетнева своими знаніями, каждый по своей спеціальности.

Особеннымъ ореоломъ въ глазахъ студентовъ окружала Плетнева его дружба съ Пушкинымъ. Пушкина тогдашняя мо́лодежь обожала, видя въ немъ смѣлаго и геніальнаго реформатора русской поэзіи. Понятно, что человѣкъ, которому великій поэтъ посвятилъ лучшее свое произведеніе, долженъ былъ казаться восторженнымъ юношамъ особенно достойнымъ уваженія. Блескъ Пушкинской славы какъ-бы отражался на Плетневѣ. Уважая его, студенты платили дань удивленія новому направленію литературы, еще не настолько тогда окрѣпшему, чтобы обойтись безъ поддержки университетской молодежи. И не одного Пушкина студенты уважали въ лицѣ Плетнева. Жуковскій былъ съ нимъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ,

ровно какъ и вся плеяда поэтовъ, взявшихъ себѣ за образецъ Пушкина. Такимъ образомъ вокругъ Плетнева концентрировался весь цвѣтъ тогдашней литературы и это неизбѣжно отзывалось на его лекціяхъ. Плетневъ читалъ Исторію Русской Литературы, больше налегая на критическую и эстетическую часть, чѣмъ на филологическую. По этому студенты изъ его чтеній выносили больше развитія, нежели знанія и потому тоже послѣднія больше всѣхъ лекцій другихъ профессоровъ служили для пріобрѣтенія истиннаго общаго и вмѣстѣ съ тѣмъ высшаго образованія.

Тургеневъ былъ очень друженъ съ Плетневымъ. Послѣдній приглашалъ его къ себѣ на литературные вечера, просматривалъ его попытки на пути самостоятельнаго творчества, и журилъ или хвалилъ молодаго дебютанта, смотря по тому стоилъ-ли онъ одного или другаго. Разъ будущій знаменитый беллетристъ написалъ какую-то длинную чепуху въ стихахъ à la Байронъ и далъ Плетневу для просмотра. Этотъ проценсурировалъ рукопись, опредѣлилъ ея достоинства, но все-таки обнадежилъ Тургенева, увѣряя его, что въ немъ «что-то такое есть».

Плетневъ былъ чисто-русскій человѣкъ въ томъ отношеніи, что разсудокъ въ немъ никогда не бралъ верхъ надъ сердцемъ. Даже не одобряя какое нибудь направленіе, какъ напр. движеніе шестидесятыхъ годовъ, онъ все-же относился къ нему крайне-добродушно и не присталъ къ тѣмъ партіоннымъ во французскомъ смыслѣ людямъ, которые извергали громъ и молнію противъ молодаго поколѣнія только за то одно, что оно не было согласно съ ихъ убѣжденіями. Строго порицая университетскій «бунтъ» 1861 года, Плетневъ, однако-же, глубоко скорбѣлъ за пострадавшихъ при этомъ молодыхъ людей. И во времена Тургенева, Плетневъ, не шокировалъ студентовъ, въ силу своей молодой натуры, всегда сочувствующихъ оппозиціонному, и потому относившихся крайне недружелюбно къ тѣмъ изъ профессоровъ, которые съ ученной кафедры, долженствующей быть болѣе или менѣе объективной, разрушали часто самымъ неосновательнымъ обра-

зомъ разныя «вредныя» теоріи и потому не передававшіе своимъ слушателямъ науку во всѣхъ ея деталяхъ; такъ напр. нѣкоторые совсѣмъ не упоминали при чтеніи политической экономіи о существованіи соціалистической школы. Маневръ, должно отдать справедливость, очень раціональный для радикальнаго излеченія юношества отъ революціонныхъ тенденцій. Студенты не могли приписать подобное опущеніе «независящимъ» отъ профессора обстоятельствамъ, потому что оно производилось proprio motu. Въ доказательство: преемнику преисполненнаго рвенія наставнику политической экономіи стоило только, сейчасъ-же по вступленіи на кафедру, заговорить о соціалистахъ — и никто и не вздумалъ придраться къ нему за это. Вообще умственному застою въ университетѣ не мало содѣйствовали сами профессора, совсѣмъ помимо постороннихъ вліяній. Каждый профессоръ, который хотя нѣсколько былъ преданъ своему предмету, могъ безъ особенныхъ усилій отстоять свою независимость и не допустить никакихъ калѣченій своей науки. Студенты относились очень недружелюбно къ уклонившимся отъ своихъ прямыхъ обязанностей профессорамъ и индиферентно къ нейтральнымъ. Слѣдовало-бы полагать, что Плетневъ попадетъ въ послѣднюю категорію. На самомъ-же дѣлѣ его всѣ любили въ силу той-же русской натуры, которая не въ состояніи враждебно и безразлично отнестись къ человѣку, смазавшему ей губы медомъ ласковаго обращенія, не приторно-ласковаго съ іезуитскимъ оттѣнкомъ, а истинно-добродушнаго съ широчайшею всероссійскою улыбкою.

Въ послѣдній годъ университетскаго пребыванія Тургенева началъ читать и Никитенко. Предметомъ его чтеній были: а) основанія философскаго языкоученія, въ приложеніи къ отечественному языку, съ критическимъ изложеніемъ развитія и усовершенствованія сего послѣдняго b) теорія Прозаической Словесности и с) Философія Изящнаго. Въ пятидесятыхъ годахъ лекціи его пользовались большою популярностью, такъ что аудиторія его часто наполнялась людьми посторонними, приходившими послушать моднаго профессора Русской Словесности. Точь въ точь какъ въ наше время съ лекціями О. Ѳ. Миллера.

Было-ли въ нихъ такое-же до тошноты обиліе либерализма и звонкихъ фразъ, не можемъ сказать утвердительно. Но какъ-бы то ни было въ срединѣ тридцатыхъ годовъ, Никитенко еще не былъ тѣмъ блестящимъ профессоромъ, какимъ сдѣлался впослѣдствіи и Тургеневъ не могъ особенно много вынести изъ его лекцій. Вліянія на него онъ тоже едвали имѣлъ, потому что Никитенко, будучи постояннымъ сотрудникомъ «Библіотеки для Чтенія» Сенковскаго, радикально расходился въ своихъ литературныхъ взглядахъ съ молодымъ студентомъ, уже тогда горячимъ поклонникомъ Бѣлинскаго, хотя и находившимъ мнѣнія послѣдняго нѣсколько крайними и слишкомъ уже отрицающими произведенія стараго времени и нѣкоторыя современныя.

Подведемъ теперь итогъ всему тому, что могъ и что вынесъ нашъ беллетристъ изъ Петербургскаго университета, изъ лекцій его профессоровъ. О вліяніи студенчества скажемъ потомъ нѣсколько словъ.

Съ ученной точки зрѣнія, филологическій факультетъ обладалъ нѣкоторыми силами, мы говоримъ нарочно нѣкоторыми, потому что въ сущности профессора, слывшіе гигантами ученности, таковыми казались только мало-подготовленнымъ слушателямъ своимъ. Безъ сомнѣнія Грефе и Устряловъ знали свой предметъ, но до какого нибудь Момсена или Цумпта имъ было такъ-же далеко, какъ далекъ былъ весь строй тогдашней жизни отъ западнаго житья-бытья. Если и въ настоящее время иной молоденькій магистрантъ, съ сознаніемъ собственнаго достоинства и знаній, отправляется за границу «*усовершенствоваться*» и, послушавъ заграничныхъ профессоровъ, убѣждается, что ему-бы собственно слѣдовало засѣсть учиться заново, а не усовершенствоваться, то въ тридцатыхъ годахъ это было постояннымъ явленіемъ и сами профессора добродушно сознавались въ своемъ безсиліи въ сравненіи съ европейскими авторитетами. Ихъ преподаваніе, слѣдовательно, не могло внушить Тургеневу особеннаго желанія стать ученымъ. Однако-же мы видимъ его, вмѣстѣ съ нѣкоторыми товарищами, отправляющимся, по окончаніи курса учиться въ германскихъ

университетахъ. Что-же его туда влекло? Не желаніе-же сдѣ. латься спеціалистомъ. Дѣйствительно, Тургеневъ не имѣлъ никакой охоты записаться въ гелертерскій цѣхъ, его артистической натурѣ не нравилась узкая спеціализація знанія, но образованнымъ человѣкомъ онъ желалъ стать; къ этому онъ стремился всѣми силами своей души. Петербургскій университетъ только разлакомилъ его, возбудилъ въ немъ аппетитъ просвѣщенія, но не далъ утоленія духовной жаждѣ. Вотъ отчего Берлинскіе профессора вскорѣ увидѣли въ числѣ своихъ не малочисленныхъ русскихъ слушателей и будущаго знаменитаго писателя, а покамѣсть скромнаго юношу, готоваго подвергнуться самой школьнической дрессировкѣ, чтобы вполнѣ проникнуться всѣмъ тѣмъ, что человѣческій умъ выработалъ и быть въ состояніи слѣдить за теченіемъ европейской жизни.

Съ тѣмъ-же трепетомъ, который овладѣваетъ влюбленнымъ, когда ему предстоитъ, наконецъ, встрѣтиться лицемъ къ лицу съ предметомъ его неопредѣленной страсти, Тургеневъ стремился увидѣть собственными глазами родину Гете и Шиллера, мѣсто рожденія общечеловѣческой панацеи—гегелизма, столкнуться лицемъ къ лицу съ приложеніемъ къ дѣйствительности недосягаемыхъ для тогдашняго русскаго идеаловъ общественной жизни. Какъ пиллигримы идутъ въ Римъ на поклоненіе папѣ, такъ нашъ юный кандидатъ отправлялся за море (въ буквальномъ смыслѣ) поучиться уму-разуму у нѣмцевъ, удивиться ихъ превосходству на всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности. И его не ожидало разочарованіе. При всѣхъ своихъ несовершенствахъ, при всѣхъ своихъ несоотвѣтствіяхъ съ истиннымъ порядкомъ вещей, Германія, все-же представлялась въ грандіозныхъ образахъ восхищеннымъ глазамъ скиѳскаго аспиранта на званіе образованнаго человѣка, домашняя обстановка котораго діаметрально расходилась съ его умственнымъ строемъ.

IV.

Намъ остается еще разрѣшить одинъ весьма интересный вопросъ. Имѣло-ли пребываніе Тургенева въ университетѣ на него вліяніе въ томъ отношеніи, что внушило ему какія-нибудь убѣжденія въ сферѣ литературы, политики и общественной жизни вообще? Дало-ли оно ему какое нибудь цѣльное міросозерцаніе, какой-нибудь извѣстный складъ идей и понятій?

Трудно высказать вполнѣ опредѣленный отвѣтъ на всѣ эти вопросы. Какъ въ самомъ дѣлѣ опредѣлить съ достаточною ясностью всѣ условія, вліяющія на формированіе чьего-нибудь направленія мыслей? Гдѣ дана возможность уловить всѣ тонкости обстановки, часто дающей характеру тотъ или другой оборотъ? Какъ, наконецъ, опредѣлить величину вліянія каждаго изъ многочисленныхъ факторовъ? Но все-же мы съ нѣкоторою долею вѣроятности можемъ предположить, что университетъ игралъ по отношенію къ Тургеневу только роль перваго плуга, прошедшаго по до того невспаханной землѣ. Если имъ кромѣ того брошены были нѣкоторыя сѣмяна, то, во всякомъ случаѣ, послѣднія были очень скудны и только позднѣйшія хорошо сложившіяся условія дали имъ возможность принести превосходную жатву.

Университету трудно было сдѣлать изъ Тургенева какъ консерватора такъ и либерала, такъ какъ изъ профессоровъ, могшихъ имѣть вліяніе на политическое міросозерцаніе студентовъ, нѣкоторые не воспользовались этой возможностью, другіе-же при всей своей смертной охотѣ, не были въ состояніи провести своего намѣренія. Могъ-ли напр. обратить въ свою «вѣру» Фишеръ? Какъ-бы ни были справедливы нѣкоторыя изъ его мнѣній, онѣ теряли обаяніе самостоятельности

ореолъ искренняго убѣжденія. Извѣстно, что для того чтобы кого-нибудь убѣдить въ чемъ, часто должно пускать въ ходъ не одни только логическіе доводы. Да они и не всегда нужны, такъ какъ абсолютной истины нѣтъ и нравственная формула не есть математическая, гдѣ личность доказывающаго не играетъ никакой роли. Все человѣческое относительно и справедливое въ однихъ устахъ теряетъ значительную долю своей убѣдительности въ другихъ. Если иной, будучи самъ безнравственнымъ, успѣшно можетъ проповѣдывать въ печатной статьѣ, то относительно человѣка устно излагающаго свои мысли такого результата никогда не получится. Опять таки печатная статья только въ томъ случаѣ можетъ произвести вліяніе, если вамъ неизвѣстна личность писавшаго. Статья Руера о политической честности едва-ли васъ убѣдитъ и подѣйствуетъ. Значитъ нечего и говорить, что между профессоромъ и студентомъ должна находиться извѣстнаго рода солидарность, увѣренность, что съ кафедры произносится искреннее слово, не подлежащее никакому давленію и руководствующееся однѣми только научными цѣлями Именно этого-то связующаго элемента не было между Фишеромъ и его слушателями. Напуганные проповѣдью недовѣрія къ человѣческому уму, они не могли заимствовать у него свои воззрѣнія на жизненныя и общественныя явленія, потому что фишеровскіе вляды на эти вещи отзывались братствомъ Святаго Іисуса и Священнымъ Союзомъ—два учрежденія, которые не подходили подъ идеалистическое направленіе неразвитыхъ, но честныхъ юношей.

Куторга, Устряловъ, Плетневъ, при всѣхъ своихъ опять-таки «относительныхъ» достоинствахъ, не производили большаго впечатленія на развитіе студентовъ. Первый читалъ свой предметъ крайне-объективно, а второй если и подпускалъ «тенденцію», то она совсѣмъ не гармонировала съ общимъ настроеніемъ тогдашней учащейся молодежи. Плетневъ политическое міросозерцаніе студентовъ измѣнить не былъ въ состояніи, да и не старался. Всѣ его бывшіе ученики съ благодарностью вспоминаютъ о его добротѣ, о его хорошемъ

обращеніи со студентами, но не о способности такъ или иначе направить тенденціи своихъ слушателей.

Итакъ профессорскій персоналъ въ дѣлѣ умственнаго развитія Тургенева большаго значенія не имѣлъ. Было-бы, однакоже, несправедливо, если-бы мы стали утверждать, что университетъ не оставилъ сильнаго слѣда въ формированіи міросозерцанія Тургенева. Дѣло въ томъ, что должно ввести новый факторъ — товарищество, оказавшій огромное вліяніе на нашего беллетриста, что видно изъ той любви, съ которою Тургеневъ такъ охотно останавливается въ своихъ произведеніяхъ на воспоминаніяхъ о студенческомъ періодѣ своей жизни. Въ настоящее время мало по малу утрачивается единеніе учащейся молодежи. Огромный наплывъ на нѣкоторые факультеты производитъ то, что молодые люди, кончающіе въ одинъ и тотъ-же годъ курсъ, не знаютъ другъ друга даже по имени. Понятно, что при такой разрозненности не можетъ существовать корпораціоннаго духа, всякій студентъ не можетъ себя считать принадлежащимъ къ одному обществу, воодушевленному общими симпатіями и стремленіями. Въ значительной степени утратилось то специфическое нѣчто, что когда-то такъ рѣзко отличало студента отъ «филистера». Теперь студентъ, въ университетѣ въ особенности, это молодой человѣкъ, посѣщающій высшеучебное заведеніе для того, чтобы получить извѣстную степень, дающую ему виды на матеріальное обезпеченіе. Любителей искуства для искуства т. е. такихъ, чтобы вступали въ университетъ съ единственною цѣлью получить высшее образованіе — вы встрѣчаете самое ничтожнѣйшее количество. Прежде-же, когда крѣпостное право дозволяло быть диллетантами очень большому количеству дворянчиковъ, подобное явленіе было несравненно чаще. Въ доказательство: тогда-были переполнены филологическіе или по прежнему философскіе факультеты, не дававшіе видовъ на доходную карьеру. Малое количество студентовъ, ихъ обезпеченность, давала возможность чаще сходиться, бесѣдовать, спорить. Времени было больше, такъ какъ не нужно было бѣгать на урокъ или корпѣть за кор-

ректурой, или готовиться къ стипендіатскому экзамену. Съ одной стороны избытокъ досуга велъ къ бездѣльничанію, но какъ нѣтъ худа безъ добра, такъ и въ данномъ случаѣ безъ этого не обошлось. Частое схожденіе студентовъ между собой было тогда полезно и даже необходимо вотъ по какой причинѣ. Въ настоящее время вы выходите на улицу, покупаете за нѣсколько копѣекъ газету, и спокойно идете себѣ домой: вы уже обезпечены относительно того, что есть новаго на бѣломъ свѣтѣ. Въ газетѣ вы встрѣчаете совершенно свободное обсужденіе иностранной политики и довольно свободное внутренней. Прежде-же ничего подобнаго и въ поминѣ не было. Цензура позволяла говорить свободно развѣ только о политикѣ кафрскихъ предводителей. Факты дозволялось приводить все больше «назидательные». При такихъ обстоятельствахъ періодическая печать (за исключеніемъ беллетристическаго и отчасти критическаго отдѣловъ) не могла имѣть большаго значенія и служить для пріобрѣтенія правильнаго взгляда на современную жизнь не только Россіи, но и западныхъ государствъ. Приниженностью печати, отсутствіемъ свободы слова и объясняется частота студенческихъ собраній, а также ихъ значительная доля благотворности. Студенческія сходки были только частнымъ случаемъ повсемѣстнаго явленія: въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ мы повсюду замѣчаемъ кружки, сходившіеся, чтобы въ частной бесѣдѣ не стѣсняясь потолковать о ненормальныхъ явленіяхъ тогдашняго порядка вещей. Среди студентовъ всегда отыскивалось какое нибудь выдающееся лице, своею интеллигенціею составлявшее около себя кружокъ, средоточіемъ котораго былъ большею частью онъ-же самъ. Изъ такихъ личностей часто формировались Рудины, но за то онѣ личную негодность сторицею искупали тѣмъ, что давали толчки къ умственной жизни десяткамъ неразвитыхъ юношей. Студенческіе кружки не подражали нѣмецкимъ буршамъ и не служили пивными собраніями. Нѣтъ! всегда завязывался какой-нибудь разговоръ о «матеріяхъ важныхъ», о философіи, о политикѣ, сначала тихо, но потомъ все разгараясь и разгарясь.

Лица воодушевлялись, всякій задушевно высказывалъ свои мысли и сомнѣнія. Въ этихъ сужденіяхъ было, положимъ, пропасть заблужденій и непониманія жизни, но чѣмъ-же и отличается юношескій возрастъ, какъ не честнымъ увлеченіемъ. Лучше что-ли теперь, когда безъбородый юридическій второкурсникъ «солидно» разсуждаетъ о политической экономіи и мечтаетъ о срываніи кушей! Корень всему въ юности: практичный юноша неизбѣжно долженъ превратиться впослѣдствіи въ пошлаго филистера. Увлекающійся-же остепенится тоже, но честныя стремленія въ немъ не заглохнутъ и онъ всегда будетъ готовъ на хорошее дѣло, потому что у него остался неприкосновеннымъ лучшій даръ въ жизни—натура. Если же ее начать расходовать съ юности, то къ зрѣлому возрасту отъ нея останется лишь очень смутное воспоминаніе и никакое высшее образованіе тутъ не поможетъ. Выйдетъ филистеръ съ университетскимъ дипломомъ и ничего больше. А такіе люди еще гораздо невыносимѣе неокончившихъ университетъ филистеровъ: тѣ по крайней мѣрѣ филистерствуетъ себѣ, потому что оно имъ выгоднѣе, патентованный-же филистръ построитъ вамъ цѣлую систему доказательствъ истинности своего направленія и выведетъ васъ ихъ терпѣнія тѣмъ, что создаетъ для своего оправданія цѣлую философію пошлости.

При Тургеневѣ на филологическомъ факультетѣ курсъ ученія продолжался всего три года, такъ что онъ долженъ былъ-бы выйти изъ университета въ 1836 году, что дѣйствительно и случилось. Но въ этомъ году онъ кончилъ со званіемъ дѣйствительнаго студента; поэтому въ слѣдующемъ году снова держалъ экзаменъ, чтобы получить званіе кандидата. Получивъ эту степень, Тургеневъ по раньше изложеннымъ причинамъ не счелъ, однакоже, свое образованіе оконченнымъ и рѣшился отправиться за границу «усовершенствоваться». Намѣреніе было исполнено въ слѣдующемъ 1838 г. Вмѣстѣ съ цѣлою компаніею любознательныхъ русскихъ молодыхъ людей, отправился Тургеневъ на любекскомъ пароходѣ «Николай I» въ Германію. Туда его влекло желаніе

отвѣдать гегеліанской философіи у самаго ея источника. Школа Гегеля, какъ извѣстно, привилась русской интеллигенціи сороковыхъ годовъ. Ее прельстила обманчивая возможность отыскать абсолютную истину и этимъ путемъ получить хотя въ теоріи вѣрное представленіе объ «истинномъ» порядкѣ вещей. При этомъ нерѣдко случалось, что иная формула Гегеля перевиралась нашими доморощенными философами. Они часто бились надъ разрѣшеніемъ мнимыхъ противорѣчій въ системѣ Гегеля, противорѣчій, происходившихъ отъ непониманія текста, отъ ложнаго его толкованія. Такъ напр. нашимъ гегеліянцамъ причинило много безсонныхъ ночей извѣстное гегелевское положеніе: «все дѣйствительное—хорошо». Въ самомъ дѣлѣ, съ перваго взгляда было отчего придти въ отчаяніе: люди отбросили посредствомъ образованія толстую кору пошлости, которой прежде были покрыты, люди возвысились до увлеченія философскою системою, клеймившей все нераціональное въ жизни, стали, вслѣдствіе этого, въ рѣзкую оппозицію нашему неказистому житью-бытью тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, отвергли дурно сложившіяся формы нашего общественнаго положенія, развили въ себѣ чувство уваженія къ высшей правдѣ, къ высшимъ стремленіямъ, дошли до протеста и отрицанія филистерства во всѣхъ его разнообразныхъ видахъ, готовы были, наконецъ, пострадать, чтобы привести въ исполненіе свои идеи и вдругъ излюбленный учитель, произведшій весь этотъ переворотъ, поднявшій всю эту нравственную бурю въ душевномъ настроеніи нашихъ образованныхъ людей того времени, вдругъ этотъ возвышенный философъ изрекаетъ такую исправническую фразу, что молъ *«все дѣйствительное—хорошо»!* Значитъ и взятки хороши, и крѣпостничество ничего дурнаго въ себѣ не содержитъ и раціоналенъ весь строй жизни, приводящій въ содроганіе всякаго свѣжаго человѣка, котораго не втянуло въ себя колесо обыденной жизни и заставило примириться съ разною пошлостью и мизерностью. Значитъ хорошо все то, что такъ возмущаетъ всякого истинно любящаго Русь. Стоило-ли послѣ этого мучить себя разными сомнѣніями,

изнывать въ тоскѣ, видя невозможность приложить теоретическіе выводы умозрѣнія къ практикѣ повседневной жизни. Значитъ безсмысленъ всякій протестъ противъ существующаго порядка вещей, значитъ нужно одѣть мундиръ становаго и съ спокойною совѣстью, вполнѣ согласно новѣйшимъ выводамъ философіи, начать собирать дань съ приходящихъ за правосудіемъ!.....

Весь этотъ переполохъ, весь этотъ сыръ-боръ загорѣлся вслѣдствіе простаго недоразумѣнія. Дѣло въ томъ, что Гегель не все *существующее* призналъ *дѣйствительнымъ*. Слѣдовательно огорчаться не было ни какой надобности и философъ ничуть не являлся апологистомъ всего существующаго безъ разбору.

Не желая изъ третьихъ рукъ получать гегеліанскую философію, не имѣя охоты вышеописаннымъ манеромъ попадаться въ просакъ, Тургеневъ и рѣшился прослушать нѣсколько семестровъ лекціи Берлинскихъ профессоровъ. Тутъ уже онъ имѣлъ дѣло не съ «подающими» надежды молодыми профессорами; а съ «въ самодѣльными» европейскими авторитетами, языкъ которыхъ, къ тому-же, не былъ связанъ никакими давленіями свыше, или если и существовали стѣсненія, то онѣ во всякомъ случаѣ были ничтожны въ сравненіи съ петербургскими порядками. Вмѣстѣ съ Грановскимъ слушалъ Тургеневъ философію у Вердера, латинскую словесность у Цумпта, Греческую у Бока, исторію у Ганса и Ранке. Все имена солидныя! Какъ сознается Тургеневъ, лекціи этихъ ученыхъ произвели на него очень большое впечатлѣніе. Но университетъ Берлинскій вошелъ только какъ составная часть въ то вліяніе, которое вообще оказало на нашего беллетриста пребываніе заграницею. Живя въ Петербургѣ, онъ могъ быть знакомъ только съ тою частью западной культуры, что проявляется въ исторіи и литературѣ. Но эти два выраженія человѣческой жизни составляютъ парадную одежду каждаго народа. О степени цивилизаціи можно судить вполнѣ только тогда, когда столкнешься съ обыденной, повседневной жизнью извѣстной націи, когда увидишь насколько именно культура

вошла въ нравы, на сколько она составляетъ одно неразрывное цѣлое. Если Тургеневъ еще до отъѣзда въ Германію былъ «западникомъ», то возвратился онъ оттуда уже совершенно неисправимымъ поклонникомъ заграничнаго строя жизни. Да и какъ-же было ему не сдѣлаться «западникомъ», когда онъ, вырвавшись изъ тѣсной и душной клѣтки тогдашняго строя русской жизни, попалъ на свободное раздолье европейской цивилизаціи. То, невозможность осуществленія котораго, вслѣдствіе особенно сложившихся историческихъ обстоятельствъ, онъ видѣлъ въ Россіи, разцвѣло пышнымъ цвѣтомъ на здоровой почвѣ западныхъ нравовъ и порядковъ. Намъ могутъ указать на несовершенную точность нашихъ выраженій, такъ какъ въ сороковыхъ годахъ и Германія не ахти-какъ подходила подъ идеалъ истинно-свободной и просвѣщенной страны. Это возраженіе имѣло-бы смыслъ относительно англичанина или американца, попавшаго въ Германію. Но оно совершенно не у мѣста относительно русскаго тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, у котораго еще довольно свѣжи были въ памяти времена, не особенно далеко отошедшія отъ идей «Домостроя» и татарщины. Для него открывался совершенно новый міръ гражданственности и уваженія въ человѣческой личности, міръ отрицанія кулачнаго права и своекорыстныхъ разсчетовъ какъ основаніе общественной морали, міръ свободнаго слова, какъ печатнаго, такъ и устнаго. Да, глубокое дѣйствіе произвело на впечатлительнаго молодаго человѣка западная жизнь; внимательно всматривался онъ въ ея детали. Невольно сталъ онъ сравнивать свою родную убогую обстановку съ пышнымъ убранствомъ чужеземной жизни. Неужели-же задавалъ онъ себѣ вопросъ, люди запада созданы особеннымъ образомъ? Неужели-же они составляютъ какую-нибудь особенную аристократію, которая одна способна усвоить высшія идеи и стремленія? Неужели-же въ русскомъ народѣ нѣтъ задатковъ культурнаго процвѣтанія, неужели-же онъ менѣе другихъ способенъ выражать своею жизнью прогрессивное движеніе человѣчества? На всѣ эти вопросы любящій и знающій свою родину юноша могъ от-

вѣчать только однимъ энергическимъ—нѣтъ! Природа не обидѣла Русь своими дарами. «Земля наша велика и обильна, да порядка въ ней нѣтъ». Это неумолимое резюме нашего историческаго бытія преслѣдовало молодаго Тургенева и заставляло его придумывать средства къ водворенію желаннаго порядка, къ такой постановкѣ дѣла, при которой не пропадали-бы втунѣ сокровища, хранящіяся въ богатой русской натурѣ.

Нечего теперь распространяться о томъ громадномъ экономическомъ и нравственномъ вредѣ, что приносило крѣпостное право. Истина эта была сознана просвѣщенными людьми еще въ прошломъ столѣтіи, многими понималась въ началѣ нынѣшняго и стала общимъ мѣстомъ у интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Въ самой сильной степени былъ зараженъ этими мыслями и Тургеневъ. Онъ выросъ въ домѣ, гдѣ вполнѣ пользовались предоставленнымъ помѣщикамъ правомъ надъ крестьянами. Не такимъ, однакоже, сдѣлался и онъ. Среда, въ которой человѣкъ вращается, можетъ на него производить двоякаго рода вліяніе. Личность пошлую по натурѣ и безхарактерную она втягиваетъ въ себя сначала по немногу, а потомъ все болѣе и болѣе, пока наконецъ совершенно не ассимилируетъ съ собою. На иныя же натуры среда (мы говоримъ о средѣ безобразной) производитъ совершенно другое дѣйствіе. Для нихъ пребываніе среди разныхъ пошлостей и мерзостей только полезно: давая постоянно случаи возмущаться, оно укрѣпляетъ чувства негодованія. Тургеневъ, къ чести его будь сказано, принадлежитъ именно къ натурамъ послѣдняго разряда. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ пріобрѣтенія образованія и развитія, чувства негодованія противъ крѣпостнаго права все больше и больше въ немъ росли. Но апогея они достигли во время его пребыванія за границею. Сравнивъ образованный и зажиточный нѣмецкій народъ съ нашими невѣжественными и нищими крестьянами, онъ не могъ не сознавать, что крѣпостничество и есть именно одинъ изъ тѣхъ главныхъ анормальныхъ факторовъ, которые сдѣлали нашу жизнь такъ не-

похожею на европейскую. Въ Германіи Тургеневъ всего сильнѣе созналъ, что долгъ каждаго честнаго и любящаго свою родину русскаго состоитъ въ томъ, чтобы всевозможными средствами стараться объ искорененіи этого послѣдняго остатка того неисчислимаго вреда, который оставила послѣ себя татарщина. Будучи въ Германіи, Тургеневъ задумалъ свои безсмертные «Записки Охотника», гдѣ старался показать обиліе природнаго матеріала, остающагося безъ должной обработки. Но объ нихъ рѣчь еще впереди.

Теперь, когда мы заговорили о крѣпостномъ правѣ, считаемъ не лишнимъ присовокупить нижеслѣдующее.

Собираясь писать настоящій этюдъ, авторъ его обратился къ Тургеневу съ письмомъ, въ которомъ изложилъ нѣсколько просьбъ, касающихся предмета этюда. Между прочимъ писалъ онъ ему вотъ что:

. . . . . «Одно мнѣ не объяснилось ни изъ печатныхъ источниковъ, ни изъ разсказовъ нѣкоторыхъ лицъ, съ Вами знакомыхъ. Оно тѣсно связано съ Вашими идеями о крѣпостномъ правѣ, съ Вашей пропагандой его отмѣны и облегченія не только правительствомъ, но и частными людьми. Въ связи съ этимъ обстоятельствомъ я и хочу предложить Вамъ одинъ вопросъ. Вопросъ этотъ принадлежитъ къ категоріи, именуемой въ общежитіи «щекотливымъ». Но я слишкомъ много Васъ уважаю, чтобы хотя на минуту предположить, что Вы будете шокированы моимъ вопросомъ и не отвѣтите мнѣ прямо.

Иванъ Сергѣевичъ! Я не имѣю чести быть съ Вами знакомымъ, ни разу даже Васъ не видѣлъ. Все это не мѣшаетъ мнѣ, однакоже, имѣть о Васъ очень опредѣленное представленіе и представленіе, чего таить, самое лучшее. Мнѣ было-бы по этому больно узнать о Васъ поступокъ, не гармонирующій съ Вашею литературною дѣятельностью, не подходящій подъ тотъ симпатичный ореолъ, которымъ окруженъ въ моихъ глазахъ авторъ «Записокъ Охотника». Вслѣдствіе этого-то высокаго моего мнѣнія о Васъ, мнѣ и кажется, что Вы, какъ человѣкъ такъ краснорѣ-

чиво и многозначительно возставшій противъ крѣпостничества, должны были, сдѣлавшись послѣ смерти Вашего отца владѣльцемъ его имѣнія, освободить доставшихся Вамъ крестьянъ. Сдѣлали-ли Вы это? А если не сдѣлали, то какія *уважительныя* причины заставили Васъ не осуществить на дѣлѣ то, что вы такимъ искреннимъ и убѣжденнымъ тономъ проповѣдывали въ Вашихъ прекрасныхъ повѣстяхъ.

Если мои вопросы нескромны, я все-же имѣю право Вамъ ихъ предложить. Вы не кто-нибудь, Вы дѣятель, имя котораго навсегда останется въ лѣтописяхъ русской цивилизаціи. Значитъ, Вы должны стоять высоко надъ рутинными понятіями, надъ личными интересами, у Васъ слово должно согласоваться съ дѣломъ. Гдѣ-же потомъ искать этого согласованія, какъ не у Васъ? Изъ Вашихъ литературныхъ воспоминаній видно, что Вы не очень высоко ставите***, какъ нравственную личность; Вы ему не прощаете, что внѣ своихъ произведеній онъ пошлый человѣкъ и недостоенъ уваженія. По этому я и отъ Васъ долженъ требовать, чтобы Вы, имѣя возможность осуществить свои принципы, сдѣлали-бы это, хотя-бы и въ ущербъ своимъ интересамъ. . . . .

На это письмо былъ полученъ отвѣтъ, отрывки изъ котораго, касающіеся затронутаго нами вопроса о крѣпостномъ правѣ, и приводимъ.

«Я сегодня получилъ Ваше письмо. Отвѣчу откровенно на Вашъ откровенный вопросъ.

Отецъ мой скончался 30-го Октября 1834 г. Мнѣ всего было тогда 16 лѣтъ.—Ненависть къ крѣпостному праву уже тогда жила во мнѣ—она, между прочимъ, была причиной тому, что я, возросшій среди побоевъ и истязаній, не осквернилъ руки своей ни однимъ ударомъ.—Но до «Записокъ Охотника» было далеко. Я былъ просто мальчикъ,—чуть не дитя. Къ тому-жъ отецъ мой былъ человѣкъ бѣдный, онъ оставилъ всего 130 душъ разстроенныхъ и не дававшихъ дохода—а насъ было трое братьевъ. Имѣніе моего отца слилось съ имѣніемъ моей матери, которая одна давала намъ а иногда и отнимала у насъ—средства къ жизни. Ни ей ни

намъ въ голову не приходило, что это ничтожное имѣніе (я говорю про отцовское)—не ея.—Я прожилъ три года за границей, не получилъ отъ нея ни копейки и все таки не подумалъ истребовать свое наслѣдство; впрочемъ, это наслѣдство,—за вычетомъ того, что слѣдовало моей матери какъ вдовѣ и того, что приходилось на долю братьевъ—не многимъ-бы превысило нуль.

Когда-же матушка скончалась въ 1850 году, я немедленно отпустилъ всѣхъ дворовыхъ на волю, пожелавшихъ крестьянъ перевелъ на оброкъ, всячески содѣйствовалъ успѣху общаго освобожденія, при выкупѣ вездѣ уступилъ пятую часть—и въ главномъ имѣніи не взялъ ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Другой быть можетъ на моемъ мѣстѣ сдѣлалъ-бы больше и скорѣе; но я обѣщалъ сказать правду, и говорю ее, какова она ни есть. Хвастать ею нечего; но и безчестія она, я полагаю, принести мнѣ не можетъ».

Да дѣйствительно, безчестія тутъ мало, а чести-то наберется довольно много!

Этимъ краткимъ упоминаніемъ мы ограничимся, чтобы дать читателю понятіе о личности Тургенева. Мы это дѣлаемъ потому что про человѣка, живущаго въ одно съ нами время нельзя писать о его частной жизни sans égards. Излишняя похвала весьма основательно можетъ быть сочтена за панегирикъ, подслуживанье, а слишкомъ строгое порицаніе за личности. По этому, не влѣзая въ частную жизнь Тургенева, будемъ говорить только о тѣхъ его поступкахъ, которые болѣе или менѣе связаны съ его литературною дѣятельностью и коснуться коихъ мы обязаны, желая писать не исключительно-критическій этюдъ.

Возвращаемся къ пребыванію Тургенева за границею. Онъ тамъ прожилъ до 1841 г. Между прочими русскими молодыми людми въ одно время съ нимъ слушали лекціи германскихъ профессоровъ Грановскій и М. Б., оба ставшіе потомъ извѣстными, хотя и на различныхъ поприщахъ. Съ ними Тургеневъ довольно близко сошелся.

Надо было однако-же возвращаться въ Россію. «Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше», гласитъ народная мудрость. И вотъ полный удивленія къ Западу, Тургеневъ пріѣзжаетъ обратно. Его умъ окрѣпъ, знанія увеличились, молодыя силы развернулись. Все это, согласно характеру эпохи, выразилось въ стихотвореніяхъ. Но объ этомъ въ слѣдующей главѣ.

V.

Приступая къ разбору стихотвореній Тургенева мы должны нѣсколько оговориться. Несмотря на то, что вступленіе Тургенева на стихотворное поприще было болѣе чѣмъ одобрительно, почти восторженно встрѣчено Бѣлинскимъ, разбираемый нами авторъ впослѣдствіи отказался отъ *«грѣховъ молодости»* и, перепечатавъ въ полномъ собраніи сочиненій довольно слабыя драматическія произведенія, не сдѣлалъ того-же самаго со своими стихами. «Я чувствую положительную, чуть не физическую антипатію къ моимъ стихотвореніямъ», пишетъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ, «и не только не имѣю ни одного экземпляра моихъ поэмъ — но дорого-бы далъ, чтобы ихъ вообще не существовало на свѣтѣ». Эту странную нелюбовь нельзя объяснить желаньемъ отдать на судъ потомства только избранное, *«перлы творчества»*, какъ выражались когда-то. Этого никакъ нельзя предполагать, потому что всякій безпристрастный цѣнитель согласится съ нами, что «Параша» несравненно выше стоитъ разныхъ «Довольно», «Призраковъ», «Собакъ», которыя, однакоже, горделиво красуются наряду съ «Записками Охотника» «Рудинымъ», «Дворянскимъ Гнѣздомъ», «Наканунѣ». Или справедливо то положеніе, что авторъ никогда не можетъ вѣрно судить о своихъ произведеніяхъ? Въ такомъ случаѣ, намъ дѣйствительно все объяснится.

Но какъ-бы то ни было, фактомъ отреченія Тургеневъ обезоруживаетъ критик[illegible] и не даетъ ей права на суровый приговоръ, который впрочемъ не имѣлъ-бы мѣста и при другихъ обстоятельствахъ.

Въ стихотвореніяхъ Тургенева мы можемъ видѣть признакъ подражательности перваго періода его литературной дѣятельности.

Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь—вотъ титаны, поразившіе своимъ геніемъ людей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Каждый изъ нихъ создалъ свою школу, каждый вызвалъ толпу подражателей. Тургеневъ не геній, онъ только первоклассный талантъ, поэтому не удивительно, что первые опыты его сильно отзывались подражаніемъ, хотя подражаніемъ даровитаго ученика. Тол[illegible]ослѣдствіи, выбившись на самостоятельную дорогу, он[illegible]росилъ съ себя иго копированія и тѣмъ стяжалъ славу талантливаго мастера. Цѣлыхъ десять лѣтъ Тургеневъ являлся только подражателемъ; «Записки Охотника» составляютъ исключеніе, а потому мы и назвали его за нихъ великимъ, почти геніальнымъ, потому что ими былъ открытъ новый родъ творчества, до того почти неизвѣстный. За вычетомъ-же «Записокъ Охотника», мы до появленія «Рудина» можемъ сказать: здѣсь видно вліяніе Пушкина, здѣсь Гоголя, здѣсь Лермонтова, а здѣсь всѣхъ троихъ вмѣстѣ.

Еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ, добродушный Плетневъ, желая поощрить молодой талантъ, помѣстилъ нѣсколько стихотвореній Тургенева въ «Современникѣ», но самостоятельно даровитый юноша впервые появляется въ 1841 г. двумя стихотвореніями, напечатанными въ «Отеч. Запискахъ» подъ робкими иниціалами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ). Одно стихотвореніе называется «Старый Помѣщикъ», второе «Баллада», двѣ вещи весьма и весьма слабыя, первая къ тому еще съ весьма странною тенденціею. Умираетъ видите-ли старый помѣщикъ и разговариваетъ съ племянникомъ, о своей прошлой жизни. Все-бы хорошо, да одного ему недоставало.

И я былъ молодъ, ѣлъ и пилъ
И красныхъ дѣвушекъ ласкалъ,
И зайцевъ сотнями травилъ,
Съ друзьями буйно пировалъ....
Бывало въ городъ ѣду я —
Кущы бѣгутъ встрѣчать меня....
Я первымъ славился бойцомъ
И ботачомъ, и молодцомъ.
Богатство все перевелось —
Да что!.... любить не довелось!
И самъ не знаю отъ чего
Не то, чтобъ занятъ былъ другимъ
Иль время скоро такъ прошло....
Но только не былъ я любимъ —
И не любилъ, за то тоска
Грызетъ и давитъ старика —
И въ страшный часъ, послѣдній часъ,
Ты видишь, слезы [illegible]отъ изъ глазъ:
Мнѣ эти слезы [illegible] лицо
И стыдно мнѣ, и тяжело....

Не правда-ли есть о чемъ горевать, да еще передъ смертью? Въ этомъ эксцентричномъ сѣтованіи чувствуется и Байронъ и Лермонтовъ, и романтическая школа Гюго, да только силы нѣтъ той, экспрессіи, которая не позволяетъ вамъ расхохотаться. Для такихъ сюжетовъ требуется талантъ первоклассный, по этому Тургеневъ съ нимъ и не совладалъ. Онъ бросаетъ вскорѣ «демоническій» жанръ и переходитъ въ Онѣгинскій. Тутъ онъ несравненно болѣе у мѣста и первая попытка въ этомъ родѣ «Параша» является довольно удовлетворительной. Въ «Парашѣ» мы кромѣ того видимъ болѣе удовлетворительную версификацію, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходящую даже до совершенства, какъ читатель это увидитъ изъ послѣдующихъ выписокъ. А то вотъ въ «Балладѣ» вы встрѣчаете такія вирши.

Заѣдалъ я чарку — хозяйской ѣдой
Цѣловался сладко — да съ твоей женой.

Ничего подобнаго мы не находимъ въ «Парашѣ». Сюжетъ

ея очень простъ, на столько простъ, что не знаешь право для чего тутъ понадобилось облечь его въ стихотворную форму. Или можетъ быть это произошло оттого, что «Онѣгинъ» написанъ въ рифмованной оболочкѣ? Подобное мнѣніе подкрѣпляется большимъ сходствомъ Пушкинской и Тургеневской поэмы. Тургеневъ на столько былъ увлеченъ великимъ поэтомъ, онъ настолько его боготворилъ, что не побоялся упрека въ нѣкоторомъ заимствованіи. Быть подражателемъ творца «Онѣгина», «Полтавы»—въ этомъ молодой энтузіастъ могъ видѣть только очень для себя лестное и ничего болѣе. Его дарованіе не на столько еще окрѣпло, его міросозерцаніе не на столько оформировалось, чтобы выразиться въ оригинальномъ, самобытномъ видѣ. Онъ дѣлаетъ еще только первые шаги и потому не отталкиваетъ направляющей руки учителя. На всей «Парашѣ», наряду съ многими превосходными мѣстами лежитъ отпечатокъ [illegible]*вшаго юноши*. Читаешь ее, все гладко, хорошо, да вдругъ прорвется неловкое мѣсто, неумѣлость новичка. Въ стихахъ Тургенева проглядываетъ вообще одна общая характеристичная черта: — невыдержанность. Онъ не можетъ послѣдовательно вести разсказъ въ одномъ и томъ-же духѣ. Наряду съ возвышеннымъ описаніемъ картины природы или изложеніемъ манфредовскихъ идей у него прорвется вульгарное словечко или неумѣстная острота и настроеніе читателя разрушается: обаяніе многихъ глубокопоэтическихъ мѣстъ пропадаетъ и вы въ досадѣ на автора, который самъ вредитъ себѣ наисильнѣйшимъ образомъ отсутствіемъ выдержки. Однимъ словомъ, въ стихахъ Тургенева главнымъ образомъ *хорошія намѣренія*. Къ сожалѣнію этого не вполнѣ достаточно, ибо нѣкоторые утверждаютъ, что даже адъ ими выстланъ.

Но возвратимся къ сюжету Параши.

Дѣйствіе происходитъ при чисто-русской обстановкѣ, повидимому въ одной изъ центральныхъ мѣстностей Россіи.

Смотрите: передъ вами лугъ просторный,
За лугомъ рѣчька — а за рѣчькой домъ,
Старинный домъ, нахмуренный и черный,
Раскрашенный приходскимъ маляромъ....
Широкій, низкій, съ крышей безобразной,
Подпертый рядомъ жиденькихъ колоннъ,....
Свидѣтель буйной жизни, лѣни праздной
Двухъ или трехъ помѣщицьихъ племенъ.
За домомъ садъ: въ саду стоятъ рядами
Все яблоки, покрытыя плодами....
Извѣстно: наши добрые отцы
Любили яблоки — да *огурцы*.

Мы подчеркнули слово огурцы, чтобы показать неумѣстное примѣненіе Тургеневымъ остротъ въ его стихотворныхъ произведеніяхъ. Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь понадобились огурцы: идетъ эпическій разсказъ, съ оттѣнкомъ нѣкотораго мечтательнаго романтизма, и вдругъ подъ риѳму къ отцамъ нашъ авторъ, такъ ловко владѣющій стихомъ, не находитъ ничего болѣе подходящаго кромѣ совсѣмъ къ тому не характерныхъ для прежнихъ помѣщиковъ огурцевъ. Въ выше описанной обстановкѣ мы находимъ героиню (если можно только примѣнить къ ней это названіе) поэмы — Парашу. Молодой авторъ на столько самъ сознаетъ свою подражательность, что приступая къ описанію Параши прямо говоритъ.

Она являлась — въ платьецѣ простомъ,
И съ книжкою въ немножко загорѣлыхъ
Но милыхъ ручкахъ..... на скамью потомъ
Она садилась..... *помните Татьяну*
Но съ ней ее я сравнивать не стану;
Боюсь — рукой читатели махнутъ,
И этой сказки вовсе не прочтутъ.

И впрямь Параша очень похожа на Пушкинскую героиню; только въ той натура глубже, порывы много-значительнѣе и потому болѣе достойны поэтическаго воспроизведенія. Какъ и Ларины, родители Тургеневской барышни звѣздъ съ неба не хватаютъ и всецѣло входятъ въ область деревенскаго Stilleben, какъ выражаются нѣмцы. Не такова, однакоже

была ихъ дочка. Это одна изъ непошлыхъ натуръ, на которыя обстановка не оказываетъ замѣтнаго дѣйствія.

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ —
Но не блестѣлъ онъ блескомъ торопливымъ;
То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучь,
То холодомъ проникнутъ горделивымъ,
То чуть мерцалъ какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.
Но взглядъ ея задумчиво спокойный
Я больше всѣхъ любилъ: я видѣлъ въ немъ
Возможность страсти горестной и знойной,
Залогъ души любимой Божествомъ.

Параша не была похожа на провинціальныхъ барышень. Она не была похожа на тѣхъ, что

Всѣмъ восхищаются: и пѣньемъ птицъ,
Восходомъ солнца — небомъ и луною....
Охотницы до сладенькихъ стишковъ
И любятъ пѣть и плакать..... а весною
Украдкой ходятъ слушать соловьевъ.
Отчаянно всѣ влюблены въ природу....
Но барышня моя другого роду;
Она была насмѣшлива-горда —
А гордость — добродѣтель, господа.
Она читала жадно.... и равно
Марлинскаго и Пушкина любила.
(Я сознаюсь въ ея проступкахъ).... но
Не восклицала: «Ахъ какъ это мило!»
А любовалась молча.

Какъ видите, барышня съ характеромъ: не сентиментальнаго покроя. Въ слѣдующей строфѣ, однакоже, нашъ юный поэтъ забываетъ имъ-же самымъ сдѣланную характеристику и говоритъ.

. . . . . Каждый день
Я вамъ сказалъ — она въ саду скиталась;
Она любила гордый шумъ и тѣнь
Старинныхъ липъ — и тихо погружалась
Въ отрадную, забывчивую лѣнь.
Такъ весело качалися березы,
Облитыя сверкающимъ лучемъ....
И по щекамъ ея катились слезы
Такъ медленно — Богъ вѣдаетъ о чемъ.

То подойдя къ убогому забору,
Она стояла по часамъ.... и взору
Тогда давала волю..... но глядитъ
Бывало, все на блѣдный рядъ *ракитъ*.

Ракиты тутъ являются въ pendant прежде обсужденнымъ огурцамъ, чтобы поразить своею неумѣстностью, точно также какъ слезы, Богъ знаетъ почему извлекаемыя изъ глазъ героини и отзывающіяся слащавостью. Но будемъ снисходительны и не станемъ обращать вниманія на мелкіе промахи. Мы постараемся привести какъ можно болѣе выписокъ изъ поэмъ и вообще стихотвореній молодаго Тургенева чтобы дать возможность читающей публикѣ познакомиться съ «грѣхами молодости» знаменитаго беллетриста, отъ перепечатки которыхъ послѣдній, несмотря на всѣ ихъ симпатичныя стороны, упорно отказывается.

Параша находится въ ожиданіи первой любви.

Тамъ — черезъ ровный лугъ — отъ ихъ села
Верстахъ въ пяти — дорога шла большая;
И какъ змѣя свивалась и ползла
И дальный лѣсъ украдкой обгибая,
Ея всю душу за собой влекла.
Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ,
Земля чужая вдругъ являлась ей.....
И кто-то милый голосомъ призывнымъ
Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней —
Таинственной исполненные муки
Надъ ней, звеня, носились эти звуки.....
И вотъ — искалъ ея молящій взоръ
Другихъ небесъ — высокихъ пышныхъ горъ....

И такъ дѣло только за Цезаремъ, даже не перваго сорта, чтобы древняя поговорка о «Veni, vidi, vici» примѣнилась къ степной барышнѣ, ждущей чего-то. Авторъ не долго заставляетъ ее томиться. Въ одинъ прекрасный день, но день этотъ такъ чудесно описанъ, что мы не рѣшаемся передать его прелесть мало выражающей прозой и потому обращаемся къ самому источнику.

Прежаркій день.... но вовсе не такой
Какихъ видалъ я на далекомъ югѣ....
Томительно глубокой синевой
Все небо пышетъ; какъ больной въ недугѣ
Земля горитъ и сохнетъ: подъ скалой
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ —
И движется и дышетъ и молчитъ....
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неумолимымъ
Могучимъ солнцемъ рдѣютъ..... дивный видъ!
А вотъ — зарывшись весь въ песокъ блестящій
Рыбакъ лежитъ.... и каждый проходящій
Любуется имъ съ завистью — я самъ
Имъ тоже любовался по часамъ.
У насъ не то, — хоть и у насъ не радъ
Бываешь жару.... тѣчно — жаръ глубокой....
Гроза вдали сбирается..... трещатъ
Кузнечики неистово въ высокой
Сухой травѣ; въ тѣни сноповъ лежатъ
Жнецы; носы разинули вороны;
Грибами пахнетъ въ рощѣ; тамъ и сямъ
Собаки лаютъ; за водой студенной
Идетъ мужикъ съ кувшиномъ по кустамъ.
Тогда люблю ходить я въ лѣсъ дубовой
Сидѣть въ тѣни спокойной и суровой,
Иль иногда подъ скромнымъ шалашомъ
Бесѣдовать съ разумнымъ мужичькомъ.

Подъ этимъ отрывкомъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ неудачныхъ словъ, не задумался-бы поставить свое имя любой изъ стихотворцевъ, составляющихъ славу русской литературы. Мы здѣсь видимъ уже задатки того блестящаго слога, что сдѣлало Тургенева однимъ изъ первыхъ, если не самымъ первымъ изъ европейскихъ стилистовъ. Мы уже видимъ здѣсь его замѣчательное умѣніе нѣсколькими словами обрисовать картину съ такою замѣчательною наглядностью, его способность замѣчать все характерное и выражать свои впечатлѣнія въ такой привлекательной формѣ. Бѣлинскій былъ болѣе чѣмъ правъ предсказывая начинающему писателю хорошую будущность, онъ только не вполнѣ угадалъ поприще, на которой тотъ пріобрѣлъ себѣ первоклассную славу. Но въ этомъ никакъ нельзя винить геніальнаго критика: не его

вина если Тургеневъ предпочелъ прозу, не находя возможнымъ болѣе эксплуатировать байроновскіе сюжеты и полагая, что «Записки Охотника», «Рудинъ» потеряютъ колоритъ естественности въ стихотворной формѣ. Да притомъ, отлично понимая, что при всемъ восторгѣ Бѣлинскаго предъ его стихами, послѣдніе не носятъ на себѣ печати самобытности, онъ не захотѣлъ остаться подражателемъ и предпочелъ стать во главѣ русскаго бытоваго романа, не имъ основаннаго, но къ широкому развитію котораго онъ очень много содѣйствовалъ. Бѣлинскій-же полагалъ, что имѣетъ дѣло лишь съ начинающимъ поэтомъ, обѣщающимъ стать современемъ звѣздою второй величины. Но habent fata sua libelli, а также и тѣ, кто ихъ сочиняетъ. Изъ стихотворца Тургеневъ превратился въ прозаика, хотя только по внѣшности, а «Записки Охотника», не вполнѣ достойно ихъ принятыя Бѣлинскимъ, положили основаніе прочной славѣ автора «Параши», какъ его величалъ Бѣлинскій при разборѣ другой его поэмы въ стихахъ «Разговоръ». Еще вдвойнѣ былъ правъ Бѣлинскій, когда, на основаніи одной только «Параши», такимъ образомъ опредѣлялъ талантъ ея автора: «Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, происходитъ отъ раздражительности нервовъ и живости воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостію красокъ, тою рѣзкою угловатостью формъ, которые мечутся въ глаза толпѣ и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ болѣе повидимому заключаетъ въ себѣ такая поэзія, тѣмъ пустѣе она внутри самой себя, ибо она вся въ воображеніи и ничего общаго съ дѣйствительностью не имѣетъ; мысли ея похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ея похожи только до тѣхъ поръ, пока смотришь на нихъ: отведите глаза, и въ вашемъ воображеніи не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія.—Другая поэзія какъ талантъ, имѣетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны, ея мысли всегда оригинальны, даже и не будучи новыми, ибо онѣ не пойманы извнѣ и на лету, а возникли и выросли въ душѣ поэта.

Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но трѣбуютъ, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубинѣ своей ихъ простая, тихая и цѣломудренная красота. Печать оригинальности составляетъ ихъ неразлучную принадлежность; она есть слѣдствіе способности схватывать сущность, а слѣдовательно, и особенность каждаго предмета. И потому, описанія ея запечатлѣны достовѣрностью, такъ что, еслибъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы тѣмъ не менѣе убѣждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можетъ служить образцемъ такихъ произведеній». Въ доказательство своего мнѣнія Бѣлинскій приводитъ выписанную уже нами картину итальянскаго и русскаго лѣта. Вышеприведенное мнѣніе хотя нѣсколько скромно, но все-же очень близко къ истинѣ опредѣляетъ дарованіе нашего бѣллетриста. Тургеневъ не изъ тѣхъ глаза царапающихъ писателей, предъ которыми сразу падаешь, пораженный сознаніемъ собственнаго ничтожества. Нѣтъ! онъ похожъ на тѣ личности, что въ общежитіи называются *душа-человѣкъ*; за чтеніемъ его произведеній чувствуешь себя какъ-то привольно, тепло, точно съ вами говоритъ чрезвычайно умный и симпатичный господинъ, но не предъявляющій никакихъ претензій на идолопоклонство. Читая Гете, или Байрона, даже Лермонтова и Пушкина, вы какъ-бы застегиваетесь на всѣ пуговицы и благовѣйно внимаете торжественнымъ звукамъ геніяльныхъ представителей человѣчества. Предъ вами древнее божество, rex tremendae majestatis, которое не позволяетъ поклоняться другимъ и всецѣло завладѣваютъ вами. Это поэзія бури, урагана даже. Тургеневская поэзія мельче и намъ простымъ людишкамъ понятнѣе, родственнѣе, и потому, можетъ быть и болѣе необходимая въ каждой литературѣ. Гете и Байроны—роскошь, а Тургеневы — хлѣбъ насущный.

Однако-же мы заставляемъ долго ждать Парашу разрѣшителя ея неопредѣленнаго состоянія. Авторъ поэмы не такъ жестокъ и выпускаетъ на сцену новое лицо, разсѣкающее гордіевъ узелъ множества чувствъ, образующихъ томленіе

молодой дѣвицы, старымъ, но все еще весьма дѣйствительнымъ средствамъ—любовью.

Въ такой-то день — Параша въ темный гротъ
(О немъ смотрите выше) шагъ за шагомъ
Пришла; предъ ней знакомый огородъ,
Знакомый прудъ; а дальше за оврагомъ
Знакомый лѣсъ на холмикѣ.... но вотъ
Что показалось ей немного страннымъ:
Въ оврагѣ подъ кустомъ сидѣлъ одинъ
Охотникъ; — рѣзалъ хлѣбъ ножемъ карманнымъ;
Онъ по всему замѣтно — Господинъ;
Помѣщикъ; онъ въ перчаткахъ — и красиво
Одѣтъ..... Вотъ онъ поѣлъ, потомъ лѣниво
Собаку кликнулъ, шапку снялъ, зѣвнулъ
Раздвинулъ кустъ, улегся — и заснулъ.
Заснулъ..... Параша смотритъ на него
И смотритъ, признаюсь, съ большимъ вниманьемъ;
Къ нимъ ѣздили сосѣди..... но его
Лицо ей незнакомо; описаньемъ
Теперь мы не займемся, оттого
Что ужъ и такъ съ излишествомъ рѣчистъ я.....
Онъ спитъ, а вѣтеръ тихо шевелитъ
Его густые волосы, и листья
Надъ нимъ шушукаютъ; — онъ сладко спитъ.. .
Параша смотритъ...., онъ не дуренъ право —
О чемъ же вдругъ такъ мило, такъ лукаво
Она смѣется? я бы отвѣтилъ — но
Мнѣ женскій смѣхъ постигнуть не дано.
И часъ прошелъ.... и предвечерній зной
Внезапно началъ стынуть.... ужь и тѣни
Длиннѣе стали,... вотъ — охотникъ мой
Проснулся, сталъ лѣниво на колѣни,
Надѣлъ небрежно шапку, головой
Тряхнулъ — хотѣлъ подняться.... и остался....
Онъ увидѣлъ Парашу — о друзья!
Глядѣлъ, глядѣлъ — съ смущеньемъ засмѣялся,
Вскочилъ, взглянулъ поспѣшно на себя.
Потомъ черезъ оврагъ легко и смѣло
Перебѣжалъ.... Параша поблѣднѣла
Но до забора онъ дошелъ и сталъ,
И съ вѣжливой улыбкой шапку снялъ.
Она стояла, — вспыхнувъ вся..... и глазъ

Не подымая.... сильно и не ровно
Въ ней билось сердце — «Умоляю васъ»
Такъ началъ онъ — и очень хладнокровно —
«Скажите мнѣ, теперь — который часъ!»
Сперва она немножко помолчала
И отвѣчала: «пятый» — а потомъ
Взглянула на него; но онъ ни мало
Не измѣнясь спросилъ: «Чей это домъ?»
Потомъ весьма любезно извинился
Богъ знаетъ въ чемъ, и снова поклонился,
Но не ушелъ..... сказалъ что онъ сосѣдъ;
И что съ ея отцомъ покойный дѣдъ
Его былъ очень друженъ.... что онъ радъ
Такой нежданной встрѣчѣ; по немногу
И двадцать разъ сказавши «виноватъ!»
(У насъ заборы плохи, слава Богу)
Черезъ заборъ онъ перебрался въ садъ.
Его лицо такъ мило улыбалось,
И карій глазъ такъ ласково сіялъ,
Что ей смѣшнымъ и страннымъ показалось
Дичиться.... онъ ей что то разсказалъ
Надъ чѣмъ она сперва довольно звонко
Потомъ потише засмѣялась.... съ тонкой
Усмѣшкой посмотрѣлъ онъ ей въ глаза —
Потомъ ушелъ, пробормотавъ: «comm'ça!»
И въ слѣдъ она ему смотрѣла.... онъ
Черезъ плечо внезапно оглянулся,
Пожалъ плечьми — и словно пріученъ
Къ побѣдамъ — равнодушно улыбнулся.

И такъ предъ нами открылась интрига поэмы. Всякій понимаетъ, что *онъ* нашелся. Съ *нею* мы знакомы, что-же *онъ* собою представляетъ?

Случалось-ли вамъ, читатель, наблюдать въ какомъ нибудь губернскомъ городѣ за тѣмъ измѣненіемъ, что перетерпѣваютъ нерѣдко статьи нашихъ толстыхъ журналовъ, трактующія о вопросахъ обыденной жизни, или прислушиватися къ толкамъ по поводу сенсаціоннаго романа; случалось-ли вамъ наблюдать эти два случая, если факторомъ ихъ является то панургово стадо, что иначе называется читающею публикою? Если вы имѣли возможность быть свидѣтелемъ

такихъ любопытныхъ явленій, то безъ сомнѣнія убѣдились въ томъ, что древніе изрекли великую жизненную истину, сказавъ: «quod licet Jovi, non licet bovi». Какъ долженъ всплеснуть руками иной публицистъ, когда высказавъ какое нибудь новое и смѣлое положеніе, онъ видитъ близорукихъ и неразумныхъ послѣдователей своихъ доводящими его мысли до абсурда подъ прикрытіемъ его-же авторитета. Какъ долженъ онъ сожалѣть о томъ, что его произведеніе попало въ руки такихъ недостойныхъ цѣнителей, въ чьихъ устахъ самое возвышенное и идеальное превращается въ пошлость и банальность. Самостоятельность городовъ отъ центральной власти—эту мысль раздѣляютъ всѣ просвѣщенные республиканцы Франціи—а какъ больно имъ было глядѣть, когда за приведеніе этой идеи въ практику взялись дѣятели 18 марта 1871 года? Импонируетъ наше воображеніе первый Наполеонъ, даже тогда, когда мы вполнѣ проникаемся нечестностью многихъ его поступковъ, и возбуждаетъ наше глубочайшее презрѣніе его чайзльгертскій подражатель, меньше приносившій человѣческихъ гекатомбъ въ угоду и удовлетвореніе своему честолюбію. Мы не пожелаемъ руки протянуть кутилѣ, часто проводящему вечера въ веселой компаніи, но небросимъ камня въ Байрона, предающагося страшнѣйшимъ оргіямъ и утопающаго въ развратѣ. Первый возбуждаетъ въ насъ *презрѣніе*, второй-же *негодованіе*. Погибель перваго оставитъ насъ равнодушными, второй-же намъ дорогъ и при всѣхъ своихъ ужасныхъ качествахъ, ибо намъ жаль его страшной нравственной мощи, ненаправленной куда слѣдуетъ, но тѣмъ не менѣе существующей. Мы позволяемъ многое дѣлать и не вполнѣ согласное съ нашими мнѣніями, но только въ томъ случаѣ, чтобы оно обусловливалось нравственнымъ существомъ извѣстнаго субъекта, что-бы оно продѣлывалось въ силу какого-бы то нибыло, но крѣпкосознаннаго міросозерцанія. Въ одномъ частномъ письмѣ Бѣлинскаго, недавно обнародованномъ г. Пыпинымъ, нашъ критикъ говоритъ, что ненавидитъ и призираетъ добродѣтель безъ любви, и скорѣе рѣшится стремглавъ броситься въ

бездну порока и разврата, съ ножемъ въ рукахъ на большихъ дорогахъ добывать свой насущный кусокъ хлѣба, нежели, затоптавъ свое чувство и разумъ ногами въ грязь, быть добрымъ квакеромъ, пошлымъ резонеромъ, пуританиномъ, раскольникомъ, добрымъ по разсчету, честнымъ по эгоизму, не воровать у другихъ, чтобы другимъ не дать права воровать у себя, не рѣзать ближняго, чтобы ближній не рѣзалъ меня. По его мнѣнію женщина, принадлежавшая многимъ по побужденіямъ чувственности, есть женщина развратная, но гораздо менѣе развратная, нежели женщина, которая одному отдала себя на всю жизнь, по разсчету или по чувству долга, или женщина, которая любивъ одного, вышла за другаго изъ уваженія къ родительской волѣ и общественному мнѣнію, боролась съ своимъ чувствомъ, какъ съ преступленіемъ, и, побѣдивъ его, убила въ себѣ всѣ человѣческія искры. «Ты будь хоть глупъ, но по своему», говоритъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда и поэтому мы отнесемся съ уваженіемъ къ Печорину и будемъ презирать Грушницкихъ, не откажемъ въ симпатіи Базарову и не удостоимъ вниманія Аркадіевъ Кирсановыхъ, даже скорѣе сойдемся съ Маркомъ Волоховымъ, нежели съ Райскимъ.

Только что приведенныя соображенія служатъ къ уразумѣнію характера того господина, что удовлетворилъ стремленія Параши. Съ легкой руки Чайльдъ-Гарольда, Онѣгина и въ особенности героя «Героя нашего времени», на Руси развелось множество насмѣшливыхъ, разочарованныхъ джентльменовъ, которые свою внутренную пустоту прикрывали громкимъ именемъ людей утомленныхъ пошлостью и мизерностью. Подъ этимъ возвышеннымъ конвоемъ, они ничѣмъ не отличались отъ средней нормы обыденности, только то, что они кличку особую для себя выдумали и ярлыкъ хитрый прицѣпили къ своимъ совсѣмъ не хитрымъ особамъ. И въ «Парашѣ» мы имѣемъ дѣло съ такимъ Печорино-Онѣгинымъ, размѣненнымъ на мелкія деньги.

Хотитель-знать, что онъ за человѣкъ?
Извольте: онъ богатъ, служилъ въ военной;
Чужимъ умомъ питался весь свой вѣкъ —
Но ловокъ былъ и вкрадчивъ. Изнуренный,
Скучающій, направилъ онъ свой бѣгъ
Въ чужія страны; съ грустною улыбкой
Вездѣ бродилъ, надменный и нѣмой;
Но умъ его насмѣшливой и гибкой
Изъ за границы вынесъ цѣлый рой
Безплодныхъ словъ и множество сомнѣній,
Плоды лукавыхъ, робкихъ наблюденій....
Онъ надо всѣмъ смѣялся; но усталъ —
И надъ собой смѣяться пересталъ.

Въ этой бѣглой характеристикѣ вы видите только общія видовыя черты типа, оставившаго очень сильные слѣды своего существованія въ русской литературѣ. Но на чемъ были основаны права героя «Параши» смотрѣть съ высока на всѣхъ? Чѣмъ онъ отличался отъ другихъ настолько, чтобы считать себя нѣкотораго рода избраннымъ субъектомъ, которому одному понятны высшія стремленія и потребности? Авторъ «Параши» видно не вполнѣ согласенъ дать своему герою патентъ на исключительность среди прочихъ гражданъ россійскихъ, потому что описываетъ намъ какъ нашъ доморощенный Чайльдъ-Гарольдъ проводитъ свое время, и изъ этого трудно убѣдиться въ справедливости его притязаній.

. . . . . Онъ, какъ я вамъ доложилъ,
Въ отставкѣ былъ. Пока онъ былъ на службѣ
Онъ выѣзжалъ, гулялъ, плясалъ, шалилъ
Пріятелей обыгрывалъ — по дружбѣ —
И былъ — какъ говорится — очень милъ.
Онъ былъ любезенъ, влюбчивъ — но спокоенъ
И горделивъ.... а потому любимъ;
И многихъ женщинъ былъ онъ недостоенъ
Обманутыхъ и позабытыхъ имъ.
Онъ веселъ былъ, но веселъ безотрадно;
Надъ чудакомъ смѣялся безпощадно —
Но въ обществѣ не славился умомъ
И не былъ «замѣчательнымъ лицомъ».

Въ послѣднемъ стихѣ мы уже видимъ Печорина страшно уменьшеннаго. Предъ настоящими Печориными всѣ имѣли «решпектъ», а нашъ-то и этимъ не богатъ. Въ первомъ всякій инстиктивно чувствуетъ что-то не вполнѣ обыкновенное, что-то выше обыденной средней нормы. Даже небудучи въ состояніи оцѣнить байроническія натуры нѣкоторыхъ членовъ своихъ, русское общество тридцатыхъ годовъ невольно уважало въ нихъ то «не отъ міра сего», что въ особенности нравилось болѣе впечатлительнымъ женщинамъ; въ данномъ-же случаѣ общество только полу-вѣрило въ нравственную высоту героя «Параши», мы говоримъ полу-вѣрило, потому что женщинамъ онъ нравился, а почему? Богъ его знаетъ. Пойдите разгадать женское сердце съ его прихотями.

Плѣнялъ людей безпечностью свободной

«Плѣнялъ людей безпечностью свободной» вотъ вамъ одинъ резонъ. Женщины тѣ-же дѣти. Онѣ настолько неопытны и довѣрчивы, что все принимаютъ за чистую монету и не въ состояніи ясно отличить золото отъ самой дешевой фольги. Если вѣрить доводамъ злѣйшаго врага ихъ — Пигасова (изъ «Рудина»), женщины всѣ неестественны и какъ нерѣдко бываютъ сами-же ловятся на такую-же удочку. Вотъ гдѣ лежитъ причина того вѣковаго явленія женскаго разочарованія, что насъ всегда поражаетъ такъ сильно,

. . . . . и одаренъ
Душой самолюбивой и гордой,

Въ этихъ двухъ качествахъ въ сущности увѣренъ только самъ владѣтель «души самолюбивой и гордой». Но это ничего не значитъ. Женщина этому повѣритъ съ перваго раза и проникнется тѣмъ томительнымъ уваженіемъ, что составляетъ первый фазисъ любви. Потомъ, ближе познакомившись съ «гордой» душой, она увидитъ, что идеалъ ея довольно мизернаго свойства и совсѣмъ неумѣстенъ на ею-же самою воздвигнутомъ пьедесталѣ. Тогда начинается обратное столь-же неосновательное явленіе. Съ такою-же быстротой, какъ

«самолюбивая и гордая душа» была произведена въ экстраординарнаго человѣка, она стремглавъ летитъ долой со своего высокаго сѣдалища и нерѣдко шлепается прямо въ грязь, безъ всякаго съ ея стороны повода заслуживать подобное обращеніе. Не виноватъ-же въ самомъ дѣлѣ обладатель «самолюбивой и гордой души» если его сдѣлали, помимо его воли, идоломъ и не заслуживаетъ-же онъ потомъ такого пренебреженія, если въ немъ неокажется демоническаго характера, имъ себѣ и не приписываемаго. Но какъ-бы то нибыло, Параша не составила исключенія изъ общаго правила и съ перваго-же раза почувствовала симпатію къ встрѣтившемуся ей охотнику. Послѣ второй встрѣчи съ нимъ она его полюбила.

Скажите — ваша память мнѣ поможетъ —
Какъ мнѣ назвать ту страстную тоску,
Ту грустную, невольную тревогу
Которая беретъ васъ по немногу.....
Къ чему намъ лицемѣрить — о друзья! —
Ее любовью называю я.

Нашъ Печоринъ въ миніатурѣ тоже не могъ устоять противъ прелестей Параши и съ безпокойствіемъ начинаетъ ощущать какое-то новое чувство. Онъ, съ душей «самолюбивой и холодной» чувствуетъ себя не совсѣмъ въ своей тарелкѣ. Ему уже не удобно подпускать насмѣшки на все, потому что самъ въ своихъ глазахъ не безукоризненъ со своею внезапно пробудившейся страстью. Робко онъ сознается самъ себѣ.

. . . . . Слава Богу
До осени въ деревнѣ будетъ мнѣ
Не скучно жить — а тамъ..... но я взволнованъ
Я кажется влюбленъ и очарованъ.

Подъ вліяніемъ лѣтней, полной томительной нѣги ночи все устроилось какъ нельзя лучше.

Они все шли, да шли.... Пріятель мой
Парашей любовался молчаливо;
Она вся разцвѣтала какъ весной
Земля цвѣтетъ и страстно и лѣниво

Подъ теплою, обильною росой.
Облитое холодной, влажной иглою
Ея лицо горитъ.... и понялъ онъ
Что будетъ онъ владѣть ея душою.
Что онъ любимъ, что самъ онъ увлеченъ
Она молчитъ — подобное молчанье
Имѣетъ всѣмъ извѣстное названье
И онъ склонился — и ея рука
Подъ поцѣлуемъ вспыхнула слегка.

Хотя затѣмъ ничего скандальнаго и не произошло, но

. . . . . въ самый мигъ прощанья
Онъ ей шепнулъ съ улыбкой «до свиданья»
И уходя совсѣмъ, изъ за дверей
Онъ долгимъ взглядомъ помѣнялся съ ней.

Со всѣмъ различно отъ Татьяны проводитъ Параша послѣ этого ночь. Ей нѣтъ надобности призвать свою няню и дѣлиться съ нею чувствами. Она понята и потому счастлива. Состояніе ея описано у начинающаго поэта на столько хорошо, что одно это мѣсто вполнѣ объясняетъ намъ восторгъ Бѣлинскаго. Оно положительно носитъ отпечатокъ сильнаго таланта и намъ при этомъ случаѣ вдвойнѣ становится не понятнымъ странное отношеніе Тургенева къ своимъ стихотворнымъ попыткамъ. Надо приписать только абсолютному отсутствію въ обращеніи «Параши»[1]) то обстоятельство, что составители хрестоматій въ рядѣ Щербины, Гербеля, перепечатавъ нѣкоторыя не совсѣмъ удачныя стихотворенія Тургенева, не сдѣлали того-же самого относительно нижеслѣдующаго, превосходнаго мѣста. Какъ въ самомъ дѣлѣ иначе

[1]) Мы только съ большимъ трудомъ добыли экземпляръ «Параши». Послѣ тщетныхъ попытокъ отыскать ее въ лучшихъ петербургскихъ библіотекахъ, мы обратились къ самому И. С. Тургеневу съ просьбою дать намъ экземпляръ. Но по свойственной ему «почти физической» антипатіи къ его-же собственнымъ стихотвореніямъ, онъ намъ отвѣтилъ, что у него этого «стараго хлама» не имѣется. Лишь благодаря любезности Директора Публичной Библіотеки мы имѣли возможность познакомиться съ изданными *только* отдѣльно «Парашею» и «Разговоромъ», о которомъ рѣчь впереди.

назвать эту прекрасную аллегорію, которая какъ будто резюмируетъ смыслъ всей поэмы и разъясняетъ отношеніе автора къ выводимымъ имъ лицамъ.

Не чувствуя ни страха, ни желанья,
Она ходила въ комнаткѣ своей;
Ея душа нѣмѣла, ей казалось,
Что въ этотъ мигъ какъ будто измѣнялось
Все прежнее — вся жизнь ея — и сонъ
Ее застигъ; во снѣ явился — онъ.
Онъ.... грустно мнѣ; туманятся слезой
Мои глаза.... гляжу я; у окошка
Она сидитъ на креслахъ; головой
Склонилась на подушку; съ плечъ немножко
Спустилася косынка.... золотой
И легкой локонъ вьется боязливо
По блѣдному лицу.... а на губахъ
Улыбка разцвѣтаетъ молчаливо.
Луна глядитъ въ окно.... невольный страхъ
Меня томитъ; мнѣ слышится: надъ спящей
Какъ колокольчикъ звонкой и дрожащій
Раздался смѣхъ.... и кто-то говоритъ....
И голосокъ *насмѣшливо* звенитъ:
«Въ теплый вечеръ, въ ульяхъ чистыхъ
«Зрѣютъ свѣтлые соты;
«Въ теплый вечеръ, липъ душистыхъ
«Раскрываются цвѣты;
«И когда по нимъ слезами
«Потечетъ прозрачный медъ —
«Вьется жадно надъ цвѣтами
«Пчелъ ликующій народъ.....
«Наклоняя сладострастно
«Свой усталый стебелекъ,
«Гостя милаго напрасно
«Ни одинъ не ждетъ цвѣтокъ.
«Такъ и ты цвѣла стыдливо,
«И въ тебѣ, дитя мое,
«Созрѣвало прихотливо
«Сердце страстное твое....
«И теперь въ красѣ разцвѣта,
«Обоянія полна,
«Ты стоишь подъ солнцемъ лѣта
«Одинока и пышна.

«Такъ склонись-же, стебель стройный
«Такъ раскройся-жъ, мой цвѣтокъ;
«*Прилетѣлъ женихъ.... достойный*
«Въ твой забытый уголокъ!»

Намъ кажется, никто не станетъ спорить противъ поэтическихъ достоинствъ сдѣланной нами выписки и не сочтетъ смѣшнымъ нашъ восторгъ. Мы подчеркнули слово «*насмѣшливо*» и стихъ «*прилетѣлъ женихъ достойный*», чтобы уяснить мысль, руководившую авторомъ при написаніи «Параши». Очевидно, онъ желалъ показать, какъ иные «стремящіяся» въ молодости юныя души способны незамѣтно пошлѣть и безъ всякихъ угрызеній совѣсти предаться постепенно самому филистерскому и растительному существованію. Если это не особенно удивительно по отношенію къ герою, если, послѣ сдѣланной нами характеристики подобнаго рода великихъ людей на маленькія дѣла обсуждаемая метаморфоза ничего неожиданнаго не заключаетъ, то относительно Параши дѣло принимаетъ иной оттѣнокъ. Въ первомъ случаѣ мы наблюдаемъ смѣшное явленіе, во второмъ наша улыбка подергивается извѣстнаго рода грустнымъ флеромъ. Тутъ ужъ намъ жаль даромъ пропавшихъ силъ, мы непріятно поражены сознаніемъ, что Параша не встрѣтили лучшихъ условій для своего умственнаго и нравственнаго развитія и застряла въ рукахъ самодовольнаго субъекта мелкотравчатаго калибра. Намъ не весело убѣждаться въ мысли, что супружество есть гробъ поэзіи и начало безсмысленнаго прозябанья.

Какъ ручеекъ извилистый, но плавный
Катилась жизнь Прасковьи Николавны.

Это случилось, послѣ того, какъ сонъ Параши получилъ аналогію съ дѣйствительностью въ видѣ законнаго брака. Авторъ видитъ свою чету четыре года спустя, въ продолженіе которыхъ молодые супруги жили весьма «счастливо» и превратились въ Пульхерію Ивановну и Афанасія Ивановича. Послѣднее обстоятельство ужасно смущаетъ автора.

Но — Боже! то-ли думалъ я, когда
Исполненный нѣмаго обожанья
Ея душѣ я предрекалъ года
Святаго, благодатнаго страданья.

Томительно онъ разстается съ нею, не оставляя мысли что при другой обстановкѣ искра Божья, въ ней до замужества теплившаяся, могла-бы превратиться въ согрѣвающее пламя, подающее отъ времени до времени признаки своего существованія. Авторъ понимаетъ, что идея его не совсѣмъ ясно выражено и не всякому будетъ очевидна, но это его не смущаетъ. Строгихъ цѣнителей онъ проситъ простить недостатки перваго появленія въ печати, и имѣетъ надежду на другого сорта критиковъ

А если кто разсказъ небрежный мой
Прочтетъ — и вдругъ задумавшись невольно,
На мигъ одинъ поникнетъ головой
И скажетъ мнѣ спасибо: мнѣ довольно....
Тому давно — стоялъ я надъ кормой,
И плыли мы вдоль города чужаго;
Я былъ одинъ на палубѣ.... волна
Вздымала насъ и опускала снова....
И вдругъ мнѣ кто-то машетъ изъ окна
Кто онъ, когда и гдѣ мы съ нимъ видались,
Не могъ я вспомнить.... быстро мы промчались —
Ему въ отвѣтъ и я махнулъ рукой —
И городъ тихо скрылся за горой.

Къ счастью для начинающаго автора нашелся одинъ, который задумался надъ поэмою и выразилъ свои чувства такимъ образомъ: «Дай Богъ, чтобъ наша встрѣча съ талантомъ автора «Параши» не была случайна, но превратилась въ знакомство продолжительное и прочное. Грустно было-бы думать, что такой талантъ—не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе молодой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обмануть возбужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта героиня его поэмы». Говорившій такимъ образомъ былъ Бѣлинскій. Понятно, удача, подобная описанной, должна было пріободрить нашего юнаго поэта и дать ему смѣ-

лость увѣренно подвизаться на поэтическомъ поприщѣ. Въ журналахъ того времени все чаще и чаще начинаютъ появляться мелкія стихотворенія за его подписью, перемежающіяся съ повѣстями, драматическими очерками, ему же принадлежащими. Мы не станемъ ихъ разсматривать въ хронологическомъ порядкѣ, а предпочитаемъ лучше посмотрѣть какъ развивался талантъ Тургенева въ каждомъ родѣ поэтическаго творчества, въ которомъ онъ пробовалъ свои силы. Поэтому, заговоривъ о «Парашѣ», поведемъ рѣчь объ остальныхъ его трехъ поэмахъ, а потомъ соединимъ всѣ его мелкія стихотворенія въ одно, и посмотримъ, какъ развивался, судя по нимъ, ихъ авторъ.

VI.

Слѣдующая за «Парашею» большая поэма вышла въ 1845 году подъ названіемъ «*Разговоръ*», *стихотвореніе Ив. Тургенева* (*Т. Л.*). «Разговоръ» составляетъ несомнѣнно прогрессивное явленіе въ талантѣ его автора. Помимо великолѣпнаго стиха, который по всей поэмѣ поражаетъ васъ почти лермонтовскою силою и не представляетъ шероховатостей «Параши», въ самой тенденціи, въ основной мысли «Разговора» положена тема, менѣе отъ насъ отдаленная, чѣмъ таковая первой поэмы Тургенева. «Разговоръ» есть произведеніе горячаго приверженца романтической школы, которая не онѣгински разочарована въ жизни, но глубоко ее ненавидитъ, клеймитъ, презираетъ, проклинаетъ. Авторъ не доволенъ матеріальностью современныхъ ему людей и вотъ онъ въ формѣ поэтическаго разговора между отжившимъ и удалившимся въ пустыню старикомъ и молодымъ человѣкомъ выставляетъ свои права на неодобреніе происходящаго предъ его глазами. Сѣтованія какъ старика, такъ и молодого на людей,

ихъ окружающихъ, не поражаютъ васъ новизною, вы съ ними знакомы изъ «Цыганъ», изъ обоихъ «Кавказскихъ Плѣнниковъ» изъ Байрона, Гюго и наконецъ изъ разсужденій величавыхъ индѣйскихъ фигуръ Купера. Талантъ Тургенева, выразившійся въ стихотвореніяхъ, не первокласный, по этому мы отъ него и не въ правѣ требовать особенной оригинальности мысли, мы должны только смотрѣть на сколько онъ себѣ усвоилъ вѣяніе эпохи и на сколько хорошо выразилъ характерныя ея черты. Въ «Разговорѣ», какъ мы уже сказали, отразилась романтическая школа по преимуществу. Сюжетъ ея вполнѣ космополитическій и не носитъ никакихъ отличительныхъ признаковъ мѣстности и народности. Даже эпоха не вполнѣ ясно обрисовывается въ поэмѣ, потому что пафосъ разговаривающихъ направленъ на такія несовершенства человѣческаго рода, которыя составляютъ причину вѣчной борьбы пошлости съ возвышенностью, борьбы проходящей чрезъ всю историческую жизнь человѣчества и слѣдовательно стоящей внѣ времени и мѣста. Если-же мы, несмотря на это, все-же причислили «Разговоръ» къ порожденіямъ романтизма, то только потому, что романтическая школа составляетъ отличительное свойство времени, когда она процвѣтала. Борьба съ пошлостью существовала всегда, но она никогда такъ рельефно не выразилась какъ въ произведеніяхъ романтизма. Въ прежніе вѣка человѣчество разрѣшало другія, болѣе насущныя потребности. Протестъ противъ пошлости долженъ былъ еще пріобрѣтать фактическую основу и только въ 30-ыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, при сравнительномъ утомленіи философской мысли, даетъ поэзіи занять первенствующее мѣсто и страстнымъ воплемъ выступить противъ путъ вѣковаго филистерства.

Уже въ самомъ вступленіи къ «Разговору» вы предчувствуете, съ какого рода произведеніемъ будете имѣть дѣло.

Одинъ передъ нѣмымъ и сумрачнымъ дворцомъ
Бродилъ я вечеромъ, исполненный раздумья;
Блестящій пиръ утихъ; дремало все кругомъ
И замеръ громкій смѣхъ веселаго безумья.

Среди таинственной, великой тишины
Березы гибкія шептали боязливо —
И каменные львы глядѣлись молчаливо —
Въ стальное зеркало темнѣющей волны.

—

И спящій міръ дышалъ безсмертной красотой....
Но глазъ не подымалъ и проходилъ я мимо;
О жизни думалъ я, объ истинѣ святой,
О всемъ, что на землѣ на вѣкъ неразрѣшимо.
Я небо вопрошалъ.... и тяжко было мнѣ —
И вся душа моя пресытилась тоскою....
А звѣзды вѣчныя спокойной чередою
Торжественно неслись въ туманной вышинѣ.

Подобное вступленіе обѣщаетъ «гражданскій» сюжетъ, какъ въ наше время выражаются. «Злоба дня» по видимому будетъ затронута. Видно желаніе потолковать о предметѣ, близкомъ авторской душѣ, подѣлиться съ читателемъ ощущеніями, навѣваемыми текущею жизнью, и ея главными дѣятелями.

Въ началѣ поэмы предъ нами выступаетъ отшельникъ, удалившійся въ сырую и мрачную пещеру, для того, чтобы позабыть треволненія прожитой имъ жизни, разочарованія его въ ней встрѣтившія, матеріальность большинства людей, ихъ несоотвѣтствіе съ идеаломъ истиннаго человѣческаго существованія.

Таилась въ голосѣ глухомъ
Полуживаго старика
Непобѣжденная тоска.....

Тоска эта заставляетъ его избѣгать людскаго общества и въ созерцаніи природы находитъ идеальный міръ совершенства. Не дешево обошлось старику его рѣшеніе, долго онъ еще, пока кипѣли въ немъ молодыя силы, боролся со всѣмъ, что ему было ненавистнымъ, но противъ общаго потока трудно что-нибудь сдѣлать

. . . . . много золъ и мукъ
Смягчили прежній, гордый звукъ....

И послѣ многихъ тайныхъ битвъ,
И послѣ многихъ горкихъ слезъ,
Слова смиренныя молитвъ
Онъ, изнывая, произнесъ.
Бывало пламенная рѣчь
Звенѣла какъ булатный мечь....
. . . . . .
. . . . . .
Теперь-же — съ блѣдныхъ губъ — едва —
Беззвучно падаютъ слова —
Такъ поздней осенью съ вершинъ
Нагихъ и трепетныхъ осинъ
На землю грустной чередой
Ложится листьевъ легкой рой.

Только въ природѣ находитъ старикъ утѣшеніе, только въ ней утомленная душа его встрѣчаетъ родственный отголосокъ. Но вдругъ покой старика нарушается. Къ нему является молодой человѣхъ, когда-то находившійся подъ его вліяніемъ, но теперь уже возмужалый. Онъ приходитъ къ старику, чтобы подѣлиться своимъ безнадежнымъ взглядомъ на жизнь, чтобы чистосердечною исповѣдью облегчить свое невеселое настроеніе. И старикъ ему радъ. Онъ въ уединеніи своемъ жилъ надеждою на будущее, онъ думалъ, что новое поколѣніе исправитъ ошибки стараго. Но увы! ничего подобнаго не случилось и старикъ въ ужасѣ отъ разсказа молодаго человѣка. Ему горько и страшно убѣждаться въ неустраняемости того, въ борьбѣ противъ чего онъ истратилъ лучшія силы своей молодости. Разсказъ молодаго человѣка въ сущности очень похожъ на знаменитую «*Думу*» Лермонтова, гдѣ этотъ великій поэтъ выражалъ причины свое недовольства современнымъ ему поколеніемъ. Припомните великолѣпныя строфы «Думы» и вамъ понятнѣе станетъ «Разговоръ», съ перваго раза не совсѣмъ ясный по страстности, съ которою выражена тенденція поэмы. Разница Тургенева отъ Лермонтова та, что первый противоставилъ неудовлетворительности молодаго поколѣнія большую пригодность стараго, хотя и пригодность весьма относительную. Лермонтовъ въ равной степени нападаетъ и на «ошибки отцевъ», что у

Тургенева является только въ концѣ поэмы, когда молодой человѣкъ, чтобы оправдать себя, читаетъ грозную филиппику противъ предшественниковъ своихъ. Вообще-же весь «Разговоръ» есть какъ бы развитіе «Думы». На 39 страницахъ Тургеневъ сказалъ тоже, что Лермонтовъ на двухъ.

Печально я гляжу на наше поколѣнье
Его грядущее — иль пусто, иль темно;
Межъ тѣмъ, подъ бременемъ познанья и сомнѣнья
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы едва изъ колыбели
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.

Такъ высказался творецъ «Демона». Тургеневъ вполнѣ съ нимъ согласенъ относительно факта, но даетъ ему нѣсколько иное объясненіе. Онъ находитъ, что трудно стремящемуся человѣку найти удовлетвореніе въ окружающей его обстановкѣ и неизбѣжнымъ является его томительное состояніе.

Бывало — полный гордыхъ думъ,
Руководимый божествомъ
Какимъ-то, жизни вѣчный шумъ
Внималъ я съ тайнымъ торжествомъ....
Я думалъ: тамъ, въ толпѣ людей,
Я волю дамъ душѣ моей;
Среди друзей, среди враговъ,
Узнаю самъ, кто я таковъ....
И за тобой, о мой народъ,
Пойду я радостно впередъ —
И загорится въ сердцѣ вновь
Святая, братская любовь.
Но что-же! вдругъ увидѣлъ я
Что въ цѣломъ мірѣ для меня
Нѣтъ мѣста; что я людямъ чуждъ;
Что нѣтъ у насъ ни тѣхъ-же нуждъ
Ни тѣхъ-же радостей; что мнѣ
Онѣ то страшны, то вполнѣ
Непостижимы, то смѣшны....
И потрясенъ до глубины
Души, взывалъ я къ нимъ.... но самъ

Не вѣрилъ собственнымъ словамъ.
Я съ ними сблизиться не могъ
И вновь одинъ, среди тревогъ
Пустыхъ живу съ тѣхъ поръ.

Въ этихъ словахъ мы уже видимъ зачатокъ лишняго человѣка, Гамлета Щигровскаго уѣзда и даже Рудина и отчасти Лаврецкаго. Мы уже видимъ здѣсь погоню за осмысленнымъ существованіемъ и неудовлетвореніе этой потребности практическою жизнью. Понятно тутъ можетъ явиться весьма грозное сомнѣніе и вы недовѣрчиво можете освѣдомиться: неужели-же, въ самомъ дѣлѣ, не нашлось ни одного поприща, которое разъ на всегда положило-бы конецъ тоскливому хныканью нашихъ разочарованныхъ субъектовъ тридцатыхъ и сороковыхъ людей? Неслишкомъ-ли уже клеплютъ наши доморощенные Печорины на окружающую ихъ жизнь? Можетъ быть они не способны ее понять, можетъ быть они даже нарочно отворачиваются отъ многихъ видовъ полезной дѣятельности, не имѣя достаточно энергіи и нравственной мощи, чтобы прекратить свою сибаритскую жизнь диллетанта и отрѣшиться отъ разслабляющаго вліянія барскаго воспитанія? Изъ этой дилеммы «отцы» наши выходятъ не вполнѣ безупречно, но они имѣютъ все таки громадныя средства для своей защиты и съ помощью ихъ имъ не трудно быть признанными хотя и виновными, но «заслуживающими снисхожденія». Откуда было взяться у изнѣженнаго барченка нравственной силы, откуда набраться умѣнья полезнымъ образомъ употребить свои способности? Масса требуетъ руководителей, она сама лишена иниціативы и несправедливо было обвинять людей тридцатыхъ и отчасти сороковыхъ годовъ за недостатокъ, всѣмъ людямъ присущій. Намъ только можетъ быть жаль этихъ людей, обреченныхъ на двойственную жизнь, проникнутую сознаніемъ своего безсилія, своей немощности создать что нибудь прочное. И въ поэмѣ «Разговоръ» молодой человѣкъ сознаетъ, что съ его стороны много прегрѣшеній, что онъ самъ много виноватъ въ своемъ безотрадномъ положеніи, но отъ этого ему не легче,

Онъ страстно ждетъ человѣка, за которымъ можно-бы было послѣдовать, въ живомъ примѣрѣ котораго почерпнуть увѣренность и возможность самому до чего нибудь дойти, не остаться вполнѣ безполезнымъ членомъ общества.

Когда старикъ ему не вѣритъ и грозно говоритъ.

Великой силы благодать
Толпа не смѣетъ не признать
И негодующій пророкъ
Каралъ бы слабость и порокъ —
Гремѣли-бъ страстныя слова,
И какъ изсохшая трава,
Пылали-бъ отъ твоихъ рѣчей
Сердца холодныя людей
Но малодушный ты! Судьбѣ
Ты покорился безъ стыда....
Такъ что-жъ, скажи могло тебѣ
Дать право гордаго суда
Надъ міромъ? — нѣтъ не вѣрю я;
Нѣтъ! оклеветана толпа
Тобой . . . . . .

Молодой человѣкъ оправдываетъ себя отсутствіемъ направляющей руки.

О, если-бы пророкъ святой
Сказалъ мнѣ: встань! иди за мной!
Клянусь, пошолъ-бы я, томимъ
Великой радостью, за нимъ —
За нимъ — на гибель, на позоръ....
И пусть надменный приговоръ
Толпы рабовъ, толпы слѣпой
Гремитъ надъ нимъ и надо мной!
Но гдѣ пророки?....

Нечего много распространяться о томъ насколько подобный принципъ вреденъ, если его слишкомъ сильно придерживаются. Дѣло въ томъ, что въ подкладку этого принципа легло стадное начало, хотя и нѣсколько облагороженное въ устахъ молодаго человѣка. Тургеневъ не доволенъ выставляемымъ имъ субъектомъ, лишеннаго всякой умственной и

нравственной самостоятельности, и потому попадающаго часто на мель, когда невыгодно сложившіяся условія не даютъ возможности «пророкамъ» громко и откровенно высказывать свои мнѣнія. Тургеневъ устами старика проклинаетъ малодушіе Панургова стада, къ сожалѣнію даже въ теченіи вѣковъ мало мѣняющаго свою физіономію.

Молодой человѣкъ не остается въ долгу. И онъ въ свою очередь выступаетъ съ грозною проповѣдью противъ стараго поколѣнія. Онъ говоритъ, что какъ старое, такъ и молодое поколѣніе не удовлетворяютъ требованіямъ истиннаго идеала о полезныхъ людяхъ и потому въ равной степени достойны порицанія.

. . . . . Старикъ, когда
Ты такъ усердно расточалъ
Упреки — помнишь? я молчалъ
Теперь я спрашиваю васъ,
О, предки наши! что для насъ
Вы сдѣлали? Скажите намъ:
Вотъ — нашимъ доблестнымъ трудамъ
Благодаря — смотрите — вотъ
На сколько выросъ нашъ народъ....
Вотъ несомнѣнный, яркій слѣдъ
Великихъ, истинныхъ побѣдъ.
Что-жь? отвѣчайте намъ.... Увы
Какъ ваши внуки — на покой
Безсмысленный — спѣшили вы
Съ работы трудной — но пустой....
И мы не лучше васъ — о нѣтъ!
Намъ тоже предстоитъ.... Смотри,
Надъ дальнымъ лѣсомъ слабый свѣтъ
Предвѣстникъ утренней зари
Мерцаетъ.... близокъ ясный день
Рѣдѣетъ сумрачная тѣнь....
Но не дождаться намъ съ тобой
Денницы пышной, золотой —
И въ часъ, когда могучій лучь
И за громадныхъ, синихъ тучъ
Блеснетъ надъ радостной землей,
Великій, безконечный крикъ
Побѣды, жизни молодой
Не долетитъ до насъ, старикъ

Не переживъ унылой тьмы
Съ тобой въ могилу ляжемъ мы —
Замретъ упорная тоска;
Но будетъ намъ земля тяжка
Намъ даже слава не далась
И нашъ потомокъ — мимо насъ
Пройдетъ съ поднятой головой
Неблагодарный и нѣмой.

Этой блестящей апофеозою будущаго кончается поэма Въ заключительныхъ словахъ ея мы слышимъ уже горячій протестъ противъ тѣхъ больныхъ мѣстъ нашего прежняго общественнаго быта, что такъ огорчали лучшихъ людей предшествующей эпохи. Мы видимъ, что авторская мысль была «плѣнена» невеселымъ раздумьемъ, онъ старался разрѣшить грозную дилемму, представляемую окружающею его обстановкою, ему хочется провести въ нее больше осмысленности и цѣлесообразности. Въ этомъ отношеніи Тургеневъ пошелъ дальше своихъ великихъ учителей—Пушкина и Лермонтова; онъ больше развилъ идею недовольства самимъ собою и притомъ перенесъ это чувство съ области субъективной на широкое поле общественной жизни. Тутъ уже онъ является не простымъ ученикомъ, но продолжателемъ направленія, только потому имъ и усвоеннаго, что оно какъ нельзя лучше подходило къ его собственному міросозерцанію. Дальнѣйшая дѣятельность Тургенева въ прозѣ въ сущности представляетъ развитіе мыслей, наброски которыхъ мы видимъ въ его поэтическихъ произведеніяхъ.

Намъ кажется лишнимъ доказывать, что критика не могла вдаваться въ подробное разъясненіе того, что не всегда ясно для читателей поэмы. Наравнѣ съ «Записками Охотника» «Разговоръ» долженъ былъ ограничиться успѣхомъ среди публики, которая одна безъ всякихъ указаній критики по достоинству оцѣнила образчикъ участія Тургенева въ прогрессивномъ движеніи вѣка. Бѣлинскій въ краткой рецензіи, сказавъ сначала нѣсколько словъ о характерѣ таланта молодаго автора, закончилъ свой отзывъ слѣдующими словами: «Пусть

читатели сами прослѣдятъ въ цѣлой поэмѣ, ея основную мысль: мы не считаемъ себя въ правѣ отнимать у нихъ этого удовольствія выписками. Скажемъ только, что всякій, кто живетъ и, слѣдовательно, чувствуетъ себя постигнутымъ болѣзнію нашего вѣка—апатіею чувства и воли, при пожирающей дѣятельности мысли,—всякій съ глубокимъ вниманіемъ прочтетъ прекрасный «Разговоръ» г. Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается».

Двѣ другія большія поэмы Тургенева «Андрей» (Отечественныя Записки 1846 г. № 1) и «Помѣщикъ» (Петербургскій сборникъ, изданный Н. А. Некрасовымъ въ 1846 г.) менѣе замѣчательны, чѣмъ только что разобранныя нами. По увѣреніямъ нѣкоторыхъ «Андрей», хотя рецензентами не былъ замѣченъ, имѣлъ, «серьезный успѣхъ въ читающей публикѣ». Признаться, мы не очень понимаемъ такой успѣхъ если онъ только не ограничился одною фантазіею утверждающаго это. Шероховатымъ и многоглаголевымъ рядомъ скучныхъ стиховъ Тургеневъ описалъ наростающее чувство своего героя къ нѣкоей замужней барынѣ, которая въ свою очередь благоволить къ Андрею. Поэма очень длинна и все-таки дѣйствія никакого не заключаетъ, такъ что авторъ потратилъ свои риѳмы единственно на изображеніе неопредѣленнаго томленія дѣйствующихъ лицъ — сюжетъ по своей неуловимости подсильный Пушкину или Лермонтову, но никакъ не послѣдователю ихъ — не-перваго разряда.

[redacted] стихотворенія Тургенева разбросаны по «Отече-[redacted]писками», сборнику гр. Сологуба «Вчера и се-[redacted]менникъ», начиная съ 1843 по 1847 г., когда [redacted]въ въ первой книжкѣ «Современника» за [redacted] помѣщены стихотворные опыты будущаго [redacted]та.

Мелкія вещи Тургенева носятъ тотъ-же характеръ, что «Разговоръ» и первыя прозаическія его произведенія «Андрей Колосовъ», «Три портрета» «Бреттеръ» и другія, о которыхъ рѣчь впереди. Въ нихъ ясно выступаетъ лермонтовское міросозерцаніе, лермонтовское недовольство пошлостью обыденной жизни. Вотъ напр. «Толпа»—эта излюбленная тема нашихъ поэтовъ и поэтиковъ прежняго времени. Нашъ начинающій писатель не можетъ удержаться отъ того, чтобы не настроить своей лиры на тотъ-же ладъ.

Среди людей, мнѣ близкихъ.... и чужихъ
Скитаюсь я — безъ цѣли безъ желанья.
Мнѣ иногда смѣшны забавы ихъ,
Мнѣ самому смѣшнѣй мои страданья.
Страданій тѣхъ толпа не признаётъ,
Толпа — могучая — и ѣстъ и пьетъ исправно;
И что въ душѣ *задумчивой* [1]) живетъ
Болѣзнію считаетъ своенравной
И права ты, толпа! Ты велика,
Ты широка, ты глубока какъ море
Въ твоихъ волнахъ все тонетъ: и тоска
Нелѣпая — и истинное горе.
И ты сильна . . . . . .
. . . . . .

За этимъ мнимымъ признаніемъ законности притязаній толпы слѣдуетъ, однакоже, рѣзкій отказъ къ ней присоединиться. Поэтъ только констатируетъ извѣстное направленіе, но какъ натура высшая не желаетъ съ нимъ имѣть ничего общаго. Отказъ этотъ однако-же не носитъ надменнаго характера пушкинскаго поэта, который презираетъ толпу и громко объ этомъ всѣмъ объявляетъ. Нашъ «не отъ міра сего», хотя и подчиняющійся лермонтовскому духу, не находитъ утѣхи въ гордомъ презрѣніи, а предпочитаетъ удалиться въ свой внутренной міръ, откуда можетъ уже смотрѣть безпристрастнымъ зрителемъ на происходящій вокругъ него праздникъ жизни.

[1]) Курсивъ принадлежитъ Тургеневу.

Передъ тобой [1]) я преклониться могъ
Но полюбить тебя мнѣ невозможно.
Я ни одной тебѣ не дамъ слезы,
Не отъ тебя я ожидаю счастья....
Но ты ростешь, какъ море въ часы грозы,
Безъ моего ненужнаго участья.
Гордись, толпа! ликуй толпа моя!
Лишь для тебя такъ ярко блещетъ небо....
Но все же радъ, что независимъ я,
Что не служу тебѣ я ради хлѣба!....
И я молчу о томъ, что я люблю,
Молчу о томъ, что страстно ненавижу.
Я похвалой толпы неудивлю,
Насмѣшками толпы я не обижу....
А толковать, мечтать съ самимъ-собой,
Бесѣдовать съ прекрасными друзьями —
Съ такой смѣшной, ребяческой мечтой
Разстался я, какъ съ дѣтскими слезами.
А потому.... мнѣ *жить* [2]) не суждено.
И я тяну съ усмѣшкой торопливой
Холодной злости, злости *молчаливой*
Хоть горькое — но пьяное вино.

Уже тутъ мы видимъ зачатки настроенія, которое проникаетъ значительную часть Тургеневскихъ произведеній. Тургеневъ, какъ натура чрезвычайно отзывчивая, поддается всякому впечатлѣнію, но при этомъ въ своей, оригинальной формѣ. Глубоко чувствуя всякое прикосновеніе шероховатой грубой дѣйствительности, онъ тѣмъ не менѣе очень неохотно разстается со своею мечтою и потому въ каждомъ описаніи подобнаго столкованія вы чувствуете стонъ наболѣвшаго авторскаго сердца, никакъ не могущаго примириться съ тѣмъ, что не подходитъ подъ складъ его направленія. Тургеневъ не изъ тѣхъ кисло-сладкихъ мечтателей, что въ свѣтлыя ночи глядятъ на луну и на этомъ основаніи считаютъ себя идеалистами. Нѣтъ, идеализмъ его имѣетъ болѣе грандіозную подкладку. Долгое время проживъ въ Германіи, проникшись духомъ германской поэзіи и въ особенности Шилле-

[1]) Толпой.

[2]) Курсивъ Тургенева.

ромъ и Гете, Тургеневъ строитъ свое міросозерцаніе на широкихъ началахъ общечеловѣчности и въ тоже время на уваженіи къ индивидуальнымъ особенностямъ каждаго человѣка въ отдѣльности. Выставляя какое нибудь лице, дѣлясь съ читателемъ своими чувствами, Тургеневъ не кричитъ вамъ грозно: «дѣлай также какъ я, чувствуй одинаковымъ со мной образомъ». Требованія его гораздо скромнѣе: «я признаю тебя, говоритъ онъ вамъ. но за то «ты и мнѣ не мѣшай жить на мой образецъ». За эту незаносчивость вы легко прощаете Тургеневскимъ героямъ ихъ не всегда логическій образъ мыслей, не всегда раціональное отношеніе къ дѣлу. Всѣ эти «Лишніе люди», Яковы Пасынковы, герои «Переписки»—явленія чрезвычайно патологическія и могутъ возбудить ваше сочувствіе только подъ условіемъ не предъявленія даже самыхъ отдаленныхъ требованій не превосходство. Не принадлежа къ категоріи праздныхъ фантазеровъ и вполнѣ признавая законность требованій дѣйствительной жизни, Тургеневъ проситъ только пощады для себя. «Я знаю», какъ бы толкуетъ онъ вамъ», «что мечта и дѣйствительность вещи разныя, я и не ставлю первую нормой жизни, но не разрушайте скромнаго уголка моего личнаго существованія, гдѣ сохраняется запасъ, долженствующій спасать каждаго непошлаго человѣка отъ поглощенія прозой жизни». Въ этомъ отношеніи Тургенева къ читателю лежитъ причина того, что вы его поэзію признаете истинной и имѣющей глубокое значеніе какъ талисманъ противъ увлеченій требованіями дѣйствительности. Вотъ отчего мы съ глубокимъ сочувствіемъ относимся къ слѣдующему стихотворенію.

Когда давно забытое названье
Расшевелитъ во мнѣ, внезапно, вновь,
Уже давно затихшее страданье,
Давнымъ давно погибшую любовь, —

Мнѣ стыдно, что такъ медленно живу я
Что этотъ хламъ хранитъ душа моя,
Что ни слезы, ни даже поцѣлуя —
Что ничего не забываю я.

Мнѣ стыдно, да; а тамъ мнѣ грустно станетъ,
И неужель подумать я могу,
Что жизнь меня теперь ужь не обманетъ,
Что до конца я сердце сберегу?

Что въ правѣ я отринуть горделиво
Всѣ прежнія, всѣ дѣтскія мечты
Все, что̀ въ душѣ цвѣтетъ, такъ боязливо
Какъ первые, весенніе цвѣты?

И грустно мнѣ, что то воспоминанье
Я былъ готовъ презрѣть и осмѣять....
Я повторю знакомое названье —
Въ былое весь я погруженъ опять.

Мы не станемъ выписывать другихъ стихотвореній Тургенева. Они всѣ болѣе или менѣе носятъ тотъ-же характеръ. Вездѣ преобладаетъ субьективный колоритъ, но при этомъ авторъ варьируетъ тѣ субьективныя ноты, которыя свойственны всякому человѣку и потому интересны. Иной разъ Тургеневъ оставляетъ «злобу дня» и предается мирному изображенію картинъ природы. Такія вещи удаются ему превосходно. Читатель уже имѣлъ возможность убѣдиться въ силѣ эпическаго стиха Тургенева, когда мы дѣлали выписки изъ «Параши». Исполняя наше намѣреніе познакомить русскую читающую публику съ «грѣхами молодости» разбираемаго нами писателя, приводимъ еще одно доказательство несправедливости гоненія автора «Записокъ Охотника» на плоды юношескаго настроенія своего таланта. Вотъ вамъ маленькая картина лѣтняго вечера въ деревнѣ, такъ и поражающая силою и свѣжестью красокъ.

Люблю я вечеромъ къ деревнѣ подъѣзжать,
Надъ старой церковью глазами провожать
Воронъ играющую стаю;
Среди большихъ полей, заповѣдныхъ луговъ,
На тихихъ берегахъ заливовъ и прудовъ
Люблю прислушиваться лаю

Собакъ недремлющихъ, — мычанью тяжкихъ стадъ;
Люблю заброшенный и запустѣлый садъ
И липъ незыблемыя тѣни; —
Не дрогнетъ воздуха стеклянная волна;
Стоишь и слушаешь — и грудь упоена
Блаженствомъ безмятежной лѣни....

Задумчиво глядишь на лица мужиковъ —
И понимаешь ихъ; предаться самъ готовъ
Ихъ бѣдному, простому быту....
Идетъ къ колодезю старуха за водой;
Высокій шестъ скрыпитъ и гнется; чередой
Подходятъ лошади къ корыту....

Вотъ пѣсню затянулъ проѣзжій.... грустный звукъ!
Но лихо вскрикнулъ онъ — и только слышъ стукъ
Колесъ его телѣги тряской;
Выходитъ дѣвушка на низкое крыльцо —
И на зорю глядитъ.... и круглое лицо
Зардѣлось алой, яркой краской.

Качаясь медленно, съ пригорка за селомъ,
Огромные возы спускаются гуськомъ
Съ пахучей данью пышной нивы;
За конопляникомъ зеленымъ и густымъ
Бѣгутъ, одѣтые туманомъ голубымъ,
Степей широкіе разливы.

Та степь — конца ей нѣтъ.... раскинулась лежитъ....
Струистый вѣтерокъ бѣжитъ, не пробѣжитъ....
Земля томится, небо млѣетъ....
И лѣса длиннаго подернутся бока
Багрянцемъ золотымъ, и рощетъ онъ слегка,
И утихаетъ, и синѣетъ....

Приведемъ въ заключеніе еще одно небольшое стихотвореніе «Безлунная ночь» и покончимъ съ нѣсколько затянувшимся разборомъ первыхъ шаговъ Тургенева на литературномъ поприщѣ.

О ночь безлунная, ночь теплая, нѣмая!
Ты нѣжишься, ты млѣешь, изнывая,
Какъ отъ любовныхъ ласкъ усталая жена....
Иль, можетъ быть, невѣдѣньемъ полна,

Мечтательнымъ невѣдѣньемъ желаній, —
Стыдливая, ты ждешь таинственныхъ лобзаній?
Скажи мнѣ, ночь, въ кого ты влюблена?
Но ты молчишь на мой вопросъ нескромный....
И на тебѣ покровъ густѣетъ темный.
Я заражонъ тобой.... вдыхаю влажный паръ....
И чувствую, въ груди тревожный вспыхнулъ жаръ...
Мнѣ слышится твой безконечный ропотъ,
Твой лепетъ вкрадчивый, твой непонятный шопотъ —
И тѣнь пахучая колеблется кругомъ,
Лицо горитъ невѣдомымъ огнемъ,
Расширенная грудь дрожитъ воспоминаньемъ
Томится горестью блаженствомъ и желаньемъ
И воздухъ ласковый чуть дремлющій, ночной,
Какъ будто самъ дрожитъ и пышетъ надо мной.

Заканчивая разборъ стихотворныхъ произведеній Тургенева, мы, какъ это дѣлаютъ докладчики въ заключеніе своихъ рефератовъ, ставимъ слѣдующій тезисъ: стихи Тургенева настолько интересны, настолько хорошо разрабатываютъ вопросы, затронутые этимъ писателемъ въ его-же первыхъ повѣстяхъ, (почти сплошь до самого «Рудина»), что онъ не долженъ отказать многочисленнымъ почитателямъ своимъ въ возможности ознакомиться съ симпатичнымъ выраженіемъ настроенія его юношеской души. Русская литература послѣдняго времени настолько бѣдна хорошими вещами, что при всей любви къ современности приходится обращаться въ своихъ поискахъ за ними главнымъ образомъ къ прошедшему и перечитывать старое. Отчего-же не увеличить контингентъ этого «стараго» еще однимъ, хотя не большимъ, но драгоцѣннымъ вкладомъ. Отчего, выражаясь высокимъ слогомъ, не обогатить кошницу русской словесности еще однимъ алмазомъ? Будемъ надѣяться, что въ будущихъ изданіяхъ, наряду съ комедіями Тургенева, найдутъ мѣсто гораздо болѣе замѣчательные лирико-эпическіе опыты его. Этимъ будетъ дано еще одно доказательство глубины творческаго таланта автора повѣстей и романовъ, затрогивающихъ всѣ жизненные вопросы русскаго общества въ продолженіи періода болѣе тридцати лѣтъ.

VII.

Имѣя болѣе или менѣе обезпеченное состояніе, Тургеневъ исключительно посвятилъ себя литературѣ. Въ 1843 г. онъ пытался было поступить на службу и даже былъ зачисленъ въ канцелярію министра внутреннихъ—гр. Л. А. Перовскаго, гдѣ директоромъ состоялъ В. И. Даль. Но зачисленіе такъ зачисленіемъ и осталось, потому что молодой писатель не имѣлъ ни малѣйшей охоты засѣсть за регистрированіе входящихъ и исходящихъ бумагъ и на службу почти не ходилъ. Въ слѣдующемъ 1844 году онъ совсѣмъ бросилъ свою канцелярскую дѣятельность и вышелъ въ отставку съ чиномъ коллежскаго секретаря, каковой чинъ ему полагался, какъ кандидату университета. Съ тѣхъ поръ онъ попеременно жилъ то въ Петербургѣ, то въ деревнѣ, но преимущественно въ Петербургѣ.

Съ самаго начала своей литературной карьеры Тургеневъ имѣлъ счастіе вступить въ самыя дружественныя отношенія съ Бѣлинскимъ. Послѣ статей г. Пыпина, проливших такой ослѣпительный свѣтъ на грандіозную личность геніальнаго критика, никто не усумнится въ томъ, что мы ничуть не употребили слишкомъ сильное выраженіе, сказавъ «Тургеневъ *имѣлъ счастіе*» близко сойтись съ Бѣлинскимъ. Да, быть въ обществѣ такого высоко-идеальнаго человѣка большое счастіе и Тургеневъ много ему обязанъ. Въ разговорѣ съ Бѣлинскимъ крѣпло міросозерцаніе молодаго писателя, вкусы его утончались, наклонности не опошлялись; онъ пріобрѣталъ нравственныя силы для борьбы съ тѣмъ ненормальнымъ порядкомъ вещей, что извѣстенъ подъ именемъ сороковыхъ годовъ. Въ честномъ кружкѣ Бѣлинскаго Тургеневъ могъ отъ души и не безъ пользы вести разговоръ о разныхъ явленіяхъ общественной жизни. Въ горячихъ спорахъ выяснялись разныя идеи и принципы и такимъ образомъ обильный сырой матеріалъ, вывезенный нашимъ беллетристомъ изъ

Германіи, подвергался прекрасной переработкѣ и далъ возможность Тургеневу сдѣлаться однимъ изъ самыхъ образованныхъ людей своего времени. Самъ Тургеневъ очень живописно въ своихъ «Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ» рисуетъ намъ положеніе тогдашней общественной жизни и значеніе своего знакомства съ Бѣлинскимъ.

«Я часто ходилъ къ нему послѣ обѣда отводить душу. Онъ занималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ, на Фонтанкѣ, недалеко отъ Аничкова моста, невеселыя, довольно сырыя комнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли времена, нынѣшнимъ молодымъ людямъ не приходилось испытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ тебѣ, быть можетъ, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ быть, тебѣ даже пришлось съѣздить къ цензору, и представивъ напрасныя и унизительныя объясненія, оправданія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ.... На улицѣ попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генералъ, и даже не начальникъ, а такъ просто генералъ, оборвалъ или что еще хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ потомъ сведенныхъ на трехъ-сотенный комплектъ, поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя какая-то темная, туча постоянно виситъ надъ всѣмъ такъ-называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ хоть рукой махни! Ну, вотъ и придешь на квартиру Бѣлинскаго, придетъ другой, третій пріятель, затѣется разговоръ и легче станетъ; предметы разговора были большей частью нецензурнаго (въ тогдашнемъ смыслѣ) свойства, но собственно политическихъ преній не происходило: безполезность ихъ слишкомъ явно била въ глаза всякому. Общій колоритъ нашихъ бесѣдъ былъ философско-литературный, критико-эстетическій и пожалуй соціальный, рѣдко историческій».

Если Тургеневъ по весьма понятнымъ причинамъ любилъ быть въ обществѣ Бѣлинскаго, то и послѣдній въ свою очередь очень сильно привязался къ образованному молодому человѣку. Бѣлинскій какъ извѣстно не особенно хорошо владѣлъ иностранными языками и потому при желаніи быть au courant европейской жизни, ему приходилось обращаться къ пріятелямъ, въ большей степени обладавшимъ возможностью слѣдить за ходомъ общечеловѣческихъ знаній и

мыслей. Тургеневъ былъ однимъ изъ такихъ пріятелей. Только что возвратившись изъ источника всякой премудрости и главнымъ образомъ гегеліанской философіи — Германіи, онъ дѣлился съ Бѣлинскимъ своими свѣдѣніями, за что послѣдній былъ ему безгранично благодаренъ. Онъ цѣнилъ въ молодомъ писателѣ искренность и возвышенность мыслей и потому необыкновенно снисходительно относился къ его поэтической дѣятельности, какъ уже читатель это знаетъ изъ предъидущаго. Даже неудачныя произведенія Бѣлинскій прощалъ Тургеневу, такъ какъ видѣлъ въ немъ не ритора à la Бенедиктовъ, а человѣка, пишущаго вслѣдствіе особенной органической потребности дѣлиться съ другими своими впечатлѣніями, и на лиричнскихъ опытахъ котораго лежитъ отпечатокъ «плѣнной мысли раздраженіе» и при томъ въ такое состояніе приведенной тою-же излюбленною нѣмецкою философіею.

«Мы еще вѣрили тогда въ дѣйствительность и важность философическихъ и метафизическихъ выводовъ, хотя ни онъ, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто на нѣмецкій манеръ.... Впрочемъ, мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія.»

Бѣлинскій не могъ вполнѣ оцѣнить нарождающійся талантъ Тургенева, такъ какъ ему было извѣстно лишь весьма малое количество его прозаическихъ произведеній, но все-же онъ ставилъ его довольно высоко за первые очерки «Записокъ Охотника». Вотъ что онъ писалъ Тургеневу въ частномъ письмѣ:

«Вашъ «Каратаевъ» хорошъ, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»....

. . . . Мнѣ кажется, у васъ чисто-творческаго таланта или нѣтъ — или очень мало — и вашъ талантъ однороденъ съ Далемъ. Это вашъ настоящій родъ. Вотъ хоть-бы «Ермолай и Мельничиха» — не Богъ знаетъ что, бездѣлка — а хорошо, потому что умно и дѣльно, съ мыслью. А въ «Бретерѣ» увѣренъ, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое мѣсто — въ этомъ все для человѣка, это для него значитъ сдѣлаться самимъ собою. Если не ошибаюсь, ваше призваніе — наблюдать дѣйствительныя явленія и передавать ихъ, пропуская черезъ фантазію, но не опираться только на фантазію.... Толь

ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни сё; не то чтобъ не хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно вредитъ тоталитету извѣстности (извините за кудрявое выраженіе — лучшаго не придумалось). А «Хорь» обѣщаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя — въ будущемъ».

Тургеневъ настолько близко подружился съ Бѣлинскимъ что крестилъ у него сына и когда онъ уѣхалъ въ Германію, Бѣлинскій сильно тосковалъ о немъ.

« . . . Когда вы сбирались въ путь» пишетъ онъ ему, «я зналъ наперед, чего лишаюсь въ васъ — но когда вы уѣхали, я увидѣлъ, что потерялъ въ васъ больше нежели думалъ... Послѣ васъ я отдался скукѣ съ какимъ-то апатическимъ самоотверженіемъ и скучалъ, какъ никогда въ жизни не скучалъ»

Письмо это было писано въ февралѣ 1847 г. Въ іюнѣ того-же года друзья свидѣлись за границею и провели вмѣстѣ нѣсколько недѣль въ Зальцбрунѣ и Парижѣ, куда заботливые пріятели Бѣлинскаго услали его, чтобы онъ вылечился отъ чахотки. Надежда, какъ извѣстно, не сбывшаяся такъ какъ въ слѣдующемъ, 48 году, смерть вырвала геніальнаго критика изъ среды борцевъ за свои мысли и убѣжденія.... Тургеневъ въ немъ лишился очень многаго. Видѣть, предъ собою живой примѣръ честнаго и страстнаго отношенія къ литературѣ, горячей преданности русской мысли въ частности, и европейской вообще; человѣка для котораго умственныя потребности составляли не излишнюю роскошь, а хлѣбъ насущный,—быть въ постоянномъ общеніи съ такою личностью и вдругъ лишиться этого высокаго наслажденія—не легко. Неудивительно, что Тургеневъ горько оплакивалъ свою потерю и не скоро, можетъ быть, даже и совсѣмъ не нашелъ себѣ болѣе такого подходящаго подъ его душевное настроеніе пріятеля.

Въ одномъ мѣстѣ своихъ воспоминаній о Бѣлинскомъ Тургеневъ жалѣетъ о томъ, что великій критикъ не «дожилъ до того, что также наполнило-бы сладостью его сердце: не увидалъ онъ много хорошаго, что совершилось послѣ него въ нашей литературѣ. Какъ бы порадовался онъ поэтическому дару Л. Н. Толстаго, силѣ Островскаго, юмору Пи-

,семскаго, сатирѣ Салтыкова, трезвой правдѣ Рѣшетникова. Кому-бы, какъ не ему, слѣдовало быть свидѣтелемъ всѣхъ тѣхъ сѣмянъ, изъ которыхъ многія были посѣяны его рукою»?...

Понятная скромность не допускала конечно нашему писателю упомянуть о томъ, какъ порадовался бы Бѣлинскій при видѣ могучаго разцвѣта таланта, который ему пришлось привѣтствовать только на первыхъ порахъ его возникновенія Какъ удивился бы онъ общему впечатлѣнію «Записокъ Охотнику», анализу «Рудина», щемящей за душу поэзіи «Аси» «Дворянскаго Гнѣзда», силѣ мысли въ «Наканунѣ». Всего этого не привелось увидѣть Бѣлинскому. «Видно—не слѣдовало»..., скажемъ мы словами Тургенева.

Изъ другихъ знаменитыхъ людей прежней эпохи, Тургеневъ, хотя не надолго, но довольно хорошо сошелся съ Гоголемъ. Болѣе подробныя свѣденія объ этомъ знакомствѣ читатель найдетъ въ первомъ томѣ Салаевскаго изданія и въ разсказѣ Щепкина, помѣщенномъ въ «Библіот. д. Чтенія» за 1861 г. (№ 8). Для насъ, какъ біографа Тургенева, важны тѣ послѣдствія, которыя повлекло за собой его сближеніе съ знаменитымъ родоначальникомъ реальной школы въ русской литературѣ. Тургеневъ и безъ того восторженно относился къ Гоголю, а личное свиданіе только усилило въ немъ его чувства. Неудивительно поэтому, что смерть Гоголя (въ 1852 г.) страшно поразила впечатлительнаго Тургенева и онъ написалъ горячій некрологъ великаго писателя, который любопытные тоже могутъ прочесть въ первомъ томѣ Салаевскаго изданія.

Болѣе чѣмъ умѣренная статья предназначалась для одного изъ петербургскихъ журналовъ. Но цензурныя строгости, достигшія своего maximum'а сдѣлали намѣреніе Тургенева неисполнимымъ въ Петербургѣ. Онъ отослалъ свою статью въ «Московскія Вѣдомости», гдѣ она съ разрѣшенія тогдашняго попечителя московскаго учебнаго округа — гене-

рала Назимова, и была помѣщена въ 32 № отъ 13-го марта 1852 г. Какъ читатели сами могутъ убѣдиться изъ прочтенія статьи, въ ней «запрещеннаго» нѣтъ и слѣда. Лучшее доказательство—въ Москвѣ въ ней ничего такого не нашли. Но Гоголь почему-то тогда былъ въ «гоненіи» и вотъ отъ чего восторженный некрологъ имѣлъ послѣдствіемъ арестованіе его автора. 16-го Апрѣля того-же года, Тургеневъ за *ослушаніе* и *нарушеніе цензурныхъ правилъ* былъ посаженъ на мѣсяцъ подъ арестъ въ части, а затѣмъ отправленъ на житье въ деревню. Такой сюрпризъ былъ приготовленъ нашему писателю единственно благодаря покойному попечителю петербургскаго округа — Мусину-Пушкину, который увѣрилъ высшее правительство, что призывалъ Тургенева лично и передавалъ ему запрещеніе цензурнаго комитета печатать его статью, для того, чтобы лишить автора возможности представить свое произведеніе на просмотръ другаго, болѣе снисходительнаго цензора. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго небыло и Тургеневъ даже въ глаза не видѣлъ Мусина-Пушкина. Но какъ-бы то ни-было, а энтузіазмъ предъ Гоголемъ обошелся нашему беллетристу въ трехгодичное пребываніе въ деревнѣ, такъ какъ онъ только въ началѣ нынѣшняго царствованія получилъ право возвратиться въ столицу.

Въ Апрѣльской книжкѣ «Вѣст. Европы» за 1875 г., въ біографіи Бѣлинскаго составленный г. Пыпинымъ, мы находимъ нѣсколько интересныхъ отзывовъ великаго критика объ Тургеневѣ, интересныхъ тѣмъ, что даютъ указаніе на такія субъективныя черты нашего беллетриста которыя можно прослѣдить въ его произведеніяхъ.

«Тургеневъ очень хорошій человѣкъ, и я легко сближаюсь съ нимъ. Въ немъ есть злость, и желчь, и юморъ, онъ глубоко понимаетъ Москву и такъ воспроизводитъ ее, что я пьянѣю отъ удовольствія... Т. немного нѣмецъ въ томъ смыслѣ, какъ и Б.»

Бѣлинскій очень вѣрно подмѣтилъ характристичныя черты автора «Записокъ Охотника». Дѣйствительно, во всѣхъ

укрпныхъ его произведеніяхъ непремѣнно есть лице за которымъ скрывается авторъ и чьими устами онъ высказываетъ ѣдкія и остроумныя истины. Таковы Пигасовъ и Лежневъ въ «Рудинѣ», тетушка Лизы въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ». Апогей тонкаго юмора Тургенева—это Шубинъ изъ «Наканунѣ». Базаровъ даетъ еще одно доказательство силы и высоты насмѣшливаго ума Ивана Сергѣевича. Потугинъ въ «Дымѣ» уже не столько остроуменъ, но замѣняетъ это качество жолчью и ѣдкостью своихъ мизантропическихъ взглядовъ Всѣ эти лица показываютъ, на столько былъ правъ Бѣлинскій въ своей лестной характристикѣ нашего писателя.

Я нѣсколько сблизился съ Т—вымъ. Это человѣкъ необыкновенно умный, да и вообще хорошій человѣкъ. Бесѣда и споры съ нимъ отводили мнѣ душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всемъ соглашаются съ тобою, или если противорѣчатъ, то не доказательствами, а чувствами и инстинктомъ,— и отрадно встрѣтить человѣка, самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры. У. Т. много юмору. Я, кажется, уже писалъ тебѣ, что разъ, въ спорѣ противъ меня за нѣмцевъ, онъ сказалъ мнѣ: да что вашъ русскі й человѣкъ, который не только шапку, да и мозгъ-то свой носитъ на бекрень! — Вообще, Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ виденъ характеръ и дѣйствительность. Онъ врагъ всего неопредѣленнаго, къ чему я по слабости характера и неопредѣленности натуры и дурнаго развитія, довольно падокъ.

Въ этомъ отрывкѣ намъ важны слова «*онъ врагъ всего неопредѣленнаго*». Оно намъ послужитъ впослѣдствіи при разборѣ «Отцевъ и Дѣтей» указаніемъ на сколько можно повѣрить искренности ихъ автора, заявляющаго, что большинство мнѣній Базарова—его собственныя.

VIII.

Мы приступаемъ къ разбору «Записокъ Охотника». Предъ нами рядъ очерковъ, съ перваго взгляда не имѣющихъ между собою ничего общаго и повидимому связанныхъ только чисто-

внѣшнимъ образомъ. Но всмотритесь нѣсколько попристальнѣе, проанализируйте смыслъ каждаго отдѣльнаго очерка и вы убѣдитесь, что имѣете дѣло съ цѣлою эпопеею народной жизни; вы увидите, какъ передъ вашимъ умственнымъ взоромъ возстанутъ живыя картины прошлаго, того недалекаго прошлаго, про которое вы, только благодаря быстрымъ успѣхамъ нашей гражданственности за послѣдніе годы, можете сказать: «свѣжо преданіе, да вѣрится съ трудомъ». Но не тѣмъ однимъ дороги для насъ «Записки Охотника», что выставляютъ безобразіе нашего прежняго общественнаго устройства. Онѣ не принадлежатъ къ тому разряду сочиненій, что ограничиваются однимъ выставленіемъ отрицательныхъ сторонъ и навѣваютъ на читателя пессимистическое настроеніе духа тѣмъ, что ничего не даютъ въ замѣнъ ими порицаемаго. «La critique est aisée, mais l'art est difficile» сказалъ уже очень давно Буало и потому мы должны признать только половину заслуги за тѣми писателями, которые, сознавъ нелѣпость крѣпостнаго права, дали намъ рядъ произведеній изъ народнаго быта, гдѣ послѣдній поражаетъ насъ своею убогостью. Мало показать общественную язву, мало сдѣлать ее очевидною для всѣхъ; это только часть работы. Нужно еще съумѣть найти въ защищаемомъ элементѣ задатки лучшаго будущаго, нужно показать, что, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, прежніе дурные результаты могутъ замѣниться лучшими. Въ нашей литературѣ конца сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ встрѣчается не малое количество произведеній, гдѣ рисуется бѣдственное положеніе крестьянскаго люда, но всѣ онѣ грѣшатъ страшною односторонностью. Авторы ихъ, не на столько развитые и не на столько тонкіе наблюдатели, чтобы додуматься до корня вещей, выставляли какихъ-то сладкихъ «пейзановъ», чуть-чуть не напомнившихъ собою блаженныя времена господства ложнаго классицизма на абсолютно-чуждой ему русской почвѣ. Возьмемъ для примѣра хотя-бы Григоровича. Онъ одинъ изъ самыхъ видныхъ быто-писателей простонародной жизни. А между тѣмъ его просто-народные повѣсти и романы имѣли

самое эфемерное значеніе и пережили едва какой-нибудь десятокъ лѣтъ. Никто въ настоящее время не станетъ восторгаться имъ и недавнее второе изданіе его сочиненій нужно исключительно приписать развившемуся въ послѣднее время вкусу къ легкому чтенію. Что-же касается «Записокъ Охотника» то ихъ съ жадностью будутъ читать и черезъ тридцать лѣтъ, хотя зло, ими бичуемое, уже давно сдѣлалось достояніемъ исторіи. Неумирающее значеніе «Записокъ Охотника» въ томъ именно и состоитъ, что онѣ даютъ намъ здоровые, народные типы, прямо выхваченные изъ жизни и не созданные въ угоду какой-бы то нибыло тенденціи. Наряду съ приниженными крѣпостничествомъ личностями, Тургеневъ показываетъ намъ простолюдиновъ съ неискоренимъ направленіемъ мыслей. По этому мы можемъ ихъ мнѣнія считать вполнѣ за выраженіе народной мудрости и въ ней почерпнуть указаніе на культурное значеніе русскаго народа, на степень его воспріимчивости и способность къ самобытности.

Тургеневъ, хотя приступалъ къ созданію своихъ «Записокъ» съ извѣстною цѣлью, однако-же, не позволилъ себѣ ни малѣйшаго искаженія дѣйствительности. Тутъ всего легче мы можемъ видѣть рѣзкое различіе между истиннымъ художествомъ и тенденціознымъ и между тою пользою, которую приноситъ каждый родъ творчества для защищаемаго ими одного и того-же дѣла. Тургеневъ написалъ «Записки Охотника» не въ силу того, что по своему теоретическому развитію дошелъ до сознанія ненормальности крѣпостнаго права. Безъ сомнѣнія и это обстоятельство имѣло мѣсто, но оно небыло единственною побудительною причиною. Тургеневъ видѣлъ, что его взглядъ не будетъ натяжкою противъ дѣйствительности, и вотъ почему онъ считалъ себя въ правѣ выставить ее во всей ея неказистости. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не полагалъ возможнымъ слѣдовать правилу, по которому цѣль оправдываетъ средства и потому не выставилъ намъ величавыхъ и возвышенныхъ крестьянъ, какъ въ наше время г. Левитовъ, не рисовалъ отчаянныхъ фигуръ Григоровича, не

портилъ однимъ словомъ картины густотою красокъ. Онъ писалъ то, что было возможно писать и такъ какъ оно дозволялось дѣйствительностью. Оттого-то и польза, принесенная «Записками Охотника» дѣлу освобожденія было прочная. Въ тоже время онѣ были настолько талантливо написаны, что создали автору репутацію выдающагося художника-беллетриста. И дѣйствительно, «Записки Охотника» во всѣхъ отношеніяхъ первоклассное произведеніе. О величіи проникающей ихъ мысли нечего и говорить, а форма, въ которую она облечена, настолько прекрасна, что мы, кажется, не ошибемся, утверждая, что можетъ быть ни одинъ еще русскій писатель не возвысился до такой красоты эпическаго описанія, какъ Тургеневъ въ «Бѣжинѣ Лугѣ». По всему этому очерку разлито столько чувства, столько задушевности, что вы невольно должны признать всемогущество истинной поэзіи, изъ весьма обыкновенной вещи умѣющей создать возвышающую картину съ такою поразительною вѣрностію, что вы какъ будто чувствуете себя живымъ зрителемъ, вы какъ будто присутствуете на самомъ дѣлѣ при описываемой сценѣ. Развѣ одинъ Гончаровъ не уступаетъ Тургеневу во «Фрегатѣ Палладѣ» изображеніями картинъ природы, съ почти совершеннымъ, впрочемъ, отсутствіемъ Тургеневскаго хватанія за душу. Бѣлинскій сильно ошибался, ставя талантъ Тургенева на одну ступень съ дарованіемъ Даля. Это совершенно не вѣрно и объясняется только тѣмъ, что геніальный критикъ зналъ лишь очень немногія изъ прозаическихъ произведеній разбираемаго нами автора. Даль — поверхностный разсказчикъ, не вникающій глубоко, въ то время какъ Тургеневъ не многими словами сразу исчерпываетъ все поддающееся воспроизведенію. Въ «Запискахъ Охотника» вы въ одномъ томѣ имѣете предъ собою всю крестьянскую жизнь съ ея печалями и немногими радостями. Вы видите, какъ формируются народныя повѣрія, какъ складываются народныя понятія, какъ образуется однимъ словомъ народное міросозерцаніе. Вы видите долготерпѣніе русскаго народа, его пассивное геройство, его угрюмое добродушіе и мягкосерде-

чіе. Всматриваясь внимательнѣе вамъ не трудно замѣтить его смышленность, здравый умъ и способность образоваться. Всѣ эти качества мелькаютъ передъ вами во время чтенія «Записокъ Охотника», и въ концѣ ихъ вы уже имѣете весьма ясное представленіе о нравственной физіономіи настоящей «черноземной» силы. Вы начинаете любить эти неказистыя фигуры, потому что подъ непредставительной ихъ наружностью кроется богатѣйшій запасъ природныхъ силъ. Наряду съ ними авторъ выставляетъ вамъ и типы не угнетеннаго сословія. Но какое-же горькое разочарованіе васъ при этомъ ожидаетъ! Вы думаете встрѣтить людей, достигшихъ вслѣдствіе образованія умственнаго развитія, вы полагаете въ нихъ видѣть естественныхъ руководителей народа. Но нѣтъ! Предъ вами открывается рядъ личностей, настолько испорченныхъ своимъ исключительнымъ положеніемъ, что только послѣднимъ обстоятельствомъ можно ихъ нѣсколько извинить и не считать воплощенною наглостью и мерзостью. Вотъ въ томъ именно состоитъ одна изъ самыхъ вредныхъ сторонъ дурнаго общественнаго устройства, что оно внушаетъ людямъ, находящимся подъ его режимомъ, чувства довольства настоящимъ положеніемъ и считанія себя образцемъ добродѣтели и порядочности. Эти близорукія личности не прочь даже похвастать своими прекрасными качествами и будутъ называть недобросовѣстнымъ всякого, кто позволитъ себѣ усумниться въ справедливости подобнаго утвержденія. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ на господина Звѣркова изъ разсказа «Ермолай и Мельничиха». Этотъ субъектъ разсказываетъ автору исторію нѣкой крестьянской дѣвки Арины съ такими возмутительными подробностями, что право не знаешь чему болѣе удивляться: его-ли наивности или безобразію порядка вещей, внушающаго подобныя воззрѣнія.

«Вы вѣдь знаете» говоритъ онъ, «что у меня за жена. Кажется добрѣе ея найти трудно, согласитесь сами. Горничнымъ ея дѣвушкамъ не житье — просто рай вочію совершается..... но моя жена положила себѣ за правило: замужнихъ горничныхъ не держать, оно и точно не годится: пойдутъ дѣти, то сё — ну гдѣ-же тутъ горничной присмотрѣть за барыней, какъ слѣдуетъ,

наблюдать за ея привычками: ей ужь не до того, у ней уже не то на умѣ Надо по человѣчеству судить».

Покамѣсть, какъ видитъ читатель, все обстоитъ благополучно. Въ самомъ дѣлѣ, что-же тутъ особеннаго? Всякій имѣетъ право стремиться устроиться самымъ удобнымъ образомъ. Но не въ вышеприведенной выпискѣ заключается суть разсказа. Тотъ-же самый воплощенный ангелъ—госпожа Звѣркова видитъ проѣздомъ крестьянскую дѣвочку, послѣдняя ей нравится, она ее беретъ въ Петербургъ къ себѣ въ горничныя. Дѣвочка дѣлается отличной горничной и служитъ уже своей барынѣ самымъ удовлетворительнымъ образомъ около десяти лѣтъ.

«Вдругъ» продолжаетъ господинъ Звѣрковъ, «въ одно прекрасное утро, вообразите себѣ, входитъ Арина — ее Ариной звали — безъ доклада ко мнѣ въ кабинетъ, — и бухъ въ ноги.... Я этого, скажу вамъ откровенно, терпѣть не могу. *Человѣкъ никогда не долженъ свое достоинство терять, не правда-ли?* (sic).—Чего тебѣ?—Батюшка, Александръ Силычъ, милости прошу»—Какой? — «Позвольте выйти замужъ». — Я, признаюсь вамъ, *удивился*. — *Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нѣту?* — «Я буду служить барынѣ по прежнему» — Вздоръ, вздоръ! барыня замужнихъ горничныхъ не держитъ. — «Маланья на мое мѣсто поступить можетъ». — Прошу не разсуждать! — «Воля ваша....» Я признаюсь, такъ и обомлѣлъ. Доложу вамъ, я такой человѣкъ: ничто меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность..... Вѣдь вамъ говорить нечего— вы знаете что у меня за жена: *ангелъ во плоти*, доброта неизъяснимая..... Кажется, злодѣй и тотъ-бы ее пожалѣлъ. Я прогналъ Арину. Думаю, *авось опомнится, не хочется, знаете-ли, вѣрить злу, черной неблагодарности въ человѣкѣ*. Что-же вы думаете? Чрезъ полгода она опять изволитъ жаловать ко мнѣ-съ тою-же самою просьбою. Тутъ я, признаюсь, ее съ сердцемъ прогналъ и погрозилъ ей, и сказать женѣ обѣщался. *Я былъ возмущенъ*.... Но представте себѣ мое изумленіе: нѣсколько времени спустя приходитъ ко мнѣ жена, въ слезахъ, взволнована такъ, что я даже испугался. — Что такое случилось? — «Арина». Вы понимаете.... Я стыжусь выговорить. — Быть не можетъ? — Кто-же? — «Петрушка лакей». Меня взорвало.... Я такой человѣкъ.... полумѣръ не люблю.... Петрушка не виноватъ. Наказать его можно, но онъ по моему не виноватъ. Арина.... Ну, что-жъ, ну, ну что-жъ тутъ еще говорить? Я, разумѣется, тотчасъ-же приказалъ ее остричь одѣть въ затрапезъ и сослать въ деревню. *Жена моя лишилась отличной горничной, но дѣлать было нечего:* безпорядокъ въ домѣ терпѣть, однакоже,

нельзя. Больной членъ лучше отсѣчь разомъ.... Ну, ну, судите теперь сами, — ну, вѣдь вы знаете мою жену, вѣдь это, это.... *наконецъ ангелъ! Вѣдь она, привязалась къ Аринѣ, и Арина это знала и не постыдилась....* А? нѣтъ, скажите, а? Да что тутъ толковать! Во всякомъ случаѣ дѣлать было нечего. Меня-же, собственно меня надолго огорчила, обидѣла неблагодарность этой дѣвушки. Что ни говорите.... сердца, чувства — въ этихъ людяхъ не ищите! Какъ волка, не корми, онъ все въ лѣсъ смотритъ.... Впередъ наука! Но я желалъ только доказать вамъ....

А желалъ господинъ Звѣрковъ доказать, что разговоры молодыхъ людей о переустройствѣ соціальныхъ отношеній въ Россіи не основательны, такъ какъ крестьяне не на столько еще возвышенны, чтобы къ нимъ можно было-бы примѣнить гуманныя идеи, вычитанныя изъ нѣмецкихъ книжекъ. Неправда-ли, блестяще доказано? Въ самомъ дѣлѣ, не возмутительно-ли? Какая нибудь Арина и та тоже замужъ хочетъ выходить, когда это неудобно для ея барыни, къ тому еще такой доброй, сущаго ангела во плоти. Не нужно забывать, что Звѣрковъ совсѣмъ не помѣщикъ à la Коробочка или Собакевичъ. Нѣтъ, онъ уснащаетъ свою рѣчь разными сентенціями, доказывающими, что и мы молъ имѣемъ понятіе о «матеріяхъ высшихъ». «Человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство», высокопарно выражается Звѣрковъ, желая очевидно внушить своему собесѣднику, что принадлежитъ къ числу людей, философски развитыхъ. Не считайте насъ, дескать, обскурантами. И такой-то самый не отсталый человѣкъ приводитъ какъ сильнѣйшій аргументъ для отклоненія просьбы Арины о разрѣшеніи выйти замужъ «развѣ, ты дура не знаешь, что у барыни другой горничной нѣтъ». По его мнѣнію, это также убѣдительно и не опровержимо, какъ въ нашихъ глазахъ истина о томъ, что дважды два равно четыремъ.

Было-бы нѣсколько смѣшно и несвоевременно, если-бы мы разразились теперь филиппикою противъ крѣпостнаго права. Всякій имѣлъ-бы права назвать наше негодованіе заднимъ числомъ анохронизмомъ. Но отъ одного замѣчанія мы не можемъ удержаться. Мы этимъ еще разъ докажемъ безхарактерность нашей интеллигенціи, неспособность ея

создать что нибудь прочное, до чего-нибудь самой дойти и постоянный разладъ въ ея существованія теоріи съ практикою. Мы хотимъ констатировать нелестное отсутствіе послѣдовательности въ нашихъ образованныхъ людяхъ, хотя въ разбираемомъ случаѣ оно только къ добру послужило. Но дѣло въ томъ, что непослѣдовательная въ злѣ, наша интеллигенція не оставляетъ этого основнаго качества своего и въ хорошихъ начинаніяхъ и потому ничего не доводитъ до конца. Всюду вы натыкаетесь на компромиссы, на желаніе угодить и мамонѣ и высшимъ идеальнымъ требованіямъ, на ту оригинальную смѣсь, однимъ словомъ французскаго съ нижегородскимъ или пожалуй даже съ татарскимъ, что сдѣлала такъ удобнымъ примѣненіе къ нашей интеллигенція пословицы «ни Богу свѣча, ни чорту кочерга».

Крѣпостное право существовало не въ одной Россіи. Оно было еще не особенно давно во Франціи, совсѣмъ недавно въ Германіи. Но какой отличный характеръ оно тамъ носило.

Во Франціи дворянство было развращено до мозга костей, деморализація достигла такой степени, что французское общество должно было пасть вслѣдствіе собственной вины, вслѣдствіе внутренняго разложенія и невозможности дальнѣйшаго оформированнаго существованія. Крѣпостничество достигло безобразія среднихъ вѣковъ и вообще дошло до состоянія, при которомъ мы на него можемъ взирать не съ негодованіемъ, а только съ ужасомъ и отвращеніемъ. Такого рода положеніе дѣлъ, если и приводитъ въ содроганіе друга человѣчества, то оно все таки естественно вытекаетъ изъ сопутствующихъ обстоятельствъ, оно является неизбѣжнымъ результатомъ ненормальнаго порядка. Поэтому мы вполнѣ понимаемъ жантильома временъ Маріи Антуанеты, трактующаго въ салонахъ объ идеяхъ Руссо, и затѣмъ самымъ феодальнымъ образомъ расправляющагося со своими крестьянами и не желающаго выпускать изъ рукъ пользованія ими, какъ дающаго возможность вести тунеядную жизнь. Вокругъ него все такъ стоитъ внизъ головою, что его участіе въ этомъ

необыкновенномъ положеніи не можетъ быть ему особенно поставлено въ вину. Наконецъ, вѣдь онъ прекрасно сознаетъ, что поступаетъ не безукоризненно, онъ-же понимаетъ и чувствуетъ прегрѣшенія своего поведенія, но развращенность его такъ велика, что онъ не стѣсняется жертвовать совѣстью въ угоду своимъ неблагороднымъ стремленіямъ; онъ находится въ положеніи мошенника, знающаго, что его дѣйствія наказуемы, но тѣмъ не менѣе ничуть не намѣреннаго прекратить выгодное для него ремесло. И такъ французскій обладатель крестьянъ прошлаго столѣтія логиченъ въ своей развращенности, и мы не имѣемъ никакого права назвать его безхарактернымъ. У него послѣдовательность сознательнаго грабителя.

Нѣмецкій юнкеръ грубъ и необразованъ. Слѣдовательно отъ него нечего требовать гуманнаго отношенія къ крестьянамъ. Романы Шпильгагена съ достаточною ясностью намъ показываютъ всю некультурность нѣмецкаго дворянства, его отчужденность отъ общаго развитія, которая въ половинѣ девятнадцатаго столѣтія допускаетъ считать предъосудительнымъ драться съ бюргеромъ. Нѣмецкое юнкерство и дворянство вообще ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названо интеллигенціею своего народа. По этому мы къ нему должны быть менѣе строги, если будемъ говорить объ его отношеніяхъ къ крѣпостному праву. Оно во всякомъ случаѣ неможетъ считаться особенно причастнымъ дѣлу образованія своей страны, его умственныя и нравственныя понятія часто запоздалы на цѣлое столѣтіе и еще въ огромномъ большинствѣ то нѣмецкое юнкерство, которое съ страшною непріязнью взираетъ на распространеніе гражданственности въ Германіи, съ ея нивелирующимъ направленіемъ. Неудивительно теперь, что если въ подобныхъ субъектахъ нѣтъ недостатку въ семидесятыхъ годахъ, то въ сороковыхъ они были нормою и люди противныхъ убѣжденій, Ольденбурги и Церены, были болѣе чѣмъ рѣдкость. Если юнкеръ считаетъ ниже себя всякого образованнаго человѣка, когда тотъ не обладаетъ достодолжнымъ спискомъ благородныхъ предковъ, то нечего уже и

говорить объ отношеніи къ крестьянину. Онъ его считаетъ только на половину человѣческимъ существомъ и, подражая обычаю сувереновъ, выдумалъ даже ни въ какомъ другомъ, кромѣ нѣмецкаго, языкѣ не существующее обращеніе къ нему въ третьемъ лицѣ. Нѣмецкое дворянство, вообще, имѣетъ еще въ себѣ такъ много архаичнаго, что его воззрѣнія могутъ насъ занимать какъ курьезъ, но никакъ не больше.

Совершенно другое мы имѣемъ въ русскомъ дворянствѣ. Въ Россіи оно всегда первое воспринимало образованность, и понятіе о русской интеллигенціи неразрывно съ нимъ связано. Всѣ наши «движенія», всѣ наши «направленія» и «вѣянія» до самаго послѣдняго времени пополняли контингентъ своихъ приверженцевъ почти исключительно изъ однихъ дворянъ. Даже самыя демократическія волненія производились у насъ людьми привиллегированнаго сословія. Не даромъ-же говорили про декабристовъ, что во Франціи крестьяне возстаютъ, чтобы сдѣлаться господами, а у насъ дворяне бунтуются, чтобы крестьянъ сдѣлать панами. И нигилисты начала шестидесятыхъ годовъ, какъ остроумно выразился г. Михайловскій, были все больше «кающіеся дворяне». Добродушная славянская натура небыла настолько испорчена вѣковою привиллегированностью, чтобы потерять свои человѣческіе инстинкты. По этому мы не часто наталкиваемся на случаи звѣрскаго обращенія съ крестьянами. Но сплошь да рядомъ вы встрѣчаете возмутительные поступки нашихъ помѣщиковъ, не потому возмутительные, чтобы они особенно шли въ разладъ съ обыденною нравственностью. Нѣтъ, насъ возмущаетъ, что они продѣлываются людьми, далеко не отсталыми отъ общаго прогрессивнаго движенія, людьми часто радикальными въ теоретическихъ спорахъ. Тургеневъ видно тоже проникся этою мыслію и потому не выставилъ намъ какихъ нибудь изверговъ-помѣщиковъ, на манеръ Салтычихи прошлаго столѣтія. Онъ понялъ, что гораздо полезнѣе будетъ для защищаемаго имъ дѣла выставить обыкновенную всероссійскую натуру, которая отъ долгой власти начинаетъ терять прекрасныя стороны своей ширн. Возьмемъ хотя-бы

того-же Звѣркова Онъ даже знаетъ кое-что о человѣческомъ достоинствѣ, онъ разсуждаетъ о своевременности или несвоевременности крестьянскаго освобожденія, онъ человѣкъ не злой и вдругъ у него является вполнѣ логичнымъ не выдавать Арину замужъ изъ за того, что барыня останется безъ горничной. Объяснить подобное обстоятельство можно только нашею безхарактерностью, недостаточнымъ обладаніемъ послѣдовательностью. Будь крѣпостникомъ на средневѣковый манеръ и прекрасно! Покрайней мѣрѣ мы тогда знаемъ съ кѣмъ имѣемъ дѣло и намъ нечего особенно много церемониться съ такими личностями. Но гермафродиты въ родѣ господъ Звѣрковыхъ могутъ возбудить только досаду. Какъ ни велики ихъ прогрѣшенія противъ крестьянъ, они все-же не могутъ вызвать нашего негодованія. Слишкомъ мелки, мизерны они для этого. Негодованіе можетъ возбудить какой-нибудь энергичный негодяй, но мелкая дрянность производитъ только чувство гадливости. Въ слѣдующихъ произведеніяхъ Тургенева мы не разъ будемъ поставлены въ печальную необходимость констатировать безхарактерность нашихъ образованныхъ людей. Въ «Запискахъ-же Охотника» мы имѣемъ дѣло съ экземплярами низшей пробы. Если безхарактерны Рудины, то разные Гамлеты Щигровскаго уѣзда и Звѣрковы почти не должны быть удостоены этого названія. Мы только хотѣли показать въ Звѣрковѣ обыденнаго faute de mieux образованнаго и не злаго человѣка, который въ силу безалаберности русской натуры совмѣщаетъ въ себѣ весьма разнородныя стремленія.

На Звѣркова нѣкоторые могутъ смотрѣть какъ на человѣка, не особенно интеллигентнаго. Онъ нѣсколько смахиваетъ на помѣщика если не Екатерининскихъ временъ, то, по крайней мѣрѣ, Александровскихъ. Но вотъ не угодно-ли вамъ полюбоваться на человѣка самой новѣйшей (для своего времени понятно) формаціи—Аркадія Павлыча Пѣночкина (изъ разсказа «Бурмистръ»), гвардейскаго офицера въ отставкѣ. Онъ получилъ отличное воспитаніе, устроилъ свой домъ на самый европейскій манеръ, слуги у него одѣты по англійски,

однимъсл овомъ, что твой ланкастерскій лордъ-помѣщикъ. «Аркадій Петровичъ» говоря его собственными словами, «строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ-же блага». «Съ ними надобно обращаться кькъ съ дѣтьми» говорилъ онъ въ такомъ случаѣ:— «невѣжество, mon cher, il faut prendre cela en consideration». Въ послѣднихъ словахъ уже слышится столь свойственная намъ смѣсь французскаю съ нижегородскимъ. Къ фешенебельному англичанину примѣшивается древній боярипъ, но къ сожалѣнію появляющійся не въ допетровскомъ архалукѣ и не съ допетровскою рѣчью, а перетянутый по послѣдней модѣ и излагающій свою доморощенную философію, имѣющую въ основѣ расширеніе своей собственной мошны, на самомъ изящнѣйшемъ парижскомъ діалектѣ. Въ первомъ случаѣ вы, долго не церемонясь, можете повернуться къ своему собесѣднику спиною и перестать съ нимъ говорить или пустить ему нѣсколько крѣпкихъ словечекъ, не рискуя вызвать съ его стороны протеста на подобное обращеніе. Съ господиномъ-же Пѣночкинымъ вамъ приходиться плохо: кровь ваша кипитъ негодованіемъ, вы готовы ему швырнуть что-нибудь въ физіономію, да нѣтъ нельзя! Потому имѣешь дѣло съ европейцемъ. Ну, а куда, къ Европѣ или къ глубинѣ монгольскихъ степей отнесите вы слѣдующую сцену?

«Позавтракавши плотно и съ видимымъ удовольствіемъ, Аркадій Павлычъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился.

— Отчего вино не нагрѣто? спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ каммердинеровъ.

Каммердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь, я тебя спрашиваю, любезный мой? спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный каммердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него изъ подлобья.

— Pardon mon cher, промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на своего каммердинера.

— Ну ступай, прибавилъ онъ послѣ небольшаго молчанья, поднялъ брови и позвонилъ.

Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

— На счетъ Ѳедора...., распорядиться, проговорилъ Аркадій Павлычъ въ полголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаюсь, отвѣчалъ толстый и вышелъ.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne, весело замѣтилъ Аркадій Павлычъ».

Вы понимаете, какъ распорядились съ каммердинеромъ. И это за ненагрѣтую рюмку вина! Повѣритъ-ли современный Пѣночкину западный человѣкъ возможности подобнаго совмѣщенія европеизма съ такими древне-фараонскими замашками. Если-бы еще приказаніе «распорядиться» съ Ѳеодоромъ было отдано на единѣ съ управляющимъ. Ну мы, тогда бы и знали, что Пѣночкинъ мерзкій и злой человѣкъ. А то нѣтъ! Въ присутствіи чужаго лица, даже не особенно хорошо знакомаго, помѣщикъ щеголяющій своею образованностью и современностью, не стѣсняется выкинуть колѣнце средневѣковаго необузданнаго феодала, весь вѣкъ свой проведшаго въ своемъ замкѣ или на большой дорогѣ. Заговорите съ этимъ-же самымъ господиномъ объ энциклопедистахъ и онъ уже, по всей вѣроятности, найдетъ ихъ порядочно поотсталыми отъ общаго прогрессивнаго движенія, скажетъ вамъ, что для «*нашего*» времени требуется что-нибудь поновѣе, погуманнѣе и по либеральнѣе. Совѣсть его абсолютно чиста. Онъ даже нѣкоторымъ образомъ считаетъ себя благодѣтелемъ своихъ крестьянъ и навѣрное, когда рѣчь зайдетъ объ эмансипаціи, найдетъ ее совершенно лишнею при существованіи людей, озабоченныхъ благоденствіемъ принадлежащихъ имъ крѣпостныхъ. Такіе люди, какъ Пѣночкинъ не перевелись еще до настоящаго времени. Вы еще найдете въ журнальныхъ рецензіяхъ «Русскаго Міра» критиковъ, радующихся каждый разъ, когда гдѣ-либо появляется романъ или повѣсть изъ прежняго времени, гдѣ крѣпостное право рисуется въ самомъ розовомъ свѣтѣ патріархальности, какъ милый и симпатичный ингредіентъ «добраго, стараго времени», когда никакіе еще либеральные крикуны не смущали общественнаго покоя воплями объ уничтоженіи порабощенія человѣческаго существа ему-же

подобнымъ. Если въ 1874 г. разные Лѣсковы и схожіе съ нимъ беллѣтристы блестящей «плеяды» «Русскаго Вѣстника» не стыдятся выставить себя на публичное позорище и посмѣяніе своимъ опоэтизированіемъ крѣпостничества, то нечего и говорить, что въ сороковыхъ годахъ Пѣночкины составляли массу и съ олимпійскимъ величіемъ взирали на дерзавшаго усумниться въ полной законности и раціональности привиллегіи небольшой кучки жить трудомъ цѣлаго народа и руками угнетеннаго сословія строить себѣ храмъ одного своего-лишь личнаго благоденствія, въ ущербъ таковому же состоянію милліоновъ ни въ чемъ не виноватыхъ людей, силою невыгодно сложившихся историческихъ условій принужденныхъ не пользоваться плодами своей вѣковой работы и своего естественнаго положенія въ обществѣ людей, наравнѣ съ другими классами, его составляющими. Разные Звѣрковы и Пѣночкины считали себя выше и въ умственномъ и нравственномъ отношеніи порабощенныхъ имъ крестьянъ, но какъ-же страшно они въ этомъ ошибались! Мы увидимъ дальше, при разборѣ народныхъ типовъ «Записокъ Охотника», какія глубокія сокровища натуры таитъ въ себѣ русскій народъ. Теперь-же мы нѣсколько займемся «хорошими» людьми изъ привиллегированнаго сословія и покажемъ на сколько и они граждански непригодны и недостойны стоять выше по общественному положенію.

Вотъ передъ нами Петръ Петровичъ Каратаевъ. Человѣкъ довольно симпатичный и не глупый. А что изъ него вышло? Трактирный засѣдатель, пьющій мертвую. И его не миновала общая участь хорошихъ русскихъ людей. И онъ пьетъ запоемъ. Но даже охваченный этой страстью, онъ не забываетъ свои прежнія хорошія стремленія, въ немъ натура осталась неиспорченной; онъ въ состояніи до крайности увлечься игрою Мочалова въ «Гамлетѣ», а это много значитъ. Это показываетъ, что въ немъ не уснули его благородные инстинкты, что забубенная жизнь его можетъ быть есть только проявленіе возвышенности его натуры. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ безграничномъ разгулѣ не видна часто страстная натура, не

направленная куда слѣдуетъ. Развѣ въ этой вѣчной погонѣ за смѣною ощущеній не проглядываетъ человѣкъ богатоодаренный, но не имѣвшій случая стать полезнымъ членомъ общества? Русская широкая натура требуетъ себѣ простора, ей нужно такое поле дѣятельности, гдѣ-бы ни что не препятствовало ей сказаться во всей своей удали, во всемъ своемъ стремленіи ничѣмъ не стѣсняться. Сколько даровитыхъ людей на Руси, возбуждавшихъ самыя обширныя надежды, кончали жизнь свою кабацкими засѣдателями, потому что ни окружающая ихъ обстановка давала имъ возможность устроить свою жизнь, какъ слѣдуетъ, ни въ нихъ самихъ было достаточно дрессировки, необходимой для, того, чтобы стать полезными гражданами своей страны. Трактирное засѣдательство Каратаева тѣмъ болѣе не должно насъ смущать, что казусъ этотъ случился во времена матеріальной обезпеченности нашего дворянства, когда только особенно уже энергичные люди старались объ улучшеніи своихъ средствъ, помимо сдиранія шкуръ со своихъ крестьянъ. Каратаевъ до тридцати, до сорока лѣтъ жилъ себѣ въ свое удовольствіе, не помышляя ни о чемъ такъ какъ въ этомъ не представлялось рѣшительно никакой необходимости. И вдругъ обстоятельства его запутываются, онъ лишается своего наслѣдственнаго имѣнія. Куда ему дѣться? На службу не хочется идти: кому же, въ самомъ дѣлѣ, охота въ половинѣ жизни начинать мелкую канцелярскую дѣятельность? Для предпріятій торговыхъ средствъ нѣтъ, да и гордость дворянская не допускаетъ унизиться до купца. Вотъ и приходиться спустить свои прежнія грандіозныя требованія и, какъ нерѣдко бываетъ на Руси, не найти ничего унизительнаго въ роли живущаго на чужомъ иждивеніи субъекта. Замѣчательное явленіе! Приживательство въ прежнее время никогда не считалось особенно унизительнымъ! Въ приживателей и приживалокъ шли очень часто дворяне, даже люди образованные (напр. Гамлетъ Щигровскаго Уѣзда) и никого этотъ фактъ не возмущалъ особенно. Оно было такимъ обыденнымъ явленіемъ, что никто не обращалъ на него вниманія, не говоря уже о критическомъ къ нему отношеніи.

Мы знаемъ изъ древней исторіи, что во времена страшнаг развитія роскоши и разврата въ Римѣ тамъ существовали цѣлыя полчища такъ называемыхъ паразитовъ, жившихъ на счетъ патроновъ своихъ. Но за то кто-же и пополнялъ собою контингентъ этихъ лизоблюдовъ, кромѣ самыхъ грязныхъ поддонковъ той массы не чистыхъ элементовъ, которые были вызваны на свѣтъ небывалымъ скопленіемъ могущества и силы въ рукахъ единичныхъ личностей? У насъ-же на Руси приживательство хотя тоже было порождено благосостояніемъ дворянскаго сословія, все-же носило отличный отъ паразитизма характеръ. Паразитъ служилъ для увеселенія своего патрона, онъ долженъ былъ пѣть ему хвалебныя пѣсни, изъ нихъ богатые патриціи формировали своихъ политическихъ приверженцевъ. У насъ приживальщики тоже нерѣдко предзначались для увеселенія дающаго имъ хлѣбъ барина, но за то попадались и такіе, которые, состоя въ должности нахлѣбника, ничуть не теряли чувства собственнаго достоинства, и что всего удивительнѣе, оставались часто прекрасными людьми. Вотъ хотя-бы тотъ-же Каратаевъ.

Въ странномъ явленіи подобнаго неестественнаго комбинированія униженности съ неиспорченностью виденъ, между прочимъ, не высокій уровень нашей цивилизаціи, неясность отвлеченнаго міросозерцанія, потому что глубокая развращенность является только у народа, очень высоко стоящаго въ культурномъ отношеніи. Испорченность нравовъ, какъ доказалъ еще Женевскій философъ прошедшаго столѣтія, есть неизбѣжное слѣдствіе всякаго благоустроеннаго состоянія какого-нибудь народа и рафинированный мошенникъ, оскорбляющій насъ до глубины души, возможенъ только въ цивилизованномъ государствѣ. Возможность-же совмѣщенія такихъ самыхъ разнородныхъ качествъ, какъ нахлѣбничество съ неиспорченностью характера, доказываетъ малое распространеніе въ обществѣ сороковыхъ годовъ понятій объ истинномъ человѣческомъ достоинствѣ, а это-ли не признакъ необразованнаго общества?

Если на Каратаевѣ еще не такъ ясно доказывается не-

культурность или малая культурность большей части даже высшихъ классовъ сороковыхъ годовъ, то уже Гамлетомъ Щигровскаго Уѣзда, о которомъ сейчасъ будетъ рѣчь, мысль наша подкрѣпляется самымъ неопровержимымъ образомъ.

Интересное явленіе представляетъ собою Гамлетъ Щигровскаго Уѣзда! Это человѣкъ не глупый, съ хорошимъ образованіемъ, но, какъ онъ самъ про себя выражается «я тоже заѣденъ рефлексіею, непосредственнаго во мнѣ нѣтъ ничего». И это-то самая рефлексія, неоригинальность есть причина его дрянности. Онъ можетъ идти только по протоптанной уже до него дорожкѣ и на перекресткѣ нѣсколькихъ путей не знаетъ, что ему дѣлать: онъ не привыкъ поступать самостоятельно, не по указочкѣ. Положимъ, въ немъ сидитъ еще на столько честности и ума, чтобы самому дойти до сознанія своей непригодности. Но много-ли въ этомъ толку—зло этимъ не устраняется. Оно ему не только не полезно, не только не прогоняетъ дурныя мысли, но напротивъ того служитъ, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы навести на него тоску и, какъ онъ выражается, смириться, хотя смириться философски; путемъ размышленія достигнуть того, чтобы сказать самому себѣ: ты никуда не годенъ, ты безполезное существо, даромъ небо коптящее; твое дѣло шляться по сосѣдямъ и быть у нихъ нахлѣбникомъ. Какое намъ дѣло, что онъ относительно стоитъ тремя головами выше всѣхъ этихъ самихъ сосѣдей своихъ! На что оно ему когда образованіе и развитіе не помогли ему поставить себя какъ слѣдуетъ въ глазахъ этихъ-же, необразованныхъ сосѣдей, а главное въ своихъ собственныхъ глазахъ. Бѣдность его тутъ не причемъ. При полукультурности своей Россія сороковыхъ годовъ побаивалась и питала большой «респектъ» къ образованію и немногочисленные обладатели его всегда могли разсчитывать на хорошее, почетное общественное положеніе. Вотъ и Гамлетъ, первое время послѣ возвращенія своего изъ прибыванія въ германскихъ университетахъ пользовался изрядныимъ уваженіемъ. Но приглядѣвшись къ нашему умнику, смѣтливые сосѣди мескнули, что птица-то не особенно важнаго полета. Малое

выучиться энциклопедіи Гегеля. Надо еще съумѣть и въ жизни себя поставить сообразно своему философскому развитію.

«Милостивый государь! воскликнулъ онъ (Гамлетъ), я того мнѣнія, что вообще однимъ оригиналамъ житье на землѣ; они одни имѣютъ право жить. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre сказалъ кто-то. Что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ слѣдишь, — да своего-то особеннаго, собственнаго у тебя ничего нѣту! Однимъ складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ на свѣтѣ больше — да какое кому отъ этого удовольствіе? Нѣтъ, ты будь хоть глупъ, да по своему. *Запахъ свой гнилой, свой собственный запахъ, вотъ-что!*»

«Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» носитъ характеръ совершенно отличный отъ другихъ очерковъ, составляющихъ «Записки Охотника». Онъ представляетъ собою болѣе или менѣе ясно выраженный взглядъ самого Тургенева на породу русскихъ гегеліянцевъ сороковыхъ годовъ, онъ болѣе можетъ быть разсматриваемъ какъ философская статейка, не жели какъ художественная картина. По этому очеркъ этотъ намъ важенъ какъ матеріалъ для характеристики міросозерцанія автора. Устами «Гамлета» высказываются истины, во многомъ раздѣляемые, полагать надобно и Тургеневымъ. Въ тонѣ «Гамлета Щигровскаго Уѣзда» слишкомъ много живости, чтобы не видѣть за кулисами беллетриста нашего, въ мѣткой и ѣдкой характеристикѣ желавшаго выставить недостатки прежняго чисто-головнаго и теоретическаго направленія нашей интеллигенціи. Оригинальную въ самомъ дѣлѣ общественную формацію представляютъ собою русскіе гегеліянцы сороковыхъ годовъ! Эти люди были обречены на самую печальную участь: постоянно носить въ себѣ элементы страшнаго раздвоенія. Какъ Янусы новѣйшаго времени, они вамъ представлялись съ одной стороны высокоразвитыми европейцами, а съ другой показывали такія чисто-русскія наклонности, что оставалось только развести руками и сознаться въ невозможности логическимъ путемъ объяснить происхожденіе подобнаго типа. Что такое въ самомъ дѣлѣ русскій гегеліянецъ? Какіе его органическіе признаки? Чѣмъ онъ отличается отъ преѣидущихъ и послѣдующихъ эпохъ? Въ чемъ его культурное значеніе

для русской цивилизаціи? Отвѣчать на эти вопросы не совсѣмъ легко во первыхъ потому, что еще ни одинъ русскій гегеліанецъ не дошелъ до полнаго пониманія самого себя, а во вторыхъ гегеліанство проявлялось въ такихъ разнообразныхъ формахъ, что очень часто является дѣломъ едва возможнымъ очистить отъ иного всероссійскаго субъекта толстую кору различныхъ вѣяній, чтобы добраться до сущности его натуры.

Не особенно любящій думать русскій человѣкъ, болѣе склонный чувствовать, чѣмъ размышлять, съ жадностью схватился за нѣмецкую философію начала нынѣшнаго столѣтія. Во всякомъ изъ представителей нѣмецкаго умозрѣнія онъ находилъ привлекательныя для себя черты. Но болѣе всѣхъ привились русской интеллигенціи Шеллингъ и Гегель. И понятно отчего. Шеллингъ своимъ полумечтательнымъ взглядомъ на вещи приходился какъ нельзя болѣе подъ стать мягкой славянской, и въ частности поэтической русской натурѣ. «Хорошимъ» русскимъ людямъ пріятно было найти опору своимъ неопредѣленнымъ стремленіямъ въ патентованномъ представителѣ европейской мысли. Наибольшимъ успѣхомъ Шеллингъ пользовался въ московскихъ кружкахъ, очень впечатлительныхъ и отзывчивыхъ на возвышенныя воззрѣнія и стремленія. Въ холодномъ Петербургѣ Шеллингу менѣе повезло. Но вотъ на смѣну ему является Гегель и всецѣло завладѣваетъ какъ московской, такъ и петербургской интеллигенціею. Увлеченіе Гегелемъ носитъ совершенно отличный отъ шеллингизма характеръ. Къ Шеллингу относились одобрительно, ему были очень рады, какъ подкрѣплявшему своимъ авторитетомъ несмѣлыя теоріи нашихъ образованныхъ людей тридцатыхъ годовъ. Но все-же онъ не удовлетворялъ всѣхъ. Если и въ Западной Европѣ долго господствовала погоня за безусловной истиной, то намъ, очень некрѣпкимъ въ мышленіи, и подавно было къ лицу измышлять средства къ ея нахожденію. Эта самая некрѣпость заставляла и заставляетъ насъ часто еще до сихъ поръ вѣрить во всякого смѣльчака, который искренно или неискренно является и громко про-

возглашаетъ, что въ его-то именно лавочкѣ и продается самая что ни на есть истинная истина. Всѣ наши движенія и вѣянія всегда носятъ абсолютистскій характеръ и, отрицая одинъ авторитетъ, мы немедленно-же переходимъ подъ начало другого, и попадаемъ такимъ образомъ изъ кулька въ рогожку. При этомъ мы часто находимъ безусловную истину въ мыслителяхъ и не думавшихъ провозглашать свое ученіе за безгрѣшное. Авторитетъ—вотъ идолъ, которому мы поклоняемся вслѣдствіе вѣковой привычки быть постоянно держиму на помочахъ. Что-же уже и говорить, когда даже у разсудительныхъ сыновъ Германіи явился человѣкъ, который съ высоты своего философскаго величія объявилъ себя владѣтелемъ истины и призналъ невозможность ея существованія внѣ его системы. Если собаку съѣвшіе въ философіи Нѣмцы подумали, подумали, да пошли въ подданство Гегелю, то нечего и говорить, что наши умники, даже не пикнувъ, провозгласили безъ всякихъ разговоровъ: велика истина, а Гегель пророкъ ея. Абсолюты гегелевскія имѣли еще то обаяніе, что до нихъ нужно было проникнуть чрезъ густой и темный лѣсъ тарабарской терминологіи.

Ну, теперь что-же дальше? Одолѣли мы Энциклопедію Гегеля. А поумнѣли мы отъ этого? Устроили мы лучше вслѣдствіе этого наше житье-бытье. Съумѣли мы примѣнить теорію къ практикѣ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда «независящихъ» отъ насъ обстоятельствъ не существовало? Доказали мы, что гегелизмъ не былъ такого-же того модою какъ ношеніе узкихъ брюкъ и эспаньолокъ? Вотъ тутъ-то и имѣетъ мѣсто не совсѣмъ лестная для насъ загвоздка Философы-то мы философы важнѣющіе, а какъ къ дѣлу-то придется, мы и пассуемъ. Потому значитъ путеводитель скрылся. А мы то все больше по части веденія насъ за ручку прохаживаемся. Вотъ и говоритъ Гамлетъ Щигровскаго Уѣзда

«Посудите сами какую, ну какую скажите на милость, какую пользу могу я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіею и русской жизнью? И какъ прикажите примѣнить ее къ нашему

быту, да ее не одну, энциклопедію, а вообще нѣмецкую философію...., скажу болѣе науку?

Онъ подпригнулъ на постели и забормоталъ въ полголоса, злобно стиснувъ зубы:

А, вотъ какъ, вотъ какъ! Такъ зачѣмъ-же ты таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома, да не изучалъ потребности окружающей тебя жизни на мѣстѣ? Ты-бы и потребности ея узналъ и будущность, и насчетъ своего, такъ сказать, призванія тоже въ ясность-бы пришелъ.... Да, помилуйте продолжалъ онъ опять, перемѣнивъ голосъ, словно оправдываясь и робѣя: гдѣ-же нашему брату изучать-то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ! Я-бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то — да молчитъ она моя голубушка. Пойми меня, дескать такъ; а мнѣ это не подъ силу: мнѣ выводъ подайте, заключенье мнѣ представьте....»

Сущую правду изволили сказать, господинъ Гамлетъ. Даетъ уроки русская жизнь, да вы ихъ не понимаете. Вы гегеліанецъ только головою, вы не на столько тѣломъ и душою окунулись въ цивилизацію, чтобы всякій вашъ поступокъ ею отзывался, чтобы дѣйствія ваши безъ всякихъ съ вашей стороны усилій были похожи на дѣйствія цивилизованнаго европейца и въ этомъ причина вашего печальнаго появленія на и безъ того не особенно веселомъ фонѣ русской жизни сороковыхъ годовъ. Ваша услуга дѣлу русской гражданственности чисто отрицательная: вы своимъ примѣромъ показываете что выходитъ, если развитіе и образованіе сидятъ на комъ-нибудь какъ широкій сюртукъ, который безъ труда снимается и ничего больше, если они не находятся въ прямой органической связи со всѣмъ нравственнымъ существомъ извѣстной личности.

Однакоже теперь довольно о «панахъ». Поговоримъ нѣсколько о «неблагородныхъ» Авось мы вынесемъ изъ этой среды болѣе свѣтлыя впечатлѣнія.

Полюбуйтесь на богатаго крестьянина Хоря. Нѣкоторые упрекали Тургенева въ идеализаціи этой крѣпкой фигуры. Но это совершенно не вѣрно. Въ Хорѣ ничего идеализированнаго нѣтъ. Онъ не возвышенно добръ и не сантиментально добродѣтеленъ; онъ не ахти какъ развитѣе другихъ

крестьянъ и даже зараженъ нѣкоторыми крестьянскими предразсудками. Если онъ производитъ чрезвычайно пріятное впечатлѣніе то именно тѣмъ самымъ, что представляетъ средняго русскаго человѣка, развившагося при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Хорь практиченъ, но не тою скверною практичностью, которая въ общежитіи слишкомъ снисходительно характеризуется словами: «себѣ на умѣ». Онъ настолько практиченъ, чтобы не позволять себя эксплуатировать разнымъ г. Полутыкинымъ. Онъ не желаетъ лишь оставаться въ дуракахъ, примѣнять свою доброту къ ненадлежащему мѣсту. За то къ Калинычу, къ мягкому романтику Калинычу онъ питаетъ самую нѣжную привязанность и готовъ ему помочь чѣмъ только можетъ. Ему досадно видѣть, какъ г-нъ Полутыкинъ, общій ихъ владѣтель, эксплуатируетъ добряка Калиныча самымъ безцеремоннымъ образомъ, не сшивая ему даже сапоговъ на холодное зимнее и ненастное осеннее время, когда ему приходится ходить съ бариномъ на охоту и лѣзть чортъ знаетъ въ какія трясины и болота, чтобы Полутыкинъ могъ потомъ похвалиться удачею. У Хоря въ избѣ все чисто и опрятно. Да и отчего у него этому не быть? У русскаго мужика не оттого грязно, что онъ любитъ нечистоту. Некогда думать о чистотѣ, когда ѣсть нечего. А у Хоря все въ порядкѣ, потому что онъ матеріально обезпеченъ. Послѣдняго онъ достигъ не плутнями и не кулачествомъ, а исключительно умомъ своимъ, здоровымъ русскимъ умомъ, не хватающимъ, положимъ, звѣздъ съ неба, но весьма пригоднымъ, чтобы раціональнымъ образомъ устроить свою жизнь. Когда авторъ «Записокъ Охотника» разсказываетъ пріятелямъ Хорю и Калинычу свои заграничныя похожденія, то этимъ въ равной степени заинтересованы оба, но интересъ, возбуждаемый въ каждомъ изъ нихъ, совершенно отличенъ другъ отъ друга по характеру своему. Сантиментальнаго Калиныча занимаютъ красоты природы, горы, водопады и тому подобныя прелести, Хорь-же непрочь и про природу послушать, но у него на первомъ планѣ стоятъ разспросы о предметахъ государственныхъ и административныхъ. Какъ умный и практическій человѣкъ онъ

освѣдомляется о людскихъ отношеніяхъ на запалѣ, объ устройствѣ западной жизни. Онъ невыражаетъ своихъ чуствъ охами и ахами какъ Калинычъ, но изрѣдка прерываетъ разсказъ замѣчаніями, что изъ заграничныхъ нравовъ можетъ быть примѣнено къ нашей жизни и что къ ней не подходяще.

«Всѣхъ его разспросовъ (говоритъ «Охотникъ») я передавать васъ не могу, да и не зачѣмъ; но изъ нашихъ разговоровъ я вынесъ одно убѣжденье, котораго, вѣроятно, не ожидаютъ читатели, — убѣжденье, что Петръ Великій былъ по преимуществу русскій человѣкъ, русскій, именно въ своихъ преобразованіяхъ. Русскій человѣкъ такъ увѣренъ въ своей силѣ и крѣпости, что онъ не прочь и поломать себя; онъ мало занимается своимъ прошедшимъ и смѣло глядитъ впередъ. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идетъ — ему все ровно. Его здравый смыслъ охотно подтрунитъ надъ сухопарымъ нѣмецкимъ разсудкомъ; но нѣмцы, по словамъ Хоря, любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ».

А вотъ вамъ и другой простолюдинъ, похожій на Хоря: однодворецъ Овсяниковъ. Его уважаетъ вся окрестность, къ нему даже обращаются для разрѣшенія спорныхъ вопросовъ не только одни крестьяне, но нерѣдко и помѣщики. А между тѣмъ онъ и не слыветъ за богача. Значитъ не могущество денегъ доставило ему уваженіе и любовь среди окружающихъ его крестьянъ, однодворцевъ и помѣщиковъ. Русскаго человѣка, главнымъ образомъ, импонируетъ спокойстствіе віе, исполненное чувства собственнаго достоинства. А этимъ качествомъ Овсяниковъ обладалъ въ высшей степени. Разъ у него въ домѣ произошелъ пожаръ. Всѣ растерялись и одинъ работникъ, весь запыхавшись, наскочилъ на него, крича во все горло «пожаръ, пожаръ!»—Ну чего-же ты кричишь? спокойно сказалъ Овсяниковъ: «—подай мнѣ шапку и костыль.» Другой разъ молоденькій жеребенокъ, только что въ первый разъ подведенной подъ упряжь, понесъ его и опрокинулъ въ довольно глубокій оврагъ и только благодаря случайному тамъ присутствію песку. Овсяниковъ и ѣхавшій съ нимъ мальчикъ не вынесли никакого увѣчья, между тѣмъ какъ битюкъ вывихнулъ себѣ ногу. —«Ну вотъ видиш-ли жеребеночекъ, сказалъ спокойнымъ голосомъ Овсяниковъ подымаясь съ земли: «—я тебѣ говорилъ.» Такая

чисто древне-боярская величавость вполнѣ гармонируетъ съ его древнимъ складомъ понятій. Это не мѣшаетъ ему однакоже признавать, что въ старину довольства точно больше было, а все-же теперь лучше и дѣткамъ теперяшнихъ еще лучше будетъ. И въ этомъ обстоятельствѣ виденъ русскій человѣкъ. Русское отсутствіе традицій не дало здравому уму Овсяникова удариться въ отчаянный консерватизмъ à tout prix, на западный манеръ. Овсяниковъ эклектикъ онъ беретъ хорошее отовсюду и изъ стараго и изъ новаго. Его не интересуетъ происхожденіе добра, лишь бы оно было истинно. Онъ сознаетъ темныя стороны прежняго помѣщичьяго самоуправства и разсказываетъ нашему «Охотнику» очень характерныя черты прошлаго житья-бытья, когда каждый богатый и знатный человѣкъ составлялъ нѣчто совершенно неподвѣдомственное обыкновенному правосудію: оно было само по себѣ, а онъ тоже самъ по себѣ. Казались-бы, несмотрѣвшись прежняго безправія въ отношеніи къ крестьянамъ. Овсяниковъ долженъ былъ сочуственно отнестись къ молодымъ людямъ, подъ вліяніемъ гуманныхъ идей обращающихся по человѣчески съ принадлежащими имъ «душами». И дѣйствительно: «молодые господа прежнихъ порядковъ не любятъ: я ихъ хвалю..... пора за умъ взяться. Только вотъ что горе: молодые господа больно мудрятъ. Съ мужикомъ какъ съ куклой поступаютъ: повертятъ, повертятъ, поломаютъ да и бросятъ. И прикащикъ, крѣпостной человѣкъ, или управитель изъ нѣмецкихъ уроженцевъ, опять крестьянина въ лапы заберетъ». Не смотря на свое относительное неразвитіе, Овсяниковъ однимъ простымъ житейскимъ умомъ своимъ сразу постигаетъ смѣшную сторону того славянофильства и народолюбія что выражается въ ношеніи кучерской подевки и смазныхъ сапоговъ. Разсказъ его про одного изъ такихъ народолюбцевъ—Василія Николаевича Любозвонова настолько характерно рисуетъ простую русскую смѣтку Овсяникова и неспособность «хорошихъ» людей нашей интеллигенціи дѣлать что нибудь, не возбуждая при этомъ смѣха и досады, что служитъ лучшею иллюстраціею къ псевдонароднымъ попыткамъ нахватавшихся верхушекъ недорослей.

Хорь и Овсянниковъ служатъ типами свѣтлости простонароднаго ума. Поищемъ теперь въ «Запискахъ Охотника» типовъ по «нѣжнѣе». Вѣдь одно изъ главныхъ отличій Тургенева отъ другихъ русскихъ писателей въ томъ именно и состоитъ, что онъ во всякомъ изъ наблюдаемыхъ имъ слоевъ общества любитъ отыскивать образы, подходящіе подъ идеальный складъ его глубоко-поэтической натуры. Такъ напр. и Писемскій вѣрно изображаетъ русскую жизнь. Но у него все слишкомъ уже дагеротипно вѣрно; грубость картины навѣваетъ на читателя излишнее пессимистическое настроеніе, излишнее потому, что эфектъ и полезность картины ничуть отъ этого не выигрываютъ. Тургеневъ-же, ни на шагъ не измѣняя дѣйствительности и воспроизводя ее въ рельефныхъ очеркахъ, тѣмъ не менѣе какъ нельзя болѣе удовлетворяетъ читателя, не потерявшаго вѣру въ человѣка и потому старающагося въ самомъ отчаянномъ проявленіи зла увидѣть проблески людскихъ чувствъ и задатки при лучшихъ условіяхъ представить болѣе утѣшительныя явленія. Не будь въ угнетенномъ крѣпостничествомъ крестьянствѣ свѣтлыхъ образовъ, Тургеневъ никогда-бы не взялся за ихъ воспроизведеніе.

Оставаясь всегда строго объективнымъ художникомъ, Тургеневъ обладаетъ тою замѣчательною чертою, что при всемъ томъ сообщаетъ глубоко-задушевный характеръ всѣмъ своимъ произведеніямъ. Онъ болѣетъ душою за всякій неудачный шагъ своихъ героевъ, и всѣ его произведенія суть ничто-иное какъ непосредственный результатъ его душевнаго настроенія. Поэтому мы и въ «Запискахъ Охотника» натыкаемся на слѣды различныхъ вѣяній, обуревавшихъ душу автора. «Записки Охотника» онъ писалъ въ одно время съ мелкими повѣстями своими, гдѣ такою широкою, всезахватывающею струею проходитъ щемящая за сердце поэзія, навѣянная Лермонтовымъ. Въ простомъ народѣ Тургеневу трудно было найти демоническіе типы à la Печоринъ, ему трудно было отыскать въ немъ этотъ своеобразный сортъ людей, соединяющихъ въ себѣ въ одно и тоже время

величіе души съ эгоизмомъ, всемірность стремленій и самую отчаянную мелочность, доброту съ повременамъ появляющейся дьяволѣскою злостью, однимъ словомъ всѣ тѣ качества, которыя вмѣстѣ взятыя составляютъ привлекательный и вмѣстѣ съ тѣмъ отталкивающій типъ Чайльдъ-Гарольда или вѣрнѣе Манфреда, прошедшаго чрезъ горнило русской жизни и потому болѣе имѣющаго надобность самому искать и наталкиваться на сильныя ощущенія. Если моралистъ васъ можетъ осудить за симпатію къ Печорину, то пусть его толкуетъ. Натуры человѣческой не передѣлаешь и нравственная мощь никогда не потеряетъ своего обаянія и будетъ импонировать насъ въ какихъ-бы формахъ она не появлялась. Вотъ почему, если намъ нравиться Печоринъ, то безусловно долженъ привлечь нашу симпатію и завоевать наше уваженіе личность Тургеневскаго «Бирюка». Въ самомъ дѣлѣ лѣсничій Бирюкъ чисто байроновская фигура, съ тою только разницею, что ни какой натяжки противъ дѣйствительности не заключаетъ и, сильно насъ импонируя своимъ величіемъ, ни на минуту не теряетъ характеръ правдивости. Все, начиная съ величавой наружности, обличаетъ въ немъ необыкновеннаго человѣка, но съ чисто-русскою подкладкою, то есть не любящаго много говорить, а предпочитающаго дѣйствовать, вмѣсто того, чтобы тратить время на разговоры. Должность свою, лѣсничаго, онъ справляетъ съ честностью и безкорыстіемъ древняго римлянина или суроваго пуританина первыхъ временъ англійскихъ колоній въ Новой Англіи. «Вязанки хворосту не дастъ утащить, въ какую-бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ, какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться,— силенъ, дескать, и ловокъ какъ бѣсъ.... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ. Ужь не разъ добрые люди его сжить со свѣту собирались, да нѣтъ — не дается».

Суровая честность не проистекаетъ у Бирюка ни изъ какихъ теоретическихъ принциповъ: онъ простой мужикъ. Но глубоко-прямая натура его дала ему понять лучше всякихъ

этическихъ книгъ, какъ слѣдуетъ исполнять взятую на себя обязанность.

— Должность свою справляю, говоритъ онъ угрюмо: — даромъ господскій хлѣбъ ѣсть не приходится».

Подъ суровою оболочкою Бирюка въ сущности кроется добрѣйшее сердце. Доброта у него не та сантиментальная, съ оттѣнкомъ сладости, что мы привыкли встрѣчать въ большинствѣ случаевъ. Нѣтъ,—Бирюкъ и доброе дѣло сдѣлаетъ, но безъ всякихъ разговоровъ, какъ-бы стыдясь. Вотъ онъ поймалъ жалкенькаго мужиченка въ лохмотьяхъ, захотѣвшаго воспользоваться глухою ночью, чтобы утащить дерево. Онъ связалъ вору руки и привелъ его къ себѣ въ избу, чтобы на завтра предать правосудію. Въ избѣ случайно находится нашъ охотникъ.

«Мы всѣ молчали.

— Ѳома Кузьмичъ, заговорилъ вдругъ мужикъ голосомъ глухимъ и разбитымъ: — а Ѳома Кузьмичъ?

— Чего тебѣ?

— Отпусти.

— Бирюкъ не отвѣчалъ.

— Отпусти.... съ голодухи.... отпусти!

— Знаю я васъ, угрюмо возразилъ лѣсникъ — вся ваша слобода такая — воръ на ворѣ.

— Отпусти, твердилъ мужикъ: — прикащикъ.... разорены, во-какъ.... отпусти!

— Разорены! Воровать не слѣдъ....

— Отпусти Ѳома Кузьмичъ.... не погуби. Вашъ-то, самъ знаешь, заѣстъ, во-какъ.

Бирюкъ отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Онъ встряхивалъ головною и дышалъ неровно.

— Отпусти, повторилъ онъ съ унылымъ отчаяніемъ — отпусти, ей Богу, отпусти! Я заплачу, ей Богу: ей Богу съ голодухи.... дѣтки пищатъ, самъ знаешь. Круто во-какъ, приходится.

— А ты все таки воровать ни ходи.

— Лошаденку, продолжалъ мужикъ — лошаденку-то, хоть ее то.... одинъ животъ и есть..., отпусти!

— Говорятъ нельзя. Я тоже человѣкъ подневольный: съ меня взыщутъ. Васъ баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Ѳома Кузьмичъ, нужда, какъ есть того—отпусти!

— Знаю я васъ!

— Да отпусти.

— Э, да что̀ съ тобой толковать, сиди смирно, а то у меня знаешь? Не видишь что-ли барина?

— Вѣднякъ потупился. Бирюкъ зѣвнулъ и положилъ голову на столъ. Дождикъ все не переставалъ. Я ждалъ, что будетъ.

Мужикъ внезапно выпрямился. Глаза у него загорѣлись и на лицѣ выступила краска. «Ну, на, ѣшь, на̀ подавись, на̀», началъ онъ, прищуривъ глаза и опустивъ углы губъ: на̀, душегубецъ окаянный: пей христіанскую кровь, пей....

Лѣсникъ обернулся.

— Тебѣ говорю, тебѣ, азіатъ, кровопійца, тебѣ!

— Пьянъ ты, что-ли, что ругаться вздумалъ? заговорилъ съ изумленіемъ лѣсникъ. — Съ ума сошелъ, что-ли?

— Пьянъ.... не на твои-ли деньги душегубецъ окаянный, звѣрь, звѣрь!

— Ахъ ты.... да я тебя!

— А мнѣ что̀? Все едино — пропадать; куда я безъ лошади пойду? Пришиби — одинъ конецъ; что съ голоду, что такъ — все едино. Пропадай все: жена, дѣти, околѣвай все.... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюкъ приподнялся.

— Бей, бей, подхватилъ мужикъ свирѣпымъ голосомъ: бей, на̀, на̀, бей. Дѣвочка (Бирюка дочь) торопливо вскочила съ полу и уставилась на него). Бей! бей!

— Молчать! загремѣлъ Бирюкъ и шагнулъ два раза.

— Полно, полно, Ѳома, закричалъ я: — оставь его.... Богъ съ нимъ.

— Не стану я молчать, продолжалъ несчастный.

— Все едино околѣвать-то. Душегубецъ-ты, звѣрь, погибели натебя нѣту... Да постой не долго тебѣ чваниться: затянутъ тебѣ глотку, постой.

Бирюкъ схватилъ его за плечо.... Я бросился на помощь мужику....

— Не троньте, баринъ! крикнулъ на меня лѣсникъ.

Я-бы не побоялся его угрозы и уже протянулъ было руку; но къ крайнему моему изумленію, онъ однимъ поворотомъ сдернулъ съ локтей мужика кушакъ, схватилъ его за шиворотъ, нахлобучилъ ему шапку на глаза, растворилъ дверь и вытолкнулъ его вонъ.

— Убирайся къ черту съ своею лошадью! закричалъ онъ ему вслѣдъ:— да смотри въ другой разъ у меня....

Онъ вернулся въ избу и сталъ копаться въ углу.

— Ну, Бирюкъ, промолвилъ я наконецъ — удивилъ ты меня: ты я вижу, славный малый.

— Э, полноте, баринъ, перебилъ онъ меня съ досадой: не извольте только ск зывать».

Въ этой потрясающей сценѣ васъ поражаетъ во первыхъ

глубина и неисходность крестьянскаго горя, выразившагося въ отрывочныхъ фразахъ ободраннаго и жалкенькаго мужиченка, и во вторыхъ импонирующее поведеніе Бирюка. Только отсутствіе образованія и развитія помѣшало ему стать личностью, которая обыкновенное общество превысила-бы цѣлою головою, которой разные Лучиновы, Печорины и имъ подобные «герои» сороковыхъ годовъ достигали-бы не выше пояса. Бирюкъ — чисто русская натура, нерѣдко долгое время кажущаяся самой обыденной и ничего не выражающей, пока не подвернется какой нибудь случай и этотъ-же самый незатѣйливый субъектъ выкинетъ вамъ поступокъ, который васъ повергнетъ въ величайшее изумленіе. Отсутствіе внѣшности, аффектаціи, такъ сильно насъ поражающее въ Бирюкѣ, не есть одному ему только присущее качество. Нѣтъ! Русская народная натура именно обладаетъ непосредственностью въ высшей степени. Иной мужикъ вамъ сегодня пойдетъ на медвѣдя съ рогатиной, а на завтра останется тѣмъ-же обыкновеннымъ пахаремъ и героизмъ его останется въ ровной степени затаеннымъ, изрѣдка только появляющимся на свѣтъ Божій, чтобы окончательно сбить съ толку психолога, не знающаго, что ему дѣлать съ подобными натурами, къ какому разряду ихъ отнести. Это совмѣщеніе героическихъ порывовъ съ самой что-ни на есть обыкновенною обыденностью въ русскомъ мужикѣ по истинѣ удивительно. Возьмите въ самомъ дѣлѣ его отношеніе къ смерти. Ужъ какъ кажется никому не хочется оставить сію земную юдоль. И мужикъ не охотно ее покидаетъ, но разъ онъ убѣдился, что смерть неизбѣжна и всякое хныканье уступаетъ мѣсто твердой встрѣчѣ своего конца. Если стоически умираетъ человѣкъ особенно развитой или какой-нибудь «Печоринецъ», которому и жизнь-то не дорога, то въ этомъ особенно удивительнаго мало. Но откуда набрались наши-то плохенькіе мужички такого сократизма — вотъ что трудно постичь. Въ очеркѣ «Смерть» Тургеневъ приводитъ нѣсколько примѣровъ того удивительнаго спокойствія, съ которымъ русскій человѣкъ видитъ конецъ своего земнаго существованія. Вотъ подрубленное дерево

упало на подрядчика Максима и убило его до смерти. Въ предсмертной агоніи онъ, едва въ состояніи произносить слова, отдаетъ еще приказанія насчетъ хозяйства и умираетъ наконецъ съ полнымъ равнодушіемъ. А то вотъ другой случай: мельникъ поднялъ слишкомъ большой жерновъ и нажилъ себѣ смертельную грыжу, смертельную оттого, что онъ только на десятый день пришелъ лѣчиться. Фельдшеръ объясняетъ ему опасность. «И умирать мнѣ изъ за эдакой дряни» говоритъ мельникъ. Фельдшеръ уговариваетъ его остаться, такъ какъ всякое движеніе можетъ на немъ отозваться страшно вредно.

— Куда? вѣстимо куда — домой, коли такъ плохо. Распорядиться слѣдуетъ, коли такъ. — Да вы себѣ бѣды надѣлаете, Василій Дмитричъ, помилуйте, я и такъ удивляюсь, какъ вы доѣхали, останьтесь. — «Нѣтъ, братъ, Капитонъ Тимофѣевичъ, ужь умирать, такъ дома умирать; а то что-жь я здѣсь умру — у меня дома и Господь знаетъ, что приключится». — Еще неизвѣстно, Василій Дмитричъ, какъ дѣло-то пойдетъ.... конечно, опасно, очень опасно, спору нѣтъ.... да отъ того-то и слѣдуетъ вамъ остаться (мужикъ головой покачалъ) — «Нѣтъ, Капитонъ Тимофѣичъ, не останусь.... а лекарствице развѣ пропишите». — Лекарство одно не поможетъ. — «Не останусь, говорятъ». — Ну, какъ хочешь.... чуръ на меня потомъ не пенять. Фельдшеръ вырвалъ страничку изъ альбома и, прописавъ рецептъ, посовѣтовалъ что еще дѣлать. Мужикъ взялъ бумажку, далъ Капитону полтинникъ, вышелъ изъ комнаты и сѣлъ на телѣгу. — «Ну, прощайте, Капитонъ Тимофѣичъ, е поминайте лихомъ, да сиротокъ не забывайте, коли что».... —Эй останься Василій. Мужикъ только головой тряхнулъ, ударилъ возжей по лошади и съѣхалъ со двора. Я вышелъ на улицу и поглядѣлъ ему въ слѣдъ. Дорога была грязная и ухабистая; мельникъ ѣхалъ осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадью, и со всѣми встрѣчными раскланивался. На четвертый день онъ умеръ».

Да, вотъ какимъ величіемъ души обладаетъ иной незатѣйливый съ виду мужикъ. Сопоставьте его съ Бирюкомъ, съ Хоремъ и Овсяниковымъ и вы увидите тогда, какой богатѣйшій рудникъ задатковъ самаго высокаго культурнаго состоянія заключаетъ въ себѣ русскій народъ, задатковъ стать на равнѣ съ другими европейскими народами. Есть у него и смышленность, что требуется отъ разумнаго человѣка, для того, чтобы онъ постигалъ умомъ преимущества

образованности и усовершенствованнаго знанія, есть у него и изобрѣтательность, чтобы и отъ себя внести небѣдную лепту въ кошницу всемірнаго стремленія наиболѣе удобнымъ образомъ устроить человѣческую жизнь. Простой, но здравый разсудокъ показываетъ ему, гдѣ нужно учиться у иностранца, а гдѣ и безъ него обойтись можно, потому что вѣдь и мы не лыкомъ шиты, и мы кое-что съумѣемъ сдѣлать собственными салами. Его простой, но здравый умъ не допускаетъ ему быть обманутымъ внѣшней къ нему симпатіею; онъ умѣетъ различать людей, которые изъ кожи лѣзутъ вонъ, чтобы доказать свое расположеніе къ народу и любовь, да никакъ этого сдѣлать не могутъ, отъ людей искренно ему преданныхъ, хотя о томъ и не трезвонящихъ въ набатъ на всѣхъ перекресткахъ. Его простой и здравый умъ, наконецъ, лучше всякихъ книжекъ и ученій, даетъ ему возможность здраво разсуждать обо всемъ, если голова его свѣжа, не отуманена тоскою о завтрашнемъ безхлѣбномъ днѣ. Но можетъ быть вы думаете, что лучшія творческія силы русскаго народа уходятъ на созданіе крѣпкихъ, величавыхъ натуръ? — Въ такомъ случаѣ вы сильно ошибаетесь. Не одинъ только мыслитель найдетъ утѣху въ народныхъ типахъ «Записокъ Охотника». Самый сантиментальный поэтъ изъ самыхъ чахоточныхъ Нѣмцевъ не откажется восхититься Касьяномъ съ Красивой Мечи. Мы не будемъ дѣлать никакихъ выписокъ изъ этого очерка, потому что для того, чтобы дать о немъ понятіе, его-бы пришлось цѣликомъ переписать. Какая-то особенная, совершенно своеобразная поэзія разлита по всему щедушному сушеству Касьяна. Это одна изъ тѣхъ глубоконеобыденныхъ натуръ, которыя при всякой рѣшительно обстановкѣ сохраняютъ въ неприкосновенности свои поэтическія наклонности и никогда не позволяютъ прозѣ жизни заѣсть себя. Не смотря на все его необразованіе и относительное неразвитіе мы Касьяна можемъ причислить къ тѣмъ личностямъ, которыя никогда не пошлѣютъ, потому что они сами въ себѣ создали особенный мірокъ, гдѣ и сидятъ какъ-бы заколдованные. Этого внутренняго мірка у нихъ ни кто

отнять не можетъ. Вотъ и Касьянъ остается одинаковымъ всю свою жизнь. Онъ не изъ тѣхъ чисто-русскихъ фигуръ, которыя подъ вліяніемъ сильнаго нравственнаго потрясенія въ состояніи наложить на себя какое-нибудь «испытаніе», пойти въ монастырь, связать себя добровольнымъ «искусомъ». Такой складъ характера мы видимъ въ Некрасовскомъ «Власѣ». Это натуры энергичныя. При однихъ обстоятельствахъ они могутъ сдѣлаться необыкновенными злодѣями, при другихъ дать героевъ на римскій образецъ. Не таковъ Касьянъ. Если привлекательность или вѣрнѣе величественность первыхъ натуръ можно приравнять грандіозной картинѣ грозы въ какой-нибудь гористой мѣстности, то Касьянъ намъ представиться въ видѣ прекраснаго лѣтняго вечера, наблюдаемаго на роскошной желтѣющей нивѣ. И въ первомъ случаѣ вы имѣете дѣло съ поэтическимъ явленіемъ и во второмъ также. Но въ одномъ поэзія бурная, экцентричная, въ то время какъ во второмъ она ровная, и болѣе родственная намъ, обыкновеннымъ людямъ, хотя не менѣе глубокая. При всемъ своемъ поэтическомъ и такъ сказать «неземномъ» колоритѣ, Касьянъ, благодаря удивительной способности Тургенева придавать своимъ образамъ печать правдивости, не кажется намъ чадомъ сантиментальнаго авторскаго настроенія и не отзывается слащавостью произведеній Григоровича. Касьянъ для насъ важенъ еще въ другомъ отношеніи. Точно также какъ равнины его родины не представляютъ никакихъ выдающихся пунктовъ и при всемъ томъ нравятся лицамъ, даже видѣвшимъ Альпы и другія горы, такъ и ровная натура Касьяна, поэтичность которой не выражается ни въ какихъ байроновскихъ формахъ, тѣмъ не менѣе производитъ на васъ глубокое впечатлѣніе и вамъ тогда становится понятнымъ отчего у неказистаго и матеріальнаго на видъ русскаго простолюдина существуютъ такія прекрасныя пѣсни, полныя щемящей душу поэзіи. Касьянъ какъ нельзя лучше подходитъ подъ подобную категорію явленій. Народъ его зоветъ «юродивцемъ», но отъ того, что все его существо уже слишкомъ «не отъ міра сего» въ семъ матеріальномъ всѣтѣ.

Не смотря на это, юродивца всѣ любятъ и никто его не обижаетъ. Характерно для Касьяна, что онъ не былъ женатъ—явленіе чрезвычайно рѣдкое въ крестьянскомъ сословіи. Впрочемъ въ очеркѣ появляется какая-то дѣвушка Аннушка, судя по многимъ признакамъ дочь его, которую онъ страстно любитъ. Откуда она взялась — въ очеркѣ не разъяснено, но полагать надобно - тутъ замѣшана какая нибудь поэтическая привязанность Касьяна.

Если вамъ мало Касьяна съ Красивой Мечи, если вы еще хотите насладиться поэтическими типами русскаго народа — прочтите одинъ изъ задушевнѣйшихъ разсказовъ «Записокъ Охотника» — «Пѣвцы». Сцена происходитъ въ деревенскомъ кабакѣ, гдѣ устраивается турниръ пѣнія между рядчикомъ изъ Жиздры и мастеровымъ яшей. Рядчикъ изъ Жиздры — это русскій tenor di grazia, ténor légr. Онъ поетъ веселую народную пѣсню, съ разными руладами и голосовыми фокусами, такъ что слушатели приходятъ въ неистовый восторгъ и рядчикъ заранѣе торжествуетъ, твердо разсчитывая по произведенному имъ эффекту, что первенство останется за нимъ. Но вотъ выступаетъ Яша.

«Яковъ помолчалъ, взглянулъ кругомъ и закрылся рукой. Всѣ такъ и впились въ него глазами, особенно рядчикъ, у котораго на лицѣ, сквозь обычную самоувѣренность и торжество успѣха, проступало невольное легкое безпокойство. Онъ прислонился къ стѣнѣ и опять положилъ подъ себя обѣ руки, но уже не болталъ ногами. Когда-же, наконецъ, Яковъ открылъ свое лице оно было блѣдно, какъ у мертваго; глаза едва мерцали сквозь опущенныя рѣсницы. Онъ глубоко вздохнулъ и запѣлъ...Первый звукъ его голоса былъ слабъ и неровенъ; онъ казалось, не выходилъ изъ его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетѣлъ случайно въ комнату. Странно подѣйствовалъ этотъ трепещущій, звенящій звукъ на всѣхъ насъ; мы взглянули другъ на друга, а жена Николая Иваныча (кабатчика) такъ и выпрямилась. За этимъ первымъ звукомъ послѣдовалъ другой, болѣе твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащій какъ струна, когда внезапно прозвенѣвъ подъ сильнымъ пальцемъ, она колеблется послѣднимъ, быстро замирающимъ колебаньемъ, за вторымъ—третій, и, понемного разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная пѣсня. «Не одна во полѣ дороженька пролегала» пѣлъ онъ и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, рѣдко слыхивалъ подобный голосъ: онъ былъ слегка разбитъ и звенѣлъ какъ надтреснутый,

онъ даже сначала отзывался чѣмъ-то болѣзненнымъ; но въ немъ была и неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-безпечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ, и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо овладѣвало упоеніе: онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе, онъ дрожалъ, но той едва замѣтной, внутренной дрожью страсти, которая стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣпчалъ, твердѣлъ и расширялся. Помнится, я видѣлъ однажды вечеромъ во время отлива, на плоскомъ песчанномъ берегу моря, грозно и тяжко шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья на встрѣчу знакомому морю, на встрѣчу низкому багровому солнцу: я вспомнилъ о ней, слушая Якова. Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ своего соперника и всѣхъ насъ, но видимо поднимаемый, какъ бодрый пловецъ волнами, нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участіемъ. Онъ пѣлъ, и отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ то роднымъ и необозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ вами, уходя въ безконечную даль. У меня, я чувствовалъ, закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы; глухія, сдержанныя рыданья внезапно поразили меня...Я оглянулся—жена цаловальника плакала, припавъ грудью къ окну. Яковъ бросилъ на нее быстрый взглядъ и залился еще звонче, еще слаще прежняго. Николай Иванычъ потупился. Моргачъ отвернулся; Оболдуй, весь разнѣженный стоялъ, глубоко разинувъ ротъ; сѣрый мужичекъ всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой; а по желѣзному лицу Дикаго Барина, изъ подъ совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчикъ поднесъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился...Не знаю, чѣмъ бы разрѣшилось всеобщее томленіе, еслибъ Яковъ вдругъ не кончилъ на высокомъ необыкновенно тонкомъ звукѣ—словно голосъ у него оборвался. Никто не крикнулъ, даже не шевелнулся; всѣ какъ будто ждали, не будетъ ли онъ еще пѣть; но онъ раскрылъ глаза, словно удивленный нашимъ молчаньемъ, вопрошающимъ взоромъ обвелъ всѣхъ кругомъ и увидѣлъ, что побѣда была его...

— Яша, проговорилъ Дикій Баринъ, положивъ ему руку на плечо, и—смолкъ.

Мы всѣ стояли, какъ оцѣпенѣлые. Рядчикъ тихо всталъ и подошелъ къ Якову.—«Ты...твоя...ты выигралъ, произнесъ онъ съ трудомъ и бросился вонъ изъ комнаты».

Въ этой безподобной сценѣ одинаково рельефно выступаетъ обиліе поэтическихъ сторонъ въ русскомъ простомъ народѣ, а также высокое ихъ развитіе въ душѣ автора «Пѣвцевъ». Въ самомъ дѣлѣ написать такой очеркъ можетъ

только человѣкъ, глубоко сочувствующій всему въ немъ изображенному, человѣкъ отзывчивый на всякое идеальное проявленіе въ природѣ. Въ «Запискахъ Охотника» Тургеневъ не стѣсненъ формою разсказа. Говоря отъ своего имени, онъ вполнѣ свободно можетъ дѣлать разныя лирическія отступленія, не вредя объективности художественнаго произведенія. Поэтому печать его идеальнаго направленія мыслей всего сильнѣе въ «Запискахъ Охотника» и сказывается. Понятно, что неизбѣжнымъ послѣдствіемъ такого настроенія художнической натуры должно было непремѣнно явиться возвышенность слога, его симпатичность и увлекательность. И въ самомъ дѣлѣ, что такое художникъ, какъ не та-же поэтическая натура, только владѣющая къ тому даромъ сообщать свое настроеніе другимъ, которые въ глубинѣ души таятъ разныя неопредѣленныя поэтическія стремленія, но не въ состояніи ихъ съ достаточною рельефностью выразить. Тургеневъ-же въ высшей степени именно обладаетъ способностью выражать свои поэтическія ощущенія. Чтобы показать его преимущество въ этомъ отношеніи надъ другими русскими писателями, возьмемъ для примѣра одного изъ лучшихъ стиллистовъ — Гончарова. У него во «Фрегатѣ Палладѣ» есть поразительныя описанія картинъ природы. Подъ мастерской рисовкой Гончарова все и безъ того прекрасное какъ-бы удваивается въ своей прелести. Какое-же чувство вы выносите послѣ созерцанія гончаровской картины? «Безподобно», восклицаете вы, что за кисть, что за вѣрность красокъ, какъ все соотвѣтствуетъ правиламъ искуства; хорошо, очень хорошо! Затѣмъ вы перевертываете слѣдующую страницу и съ такимъ-же наслажденіемъ читаете сцену, гдѣ вѣстовой Ѳадей докладываетъ своему барину, что Россія находится въ Кронштадтѣ. Вы и это сцену на равнѣ съ предъидущею приведите въ примѣръ когда рѣчь зайдетъ о талантѣ Гончарова. Вы скажете, что Гончарову въ одинаковой степени удается и то и другое. Но прочтемте теперь съ вами, любезный читатель «Бѣжинъ Лугъ». Тутъ обстановка несравненно менѣе грандіозна, чѣмъ

гдѣ-нибудь у берега Африки, во время штиля, когда, куда не взглянешь, восхищенный глазъ всюду встрѣчается съ безбрежнымъ океаномъ, съ синею лазурью у сѣяннаго яркими созвѣздіями тропическаго неба, съ фосфорическомъ блескомъ воды кишащей животною жизнью, съ причудливѣйшими очертаніями облаковъ. Тутъ и пафосъ повѣствователя менѣе умѣстенъ, тутъ очень легко впасть въ ложный сантиментализмъ, восхищающейся, за неимѣніемъ другого, самыми обыденными вещами. Однако, странное дѣло! Вы читаете «Бѣжинъ Лугъ», и чѣмъ дальше вы въ него проникаете, тѣмъ чаще и чаще начинаетъ подыматься ваша грудь и вы кончаете очеркъ въ какомъ-то упоеніи. Это чтеніе подняло въ душѣ вашей цѣлый рой сладкихъ ощущеній; подобно величественной сонатѣ Бетховена оно пробудило разныя неопредѣленныя стремленія; долго, долго длится ваше очарованіе, хотя вы не дасте себѣ логическаго отчета въ его происхожденіи и не съумѣете какъ слѣдуетъ проанализировать ваши чувства. Но это-то намъ именно и дорого въ Тургеневѣ. Все равно какъ истинно возвышенная и вдохновенная музыка важна для насъ тѣмъ, что порождаетъ въ насъ неопредѣленное, но сладкое томленіе, такъ и въ истинно поэтическомъ твореніи, наряду съ мыслями его проникающими, намъ важна та его часть, что не поддается математическому анализу холоднаго логическаго мышленія. Значительная прелесть поэтическаго произведенія состоитъ въ неопредѣленности чувствъ, имъ возбуждаемыхъ, и въ томъ хаосѣ осущеній, мыслей, стремленій, которыя являются слѣдствіемъ чтенія глубоко-поэтическаго творенія или слушанія задушевной музыкальной пьесы.

Женскіе типы «Записокъ Охотника» немногочисленны, но и они подернуты тѣмъ симпатичнымъ колоритомъ, который покрываетъ всю разбираемую нами эпопею народной жизни. Женщины привиллегированнаго сословія являются въ ней гораздо болѣе привлекательными, чѣмъ мужчины того-же класса. И здѣсь, какъ это постоянно замѣчается у разбираемаго нами романиста, представительницы прекраснаго

пола оказываются дѣйствительно—прекрасными и собственная ихъ угнетаемость отзывается въ большей мягкости характера. Изъ женщинъ помѣщичьяго класса въ «Запискахъ Охотника» достойна вниманія только одна Татьяна Борисовна, эта добрая старушка, въ чьемъ обществѣ всякому становится легко и хорошо. Общественнаго типа она, однако-же, не представляетъ. Гораздо болѣе характерную и типичную фигуру мы видимъ въ простой деревенской дѣвкѣ Матренѣ изъ разсказа «Петръ Петровичъ Каратаевъ». Сколько въ ней женской самоотверженности, сколько хорошихъ природныхъ качествъ! Петръ Петровичъ Каратаевъ былъ человѣкъ не особенно развитой и образованный, однако-же, въ сравненіи съ простою крестьянскою дѣвушкою, не умѣющей читать, онъ стоялъ неизмѣримо высоко. И все-же ему не было скучно съ Матреной. Она умѣла его привлекать и помимо красоты. Въ ея обществѣ Каратаевъ блаженствовалъ и не чувствовалъ потребности въ болѣе образованной подругѣ жизни. Да и отчего ему должно было-бы быть скучно? Развѣ лучше Матрены были жеманныя «образованныя» помѣщичьи дочери? Съ ними, что-ли веселѣе было свѣжему человѣку? И въ какой барышнѣ, спрашивается, найдете вы столько нравственной мощи, столько безкорыстія, чтобы пойти выдать себя на преслѣдованіе и страданіе только изъ за того, чтобы не причинять неудобствъ и затрудненій любимому человѣку? Наталья Борисовна Долгорукая сдѣлалась сюжетомъ возвышенныхъ лирическихъ поэмъ, воспѣвавшихъ ея благородную рѣшимость раздѣлять страданія мужа. А такихъ не малочисленныхъ героинь въ родѣ Матрены, о которой теперь рѣчь идетъ, никто и не вздумаетъ увѣковѣчить въ художественномъ произведеніи. Благо нашелся Тургеневъ, котораго поразило такое простое благородство безъ шуму и треску, безъ электрическаго освѣщенія и бенгальскаго огня. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ: Каратаеву понравилась деревенская дѣвка Матрена, принадлежавшая сосѣдней помѣщицѣ. Онъ хотѣлъ было ее купить у своей сосѣдки, да та, старая вѣдьма, имѣвшая виды женить Каратаева на своей зеленой ком-

паньонкѣ, не захотѣла «потакать разврату» и сдѣлала распоряженіе объ отсылкѣ ни въ чемъ не повинной дѣвушки въ степную деревню гусей пасти. Въ виду такой грозной дилеммы—не вытерпѣла широкая натура Каратаева. Въ одинъ прекрасный день онъ увезъ Матрену и поселилъ ее у себя. Долго удалось ему скрыть бѣглянку, но все-таки барыня ея какъ-то пронюхала, гдѣ она находится, и начала съ Каратаевымъ тягаться изъ за своей дѣвки. Каратаевъ былъ человѣкъ не богатый, «маленькій» что называется, и не въ моготу стало ему устоять противъ состоятельной барыни, на сторонѣ которой къ тому-же и законъ былъ.

«Плохо мнѣ пришлось» разсказывалъ Каратаевъ, и денегъ-то я не жалѣлъ, и Матрену-то пряталъ, — нѣтъ, затормошили меня, словно зайца на угонкахъ. Въ долги влѣзъ, здоровья лишился.... Вотъ лежу однажды ночью у себя на постели и думаю: Господи, Боже мой, за что терплю? Что-же дѣлать, коли я ее разлюбить не могу?.... Ну, не могу, да и только!.... шасть ко мнѣ въ комнату Матрена. Я на это время спряталъ ее было у себя на хуторѣ, верстахъ въ двухъ отъ своего дома. Я испугался. Что? аль и тамъ тебя открыли? — «Нѣтъ, Петръ Петровичъ», говоритъ она: «Никто меня не безпокоилъ въ Бубновѣ; да долго-ли это продолжится? Сердце мое, говоритъ «надрывается, Петръ Петровичъ; васъ мнѣ жаль, моего голубчика; вѣкъ не забуду ласки вашей, Петръ Петровичъ, а теперь пришла съ вами проститься». — Что ты, что ты сумасшедшая? Какъ проститься? Какъ проститься? «А такъ.... пойду, да себя и выдамъ». — Да я тебя, сумасшедшую на чердакъ запру.... или ты погубить меня выдумала? Уморить меня желаешь, что-ли? Молчитъ себѣ дѣвка, да глядитъ на полъ. — Ну, да говори-же, говори! — «Не хочу вамъ больше безпокойства причинять Петръ Петровичъ». — Ну, поди, толкуй съ ней.... — Да ты знаешь-ли, дура, ты знаешь-ли-сума.... сумасшедшая....

И Петръ Петровичъ зарыдалъ.

— Вѣдь что вы думаете? продолжалъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу и стараясь нахмурить брови, между тѣмъ какъ слезы все еще бѣжали по его разгорячennымъ щекамъ: — вѣдь выдала себя дѣвка, — пошла и выдала себя....

— Лошади готовы-съ! торжественно воскликнулъ смотритель, входя въ комнату.

Мы оба встали.

— Что же сдѣлалось съ Матреной спросилъ я.

Каратаевъ махнулъ рукой.

Вотъ какъ поступила простая деревенская дѣвка, никогда

можетъ быть и не слыхавшая о геронзмѣ, какъ отвлеченномъ предметѣ, вслѣдствіе чего ея поведеніе получаетъ двойную силу и привлекательность, потому что показываетъ въ ней безсознательно-геройскую натуру, одну изъ тѣхъ натуръ, которая, какъ мы это впослѣдствіи докажемъ, выразилась у Тургенева въ еще болѣе прелестной и поэтической формѣ въ «Асѣ».

Разборомъ характера Матрены мы закончимъ нашъ бѣглый анализъ «Записокъ Охотника». Мы не станемъ говорить объ ихъ художественной отдѣлкѣ. Слогъ видѣнъ изъ выписокъ, а что касается другихъ атрибутовъ, составляющихъ внѣшнее художественное впечатлѣніе какого-нибудь произведенія, то объ этомъ много распространяться нечего. Времена «эстетики» прошли безвозвратно и намъ не за чѣмъ шевелить ея могильный покой. Наша цѣль была показать какой богатый этнографическій матеріалъ Тургеневъ далъ своими «Записками Охотника». Его заслуга при этомъ состоитъ въ томъ, что онъ съумѣлъ схватить наиболѣе характеристичныя черты и представить ихъ въ немногосложныхъ, сжатыхъ очеркахъ, не смотря на свой малый объемъ вполнѣ исчерпывающихъ свою задачу. «Записками Охотника» Тургеневъ вполнѣ разрѣшилъ тѣ сомнѣнія, что ему представлялись въ Германіи при паралелли между западною и русскою обстановкою. Онъ какъ-бы исполнилъ свой нравственный долгъ и успокоился, принесши ту долю пользу дѣлу освобожденія, которую могъ принести. Что онъ слову далъ въ спутники дѣло, читатели уже знаютъ изъ IV главы.....

При своемъ печатаніи въ «Современникѣ», «Записки Охотника» не могли быть оцѣнены критикою въ такомъ духѣ, въ какомъ она желалабы это сдѣлать. Объяснять причины такого явленія намъ кажется совершечно лишнимъ. Но какъ бы то ни было, въ то время какъ нѣкоторыя произведенія Тургенева обладаютъ цѣлою литературою, трактующею объ нихъ, объ «Запискахъ Охотника» почти ничего не писано, что не

помѣшало имъ, однакоже, завоевать себѣ самыя широкія симпатіи въ читающей публикѣ. Интересно еще то, что «Записки Охотника» увидѣли свѣтъ совершенно случайнымъ образомъ. Около 1847 г. Тургеневъ вслѣдствіе особеннаго душевнаго настроенія намѣревался бросить литературу. Между тѣмъ приготовлялся къ печати первый № возобновленнаго «Современника». Издатель его, Панаевъ, добрый знакомый Тургенева, не зная чѣмъ напомнить въ своемъ журналѣ отдѣлъ «*Смѣси*» настойчиво упрашивалъ нашего писателя дать ему какую нибудь «повѣстушку». Тургеневъ представилъ «Хоря и Калиныча». Знаменитое заглавіе «*Записки Охотника*» было придумано самымъ Панаевымъ для того, чтобы склонить читателей къ «снисходительности». Читатели послѣдовали просьбѣ Панаева въ степени большей чѣмъ тотъ ожидалъ и «Хорь и Калинычъ», не смотря на то что, скромно затерялся среди курьезовъ и анекдотовъ «смѣси», былъ сразу замѣченъ и оцѣненъ. Успѣхъ «Хоря и Калиныча» возвратилъ Тургенева литературѣ.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВЪ ЕЯ

СОВРЕМЕННЫХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХЪ.

Критико-біографическіе этюды

Семена Венгерова.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Часть II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Вилькина и Эттингера, Казанская ул., д. № 22.
1875.

Настоящій второй выпускъ «Русской Литературы въ ея современныхъ представителяхъ» появляется отдѣльно отъ перваго только вслѣдствіе совершенно случайныхъ обстоятельствъ и не обусловливаетъ собою появленія дальнѣйшихъ выпусковъ. Замѣчаніе это дѣлается для тѣхъ же гг. рецензентовъ, которые желали-бы болѣе или менѣе остроумно вычислить сколькими томами авторъ настоящаго труда подаритъ русской публики, если ему придетъ охота перебрать всѣхъ «представителей» и съ такой же подробности, какъ Тургенева.

С. Венгеровъ.

IX.

Мы соединили всѣ стихотворенія Тургенева въ одну рубрику, всѣ очерки изъ крестьянскаго быта тоже въ одну главу, сдѣлаемъ теперь, для цѣльности впечатлѣнія, нѣчто подобное и съ повѣстями, предшествующими «Рудину», потому что онѣ составляютъ отдѣльный фазисъ въ развитіи творческаго таланта нашего беллетриста. Начиная съ 1844 г., когда было напечатано первое произведеніе Тургенева въ прозѣ «Андрей Колосовъ», онъ отъ времени до времени, въ перемежку со стихами, драмами, очерками «Записокъ Охотника», помѣщалъ небольшія повѣсти, которыя, собранныя вмѣстѣ, вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1856 г. подъ заглавіемъ «Повѣсти и разсказы И. С. Тургенева». Общее свойство таланта нашего писателя: чуткость ко всему происходящему вокругъ него не оставляемъ его и здѣсь, но оно проявляется въ менѣе крупныхъ размѣрахъ. Въ то время когда «Рудинъ», «Наканунѣ», «Дворянское гнѣздо», «Отцы и Дѣти» воспроизводятъ характерныя черты цѣлой эпохи, «Колосовъ», «Три портрета» и др. разрабатываютъ только небольшіе моменты въ жизни русскаго общества тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Поле зрѣнія которымъ обладалъ Тургеневъ въ концѣ сороковыхъ годовъ не было еще на столько обширно, чтобы захва-

тить изображеніе выдающихся явленій, оно не идетъ дальше мелкихъ чертъ и анализъ автора «Повѣстей и Разсказовъ», не идетъ дальше простого констатированія За исключеніемъ «Дневника лишняго человѣка», должно сказать что только «Рудинымъ» Тургеневъ переступилъ ту неуловимую границу, которая отдѣляетъ первостепенное дарованіе отъ второстепеннаго. Положимъ, до «Рудина» существовали «Записки Охотника», но вѣдь значеніе ихъ состояло въ ансамблѣ; каждый очеркъ, если и составлялъ одно художественное цѣлое, то только оттого, что сюжетъ былъ немногосложный. Поэтому крупнымъ литературнымъ дѣятелемъ, способнымъ воспроизвести обширное общественное движеніе, Тургеневъ становится только съ «Рудина». Если это умѣніе въ немъ было и раньше, то читатель, во всякомъ случаѣ, про то ничего знать не могъ и только критика конца пятидесятыхъ и послѣдующихъ годовъ, убѣдившись въ могучемъ дарованіи автора «Андрея Колосова», имѣла право простить ему извѣстную мелкость сюжетовъ первыхъ его повѣстей и отчасти извинить мелкостью-же эпохи, отраженіемъ которой они явились.

Въ Тургеневѣ настолько слилось въ одно прекрасное цѣлое мысль и форма, что какъ «эстетики» прежнихъ временъ, такъ и «реалисты» болѣе поздней эпохи могутъ черпать въ его сочиненіяхъ весьма вѣскія доказательства своимъ воззрѣніямъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время найдется только весьма ограниченное число людей, которые стали бы горой за такъ называемое «искуство за искуство», за форму безъ содержанія. А между тѣмъ прочтите «Андрея Колосова» и вы уже не найдете этотъ взглядъ настолько нелѣпымъ и невыдерживающимъ критики. Если-бы къ намъ категорически приступили съ требованіемъ пересказа содержанія «Колосова», не дѣлая при этомъ длинныхъ выписокъ и не заставляя, слѣдовательно, говорить за насъ самаго автора, мы, право, были-бы поставлены въ весьма затруднительное положеніе. Жилъ нѣкій студентъ, полюбилъ нѣкую дѣвицу; разлюбилъ ее — чего тутъ кажется разсказывать; никакихъ при этомъ драматическихъ положеній не произошло, случилась въ тысяч-

ный разъ одна и таже старая исторія—и все-же вы съ напряженнымъ вниманіемъ перелистываете страницу за страницей и, не встрѣчая даже въ повѣсти опредѣленной развязки, все-же выносите очень стройное впечатлѣніе. Дарованіе, талантъ, не всегда выражаются въ глубинѣ мысли и во всякой литературѣ не трудно указать писателей сильныхъ только одной стороной творческой способности. Если мысль есть неизбѣжная принадлежность произведенія, претендующаго на прочное общественное значеніе, то въ свою очередь и форма часто составляетъ наиболѣе существенное условіе, для того, чтобы произвести благопріятное впечатлѣніе на читателя. Только при первоклассной формѣ «Шинель» производитъ такое потрясающее впечатлѣніе; при другой обработкѣ при всей глубинѣ мысли, положенной ей въ основаніе, она непроизведетъ и сотой доли того эффекта, который является въ гоголевскомъ изложеніи. Понятно что въ вещахъ. гдѣ основная мысль не поражаетъ своею глубиною, значеніе формы еще болѣе увеличивается. Тутъ если и форма не будетъ безукоризненна, произведеніе выйдетъ уже окончательно плохое. Изъ «Повѣстей» Тургенева мы выносимъ неопредѣленное, но тѣмъ не менѣе пріятное впечатлѣніе, онѣ вамъ напоминаютъ нестройное перебираніе струнъ цитры, которое при всемъ томъ, что не воспроизводитъ ясновыраженной мелодіи, затрогиваетъ несмотря на это нѣжныя стороны человѣческой натуры. Байроническая закваска и вообще различныя «вѣянія» сороковыхъ годовъ тоже не остались безъ дѣйствія и придали «Повѣстямъ» современный своей эпохѣ характеръ. Неудивительно по этому если содержаніе въ нихъ вещь второстепенная, но за то поэзія бьетъ такимъ широкимъ и чистымъ ключемъ, что сглаживаетъ скудость дѣйствія и блѣдность характеровъ. Глубокая, задушевная поэзія, похожая на поэзію нашихъ народныхъ пѣсенъ составляетъ общій колоритъ «Колосова» и др. и потому сразу устанавливаетъ какія-то особенныя дружественныя отношенія между авторомъ и читателемъ. «*Душа человѣкъ*», о которомъ мы выше упомянули, выступаетъ на первый планъ и заставляетъ васъ умолкнуть съ требова-

ніями холоднаго разсудка. Самъ авторъ часто неувѣренъ въ даваемыхъ имъ характеристикахъ и какъ-бы обращается къ вамъ за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній, хотя это обращеніе чисто фиктивное, такъ какъ, вслѣдствіе неопредѣленности красокъ, вы имѣете очень мало средствъ контролировать разсказщика. Вотъ и въ Колосовѣ. Вы очень мало видите въ немъ необыкновеннаго, которое выразилось-бы осязательнымъ образомъ и все-же въ концѣ повѣсти проникаетесь сознаніемъ его недюжинности, потому что авторъ употребилъ весь свой талантъ, все свое тонкое творчество, чтобы нѣжными штрихами очертить трудно поддающееся воспроизведенію. Мы увѣрены, что при другой обработкѣ Колосовъ ни на минуту не завоевалъ-бы нашей симпатіи и не выдвинулся-бы изъ числа людей, имя коимъ «легіонъ». Тургеневъ-же заставилъ васъ увѣрить въ справедливость своихъ личныхъ ощущеній, словами передалъ «the music of the face», по выраженію Байрона.

Колосовъ ни въ какомъ случаѣ не русское лице и отъ него такъ и вѣетъ героями Жоржъ-Зандовскихъ романовъ, бывшихъ въ модѣ въ сороковыхъ годовъ. Это по нашему мнѣнію представитель того времени, когда человѣкъ цѣнился не вслѣдствіе качествъ, которыми обладалъ, а «самъ по себѣ». Подъ вліяніемъ французскаго романтизма беллетристика не отрицала возможности увлечься какимъ нибудь дикаремъ или дикаркой, такъ какъ въ pendant искуству для искуства отыскивался тогда «человѣкъ ради человѣка». Величавыя фигуры Куперовскихъ индѣйцевъ еще у всѣхъ были въ памяти и подогрѣвали стремленіе къ формѣ, часто въ большой ущербъ содержанію. Если Колосовъ и не изображалъ собою какого нибудь Чингахгока, то все-же авторъ въ его лицѣ намъ вывелъ человѣка, плѣняющаго окружающихъ помимо тѣхъ способовъ добыться людскаго сочувствія, что даются образованіемъ, цивилизаціею. Колосовъ не былъ особенно способенъ, имѣлъ довольно ограниченное количество знаній и несмотря на это подчинялъ себѣ всѣхъ. Значитъ ему тутъ помогало распространенное въ обществѣ расположеніе къ абстрактному понятію о человѣкѣ, помимо его содер-

жимаго. Въ «Рудинѣ» мы увидимъ, какъ обладающій прекрасными природными качествами и во всѣхъ отношеніяхъ «славный малый» Волынцевъ долженъ ретрироваться, когда на сцену является Рудинъ, завоевывающій свое положеніе исключительно *интеллигентностью* своего нравственнаго существа. Тутъ слѣдовательно уже не можетъ быть и разговору о человѣкѣ «самомъ по себѣ», между тѣмъ какъ въ «Колосовѣ» все на этомъ мотивѣ вертится.

Подобно герою повѣсти, героиня принадлежала къ описанной выше категоріи.

«Варя была дѣвушка очень обыкновенная, а между-тѣмъ такихъ дѣвушекъ весьма не много на святой Руси. Вы меня спросите: отъ чего? Отъ того, что я никогда не замѣчалъ въ ней ничего натянутаго, не естественнаго, жеманнаго; отъ того, что она была простое, откровенное, нѣсколько грустное созданіе; отъ того, что ее нельзя было назвать «барышней». Мнѣ нравилась ея тихая улыбка; я любилъ ея простодушный звонкій голосокъ, ея легкій и веселый смѣхъ, ея внимательные, хотя совсѣмъ не «глубокіе» взоры. Этотъ ребенокъ не обѣщалъ ничего; но вы невольно любовались имъ, какъ любуетесь внезапнымъ мягкимъ крикомъ иволги вечеромъ, въ высокой и темной березовой рощѣ. Я долженъ сознаться, что въ иное время я довольно равнодушно прошелъ-бы мимо такого созданія: мнѣ теперь не до вечернихъ одинокихъ прогулокъ, не до иволгъ; но тогда...»

Итакъ и тутъ неизъяснимое, неуловимое «нѣчто» составляетъ причину того, что Варя нравится. «Роковое, таинственное, непонятное»—эти имена прилагательныя были въ большомъ употребленіи въ тридцатыхъ годовъ и расточались на право и на лѣво безъ особенно вѣскихъ основаній. Нашимъ доморощеннымъ Байронамъ чѣмъ-же нибудь нужно было доказать свое духовное родство съ великимъ англійскимъ поэтомъ и вотъ отчего какая нибудь Варя пріобрѣтаетъ совсѣмъ ей не свойственный ей колоритъ. Но въ изложеніи Тургенева все такъ сглажено, бѣлыя нитки на столько искусно скрыты, что портретъ героини не возбуждаетъ въ насъ рѣзкой оппозиціи и даже согласіе ея выдти замужъ за равнодушнаго ей человѣка вами добродушно игнорируется. Не хочется какъ-то приписать ей намѣреніе словить женишка. Не то-уничтожается все поэтическое обаяніе повѣсти.

Какъ первый опытъ «Андрей Колосовъ», во всякомъ случаѣ, безукоризненъ. Вы нигдѣ въ немъ не чувствуете шероховатостей, юношеской неумѣлости. Все гладко, какъ у присяжнаго писателя. Слогъ, блестящій тургеневскій слогъ, съ характернымъ тонкимъ юморомъ, проявляется и въ этой повѣсти. Недаромъ она сразу была замѣчена при своемъ появленіи въ 10-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за 1844 г. Съ тѣхъ поръ каждый годъ Тургеневъ помѣщалъ одну или двѣ повѣсти въ журналахъ того времени, все болѣе и болѣе увеличивая число своихъ поклонниковъ, какъ среди читающей публики, такъ и среди рецензентовъ. Имя его дѣлается неизбѣжнымъ въ объявленіяхъ лучшихъ журналовъ того времени. Съ своей стороны Тургеневъ не остается въ долгу и старается вполнѣ оправдать лестное о немъ мнѣніе. Критика относилась къ нему почти всегда благосклонно, потому что онъ, слѣдуя указаніямъ критики (мы понятно говоримъ о передовой, а не таковой Булгарина et consortes), старался брать темою своихъ произведеній сюжеты, наиболѣе соотвѣтствовавшіе настроенію эпохи. Мы не станемъ утверждать, что подобное подчиненіе творчества извѣстнаго рода указаніямъ было-бы вполнѣ нормально, но на первыхъ порахъ молодому писателю оно можетъ быть не безъ пользы. Понятно оно непримѣнимо къ первоклассному таланту, такъ какъ по основному характеру своему послѣдній вызываетъ новыя требованія критики, а не наоборотъ. Критика таже грамматика, которая рождается языкомъ. Слѣдовательно, нечего и говорить, что геній, вслѣдствіе оригинальности своей, никогда ничьей указкѣ не подчиняется. Но писатель второстепенный, а такимъ былъ Тургеневъ въ первый періодъ своей литературной дѣятельности, какъ планета, заимствующая свой свѣтъ отъ другаго свѣтила, долженъ стараться поставить свой талантъ въ наиболѣе выгодное положеніе, чтобы наибольшее количества свѣта и теплоты на него падало. Нѣкоторые позднѣйшіе писатели, какъ напр. покойный Дружининъ, исходя изъ своей теоріи безсознательнаго творчества, нападаютъ на Тургенева за слишкомъ большое послушаніе

указаніямъ критики и мнѣній, господствующихъ въ обществѣ. Мы, напротивъ того, ставимъ это нашему беллетристу въ большую заслугу и мнѣніе наше подкрѣпляется тѣмъ, что «*послушныя*» повѣсти Тургенева всѣми цѣнителями, даже эстетиками чистѣйшей воды признаются «перлами» художественнаго творчества. Значитъ о вредѣ, о порчѣ таланта тутъ не можетъ быть и рѣчи.

Типъ Онѣгина и Печорина, на созданіе которыхъ ушелъ лучшій поэтическій матеріалъ нашихъ двухъ великихъ поэтовъ, былъ слишкомъ живучъ и подходящъ подъ настроеніе времени, чтобы не сдѣлаться обыкновеннымъ явленіемъ. При разборѣ «Параши», мы уже сказали во что обратились Чайльдъ-Гарольды и Манфреды въ переложеніи на русскіе нравы, мы тогда уже намѣтили недовольство ими нашего автора. Въ «Бретерѣ» мы опять встрѣчаемся съ подобнымъ чувствомъ Тургенева, только обстановка при этомъ значительно разнится отъ таковой стихотворнаго разсказа. Тамъ герой являлся съ претензіями на байронизмъ и не оправдывалъ ихъ, въ «Бретерѣ» же другіе желаютъ произвести героя повѣсти въ необыкновенные люди. Самъ онъ сознаетъ свое собственное ничтожество и въ интимномъ разсужденіи съ самимъ собою долженъ признаться, что онъ въ сущности очень глупъ. Слѣдовательно, если мы къ «Бретеру» приплели байронизмъ, то исключительно потому, что онъ невольно приходитъ на умъ при чтеніи повѣсти и мы не имѣемъ права освобождить автора отъ предположенія въ немъ желанія именно такой сюжетъ затронуть. Посудите сами.

«.... Между ними нѣкто Авдѣй Ивановичъ Лучковъ, штабъ-ротмистръ, слылъ бреттёромъ. Лучковъ былъ роста небольшаго, не казистъ; лицо имѣлъ малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькіе, черные, черты лица обыкновенныя и темные глазки. Онъ рано остался сиротой, выросъ въ нуждѣ и загонѣ. По цѣлымъ недѣлямъ велъ онъ себя тихо... и вдругъ—словно бѣсъ какой имъ овладѣетъ—ко всѣмъ пристаетъ, всѣмъ надоѣдаетъ, всѣмъ нагло смотритъ въ глаза; ну, такъ и напрашивается на ссору. Впрочемъ, Авдѣй Иванычъ не чуждался своихъ сослуживцевъ, но въ дружбѣ состоялъ съ однимъ только раздушеннымъ адъютантомъ; въ карты не игралъ и не пилъ вина».

Бретеръ, забіяка, въ карты не играетъ, вина не пьетъ—согласитесь тутъ мы имѣемъ дѣло съ кое-какими притязаніями на байроническій ярлыкъ. Положимъ, сходство Лучкова съ Печориномъ чисто внѣшнее, отличіе ихъ другъ отъ друга бросается въ глаза даже при самомъ поверхностномъ обзорѣ, но во всякомъ случаѣ трудно отрицать то обстоятельство, что если даже Лучковъ не желаетъ быть и не воображаетъ себя Печориномъ, то тѣмъ не менѣе въ немъ есть матеріалъ для созданія этого типа. Многія барыни и барышни считаютъ его демоническимъ созданіемъ и отбрасываютъ даже свою провинціальную жеманность, чтобы съ нимъ сблизиться. Слѣдовательно, Тургеневъ косвенно содѣйствовалъ развѣнчанію въ глазахъ общества нашихъ доморощенныхъ Байроновъ, выставивъ Лучкова сквернымъ человѣкомъ. Въ самомъ дѣлѣ нелюдимость бреттера, его молчаливость объясняются нежеланіемъ жалчайшей посредственности быть осмѣянной, его отрицаніе любви—просто грубостью натуры, и наконецъ геройство, равнодушіе къ жизни—просто какимъ-то калмыцкимъ чувствомъ, среднимъ между апатіею необразованнаго человѣка и кровожадностью дикаго сына степей. Итакъ, картина развѣнчаннаго байронизма оказывается весьма и весьма непривлекательною. Въ этомъ отношеніи Тургеневъ опять попалъ подъ общественное настроеніе, подъ протестъ противъ всесильныхъ героевъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Онъ видѣлъ ихъ паденіе, наблюдалъ постепенное охлажденіе къ нимъ общества и поспѣшилъ воспроизвести это явленіе въ своемъ «Бретерѣ». Жаль только, что противодѣйствіемъ Лучкову выступаетъ кислосладкій нѣмецъ Кистеръ, очень уже витающій на горнихъ высяхъ идеальной фантазіи. Контрастъ между Лучковымъ и Кистеромъ слишкомъ великъ и поразителенъ, чтобы произвести положительное, дѣйствіе. Читатель въ одинаковой степени не удовлетворенъ ни тѣмъ, ни другимъ. Къ первому вы, положимъ, чувствуете отвращеніе; но и ходячій сборникъ добродѣтелей слишкомъ безукоризненъ для живаго лица. Клинъ лучше всего выбивать клиномъ-же. Волкъ-же Лучковъ и агнецъ Кистеръ сами собою уничтожа-

ются и въ читателѣ оставляютъ только смутное чувство неудовольствія.

Другое лицо повѣсти — провинціалочка Маша очень не дурно очерчена авторомъ. Она представитель многочисленнаго типа «порядочныхъ» барышень, но которыя все-же всегда барышнями остаются. Натура не глубокая и не пошлая, Маша обладаетъ буржуазными добродѣтелями, нужными для семейнаго «счастья». Но въ ней нѣтъ ничего общаго съ тѣми оставляющими огромное впечатлѣніе женскими фигурами, что поражаютъ своею нравственною мощью въ другихъ произведеніяхъ Тургенева. Въ Машѣ очень много сходства съ Марѳинькой изъ «Обрыва» Гончарова, только съ большею противъ той придачею интеллигенціи и какъ жанровая картинка Маша обличаетъ въ Тургеневѣ умѣніе подмѣчать и слѣдить за всякаго рода личностями. Но въ этомъ родѣ творчествѣ, а именно въ жанрѣ, нашъ романистъ дальше второстепеннаго таланта не возвышался. Самъ натура чрезвычайно много содержательная и поэтитеская, человѣкъ пишущій потому, что въ немъ органическая потребность передавать бумагѣ свои ощущенія, Тургеневъ во всемъ блескѣ дарованія появляется только при воспроизведеніи тонкихъ и недюжинныхъ натуръ. Чистое непосредственное творчество, энтузіазмъ предъ выставляемыми личностями лучше всякихъ указокъ помогаютъ тогда Тургеневу найти истинный путь. Авторъ, который живетъ одною жизнью со своими героями, который за одно съ ними чувствуетъ, увлекается, страдаетъ, который въ выставляемымъ имъ поэтическихъ образахъ расходуетъ часть самаго себя, который въ своихъ произведеніяхъ изливаетъ потокъ личныхъ накипѣвшихъ ощущеній, стонъ собственнаго сердца, такой авторъ не можетъ не сдѣлаться первоклассным писателемъ, если счастливая случайность его натолкнетъ на первоклассный сюжетъ и дастъ возможность удвоить впечатлѣніе обиліемъ творческой мысли. Въ «повѣстяхъ» мы этого первокласнаго сюжета не имѣемъ, но въ тѣхъ изъ нихъ, гдѣ содержаніе возвышается надъ обыденной обстановкой, гдѣ дѣйствующія лица не совсѣмъ обык-

новенны, Тургеневъ« Дворянскаго гнѣзда», Тургеневъ «Наканунѣ» очень легко можетъ быть найденъ. «Андрей Колосовъ», «Три портрета», «Жидъ», «Три встрѣчи» и другія производятъ на читателя очень сильное впечатлѣніе, между тѣмъ какъ «Пѣтушковъ», гдѣ авторъ сошелъ на несвойственную ему почву жанра и гоголевскаго юмора-сразу даютъ чувствовать фальшивость тона. Въ «Бретерѣ» если что сильнѣе заставляетъ течь вашу кровь и поднимаетъ грудь сочувственнымъ вздохомъ, то только трагическая развязка повѣсти. Смерть всегда налагаетъ на все поэтическій покровъ, придаетъ симпатичный оттѣнокъ и вслѣдствіе этого конецъ сентиментельнаго Кистера заставляетъ насъ удержаться отъ насмѣшливой улыбки. Вообще же можно вывести то положеніе, что наиболѣе удаются Тургеневу тѣ произведенія, гдѣ жанръ занимаетъ меньше мѣста. Силу его таланта составляютъ щемящая, за душу хватающая поэзія и тонкій, интеллигентный юморъ. При разборѣ «Наканунѣ», мы покажемъ, что значеніе этой повѣсти именно и состоитъ въ удачномъ комбинированіи двухъ указанныхъ качествъ. Въ «Повѣстяхъ» мы замѣчаемъ тоже. «Дневникъ лишняго человѣка» занимаетъ самое видное между ними мѣсто не столько по важности затронутаго сюжета, сколько по поэтическому колориту. Слѣдующая за «Бретеромъ» повѣсть «Три портрета» болѣе поражаютъ читателя, потому что перевѣсъ въ ней остается за необыденнымъ элементомъ.

Производя лучшее впечатлѣніе чѣмъ «Бретеръ», «Три портрета» не вполнѣ, однакоже, насъ удовлетворяютъ, потому что «необыденность» сюжета этой повѣсти слишкомъ подернута мелодраматическимъ оттѣнкомъ совершенно не свойственнымъ русской жизни. Герой повѣсти скорѣе смахиваетъ на gentilhomme'a временъ Генриха Наваррскаго, нежели на русскаго дворянина половины прошлаго столѣтія.

«На третьемъ портретѣ, писанномъ другою, болѣе искусною рукою, былъ представленъ человѣкъ лѣтъ тридцати, въ зеленомъ мундирѣ екатерининскаго времени, съ красными отворотами, въ бѣломъ камзолѣ, въ тонкомъ батистовомъ галстухѣ. Одной рукой опирался онъ на трость съ золотымъ набалдашни-

комъ, другую заложилъ за камзолъ. Его смуглое, худощавое лицо дышало дерзкою надменностью. Тонкія, длинныя брови почти сростались надъ черными какъ смоль глазами; на блѣдныхъ, едва замѣтныхъ губахъ играла не добрая улыбка».

Съ наружностью довольно хорошо гармонировало нравственное существо героя—Василія Лучинова.

«Вообразите себѣ человѣка, одареннаго необыкновенной силой воли, страстнаго и расчетливаго, терпѣливаго и смѣлаго, скрытнаго до чрезвычайности и—по словамъ всѣхъ его современниковъ—очаровательно, обаятельно любезнаго. Въ немъ не было ни совѣсти, ни доброты, ни честности, хотя ни кто-же не могъ назвать его положительно злымъ человѣкомъ. Онъ былъ самолюбивъ, но умѣлъ таить свое самолюбіе, и страстно любилъ независимость. Когда, бывало, Василій Ивановичъ, улыбаясь, ласково прищуритъ черные глаза, когда захочетъ плѣнить кого-нибудь, говорятъ, невозможно ему было противиться—и даже люди, увѣренные въ сухости и холодности его души, неразъ поддавались чарующему могуществу его вліянія. Онъ усердно служилъ самому себѣ, и другихъ заставлялъ трудиться для своихъ-же выгодъ, и всегда во всемъ успѣвалъ, потому что никогда не терялъ головы, не гнушался лести, какъ средства, и умѣлъ льстить».

Лучиновъ всецѣло принадлежитъ къ категоріи симпатичныхъ негодяевъ про которыхъ мы уже раньше не разъ говорили. Мы всегдабываемъ поражены нравственною мощью, въ какомъ-бы видѣ послѣдняя не проявлялась и нерѣдко любимъ страстно людей, недостатки которыхъ намъ вполнѣ извѣстны. Энергичный негодяй нерѣдко способенъ на весьма хорошіе поступки и за эту возможность вы ему готовы простить и больше симпатизировать, чѣмъ добродѣтельной посредственности, которая дурнаго положимъ не совершитъ, но за то и хорошаго мало. Лучиновъ натура очень сильная и все поведеніе его въ продолженіе разсказа вполнѣ гармонируетъ съ вышеприведенною характристикою. На концепцію его личности байронизмъ далеко не остался безъ вліянія и сквозь его обликъ въ отдаленіи виднѣется фигура Манфреда. Что-то чужестранное лежитъ на Лучиновѣ, что-то такое дѣлаетъ его очень интересною, привлекающей картинкой, но не снимкомъ съ дѣйствительности. Русская жизнь пуще огня боится мелодраматизма и нужно быть очень недюжиннымъ писателемъ, чтобы заставить читателя забыть это существенное условіе.

Столкновеніе Лучинова съ отцемъ, драматическая сцена, когда сынъ, стиснувъ шпагу въ рукахъ, злобными и непокорными глазами измѣривъ отца, готовъ поднять на него руку— эта сцена вышла-бы чрезвычайно эффектной въ романѣ изъ иностраннаго образа жизни. Тургеневъ-же долженъ былъ собрать все свое художническое чутье правды, чтобы не произвести отрицательнаго впечатлѣнія и тонкій рисунокъ не превратить въ суздальское издѣліе. Но удачно вышедши изъ труднаго положенія относительно Василія Лучинова, Тургеневъ наложилъ слишкомъ густыя краски на отца его. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ русскаго помѣщика временъ даже не Очакова и покоренія Крыма, а императрицы Елисаветы Петровны. Авторъ ни словомъ не проговаривается объ умственномъ его уровнѣ, слѣдовательно, мы не имѣемъ права поставить его выше всякаго другаго изъ современныхъ ему обитателей блаженной провинціи, хотя онъ и прожилъ нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ. И вотъ такого-то господина Тургеневъ заставляетъ двадцать лѣтъ не говорить ни слова съ женой, за туманно выраженное въ повѣсти подозрѣніе въ супружеской невѣрности. Das ist zu stark, — какъ говорятъ нѣмцы.

«Вообще, его отношенія къ Аннѣ Павловнѣ были весьма страннаго рода. Она завѣдывала всѣмъ домашнимъ хозяйствомъ, за обѣдомъ сидѣла всегда возлѣ своего мужа—онъ нещадно наказалъ-бы человѣка, который осмѣлился бы сказать ей одно непочтительное слово,—а между тѣмъ, самъ съ ней никогда не говорилъ, не прикасался къ ея рукѣ. Анна Павловна была робкая, блѣдная, убитая женщина; каждый день молилась въ церкви на колѣняхъ и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, т. е. до пріѣзда въ деревню, жили въ большомъ ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружескія обязанности, что мужъ узналъ о ея простушкѣ.... Какъ-бы то ни было, но Иванъ Андреевичъ, даже умирая, не примирился съ ней. Во время послѣдней его болѣзни, она не отлучалась отъ него; но онъ, казалось, ея не замѣчалъ. Въ одну ночь Анна Павловна сидѣла въ спальнѣ Ивана Андреевича; его мучила безсонница—лампада горѣла предъ образомъ; слуга моего дѣдушки, Юдичъ, вышелъ. Анна Павловна встала, перешла черезъ комнату и рыдая бросилась на колѣни передъ постелью мужа, хотѣла что-то сказать—протянула руки.... Иванъ Андреевичъ посмотрѣлъ нанее — и слабымъ голосомъ, но твердо закричалъ: «человѣкъ!» Слуга вошелъ, Анна Павловна поспѣшно встала, и шатаясь возвратилась на свое мѣсто».

Весь этотъ отрывокъ точно взятъ изъ романа Вальтеръ-Скотта съ средневѣковымъ сюжетомъ. Изъ того обстоятельства, что Тургеневъ позволилъ себѣ подобную несообразность, можно видѣть, что въ 1846 году, когда «Три портрета» были напечатаны, взгляды его на искуство не совсѣмъ еще установились, или, вѣрнѣе говоря, они не приняли того направленія, съ которымъ мы встрѣчаемся въ позднѣйшій періодъ его литературной дѣятельности. Въ сороковыхъ годахъ процвѣтали такъ называемыя «салонныя» новелеты, съ какимъ-нибудь изящнымъ содержаньицемъ. Мы не намѣрены унижать «Три портрета» сравненіемъ съ этими бездѣлушками, но полагаемъ, что въ обсуждаемой повѣсти слишкомъ много потрачено прекрасной отдѣлки на вещь, того нестоющую. Видѣть въ Лучиновѣ что-либо демоническое, а главное прототипъ Печорина, какъ это сдѣлали нѣкоторые критики, мы положительно отказываемся. Всего вѣрнѣе будетъ отнести «Три портрета» къ области «искуства для искуства», поставленнаго внѣ условій времени и мѣста. Только въ такомъ случаѣ, разсматривая «Три портрета» какъ интересный разсказъ, ну, скажемъ, изъ итальянской жизни, мы готовы съ ними вполнѣ примириться. Синіоръ Базиліо де-Лучини, мрачный владѣлецъ замка, его безмолвная супруга, стремительный Тибръ, — при такой обстановкѣ повѣсть значительно выиграла-бы, но въ Болховскомъ или въ Щигровскомъ уѣздѣ, среди добродушныхъ россійскихъ мужичковъ, она нѣсколько отзывается лубочнымъ издѣліемъ.

Самое удачное лице во всей повѣсти, по нашему мнѣнію, это траги-комическая фигура Павла Афанасьевича Рогачева, жениха соблазненной Лучиновымъ дѣвушки. На этотъ разъ жанръ очень удался Тургеневу. Рогачевъ—вполнѣ живое лице. Мы въ его особѣ имѣемъ дѣло съ чистымъ русакомъ, въ обыкновенное время и мухи не рѣшающагося тронуть, а когда надобность дѣлать настанетъ проявляющаго всю свою медвѣжью силу. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ. Рогачевъ, что называется, добродушнѣйшее животное, вѣчно улыбающееся существо. Лучиновъ даже разъ предложилъ ему пари, что

онъ, Рогачевъ, не въ состояніи перестать улыбаться. И что-же! «улыбка, глупѣйшая, напряженная улыбка не хотѣла сойдти съ его вспотѣвшаго лица». Къ эдакому-то субъекту блестящій дуэлистъ Лучиновъ, подъ угрозой поединка, приступаетъ съ требованіемъ немедленно жениться на соблазненной имъ, Лучиновымъ, Ольгѣ Ивановнѣ, и нашъ добрякъ ничуть не струсилъ. Никогда въ руки не бравшій шпаги, онъ не задумывается выступить противъ Лучинова и на усовѣщеванія послѣдняго не отзывается.

« — Нѣтъ, Василій Ивановичъ, перебилъ его Рогачевъ.—Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувѣчите; но чести своей я терять не намѣренъ, умирать, такъ умирать».

Мы уже при разборѣ «Записокъ Охотника» указали на характерное свойство русскаго народа подъ ничего-не-значущей, часто даже смѣшной внѣшностью скрывать богатѣйшія душевныя силы. Рогачевъ служитъ еще однимъ подкрѣпленіемъ выраженной нами мысли. Его пассивное геройство не заключаетъ въ себѣ ничего въ глаза съ перваго раза бросающагося, ничего театральнаго, эффектно-мелодраматическаго, что мы обыкновенно привыкли соединять съ понятіемъ о героическомъ, но тѣмъ не менѣе оно также глубоко какъ и при обладаніи только-что поименованными аттрибутами. Оно пріобрѣтаетъ еще большую цѣнность вслѣдствіе абсолютнаго отсутствія рисовки, желанія заслужить чье-либо одобреніе. Долгое, часто очень долгое время, оно лежитъ подъ спудомъ, и потомъ разомъ вынырнетъ въ полномъ облаченіи, точно древняя Паллада изъ головы родителя своего—громовержца Зевеса.

Весьма характеристиченъ конецъ «Трехъ портретовъ». Заколовъ Рогачева, Василій Лучиновъ «черезъ недѣлю уѣхалъ въ Петербургъ — и черезъ два года вернулся въ деревню, разбитый параличемъ, безъ языка. Онъ уже не засталъ въ живыхъ ни Анны Павловны, ни Ольги и умеръ скоро самъ на рукахъ у Юдича, который кормилъ его какъ ребенка и одинъ умѣлъ понимать его несвязный лепетъ».

Мы привели окончаніе повѣсти для того, чтобы пока-

зать, что оно не является чистою случайностью. Внѣшнее обстоятельство—нараличъ есть ничто иное, какъ замѣна другой болѣе глубокой причины. За нимъ скрывается мысль о безхарактерности нашей интеллигенціи, безхарактерности, которая проникаетъ всѣ наши общественные типы, начиная съ героевъ Карамзина и кончая Лаврецкимъ изъ «Дворянскаго гнѣзда». Лучиновъ, блестящій левъ, обладающій въ молодости большою силою воли, въ послѣдствіи превращается въ какое-то лишенное человѣческаго смысла существо, которое третируютъ какъ ребенка. Наши «энергичные» люди прежняго времени были таковыми только до тѣхъ поръ, пока жизнь имъ улыбалась, пока никакія черезчуръ сильныя препятствія не заставляли ихъ сообразно этимъ препятствіямъ измѣнять свой нравственный строй. Но стоило только обстоятельствамъ сложиться не вполнѣ благопріятно, и наши смѣло глядѣвшіе орлы превращались въ робкихъ и забитыхъ людей. Борьба была имъ абсолютно не по силамъ и они изъ нея всегда выходили побѣжденными, вслѣдствіи того, что она ихъ всегда настигала въ расплохъ. Барское воспитаніе, ненормальность общественныхъ условій—вотъ главные факторы этого общаго явленія. Дѣйствія ихъ не избѣжалъ и Лучиновъ. Чтобы читатель не упрекнулъ насъ въ натяжкѣ, въ приписываніи Тургеневу мыслей, вовсе ему не принадлежащихъ, мы позволимъ себѣ нѣсколько забѣжать впередъ и сказать два слова объ отцѣ героя «Дворянскаго гнѣзда» Лаврецкаго. Личность эта во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно походитъ на Лучинова и мы полагаемъ даже, что въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» при описаніи происхожденія Лаврецкаго, Тургеневъ только полнѣе обработалъ сюжетъ, намѣченный слегка въ «Трехъ портретахъ». И тамъ либералъ, вольтеріанецъ, англоманъ, очень дѣятельно, если и не особенно полезно, проведшій свою молодость, на старости, два три раза почувствовавъ на себѣ суровое дыханіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ, становится ниже воды и тише травы, весь превратившись въ суевѣрнаго, слюняваго старичка, себѣ и другимъ отравляющаго жизнь вѣчнымъ ворча-

ніемъ. Отецъ Лаврецкаго, какъ позднѣйшая формація типа Лучинова, доказываетъ, что однѣ и тѣ-же условія, даже не въ одно и то-же время всегда влекутъ схожіе между собою результаты и мы, слѣдовательно, въ свою очередь не будемъ неправы, если, убѣдившись въ сходствѣ Лучинова съ Лаврецкимъ, предположимъ возможность подобія и окончанія ихъ жизненныхъ путей.

Лучиновъ и Лаврецкій—типы безхарактерныхъ, наименѣе еще насъ шокирующіе, мы скоро поведемъ рѣчь о безхарактерныхъ, которые никогда и тѣни характера не проявляли, чего совсѣмъ нельзя сказать объ Лучиновѣ. Байроническая закваска не предохранила его отъ общей участи всѣхъ русскихъ людей, но все-же въ извѣстной степени придала его фигурѣ болѣе самостоятельный видъ.

«Жидъ», несмотря на свой незначительный объемъ и отсутствіе опредѣленной тенденціи, читается съ большимъ удовольствіемъ. Онъ такъ живо, интересно написанъ, что вы прощаете автору нѣкоторую утрировку. Тургеневъ изображалъ своего «Жида» по извѣстному шаблону, по тому образцу, который былъ принятъ съ сороковыхъ годовъ для характеристики богоизбраннаго народа. Неудивительно, если слѣпо слѣдуя предписаннымъ правиламъ, Тургеневъ дѣлаетъ весьма и весьма крупные промахи, которые искупаются единственно живостью разсказа. Согласна-ли напримѣръ съ дѣйствительностью слѣдующая маленькая сценка.

— Да ты обманешь меня, или покажешь мнѣ какое-нибудь чучело?

— Ай, вай, что̀ вы такое говорите? проговорилъ жидъ съ необыкновеннымъ жаромъ и размахивая руками.—Какъ можно? Да вы.... ваше благородіе, прикажите тогда мнѣ дать *пятьсотъ.... четыреста пять-десятъ палокъ*, прибавилъ онъ поспѣшно....»

Это уменьшеніе цыфры пятисотъ палокъ пятидесятью достойно попасть въ одинъ изъ «жидовскихъ» разсказовъ г. Павла Вейнберга. Эта мнимая характерная черта лишена

всякаго смысла и намъ очень жаль констатировать въ нашемъ беллетристѣ отсутствіе въ данномъ случаѣ чутья правды. Совсѣмъ увернуться отъ палокъ — это-бы имѣло свой raison d'être, но еврей слишкомъ уменъ, чтобы сполна получить даже 450 ударовъ. Значитъ вся его поспѣшность отторговать пятьдесятъ палокъ носитъ вполнѣ водевильный характеръ. Мы уже не говоримъ о другомъ чудовищномъ поступкѣ жида — торговлѣ дочерью. Мы можемъ понять воспроизведеніе подобнаго факта въ беллетристической формѣ только въ томъ случаѣ, если будемъ смотрѣть на «Жида», какъ на интересную, пикантную бездѣлушку. Какъ описаніе событія случившагося съ г. *A* въ мѣстѣ *B* въ году *C* — «Жидъ» мыслимъ. Но вѣдь не это-же значеніе беллетристики. Разъ вы въ выдуманной формѣ кого-нибудь представили — онъ уже является не единичнымъ лицемъ, а представителемъ, если и не особеннаго многочисленнаго типа, то все-же цѣлаго разряда людей съ подобнымъ-же направленіемъ. Нечего и говорить, что Тургеневъ былъ очень и очень неправъ, бросая въ лице безъ того уже достаточно приниженному народу совсѣмъ не заслуженный имъ упрекъ. Тургеневскій Гиршель — очевидно фикція авторская. Въ дѣйствительности немыслимо человѣческое существо, которое настолько было лишено всякихъ элементарныхъ чувствъ нравственности, чтобы изъ собственной дочери сдѣлать предметъ наживы. Нужно опуститься ниже животнаго, чтобы торговать честью своего дитяти, изъ за нѣскольскихъ червонцевъ продать его первому встрѣчному. Очевидно, Тургеневъ, при концепціи «Жида», подъ вліяніемъ французскаго романтизма, задался цѣлью изобразить человѣка на крайней ступени его паденія, чудовище, потерявшее человѣческій обликъ. Но въ такомъ случаѣ напрасно онъ избралъ для подобной цѣли приниженнаго, трусливаго Гиршеля. Торговать дочерью—на это не всякій способенъ, тутъ можетъ быть требуется очень большая нравственная рѣшимость, которая въ Гиршелѣ немыслима. Просвѣщенный дерзкій Борджіа гораздо болѣе подходитъ подъ такую гнусную категорію, чѣмъ суевѣрный и невѣжественный жидъ, пони-

мающій только низшія, примитивныя формы обмана и безнравственности, а не рафинированныя, являющіяся слѣдствіемъ большей цивилизаціи.

Совершенную противоположность съ напечатаннымъ въ 1846 году въ «Современникѣ» «Жидомъ» составляетъ въ 1847 г., появившійся тамъ-же разсказъ «Пѣтушковъ». Это одна изъ самыхъ неудачныхъ Тургеневскихъ вещей. Если «Жидъ» невѣрность основной мысли выкупаетъ превосходной отдѣлкою подробностей, если при всей натяжкѣ иныхъ деталей, онъ производитъ весьма удовлетворительное впечатлѣніе, то относительно «Пѣтушкова» этого никакъ нельзя сказать. Жанръ, какъ мы уже сказали, не есть сильная сторона Тургеневскаго таланта, и только въ соединеніи съ другими основными качествами его дарованія, хорошо ему удается.

«Пѣтушковъ» очевидно писанъ подъ вліяніемъ Гоголя. Гоголь первый узаконилъ права міра «инфузорій» на воспроизведеніе въ литературѣ. Попытка его имѣла огромный успѣхъ, и анализъ чувствъ Акакія Акакіевича поставилъ «Шинель» въ глазахъ современниковъ на ряду съ первыми произведеніями великаго обличителя земли русской. Съ тѣхъ-поръ мелкіе, приниженные люди получаютъ права гражданства, становятся любимою темою беллетристики. Тургеневъ поддался общему направленію и въ «Пѣтушковѣ» захотѣлъ изобразить тихую, но тѣмъ не менѣе, весьма сильную страсть нѣкоего безобиднаго поручика къ понравившейся ему булочницѣ Василисѣ. Разсказъ не безъ извѣстнаго интереса, но повсюду въ немъ проглядываетъ именно то, что авторъ «*желалъ, старался*», что-то такое обрисовать, да видно тема ему не особенно по сердцу и онъ не могъ скрыть искуственности своего вдохновенія. Задушевность тургеневскаго слога вслѣдствіе этого обстоятельства пропала, что сильно отзывается на общемъ впечатлѣніи.

«Пѣтушковъ» написанъ въ 1847 г. Слѣдующая повѣсть—«Дневникъ лишняго человѣка» помѣчена 1850 г. Не слѣдуетъ думать, что эти три года прошли безплодно для русской литературы. Нѣтъ, въ продолженіи ихъ Тургеневъ, побуждаемый успѣхомъ первыхъ очерковъ «Записокъ Охотника», обращаетъ на нихъ свое преимущественное вниманіе и менѣе занимается другими сторонами современной ему жизни. За то міросозерцаніе его становится все крѣпче и крѣпче, творческая зрѣлость возвышается и онъ своимъ «Дневникомъ» даетъ доказательство умѣнія подмѣчать особенности цѣлой эпохи, писать физіологію или вѣрнѣе патологію на этотъ разъ уже не единичнаго явленія, а цѣлаго общественнаго вѣянія.

X.

Всѣ «Повѣсти» Тургенева болѣе или менѣе для насъ «дѣла давно-минувшихъ дней», преданія если и не «старины глубокой», то все-же настолько неблизкой, что мы къ ней можемъ отнестись съ полной объективностью историка. Въ галлереѣ героевъ Тургеневскихъ повѣстей мы себя чувствуемъ какъ-бы въ музеѣ, гдѣ безъ задора «Злобы дня» можемъ заняться спокойнымъ анализомъ интересныхъ экземпляровъ. Условія современнаго быта настолько отличны отъ прежнихъ, весь строй жизни, которою мы живемъ, такъ не похожъ на прошедшій, что намъ часто приходится весьма сильно удивляться инымъ выставленнымъ субъектамъ. Не мыслимъ теперь Колосовъ, не мыслимъ Лучковъ, не мыслимъ Лучиновъ. Но если они немыслимы для нашего времени, мы все-таки понимаемъ возможность ихъ существованія въ прежнее. Тутъ вопросъ чисто хронологическій: не теперь, такъ прежде. Всѣ эти Колосовы, Лучковы, Лучиновы въ измѣненныхъ формахъ и теперь встрѣчаются. Но вотъ мы подходимъ съ вами, читатель, къ совершенно особаго рода явленію. На банкѣ,

къ которой мы теперь съ вами приближаемся, наклеенъ съ перваго раза непонятный ярлыкъ: «лишній человѣкъ». Какъ такъ «лишній человѣкъ»! восклицаете вы въ недоумѣніи. Всякое одушевленное существо уже въ силу одного того, что оно живетъ, не можетъ считаться лишнимъ. Природа ничего ненужнаго не производитъ и кто только намѣренно не отвращивается отъ полезнаго дѣла, тотъ всегда его найдетъ. А между тѣмъ авторъ «Дневника», человѣкъ искренній, которому можно повѣрить относительно истинности его намѣреній, категорически увѣряетъ, что онъ совсѣмъ лишній на Божіемъ свѣтѣ, что съ его исчезновеніемъ абсолютно ничего не измѣнится.

«Лишній, лишній. Отличное это придумалъ я слово. Чѣмъ глубже я вникаю въ самого себя, чѣмъ внимательнѣе разсматриваю всю свою прошедшую жизнь, тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ строгой истинѣ этого выраженія. Лишній—именно. Къ другимъ людямъ это слово не примѣняется.... Люди бываютъ злые, добрые, умные, глупые, пріятные и непріятные; но лишніе.... нѣтъ То есть: поймите меня: и безъ этихъ людей могла-бы вселенная обойтись.... конечно; но безполезность—не главное ихъ качество, не отличительный ихъ признакъ, и вамъ, когда вы говорите о нихъ, слово «лишній» не первое приходитъ на языкъ. А я....про меня ничего другого и сказать нельзя: лишній—да и только. Сверхъ-штатный человѣкъ—вотъ и все. На мое появленіе природа очевидно не разсчитывала и вслѣдствіе этого обошлась со мной, какъ съ нежданнымъ и незваннымъ гостемъ. Не даромъ про меня сказалъ одинъ шутникъ, большой охотникъ до проферанса, что моя матушка мною обремизилась».

Эту безпощадную характеристику самаго себя, это самоуничиженіе, превосходящее таковое Гамлета Щигровскаго ѣзда, авторъ «Дневника» добавляетъ еще слѣдующимъ картиннымъ сравненіемъ:

«Помнится, однажды ѣхалъ я изъ Москвы въ дилижансѣ. Дорога была хороша, а ямщикъ въ четверкѣ рядомъ припрегъ еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе безполезная лошадь, кое-какъ привязанная къ передку толстой, короткой веревкой, которая немилосердно рѣжетъ ей ляшку, третъ хвостъ, заставляетъ ее бѣжать самымъ неестественнымъ образомъ и придаетъ всему ея тѣлу видъ запятой, всегда возбуждаетъ мое глубокое сожалѣніе. Я замѣтилъ ямщику, что, кажется, можно было на сей разъ обойтись безъ пятой лошади.... Онъ помолчалъ, тряхнулъ затылкомъ, стегнулъ ее въ затяжку

разъ десятокъ кнутомъ черезъ худую спину подъ раздутый животъ—и не безъ усмѣшки промолвилъ: «Вѣдь вишь, въ самомъ дѣлѣ, приплелась! На кой чортъ?»

И я вотъ приплелся....»

«Лишній человѣкъ»—безъ сомнѣнія уродливое явленіе и долженъ всякаго поражать своимъ безобразіемъ въ томъ видѣ какъ является у Тургенева. Съ перваго взгляда, не проникши въ сущность этого лица, вы готовы порицать автора за воспроизведеніе больничной фигуры Чулкатурина; такъ непохожимъ представляется вамъ сначала послѣдній на другихъ, такъ рѣзко онъ отъ нихъ отличается. Но все это вамъ кажется при поверхностномъ взглядѣ. Займемся повнимательнѣе чахоточнымъ героемъ «Дневника», проанализируемъ основные элементы его характера и можетъ быть мы тогда убѣдимся, что значеніе Чулкатурина глубже, что онъ представляетъ можетъ быть и грустный, но все-же вѣрный символъ жизни русской интеллигенціи прежняго времени.

Уже въ введеніи къ настоящему труду мы замѣтили, что въ продолженіи всей русской исторіи новѣйшаго періода замѣчается постоянный разладъ между парадною, оффиціальною стороною нашего житья-бытья и внутренною, интимною. Если въ первые годы послѣ петровской реформы заслуга быть ближе къ ходу общечеловѣческаго прогресса была на сторонѣ оффиціальнаго покрова русской жизни, то вскорѣ это распредѣленіе мѣняется. По мѣрѣ все большаго и большаго усвоенія русскимъ народомъ основныхъ началъ общеевропейской гражданственности, изъ массы начинается выдвигаться кружокъ, сначала немногочисленный, но потомъ постоянно увеличивающійся новыми сочленами. Кружокъ этотъ совмѣщаетъ всѣ лучшія силы русской земли. Все то, чѣмъ Россія гордится, выходитъ изъ его нѣдръ. Во времена Екатерины кружокъ еще не особенно богатъ членами, но уже въ началѣ нынѣшняго столѣтія онъ перестаетъ быть «кружкомъ», а переходитъ въ то, что мы называемъ «русское общество». Оно находится въ глубокомъ разладѣ съ окружающею обстановкою, въ средѣ его царствуютъ идеи и идеалы, радикально расходящіеся съ

условіями существованія власть имѣющихъ началъ. Съ каждымъ годомъ усиливается его неудовольствіе противъ ему современнаго, все сильнѣе и сильнѣе, опредѣленнѣе и опредѣленнѣе выражается его протестъ. Но не всегда примѣнимо изрѣченіе женевскаго идеалиста, не всегда желать значитъ мочь. Бываютъ времена, когда самыя прекрасныя намѣренія разбиваются о неопреодолимыя препятствія. Въ данномъ случаѣ оно и было. Попытка наглядно выразить чувства его проникавшія не удалась русскому обществу и ему пришлось въ самомъ себѣ затаить свое горе и неудовольствіе. Послѣднее становится жгучѣе и мучительнѣе, такъ какъ впереди еще не виднѣлась заря новаго порядка, не видно было предвѣстниковъ другаго строя. Неудивительно, если литература переполняется типами недовольныхъ существующимъ. Люди эти, нерѣдко сами не могутъ себѣ дать вполнѣ точнаго и яснаго отчета о своемъ состояніи, въ умственной неразвитости своей они не могутъ такъ глубоко вдаться въ анализъ причинъ душевнаго настроенія своего, но за то тѣмъ легче сдѣлать это намъ. Теперь, когда явленіе, о которомъ идетъ рѣчь, составляетъ уже полное достояніе исторіи, когда ясно обнаружились факторы прежняго образа жизни, намъ можно безошибочно указать на причины, прежде ускользавшія отъ наблюденія.

Первый по времени литературный типъ недовольнаго — это Евгеній Онѣгинъ. Рисуя своего героя, Пушкинъ былъ вполнѣ вѣренъ дѣйствительности, онъ констатировалъ фактъ, въ истинности котораго невозможно было сомнѣваться. Писаревъ, въ своемъ увлеченіи вандализмомъ противъ прошлаго, низвелъ недовольство Онѣгина на ступень барской прихоти, бѣснованія отъ жира. Здѣсь не мѣсто спорить противъ такого взгляда, нелѣпость его слишкомъ сильно бьетъ въ глаза, несомнѣнно лишь то, что значеніе Онѣгина гораздо глубже, нежели полагалъ талантливый представитель реализма шестидесятыхъ годовъ. Мы по крайней мѣрѣ видимъ въ Онѣгинѣ весьма яркое отраженіе того неудовольствія окружающимъ, что съ такою силою стало проявляться съ начала текущаго столѣтія и достигло апогея въ концѣ сороковыхъ годовъ.

Извѣстное настроеніе, извѣстное чувство, распространяясь на большее количество людей, теряетъ характеръ строгой сознательности и человѣкъ, даже не особенно много думающій, какъ-бы въ воздухѣ, которымъ дышетъ, находитъ сѣмяна общаго настроенія, которое и въ немъ начинаетъ пускать ростки. Когда извѣстная сила распредѣляется между многими факторами, то интенсивность ея въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ неизбѣжно уменьшается. Слѣдовательно, если мы въ Онѣгинѣ и не замѣчаемъ стройнаго, оформленнаго міросозерцанія, то онъ все-же какъ дитя своего времени несомнѣнно указываетъ, что въ обществѣ, изъ котораго онъ вышелъ, созрѣлъ протестъ противъ существующаго. А въ такомъ случаѣ мы, не опасаясь упрека въ натяжкѣ, имѣемъ право искать причины разсматриваемаго явленія даже тамъ, гдѣ Онѣгинъ ихъ и не подозрѣваетъ.

Онѣгинъ, а вслѣдъ за нимъ Печоринъ представляютъ еще самые просвѣщенные типы недовольныхъ. При нѣкоторомъ умственномъ напряженіи они бы и сами дошли до полнаго объясненія своего состоянія. Другіе типы недовольныхъ менѣе интеллигентны и нужно не мало труда, чтобы очистить толстую кору постороннихъ вліяній и добраться до сущности. Если вы въ срединѣ обширнаго озера произведете взрывъ, вода вокругъ быстро придетъ въ сильное волненіе и огромными волнами обнаружитъ нарушеніе своего покоя. Но по мѣрѣ распространенія своего сила волнъ все уменьшается и уменьшается, все болѣе и болѣе удаляясь отъ причины своего ненормальнаго состоянія. Если наблюдатель случайно будетъ находиться на берегу, то безъ сомнѣнія видъ волнъ приведетъ его въ недоумѣніе: съ перваго раза, ни о чемъ непредъувѣдомленный, онъ будетъ теряться въ догадкахъ причинъ страннаго явленія и откроетъ ихъ только послѣ внимательнаго анализа мѣстности, гдѣ дѣло происходитъ. Тоже самое съ типами недовольныхъ. Болѣзнь вѣка претерпѣваетъ самыя разнообразныя метаморфозы и въ различныхъ видахъ выходитъ наружу. Вотъ отчего съ перваго взгляда можетъ показаться парадоксомъ мысль о духовномъ родствѣ Онѣгина

съ Чулкатуринымъ. Что общаго, скажутъ намъ,—между пресыщеннымъ побѣдами и успѣхами въ жизни героемъ Пушкинской поэмы и робкимъ, мнительнымъ авторомъ, «Дневника лишняго человѣка». Одинъ страдаетъ оттого, что удача ему надоѣла, другой оттого, что она ему не далась. Всѣ эти возраженія вполнѣ справедливы, но они ничуть не вліяютъ на высказанную нами мысль. Да, Онѣгинъ и Чулкатуринъ недовольны отъ различныхъ причинъ, но тѣмъ не менѣе ихъ неудовольствіе выросло на одной и той-же почвѣ. Еслибы сущность ихъ томленія не была-бы одна и та-же, они, при неодинаковости условій, должны были-бы придти къ различнымъ результатамъ. А между тѣмъ, ничего подобнаго не замѣчается. Многое заставляетъ насъ предполагать, что Чулкатуринъ, даже при удачѣ, едва-ли измѣнилъ-бы господствующій въ немъ духъ неудовлетворенности. И въ самомъ дѣлѣ. Чулкатуринъ—натура глубокая. Онъ чувствуетъ гораздо тоньше, чѣмъ окружающіе его. Если неудачи такъ сильно на него повліяли, то это намъ даетъ основаніе предполагать, что и въ противномъ случаѣ онъ не удовлетворился-бы достигнутымъ успѣхомъ. Въ большинствѣ случаевъ человѣкъ впечатлительный никогда не бываетъ пошлымъ. Чулкатуринъ человѣкъ къ тому еще далеко не безъ развитія, впечатлительный, стремящійся; слѣдовательно, мы не будемъ неправы, если предположимъ, что онъ едва-ли удовлетворился-бы мелкимъ чувствомъ, доставляемомъ жизненными «удачами». Не хуже разныхъ другихъ представителей провиціальной жизни, Чулкатуринъ былъ-бы очень удовлетворительнымъ помѣщикомъ, семьяниномъ и т. д. Но ему хотѣлось во чтобы ни то стало жить иною жизнью, чѣмъ окружающіе его, ему претило животное прозябаніе, погрязшее въ мелочахъ ежедневной жизни. Сознаніе, что онъ по многимъ качествамъ своимъ стоитъ выше тѣхъ самыхъ господъ, которые свысока на него смотрѣли, это чувство неотступно грызло его и не давало ему удовлетвориться какой нибудь вседневной дѣятельностью. Его нелюдимость, его неловкость въ обращеніи ничто иное, какъ слѣдствіе большихъ его требованій, не гармонирующихъ съ

данными ему отъ природы средствами. При другомъ порядкѣ вещей, онъ удовлетворился бы скромною долею хотя мелкаго труженника, но за то работающаго для великаго дѣла. Въ сороковыхъ же-годахъ, когда никакихъ опредѣленныхъ цѣлей не существовало, всякій-стремился къ грандіознымъ міровымъ цѣлямъ и понятно, что изъ этого кромѣ ряда разочарованныхъ людей ничего не выходило. Чулкатуринъ мельче плавалъ, нежели Рудины, но безъ общей съ ними закваски онъ не явился бы такимъ грустнымъ представителемъ предшествующей эпохи. Мы и не думаемъ его поставить наряду съ ними. Наши требованія несравненно скромнѣе и сводятся только къ тому, чтобы доказать, что Чулкатуринъ разновидность онѣгинскаго типа, разновидностъ положимъ крайне безобразная, но все таки имѣющая общіе признаки съ своимъ родоначальникомъ. Онѣгинъ — это первый періодъ общественной опухоли, первый признакъ злокачественной гангрены, указывающій на необходимость радикальной операціи; Чулкатуринъ-же — это крайній предѣлъ нагноенія — дальше при такихъ условіяхъ нарывъ не можетъ существовать совмѣстно съ нормальнымъ организмомъ. Онъ долженъ повлечь за собою гибель.

И такъ въ «Дневникѣ лишняго человѣка» мы имѣемъ дѣло съ концемъ патологическаго процесса на тѣлѣ русскаго общества. Послѣ него, въ слѣдующихъ произведеніяхъ Тургенева мы уже будемъ имѣть дѣло съ переломомъ русской жизни, съ наростаніемъ новаго порядка.

Помимо глубины основной своей тенденціи, «Дневникъ» чрезвычайно замѣчателенъ по художественной отдѣлкѣ. Несмотря на нѣсколько однообразный тонъ изложенія, онъ производитъ очень сильное впечатлѣніе обиліемъ поэтическихъ красотъ, какъ нельзя болѣе подходящихъ къ грустному настроенію всей повѣсти. Какъ не придти въ восторгъ напримѣръ отъ слѣдующаго мѣста.

«Мы гуляли довольно долго, до самаго вечера, и мало разговаривали. Я молчалъ, какъ всѣ неопытные любовники, а ей вѣроятно, нечего было мнѣ сказать; но она словно о чемъ-то размышляла и какъ-то особенно по-

качивала головой, задумчиво кусая сорванный листъ. Иногда она принималась идти впередъ, такъ рѣшительно.... а потомъ вдругъ останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругомъ съ приподнятыми бровями и разсѣянной усмѣшкой. Наканунѣ мы съ ней вмѣстѣ прочли «Кавказскаго Плѣнника». Съ какой жадностью она меня слушала, опершись лицомъ на обѣ руки и прислонясь грудью къ столу! Я было заговорилъ о вчерашнемъ чтеніи: она покраснѣла, спросила меня, далъ-ли я передъ отъѣздомъ снигирю конопляннаго сѣмени, громко запѣла какую-то пѣсенку и вдругъ замолчала. Роща съ одной стороны кончалась довольно высокимъ и крутымъ обрывомъ; внизу текла извилистая рѣчка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь, какъ волны, то широко разстилаясь скатертью, безконечные луга, кой-гдѣ перерѣзанные оврагами. Мы съ Лизой первые вышли на край рощи; Бизьмёнковъ остался позади съ старухой. Мы вышли, остановились и оба не вольно прищурили глаза: прямо противъ насъ, среди раскаленнаго тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдѣло; красные лучи били вскользь по лугамъ, бросая алый отблескъ даже на тѣнистую сторону враговъ, ложились огнистымъ свинцомъ по рѣчкѣ, тамъ, гдѣ она не пряталась подъ нависшіе кусты, и словно упирались въ грудь обрыву и рощѣ. Мы стояли, облитые горячимъ сіяніемъ. Я не въ состояніи передать всю страстную торжественность этой картины. Говорятъ, одному слѣпому красный цвѣтъ представлялся трубнымъ звукомъ; не знаю, на сколько это сравненіе справедливо, но дѣйствительно было что-то призывное въ этомъ пылающемъ золотѣ вечерняго воздуха, въ багряномъ блескѣ неба и земли. Я вскрикнулъ отъ восторга и тотчасъ обратился къ Лизѣ. Она глядѣла прямо на солнце. Помнится, пожаръ зари отражался маленькими огненными пятнышками въ ея глазахъ. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвѣчала на мое восклицаніе, долго не шевелилась, потупила голову.... Я протянулъ къ ней руку; она отвернулась отъ меня и вдругъ залилась слезами. Я глядѣлъ на нее съ тайнымъ, почти радостнымъ недоумѣніемъ.... Голосъ Бизьмёнкова раздался въ двухъ шагахъ отъ насъ. Лиза быстро отерла слезы и съ нерѣшительной улыбкой посмотрѣла на меня. Старуха вышла изъ рощи, опираясь на руку своего бѣлокураго вожатаго; оба въ свою очередь полюбовались видомъ. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнулъ, когда ей въ отвѣтъ прозвучалъ, какъ надтреснувшее стекло, разбитый голосокъ ея дочери. Между тѣмъ, солнце садилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назадъ. Я опять взялъ Лизу подъ руку. Въ рощѣ было еще свѣтло, и я ясно могъ различить ея черты. Она была смущена и не поднимала глазъ. Румянецъ, разлитый по всему ея лицу, не исчезалъ: словно она все еще стояла въ лучахъ заходящаго солнца.... Рука ея чуть касалась моей. Я долго не могъ начать рѣчи: такъ сильно билось во мнѣ сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучеръ шагомъ ѣхалъ къ намъ на встрѣчу по рыхлому песку дороги.

— Лизавета Кирилловна, промолвилъ я, наконецъ: отчего вы заплакали?

— Не знаю, возразила она, послѣ небольшаго молчанія, посмотрѣла на

меня своими кроткими, еще влажными отъ слезъ глазами—взглядъ ихъ показался мнѣ измѣненнымъ—и опять умолкла».

Вторую половину этой сцены мы привели для того, чтобы показать, что самъ Тургеневъ о своемъ героѣ не особенно дурнаго мнѣнія. Человѣкъ настолько тонко чувствующій какъ Чулкатуринъ, ни въ какомъ случаѣ пошлымъ названъ быть не можетъ. Если-бы въ немъ не засѣлъ Онѣгинскій червь, онъ жилъ-бы, можетъ быть, весьма «счастливо». Несчастіе его состояло только въ томъ, что онъ, подобно Гамлету Щигровскаго уѣзда, былъ преисполненъ хорошихъ намѣреній — и ничего болѣе. Между нимъ и Рудинымъ есть существенныя черты сходства, разница только та, что послѣдній есть блестящій представитель безхарактерности русской интеллигенціи, а Чулкатуринъ такое-же лице, но безъ достоинствъ, которыми Рудинъ обладаетъ. Создавая своего «Лишняго человѣка», авторъ очевидно задавался цѣлью произвести какъ можно болѣе сильное впечатлѣніе и вотъ почему при рисовкѣ Чулкатурина употребилъ весьма яркія краски. Цѣль его была достигнута: русское общество съ ужасомъ отшатнулось отъ нѣсколько обезображеннаго, но все-же похожаго изображенія своего, и въ увлеченіи своемъ открещивалось отъ какой-бы то ни было общности съ болѣзненною фигурою Чулкатурина. Этотъ ужасъ показывалъ, что въ русскомъ обществѣ уже созрѣла необходимость другаго строя, что инертность ему надоѣла и оно ищетъ широкаго поля дѣятельности, на которомъ-бы на свободѣ могли развернуться застоявшіяся силы.

Повѣсть «Три встрѣчи» всецѣло принадлежитъ въ область «искуства для искуства». О руководящей идеѣ тутъ не можетъ быть и рѣчи. Фигурально выражаясь, это благоуханный цвѣтокъ, ароматъ котораго съ наслажденіемъ впиваешь, но другихъ существенныхъ качествъ не представляющій. Тутъ вся суть въ отдѣлкѣ, въ переложеніи она теряетъ всю свою прелесть. Нужно заставить замолкнуть на нѣсколько времени

холодный умъ съ его требованіями и наслаждаться прелестною неопредѣленностью изложенія, нѣжнымъ колоритомъ всей повѣсти. Нужно заставить говорить самаго автора, вмѣсто того, чтобы анализомъ доходить до уразумѣнія выставленныхъ типовъ. Безподобная художественная отдѣлка закрываетъ ротъ критику, ищущему прежде всего мысли, а не формы. Поневолѣ начинаешь не особенно строго относиться къ эстетику, который видитъ мысль уже въ томъ обстоятельствѣ, что форма безукоризненна. Да, если всѣ приверженцы «искусства для искуства» будутъ разрабатывать свои сюжеты, какъ Тургеневъ въ «Трехъ встрѣчахъ», то споръ съ этимъ взглядомъ станетъ очень и очень затруднителенъ. Положимъ, логическіе принципы говорятъ вамъ другое, выставляютъ иныя требованія, но... но «грѣшить такъ пріятно» выражается кто-то, гдѣ-то. Тургеневу еще въ два раза скорѣе можно простить на ряду съ превосходною формою иногда появляющуюся безъидейность. Въ его произведеніяхъ, взятыхъ въ совокупности, такъ много мысли, что отсутствіе ея въ той или другой повѣсти болѣе чѣмъ легко ему прощается. Послѣ капитальныхъ вещей, составляющихъ эпоху въ литературѣ, Тургеневъ какъ-бы отдыхаетъ и балуется красивыми бездѣлушками. Въ его творчествѣ замѣчаются полосы, болѣе или менѣе обильныя плодами. Какъ у всякаго впечатлительнаго человѣка, настроеніе его не всегда одинаково и эти субъективныя особенности отражаются на сочиненіяхъ Тургенева весьма ощутительнымъ образомъ. Субъективность, проявляющаяся въ «Трехъ встрѣчахъ» настолько сильна, что вамъ дѣйствительно кажется истиннымъ описываемое происшествіе. Трудно вѣрится, чтобы путемъ кабинетнаго, абстрактнаго творчества могло вылиться подобная сцена.

«Я перешелъ черезъ широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился къ низкому плетню. Неподвижно лежалъ передо мною небольшой садъ, весь озаренный и какъ-бы успокоенный серебряными лучами луны — весь благовонный и влажный; разбитый по старинному, онъ состоялъ изъ одной продолговатой поляны. Прямыя дорожки сходились на самой ея серединѣ въ круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокія липы окружали ее ровной каймой. Въ одномъ только мѣстѣ прерывалась эта кайма

сажени на двѣ, и сквозь отверстіе виднѣлась часть низенькаго дома съ двумя къ удивленію моему, освѣщенными окнами. Молодыя яблони кое-гдѣ возвышались надъ поляной; сквозь ихъ жидкія вѣтви кротко синѣло ночное небо, лился дремотный свѣтъ луны; передъ каждой яблоней лежала на бѣлѣющей травѣ ея слабая, пестрая тѣнь. Съ одной стороны сада липы смутно зеленѣли, облитыя неподвижнымъ, блѣдно-яркимъ свѣтомъ; съ другой онѣ стояли всѣ черныя и непрозрачныя; странный, сдержанный шорохъ возникалъ по временамъ въ ихъ сплошной листвѣ; онѣ какъ будто звали на пропадавшія подъ ними дорожки, какъ будто манили подъ свою глухую сѣнь. Все небо было испещрено звѣздами; таинственно струилось съ вышины ихъ голубое, мягкое мерцанье; онѣ, казалось, съ тихимъ вниманьемъ глядѣли на далекую землю. Малыя, тонкія облака, изрѣдка налетая на луну, превращали на мгновеніе ея спокойное сіяніе въ неясный, но свѣтлый туманъ... Все дремало. Воздухъ, весь теплый, весь пахучій, даже не колыхался; онъ только изрѣдка дрожалъ, какъ дрожитъ вода, возмущенная паденіемъ вѣтки... Какая-то жажда чувствовалась въ немъ, какое-то млѣніе.... Я нагнулся черезъ плетень: передо мной красный полевой макъ поднималъ изъ заглохшей травы свой прямой стебелекъ; большая круглая капля ночной росы блестѣла темнымъ блескомъ на днѣ раскрытаго цвѣтка. Все дремало, все нѣжилось вокругъ; все какъ будто глядѣло вверхъ, вытянувшись, не шевелясь и выжидая.... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?

Звука ждала она; живаго голоса ждала эта чуткая тишина — но все молчало. Соловьи давно перестали пѣть... а внезапное гудѣніе мимолетнаго жука, легкое чмоканье мелкой рыбы въ сажалкѣ за липами на концѣ сада, сонливый свистъ встрепенувшейся птички, далекій крикъ въ полѣ, до того далекій, что ухо не могло различить, человѣкъ-ли это прокричалъ, или звѣрь, или птица, короткій, быстрый топотъ по дорогѣ: всѣ эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину.... Сердце во мнѣ томилось неизъяснимымъ чувствомъ, похожимъ не то на ожиданье, не то на воспоминаніе счастія. Я не смѣлъ шевельнутся, я стоялъ неподвижно передъ этимъ неподвижнымъ садомъ, облитымъ и луннымъ свѣтомъ и росой, и, не знаю самъ почему, неотступно глядѣлъ на тѣ два окна, тускло краснѣвшія въ мягкой полутѣни, какъ вдругъ раздался въ домѣ аккордъ, — раздался и прокатился волною.... Раздражительно-звонкій воздухъ отгрянулъ эхомъ.... я невольно вздрогнулъ.

Вслѣдъ за аккордомъ раздался женскій голосъ... Я жадно сталъ вслушиваться—и... могу-ли выразить моё изумленіе?... Два года тому назадъ въ Италіи, въ Сорренто, слышалъ я ту-же самую пѣсню, тотъ-же самый голосъ... Да, да...

Vieni pensando a me segretamente...

Это они, я узналъ ихъ, это тѣ звуки.... Вотъ какъ это было. Я возвращался домой, послѣ долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шелъ по улицѣ; уже давно настала ночь, — великолѣпная ночь, южная, не тихая и

грустно задумчивая, какъ у насъ, нѣтъ! вся свѣтлая, роскошная и прекрасная, какъ счастливая женщина въ цвѣтѣ лѣтъ: луна свѣтила невѣроятно ярко; большія, лучистыя звѣзды, такъ и шевелились на темно-синемъ небѣ; рѣзко отдѣлялись черныя тѣни отъ освѣщенной до желтизны земли. Съ обѣихъ сторонъ улицы тянулись каменныя ограды садовъ; апельсинныя деревья поднимали надъ ними свои кривыя вѣтки, золотые шары тяжелыхъ плодовъ то чуть виднѣлись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдѣли, пышно выставившись на луну. На многихъ деревьяхъ нѣжно бѣлѣли цвѣты; воздухъ весь былъ напоенъ благовоніемъ, томительно-сильнымъ, острымъ и почти тяжелымъ, хотя невыразимо сладкимъ. Я шелъ и, признаваться, успѣвъ уже привыкнуть ко всѣмъ этимъ чудесамъ, думалъ только о томъ, какъ-бы поскорѣй добраться до моей гостинницы, какъ вдругъ изъ одного небольшаго павильона, надстроеннаго надъ самой стѣной ограды, вдоль которой я спѣшилъ, раздался женскій голосъ. Онъ пѣлъ какую-то пѣсню, мнѣ незнакомую, и въ звукахъ его было что-то до того призывное, онъ до того казался самъ проникнутъ страстнымъ и радостнымъ ожиданіемъ, выраженнымъ словами пѣсни, что я тотчасъ невольно остановился и поднялъ голову. Въ павильонѣ было два окна; но въ обоихъ жалузи были спущены, и сквозь узкія ихъ трещинки едва струился матовый свѣтъ. Повторивъ два раза — vieni, vieni, голосъ замеръ; послышался легкій звонъ струнъ, какъ-бы отъ гитары, упавшей на коверъ, платье зашелестѣло, полъ слегка скрипнулъ. Полоски свѣта въ одномъ исчезли... кто-то изнутри подошелъ и прислонился къ нему. Я сдѣлалъ два шага назадъ. Вдругъ жалузи стукнуло и распахнулось; стройная женщина, вся въ бѣломъ, быстро выставила изъ окна свою прелестную голову и, протянувъ ко мнѣ руки, проговорила: «Sei tu?». Я потерялся, не зналъ что сказать, но въ то-же мгновеніе незнакомка съ легкимъ крикомъ откинулась назадъ, жалузи захлопнулось, и огонь въ павильонѣ еще болѣе померкъ, какъ будто вынесенный въ другую комнату. Я остался неподвиженъ и долго не могъ опомниться. Лицо женщины, такъ внезапно появившейся передо мною, было поразительно прекрасное. Оно слишкомъ быстро мелькнуло передъ моими глазами для того, чтобы я могъ тотчасъ-же запомнить каждую отдѣльную черту но общее впечатлѣніе было несказанно сильно и глубоко.... Я тогда-же почувствовалъ, что этого лица я ввѣкъ не забуду. Мѣсяцъ ударялъ прямо въ стѣну павильона, въ то окно, откуда она мнѣ показалась, и Боже мой! какъ великолѣпно блеснули въ его сіяніи ея большіе темные глаза! какой тяжелой волной упали ея полу-распущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой нѣги въ мягкомъ склоненіи ея стана, сколько ласки въ ея голосѣ, когда она окликнула меня—въ этомъ торопливомъ, но все еще звонкомъ шопотѣ!»

Читатели, надѣемся, легко простятъ намъ длинную выписку. Въ приведенныхъ мѣстахъ разбросано столько поэтическихъ красотъ, гоголевскою кистью набросана такая пора-

зительно-яркая картина лѣтней ночи, что намъ становится вполнѣ понятно, отчего Тургеневъ, нѣсколько лѣтъ даже до появленія «Рудина», въ рецензіяхъ тогдашнихъ журналовъ всегда появлялся съ эпитетомъ «любимый публикой писатель». Дѣйствительно, трудно было не полюбить автора, который весь раскрывался передъ читателемъ, который своей интересною субъективностью вводилъ въ привлекательный внутренній міръ развитаго и тонко-чувствующаго человѣка. На «Трехъ встрѣчахъ» печать личности автора необыкновенно сильна и ею объясняется неотдѣланность повѣсти, ея эскизный характеръ. «Три встрѣчи» кончаются ничѣмъ: любопытство читателя такъ любопытствомъ и остается. Оно неудовлетворяется таинственной полу-развязкой, что и придаетъ всей повѣсти свойство дѣйствительнаго приключенія, происшествія, которое въ сущности довольно неинтересно само по себѣ, но приковывающаго наше вниманіе въ первоклассномъ изложеніи творца «Записокъ Охотника». Читающая публика недаромъ такъ скоро и рано отдала свои симпатіи автору «Трехъ встрѣчъ». Она инстинктивно понимала, что такая первоклассная форма рано или поздно должна натолкнуться на первоклассный сюжетъ и совокупность этихъ двухъ качествъ беллетристическаго произведенія сольется въ одно прекрасное цѣлое.

Слѣдующая повѣсть «Муму» появилась въ «Современ.» на 1854 г. (№ 3). Она распадается на двѣ части: на изображеніе барской жизни прежняго времени и на постановку характера глухонѣмаго дворника Герасима. Обѣ задачи исполнены весьма удовлетворительно. Выполненіе второй части повѣсти показываетъ въ Тургеневѣ замѣчательное чутье правды. Въ самомъ дѣлѣ: какъ легко можно было увлечься сентиментальностью при воспроизведеніи такого обиженнаго природою существа, какъ глухонѣмой Герасимъ. Въ воображеніи автора такъ и мелькаетъ при этомъ Квазимодо изъ «Парижской Богоматери», такъ и соблазняетъ его придать

дѣлу мелодраматическій характеръ, который не такъ строго будетъ обсужденъ вслѣдствіе необыденности выставляемой личности. Но Тургеневъ не погнался за дешевымъ эффектомъ и въ угоду ему не пожертвовалъ требованіями дѣйствительности. Его исторія любви нѣмаго къ собачкѣ, и безъ всякихъ прикрасъ, вышла достаточно «трогательна». Дѣйствительность, ежедневная жизнь тоже иногда содержитъ свои глубокія драмы и нужно только хорошенько въ нихъ всмотрѣться, чтобы найти тамъ эффекты, не менѣе поразительные, чѣмъ таковые французской романтической школы. Возьмите хотя-бы того-же Герасима. Природа наградила его силою, цвѣтущимъ здоровьемъ, которыя въ свою очередь породили въ немъ жажду и потребность дѣятельности. Не зная никакихъ другихъ потребностей, онъ вполнѣ доволенъ сознаніемъ исполненной обязанности. Когда онъ сдѣлаетъ свое дѣло — онъ чувствуетъ себя въ самомъ лучшемъ состояніи. Но человѣкъ не созданъ изъ одной положительности. Сердце, даже у глухонѣмаго, отъ времени до времени предъявляетъ свои права и настойчиво требуетъ удовлетворенія. Глухому Гараськѣ понравилась дворовая дѣвка — горничная Татьяна и онъ на свой неловкій манеръ начинаетъ за ней ухаживать. Но любовь вслѣдствіе разныхъ причинъ вышла неудачна. Тургеневъ не заставилъ, однакоже, своего глухаго придти въ бѣшенство и обнаружить какія-нибудь звѣрскія наклонности. Лучше понимая глубокую славянскую натуру, авторъ рѣшилъ, что взрывъ страстей не особенно будетъ подходящъ къ ней. Но развѣ не заключается цѣлая драма въ слѣдующихъ словахъ.

«Герасимъ постоялъ, поглядѣлъ на нее, махнулъ рукой, усмѣхнулся и пошелъ, тяжело ступая, въ свою каморку. Цѣлыя сутки не выходилъ онъ оттуда. Форейторъ Антипка сказывалъ потомъ, что онъ сквозь щелку видѣлъ, будто Герасимъ, сидя на кровати и приложивъ къ щекѣ руку тихо, мѣрно и только изрѣдка мыча—пѣлъ, т. е. покачивался, закрывалъ глаза и встряхивалъ головой, какъ ямщики или бурлаки, когда они затягиваютъ свои заунывныя пѣсни. Антипкѣ стало жутко, и онъ отошелъ отъ щели».

Не одному Антипкѣ должно было жутко стать. Тихое, но сильное горе производитъ на насъ гораздо болѣе сильное

впечатлѣніе, чѣмъ порывистое, театральное. Нѣмое страдающее лицо — говоритъ само за собою и совершенно инстинктивно возбуждаетъ вашу симпатію. Вотъ отчего вся повѣсть о привязанности Герасима къ найденной имъ собачкѣ такъ неотразимо, такъ сильно дѣйствуетъ на читателя. Не знаемъ, какъ другіе, но авторъ настоящаго труда, рискуя получить заслуженный упрекъ въ сентиментальности, долженъ сознаться, что неоднократное чтеніе «Муму» всегда вызывало на его глаза слезы. Есть что-то глубоко щемящее за сердце въ любви одного безсловеснаго существа къ другому такому-же безсловесному, въ этомъ союзѣ полнаго силъ глухаго богатыря съ слабымъ, безпомощнымъ созданіемъ.

Отрѣшившись на этотъ разъ отъ какихъ бы то ни было соціальныхъ темъ, Тургеневъ задался разрѣшеніемъ интересной психологической задачи и, нужно ему отдать справедливость, исполнилъ ее весьма удачно. Онъ не заставилъ своего Герасима броситься въ воду вмѣстѣ съ утапливаемой имъ собаченкой, не послалъ его совершать какой-нибудь экцентричный подвигъ. Съ перваго раза кажется нѣсколько страннымъ и непопятнымъ, что глухой дворникъ, который любилъ найденную имъ собачку не въ меньшей степени, чѣмъ мать своего ребенка, самъ-же рѣшается, по приказанію своей барыни, исполнить смертный приговоръ надъ обласканнымъ имъ животнымъ. Но противорѣчіе это только кажущееся. Герасимъ выросъ при условіяхъ, совершенно отличныхъ отъ обыкновенныхъ. Не имѣя частыхъ сношеній съ людьми и не имѣя возможности ближе узнать ихъ дряность, онъ все принимаетъ за чистую монету. Всякій человѣческій поступокъ является въ его глазахъ имѣющимъ несомнѣнную основательную подкладку. На этомъ основаніи барыня его, которую онъ никогда и въ глаза не видѣлъ, представляется въ его искренемъ міросозерцаніи чѣмъ-то высшимъ, миѳическимъ. Онъ видитъ какъ всѣ приказанія барыни безпрекословно исполняются, видитъ, что нѣсколько десятковъ людей только для того и существуютъ, чтобы угождать и поддерживать дряхлую старуху. Неудивительно послѣ этого, что Герасимъ,

все мѣряющій на свой честный, откровенный и прямой аршинъ, проникается твердымъ убѣжденіемъ, что воля этой самой барыни должна быть для него высшимъ закономъ. Долгъ въ его глазахъ имѣетъ очень важное значеніе и онъ не позволяетп себѣ ни на шагъ отъ него отступать. Поэтому не въ Герасимѣ готовность исполнить жестокую волю барыни была-бы неестественна, но нашъ-глухонѣмой, при чрезвычайности тѣхъ обстоятельствъ, которыя создали его нравственный міръ, очень легко могъ себѣ привить добродѣтели, отзывающіяся древнимъ Римомъ. Такія фигуры, какъ Герасимъ, дѣлаютъ для насъ уже не столь непонятными нѣкоторые факты изъ античной исторіи, когда человѣкъ былъ менѣе испорченъ и въ основу всѣхъ его поступковъ и дѣйствій ложилось *должное*. Герасимъ—дитя природы, индѣйская фигура Фенимора Куипера, только съ большею долею жизненной правды. Слѣдовательно, рѣшимость собственными руками утопить «Муму» указываетъ намъ не на ошибку автора, а на желаніе его нарисовать намъ крѣпкую натуру, которая должна пристыдить разныхъ «лишнихъ людей» активностью своего нравственнаго существа. У Герасима было свое горе, не менѣе глубокое, чѣмъ у Чулкатурина и все таки онъ не раскисъ, и не превратился въ вѣчно-ноющее существо. Главную причину тутъ слѣдуетъ искать въ томъ, что Герасимъ имѣлъ свое дѣло, свою обязанность, между тѣмъ какъ Гамлеты Щигровскаго уѣзда и Чулкатурины жили диллетантами и отъ бездѣлья въ два раза сильнѣе хныкали. Они не имѣли того великаго утѣшенія больной души, что пріобрѣтается сознаніемъ исполненнаго долга и трудовой жизни.

«Два Пріятеля» интересны для насъ личностью одного изъ «Двухъ Пріятелей» — Вязовнина. Интересенъ онъ для насъ тѣмъ, что представляетъ собою *средній* типъ недовольныхъ людей. Онѣгинъ, Печоринъ—наиболѣе уваженія достойные изъ прежнихъ Kulturträgero'въ нашихъ, Чулкатуринъ—

наименѣе имѣющій право претендовать на подобныя чувства по отношенію къ нему. Вязовнинъ-же занимаетъ средину и потому только слегка скучаетъ, слегка тоскуетъ, имѣетъ слегка возвышенные идеалы; онъ не пошлякъ и не идеалистъ; добръ, больше по мягкости характера, однимъ словомъ «золотая середина»—но середина недовольная, потому что онъ неудовлетворяется своимъ тихимъ безмятежнымъ «счастіемъ» и при всемъ томъ, что любитъ и даже уважаетъ свою молодую жену—его тянетъ въ большой городъ, за границу, чтобы увидѣть вокругъ себя настоящую жизнь, а не физіологическое проростаніе. Если недовольствіе настоящимъ проникло до сознанія Вязовнинныхъ, то мы въ этомъ должны усмотрѣть ясное указаніе о томъ, что «кружокъ», про который мы говорили при разборѣ «Дневника лишняго человѣка», къ концу сороковыхъ годовъ принялъ самые широкіе размѣры и увлекалъ за собою всякого мало-мальски развитого человѣка. Новый порядокъ долженъ былъ настать, потому что все русское общество съ нетерпѣніемъ его ожидало.

Слѣдующая за «Двумя пріятелями» повѣсть «Затишье» принадлежитъ къ тѣмъ, которыя мы причислили-бы къ «Oeuvres choisies» Тургенева, еслибы онъ захотѣлъ выпустить въ свѣтъ подобное изданіе. Помимо другихъ интересныхъ лицъ «Затишье» выдвигаетъ на первый планъ такіе два типа, которые не должны быть забыты, если обнять умственнымъ взоромъ прошлое нашего общества. Впрочемъ мы не особенно настаиваемъ на словѣ *типъ*, по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ героинѣ—Машѣ. Такія женщины составляютъ исключеніе и показываютъ только, какія крѣпкія фигуры иной разъ выдвигаетъ неказистая родная обстановка.

«Марья Павловна его поразила. Давно не видывалъ онъ такой прямо русской, степной красоты. Она скоро вернулась, сѣла на диванъ, и осталась неподвижной. Волосы свои она убрала, но платья не перемѣнила, не надѣла даже манжетокъ. Черты ея лица выражали не то, чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лобъ ея былъ широкъ и низокъ, носъ коротокъ и прямъ; лѣнивая и медленная усмѣшка изрѣдка кривила ея губы; презрительно хмурились ея прямыя брови. Она почти постоянно держала свои большіе, темные глаза опущенными. Я знаю, казалось, говорило ея непривѣтное молодое лицо,

я знаю, что вы всѣ на меня смотрите, ну смотрите, надоѣли! Когда-же она поднимала свои глаза, въ нихъ было что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взоръ лани. Сложена она была великолѣпно. Классическій поэтъ сравнилъ бы ее съ Церерой или Юноной».

Маша является не совсѣмъ одинокою въ галлереѣ Тургеневскихъ портретовъ. Въ одномъ изъ капитальнѣйшихъ произведеній нашего беллетриста, въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», главное дѣйствующее лице — Лиза Калитина носитъ на себѣ очень многія черты сходства съ нею. Обѣ онѣ отличаются совершеннымъ отсутствіемъ даже намека на мелодраматичность и глубокій трагизмъ ихъ фигуръ имѣетъ единственною причиною самую сущность ихъ положенія. Маша звѣздъ съ неба, какъ и Лиза, не хватаетъ, она не любитъ такъ называемыхъ «умныхъ» разговоровъ, но тѣмъ не менѣе ею способенъ заинтересоваться даже развитой человѣкъ, потому что (повторяемъ это опять) нравственная мощь въ какихъ-бы формахъ она не проявлялась всегда производитъ свое дѣйствіе. Все равно какъ даже прожившій много лѣтъ въ вихрѣ европейской жизни, гдѣ нибудь въ Парижѣ или въ Лондонѣ, съ наслажденіемъ можетъ провести время среди здороваго населенія американскаго «Fare West», проводящаго свою жизнь среди ободряющаго воздуха первобытныхъ лѣсовъ, такъ и взоръ наблюдателя, утомленный тепличными фигурами большинства нашихъ интеллигентныхъ женщинъ прежняго времени, вѣчно находившихся въ какомъ-то слащавомъ неопредѣленномъ томленіи, съ отрадою останавливается на нетронутой «черноземной» натурѣ Маши. Цивилизація, съ своею неизбѣжною спутницею—пошлостью, не положила еще на нее своихъ желѣзныхъ лапъ и она во всей своей первобытной крѣпости является предъ нашимъ умственнымъ взоромъ. Вы имѣете дѣло съ богатой золотоносной жилой, которую нужно умѣючи эксплоатировать, чтобы достигнуть самыхъ успѣшныхъ результатовъ.

Мы не будемъ дѣлать выписокъ изъ прелестныхъ страницъ «Затишья»; желающіе провѣрить наши взгляды пусть возобновятъ въ своей памяти фигуры дѣйствующихъ лицъ,

еще разъ перечитавъ повѣсть. Наше дѣло—только пріохотить ко вторичному чтенію.

Какъ и въ Лизѣ Калитиной, кромѣ грандіозности финала, въ «Затишьѣ» очень мало крупныхъ чертъ, которыя оправдывали-бы данную намъ характеристику Маши. Но этихъ крупныхъ чертъ никто и не вправѣ отъ насъ и требовать. Откуда-же въ Курской губерніи взяться случаямъ, гдѣ-бы проявлялись эти самыя черты? Подвернулся —одинъ ну, Маша и показала свой «характеръ». А тамъ въ обыденной жизни намъ приходиться уже нѣсколько прибѣгнуть къ «философіи», чтобы въ достаточной степени оцѣнить степную Юнону. За ея угрюмостью и суровостью нескрывается ничего черстваго, ничего жесткаго. Когда она поетъ малороссійскія пѣсни, то задушевности, съ которою она это дѣлаетъ слишкомъ достаточно, чтобы изгнать всякое подобное подозрѣніе. Замѣчательная черта въ степной барышнѣ — она не любитъ «сладкихъ» стиховъ. Но за то глубокая поэзія Пушкинскаго «Анчара» производитъ на нее очень сильное впечатлѣніе и она съ наслажденіемъ нѣсколько разъ перечитываетъ прекрасное стихотвореніе. Полюбивъ Веретьева за ширину его натуры, она не можетъ, однакоже, равнодушно видѣть его шутовства и дѣлаетъ ему по этому случаю весьма горькіе упреки. Полюбила она тоже не «такъ себѣ», слегка, отъ скуки. Любовь ея не порывистая, южная, которая именно вслѣдствіе страстности своей, очень часто остываетъ, но за то теряя во внѣшности, она выигрываетъ во внутреннемъ содержаніи и счастливъ тотъ мущина, которому удалось нарушить покой ея дѣвственнаго сердца. Самоубійство Маши не доказываетъ, какъ оно бываетъ въ другихъ случаяхъ, слабости ея характера. Маша не сдѣлала такъ называемаго «роковаго шага»: былъ Веретьевъ, сплылъ Веретьевъ — «общественное мнѣніе» недѣлало никакихъ двусмысленныхъ сопоставленій, значитъ причина самоубійства Маши не имѣло причиною малодушіе. Все равно какъ пожаръ въ американскомъ дѣвственномъ лѣсу всегда принимаетъ грандіозные размѣры, вслѣдствіе обилія горючаго матеріала, такъ и от-

носительно Маши чувство къ Веретьеву вслѣдствіе неимолетности и глубины своей, должно было окончиться не такъ, какъ кончаются въ большинствѣ случаевъ такія вещи. Не любящей сладкихъ стиховъ барышнѣ болѣе всего приличпа такая развязка, которую мы встрѣчаемъ у Тургенева. Къ тому-же вѣдь общая участь хорошихъ русскихъ какъ мущинъ такъ и женщинъ та, что рано или поздно они погибаютъ, при чемъ даже наиболѣе отдаленный срокъ этого «поздно» всегда застаетъ ихъ еще въ полномъ разцвѣтѣ силъ.... Маша разомъ погибаетъ для общества, Лиза Калитина хотя и остается въ живыхъ, но польза отъ такого оботоятельства не большая, потому что какъ въ могилѣ, такъ и въ монастырѣ обѣ дѣвушки похоронены въ одинаковой степени.....

Широкая россійская натура—Веретьевъ кончаетъ свою жизнь трактирнымъ засѣдателемъ. Авторъ «Затишья» насъ увѣряетъ, что въ такомъ финалѣ ничего удивительнаго нѣтъ, потому что изъ Веретьевыхъ будто-бы ничего никогда не выходитъ. Мы не совсѣмъ съ нимъ согласны и разсуждаемъ такимъ образомъ: что такое человѣкъ какъ не извѣстное собраніе какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ силъ, которыя смотря по обстоятельствамъ, такъ или иначе могутъ быть направлены. Веретьевъ неиспорченъ, не развращенъ, въ немъ много талантовъ—отчего-же ему заслуживать горькую участь, удѣленную ему авторомъ. Правильное общественное устройство, возможность развернуть свои силы и способности—вотъ условія, при которыхъ богато-одаренные Веретьевы не пропадутъ безъ пользы для общества. Прежде, когда образованные, развитые люди могли жить безъ угрызеній совѣсти, не имѣя никакого опредѣленнаго занятія — Веретьевы при артистичности своихъ натуръ нерѣдко превращались въ своего тургеневскаго образца, но поставленные въ необходимость трудомъ поддерживать свое существованіе— они должны вполнѣ опровергнуть вышеупомянутое мнѣніе Тургенева.

«Переписка» составляетъ продолженіе физіологіи русскихъ Гамлетовъ и Лишнихъ Людей и также какъ «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» болѣе похожа на философско-публицистическое изслѣдованіе, чѣмъ на беллетристическое произведеніе. На сцену опять выступаетъ самобичующійся россійскій дворянинъ, находящій утѣху въ томъ, чтобы копошиться въ своихъ «внутренностяхъ» и оттуда извлечь сознаніе своей непригодности.

«Каждый дѣлаетъ свою судьбу—да!... Но нашъ братъ слишкомъ много ее дѣлаетъ — вотъ въ чемъ наша бѣда!. Слишкомъ рано пробуждается въ насъ сознательность; слишкомъ рано мы начинаемъ наблюдать за самими-собою.... *У насъ Русскихъ нѣтъ другой жизненной задачи, какъ опять-таки разработка нашей личности*, и вотъ мы, едва возмужалыя дѣти, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу несчастную личность! Не получивъ извнѣ никакого опредѣленнаго направленія, ничего дѣйствительно не уважая, ничему крѣпко не вѣря, мы вольны дѣлать изъ себя что хотимъ... нельзя-же требовать отъ каждаго, чтобъ онъ тотчасъ понялъ безплодность ума. «кипящаго въ дѣйствіи пустомъ»..... и вотъ опять на свѣтѣ однимъ уродомъ больше, больше однимъ изъ тѣхъ ничтожныхъ существъ, въ которыхъ привычки себялюбія искажаютъ самое стремленіе къ истинѣ, смѣшное простодушіе живетъ рядомъ съ жалкимъ лукавствомъ.... однимъ изъ тѣхъ существъ обезсиленной, безпокойной мысли, которымъ незнакомо во вѣкъ ни удовлетвореніе естественной дѣятельности, ни искреннее страданіе, ни искреннее торжество убѣжденія.... Совмѣщая въ себѣ недостатки всѣхъ возрастовъ, мы лишаемъ каждый недостатокъ его хорошей, выкупающей стороны.... Мы глупы какъ дѣти, но мы не искренни, какъ они; мы холодны, какъ старики, но старческаго благоразумія нѣтъ въ насъ.... За то мы психологи. О, да, мы большіе психологи! *Но наша психологія сбивается на патологію;* наша психологія—это хитростное изученіе законовъ больнаго состоянія и больнаго развитія, до которыхъ здоровымъ людямъ нѣтъ никакого дѣла»....

Подумаешь какъ логиченъ, долженъ быть такой философъ въ своей жизни, если онъ способенъ на подобный тонкій психологическій анализъ. И что оказывается на самомъ дѣлѣ? Съ тщательностью записнаго анатома весь перерывшись въ самомъ себѣ, нашъ философъ сталкивается съ дѣйствительностію, но Боже! что за жалкое зрѣлище представляется нашимъ глазамъ. Психологъ связывается съ какою то танцовщицею, которая изъ него дѣлаетъ своего лакея. При разборѣ «Вешнихъ водъ», мы увидимъ, что герой «Пе-

реписки» не единичное лице, что требовать на милліонъ и удовлетвориться грошемъ — случалось не разъ нашимъ умникамъ сороковыхъ годовъ.

«Яковъ Пасынковъ»—скорѣе походитъ на нѣмецкую повѣсть съ «сантиментами», чѣмъ на произведеніе нашего фотографа-беллетриста. Слишкомъ уже сладокъ этотъ самый Пасынковъ, да и смотритъ онъ почти придурковато, такъ что восхититься нѣжной его фигурой—мы никакъ не можемъ. Не понимаемъ также, къ чему авторъ ввелъ для характеристики своего героя—стрѣлу, пущенную въ него Сибирскимъ инородцемъ. Или можетъ быть на бѣднаго Макара все шишки валятся.

«Повѣсти и Разсказы» Тургенева, при своемъ появленіи въ 1856 г. были очень благосклонно встрѣчены критикою. Наиболѣе замѣчательныя рецензіи вышли изъ подъ пера Дудышкина и Дружинина. Статья Дудышкина нѣсколько туманна, но за то Дружининская превосходна. Вотъ чѣмъ завершилъ послѣдній свой обширный разборъ:

«Мы кончаемъ нашу послѣднюю статью подъ вліяніемъ самого пріятнаго впечатлѣнія: издалека донесся до насъ голосъ привѣта и одобренія, голосъ того самого дорогаго намъ писателя, котораго отзывъ о нашей рецензіи для насъ теперь цѣннѣе всѣхъ возможныхъ проявленій читательской симпатіи. Мы трудились не напрасно и можемъ сказать, что по крайней мѣрѣ первая часть задачи не была для насъ трудомъ неблагодарнымъ. Пусть-же долго и долго звучитъ, въ дружескомъ кругѣ нашемъ и въ молодой нашей литературѣ, тотъ симпатическій и любимый голосъ поэта-прозаика, къ которому такъ хорошо подходитъ званіе любезнѣйшаго и любимѣйшаго изъ современныхъ русскихъ писателей!»

XI.

Всякому въ своей жизни приходилось встрѣчаться съ такими личностями, которыя съ перваго-же раза производятъ на собесѣдниковъ своихъ очень хорошее, даже больше чѣмъ хорошее, прямо чарующее впечатлѣніе. Съ каждымъ словомъ новаго знакомца онъ становится все болѣе и болѣе привлекательнымъ, вы открываете въ немъ все болѣе и болѣе симпатичныя качества. Если вы женщина, да еще молодая, да и не свѣтская кукла къ тому, то въ сердцѣ вашемъ брошены первыя сѣмяна сильнаго расположенія къ симпатичной личности новаго знакомаго. Необходимою принадлежностью такого человѣка должно быть краснорѣчіе; безъ этого, будь въ немъ скрыты самые лучшіе природные дары, вы съ трудомъ его разгадаете раньше долгаго съ нимъ общенія. Краснорѣчивый-же человѣкъ сразу вами овладѣваетъ и вы ему съ большою готовностью подчиняетесь. И не удивительно отчего. Люди, если только они дѣйствительно *люди*, а не вселдныя животныя зоологическаго разряда Homo sapiens, такъ созданы, что не всегда матеріальная сторона ихъ существа составляетъ главную часть человѣческой натуры. Идеализмъ, понимаемый въ смыслѣ возможности возвыситься надъ своекорыстными стремленіями животной природы, за рѣдкими исключеніями присущъ молодости и только приближеніе къ старости характеризуется постепеннымъ ослабѣваніемъ господства духа надъ матеріею. Поэтому молодой человѣкъ, свѣжая натура, которую пошлость не заѣла, не смотря на многія разочарованія практической жизни, вѣритъ въ возможность существованія субъекта съ наипрекраснѣйшими качествами и, встрѣчая личность, хотя-бы на словахъ только берущую города, невольно поддается ея вліянію и возноситъ ее на высокій пьедесталъ. Да и какъ не податься? Представьте

себѣ, что вы живете въ обществѣ со слѣпою ненавистью прогоняющемъ все возвышѣное, дабы оно не смущало его животнаго покоя, въ обществѣ, готовомъ побить каменьями всякого нарушителя этого неосмысленнаго и незаконнаго покоя, въ обществѣ, не способномъ и не желающемъ проникнуться требованіями истины и справедливости, и вдругъ предъ вами является личность искусною и увлекательною рукою открывающая картину истино-человѣческая бытія, картину побѣды идеала надъ повседневной обыденностью и мизерностью. Какъ не стать горою за такого расшевелителя, какъ не увѣровать въ него, какъ въ Христа? Такъ оно всегда и бываетъ. Но странное дѣло! Всегда, или покрайней мѣрѣ очень часто, оно какъ-то уже выходитъ, что продолжительное знакомство съ краснорѣчивымъ и возвышеннымъ новымъ знакомцемъ мало по малу разрушаетъ первоначальное обаяніе и нерѣдко прежнее уваженіе переходитъ даже въ презрѣніе. Горько разочаровываться подобнымъ образомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно и полезно, такъ какъ даетъ первый урокъ житейской опытности, не той опытностсти, которая формируетъ «солидность», а именно той, безъ которой очень легко впасть въ маниловщину и смотрѣть постоянно на окружающее сквозь розовую призму мечтательнаго идеализма. Подобное разочарованіе неизбѣжно и не случайно вслѣдствіе уже одного того, что честный фразеръ и самъ увлекается самимъ-же собою. Онъ электризуется собственными словами, въ данную минуту ему искренно кажется легко преодолимыми всякія препятствія и подвернись подъ руку удобный случай, онъ совершитъ одинъ изъ такихъ подвиговъ, который на всегда можетъ увѣковѣчить его имя. Онъ готовъ быть разстрѣляннымъ, если на него будетъ смотрѣть вся Европа, какъ сказалъ кто-то. Но чрезъ не большой промежутокъ времени воодушевленіе пропадаетъ, и вчерашній римскій герой сегодня способенъ дать самаго немужественнаго стречка.

Охарактеризованныя выше личности все чаще попадаются въ нашей матушкѣ Россіи. Другія страны ими не избилуютъ. У насъ-же «земля богата, да порядка въ ней

нѣтъ! Богъ не обидѣлъ насъ личнымъ мужествомъ, славится вездѣ удаль русская-богатырская, но гражданскимъ мало одарилъ. Выдержки въ насъ нѣтъ, дрессировки, которая дается цивилизаціею. А безъ нея дальше фразъ не уйдешь. Вотъ и Рудинъ принадлежитъ къ этой категоріи; и его богатые природные задатки пропадаютъ, благодаря нераціональному устройству образа жизни окрущающихъ его. За границею изъ Рудиныхъ формируются блестящіе парламентскіе ораторы, популярные публицисты, у насъ-же они сначала надѣются на міровую дѣятельность, потомъ требованія ихъ становятся меньше и они незамѣтно превращаются въ Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, даромъ коптящихъ небо вмѣсто того, чтобы быть полезными своимъ согражданамъ и своей странѣ сообразно тѣмъ дарованіямъ, которыя они получили отъ природы.....

Рудинъ—чисто русское явленіе. Въ немъ не трудно прослѣдить генетическую связь съ современною ему эпохою и на немъ-же можно доказать получающій права гражданства въ соціальныхъ наукахъ законъ, что поступки индивидуума находятся въ полнѣйшей зависимости отъ окружающей его обстановки, что прежде чѣмъ винить кого-нибудь, нужно посмотрѣть, не болѣе-ли виноваты при этомъ другіе, не имѣемъ ли мы дѣло съ результатомъ хотя и печальнаго, но все-же дѣйствительнаго положенія вещей.

Русское общество тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ носило въ себѣ, какъ уже разъ нами было замѣчено, элементы страшнаго разъединенія, оно являло изъ себя Януса съ двумя лицами, хотя оба лица не были между собою вполнѣ тождественны какъ по характеру, такъ и по величинѣ. Образованное меньшинство являло въ себѣ вполнѣ кружокъ европейскій, проникнутый интеллигенціей, часто или покрайней мѣрѣ иногда опередившій современныхъ ему образованныхъ людей на западѣ. По этому разладъ между теоріею и практикою былъ совершенный, подразумѣвая подъ теоріею идеалъ общества, царившій въ головѣ нашей интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, а подъ практикой ту неказистую

дѣйствительность, которая приводила въ отчаяніе нашихъ бѣдныхъ идеалистовъ. Само собою разумѣется, что попадались примѣры и даже не особенно рѣдкіе примиренія съ окружающей пошлостью, компромиссы заключались въ силу слабости людской къ земнымъ благамъ. Но за то, какъ бы для замѣщенія этой отрицательной стороны, являлись личности, которымъ казались измѣною всему хорошему малѣйшая уступка нераціональнымъ требованіямъ практической жизни, тѣмъ требованіямъ, удовлетворить кои можно было только цѣною своихъ убѣжденій.

Какую дѣятельность могъ себѣ избрать человѣкъ того времени, имѣвшій кое-какія понятія о призваніи человѣка, о пользѣ, что всякій гражданинъ долженъ принести, о согласованіи поступковъ съ требованіями высшей правды. Что было ему дѣлать? Какое практическое поприще себѣ избрать?— Поступить на службу — это значило окунуться въ болото мелкихъ чиновничьихъ интересовъ, въ мірокъ, гдѣ человѣкъ вполнѣ честный и не одаренный отъ природы гибкостью позвоночнаго столба рисковалъ застрять всю свою жизнь въ званіи мелкой служебной сошки и выдти въ люди въ огромномъ большинствѣ случаевъ совсѣмъ не благодаря своимъ дѣйствительнымъ способностямъ, а другимъ менѣе лестнымъ свойствамъ. Если еще въ концѣ пятидесятыхъ годовъ считалось «предосудительнымъ» поступать на службу, то нечего и говорить, что раньше къ этому средству занять свое досужее время прибѣгали люди интеллигентные и честные только въ крайности, стараясь при этомъ занять мѣсто, какъ можно менѣе шокирующее ихъ убѣжденія.

Такой человѣкъ какъ Рудинъ не могъ долго остаться на службѣ. Слишкомъ грандіозны были его идеалы и слишкомъ мизерна чиновничья дѣятельность того времени. Чтобы быть безсловесною машиною въ рукахъ самодура-начальника, для этого ему не нужно было окончить университетъ и изучать германскихъ философовъ въ подлинникѣ. И такъ, служить Рудинъ не могъ. Былъ-ли онъ въ состояніи приносить пользу на другихъ поприщахъ? На этотъ вопросъ Тур-

геневъ намъ даетъ отрицательный отвѣтъ и это вытекаетъ изъ всего характера Рудина, ибо главная черта его характера, помимо не ему одному принадлежащихъ качествъ, есть безалаберность. Безалаберность, слѣдствіе отсутствія почвы подъ ногами, мѣшаетъ ему организовать свои занятія; безалаберность заставляетъ его браться за дѣло, въ которомъ онъ ничего не смыслитъ, безалаберность его, наконецъ, заключается въ этомъ слишкомъ большомъ подчиненіи своихъ поступковъ резонерству. Въ самомъ дѣлѣ: если мы видимъ или по крайней мѣрѣ можемъ допустить и понимать существованіе людей, на столько раціонально устроившихъ свой образъ жизни, чтобы подчинять всякій свой поступокъ общимъ теоретическимъ законамъ, то въ Рудинѣ подобное полное согласованіе теоріи съ практикою является грѣшащимъ противъ логики, противъ всего характера его личности. Что такое въ самомъ дѣлѣ Рудинъ, какъ не полнѣйшее олицетвореніе формулы всероссійской жизни, о которой еще въ девятомъ столѣтіи наши предки довели до свѣдѣнія варяжскихъ князей? Что такое Рудинъ, какъ не вѣрное выраженіе нашей интеллигенціи, все стремящейся устроить свое житье-бытье вполнѣ по правиламъ новѣйшей философіи, но къ сожалѣнію всегда терпящей въ этомъ стремленіи полнѣйшее фіаско? Что такое Рудинъ, какъ не обиліе природныхъ дарованій и силъ, не получающихъ должной обработки, чтобы разцвѣсти пышнымъ цвѣтомъ, и главный характеръ котораго именно и есть отсутствіе системы, руководящей идеи, безъ чего природные дары могутъ произвести мгновенный взрывъ, по временамъ даже, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, красивый и ослѣпительный фейерверкъ, но никогда не служить полезнымъ двигателемъ. Вслѣдствіе всего сказаннаго должно стать очевиднымъ, что Рудинъ, безалаберный вообще, становится не логичнымъ и не послѣдовательнымъ, когда вдругъ одну отрасль своей жизни начинаетъ анализировать до мелочей, желая построить ее на вполнѣ раціональныхъ основаніяхъ. Представьте себѣ, что вы встрѣчаете нехорошо одѣтаго господина, у котораго вы

вдругъ на шеѣ, поверхъ грязной рубашки и засаленнаго жилета, открываете наиновѣйшаго фасона галстучекъ. Не правда-ли, что галстучекъ ни сколько не помиритъ васъ съ ободраннымъ господиномъ и вызоветъ только на ваши уста невольную улыбку. А между тѣмъ, та-же исторія, съ нѣкоторыми измѣненіями, продѣлывается Рудинымъ. И въ самомъ дѣлѣ! Человѣкъ, Ботъ знаетъ въ силу какихъ логическихъ и нравственныхъ основаній живетъ въ продолженіи довольно долгаго времени нахлѣбникомъ у помѣщицы Ласунской, ничего тамъ не дѣлаетъ, убиваетъ свое время до тошноты прекрасными проповѣдями о человѣческомъ достоинствѣ, о высшей правдѣ и тому подобныхъ матеріяхъ, опять Богъ знаетъ во имя чего прикидывается влюбленнымъ въ Наталью и вдругъ добывшись у той нетруднаго успѣха, идетъ вполнѣ чистосердечно къ несчастливому обожателю Натальи—Волынцеву, чтобы извѣстить его обо всемъ и утѣшить. Дѣлаетъ онъ это потому, что считаетъ, что между порядочными и интеллигентными людьми не должно быть недарозумѣній даже по предмету, считаемому обыкновенными людьми не философски развитими, довольно щекотливымъ. Между сыномъ природы Волынцевымъ и гегелліанцемъ Рудинымъ происходитъ сцена и посмотрите на сколько естественнѣе и логичнѣе выступаетъ первый.

Въ этой сценѣ Рудинъ весь какъ на ладони. Тутъ ясно видна въ немъ неиспорченность характера, благородство намѣреній, но въ то-же время страшное господство холоднаго резонерства. Чѣмъ инымъ, какъ не послѣднимъ качествомъ можно себѣ объяснить, что человѣкъ идетъ къ несчастливому сопернику объявлять о своемъ успѣхѣ, ничуть не руководимый тщеславнымъ желаніемъ хвастнуть удачею. По истинѣ на это способенъ только безалаберный русскій гегеліанецъ, которому кажется, что можно свои чувства передѣлать сообразно философской указочкѣ и жить вполнѣ раціональнымъ образомъ, когда въ дѣло вмѣшается такая логическая вещица, какъ страсть. Посмотрите съ какою тщательностью, достойною лучшей участи, Рудинъ анатомируетъ свое сердце,

какъ кропотливо онъ копошится въ своихъ чувствахъ въ одномъ случаѣ, и дѣлаетъ страшные и совсѣмъ не философскіе промахи въ другомъ случаѣ. Сравните его занимание денегъ и поступокъ съ Волынцевымъ, его нахлѣбничество у Ласунской и нежеланіе обезпечить себя, его бѣгство и отчасти трусость во время свиданія съ Натальей и геройскую смерть на баррикадахъ 48 года, сравните всѣ эти несообразныя вещи, и скажите, какое иное слово, чѣмъ безалаберность, лучше характеризуетъ Рудина.

Но безалаберность Рудина есть безалаберность даровитой натуры. Даровитость его видна въ его умѣньи изъ каждой науки извлекать пригодное для его возвышенной натуры. Онъ не особенно много знаетъ, но немногимъ распоряжается лучше и производитъ большее впечатлѣніе, нежели другой съ огромнымъ запасомъ свѣдѣній. На Рудинѣ въ сотый разъ доказывается разница между даровитою и обыкновенною натурою. Другой ученый, съ арміею цыфръ и таблицъ, станетъ вамъ доказывать справедливость извѣстнаго положенія, и вы будете только зѣвать и ничуть не проникнетесь истинностью доказываемаго, а придетъ Рудинъ и въ живой, увлекательной рѣчи безъ всякихъ фактическихъ доказательствъ заговоритъ въ пользу чего-нибудь во имя высшихъ человѣческихъ инстинктовъ, и вы попались на удочку. Въ парламентахъ такіе фокусы продѣлываются сплошь да рядомъ и увлекаютъ людей, далеко не идеальныхъ, и не энтузіастовъ. Таково уже устройство человѣческой натуры, что математика годна для головы, а для сердца требуется что-нибудь менѣе опредѣленное. Даровитость Рудина видна также изъ того вліянія, которое онъ пріобрѣтаетъ на своихъ товарищей.

Двоякаго рода бываетъ вліяніе товарища на товарищей, когда онъ и они сидятъ на университетской скамьѣ. Причиною одного рода вліянія является стадное начало, отъ дѣйствія котораго студенческая масса, какъ и всякая другая, не можетъ увернуться. И здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, гдѣ дѣйствующимъ лицемъ является толпа, изъ среды ея нерѣдко выдвигаются личности, совсѣмъ недостойныя пер-

венствующаго положенія. Но не съ такимъ явленіемъ мы имѣемъ дѣло въ лицѣ Рудина. Онъ не крикунъ, покоряющій молодыя сердца смѣлостью своего ничего не щадящаго отрицанія. Нѣтъ! онъ идеалистъ, слѣдовательно составить вокругъ себя кружокъ почитателей онъ могъ только силою своей увлекающей способности напомнить молодежи, хотя-бы на словахъ только, образы тѣхъ великихъ людей, съ которыми она знакома изъ изученія исторіи человѣческихъ обществъ. Молодость не возьмешь основательною эрудиціею, трезвымъ отношеніемъ къ дѣлу Всѣ эти вещи могутъ внушить ей уваженіе, но горой она станетъ только за того, кто съумѣетъ отвлечь ее отъ мелкихъ дѣлъ «міра сего» и перенести въ міръ благородныхъ стремленій и міровыхъ добродѣтелей. Во главѣ ея можетъ стать только человѣкъ обладающій страстностью, честнымъ увлеченіемъ, грандіозностью намѣреній. Все это качества, которыя въ огромномъ большинствѣ случаевъ бываютъ спутниками даровитыхъ натуръ, и притомъ честныхъ и благородныхъ.

Честность и благородство, понимаемые въ самомъ высшемъ смыслѣ, составляютъ на равнѣ съ безалаберностью квинтъ-эссенцію характера Рудина. Въ немъ нѣтъ выдержки, онъ лишенъ иниціативы, но предъ явною опасностью и притомъ руководимый теченіемъ обстоятельствъ, онъ никогда не отступитъ. Тургеневъ своею позднѣйшею припискою къ эпилогу, не могшей первоначально появиться велѣдствіе цензурныхъ стѣсненій, показалъ, что онъ безподобно понялъ характеръ Рудина. Таковымъ именно онъ долженъ быть.

«Въ знойный полдень 26 Іюня 1848 года, въ Парижѣ, когда уже возстаніе «національныхъ мастерскихъ» было почти подавлено, въ одномъ изъ тѣсныхъ переулковъ предмѣстія св. Антонія, баталіонъ линейнаго войска бралъ баррикаду. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ уже разбили ее; ея защитники, оставшіеся въ живыхъ, ее покидали и только думали о собственномъ спасеніи, какъ вдругъ на самой ея вершинѣ, на продавленномъ кузовѣ повалennаго омнибуса, появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и соломенной шляпѣ на сѣдыхъ, растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой—кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ, тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и пома-

хивая и знаменемъ и саблей.—Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него—выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя—и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому-то поклонился.... Пуля прошла ему сквозь сердце.

— Tiens! сказалъ одинъ изъ убѣгавшихъ insurgés другому: On vient de tuer le Polonais.

— Bigre! отвѣтилъ тотъ и оба бросились въ подвалъ дома, у котораго всѣ ставни были закрыты и стѣны пестрѣли слѣдами пуль и ядеръ.

Этотъ «Polonais» былъ — Дмитрій Рудинъ».

Да, это былъ онъ, жертва неразумнаго устройства русской жизни! Жертва подавляющей разницы между теоріею и практикою въ бытьѣ русскаго общества тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ! Не Рудинъ виноватъ въ своемъ характерѣ, виновато общество, его создавшее. Поэтому онъ не есть каррикатура живаго лица, какъ утверждали нѣкоторые, а типъ и притомъ типъ безсмертный. Такъ понять характеръ эпохи могъ только такой тонкій и умный наблюдатель, какъ Тургеневъ. Въ нашей литературѣ есть много изображеній людей сороковыхъ годовъ, но всѣ онѣ обыкновенно воспроизводятъ только одну сторону ихъ нравственной физіономіи. Въ Рудинѣ-же мы имѣемъ полную физіологію человѣка, предшествующей намъ эпохи. Тутъ онъ намъ является со всѣмъ своимъ запасомъ дарованій и природныхъ силъ, но за то и во всей своей гражданской непригодности. На немъ мы наглядно убѣждаемся, какъ сильно, несмотря на нѣкоторые тормазы, мы двинулись впередъ за послѣдніе двадцать, тридцать лѣтъ. Въ настоящее время многіе поступки Рудина могутъ быть заклеймены совсѣмъ не лестными эпитетами, тогда какъ прежде они извинялись характеромъ эпохи.

Есть многіе, которые безусловно нападаютъ на Рудина, не признавая за нимъ искренности и позоря его исключительнымъ прозваніемъ фразера. Мнѣніе это совершенно невѣрно. Положимъ,—Рудинъ фразеръ, но вѣдь фразеръ фразеру рознь. На что другое годился Рудинъ въ сороковыхъ годахъ какъ не на то, чтобы въ салонахъ и студенческихъ кружкахъ проповѣдывать о матеріяхъ высокихъ. Ему старикъ изъ «Разговора» не сдѣлаетъ упрека въ позорномъ бездѣйствіи, ему онъ не скажетъ.

Великой силы благодать
Толпа не смѣетъ не признать
И негодующій пророкъ
Каралъ бы слабость и порокъ.
Гремѣли-бъ страстныя слова,
И, какъ изсохшая трава,
Пылали-бъ отъ твоихъ рѣчей
Сердца холодныя людей.
Но малодушный ты! Судьбѣ
Ты покорялся безъ стыда....

Нѣтъ! Рудинъ не малодушный. Что было въ его силахъ, что допускалось окружающей его обстановкою онъ сдѣлалъ. Мы уже показали, что ни одинъ родъ практической дѣятельности не былъ для него подходящимъ. Всѣ занятія того времени были ему въ одинаковой степени не по душѣ. Онъ могъ только возмущаться и, передавая другимъ своего негодованія, своего неудовольствія, приносилъ при такомъ образѣ дѣйствій громадную пользу. Грандіозный конецъ его не является неожиданной развязкой его жизни. Онъ какъ нельзя лучше къ ней подходитъ. Безъ пріюта, безъ привѣта, въ нищетѣ и убожествѣ завершаетъ онъ вѣкъ свой, геройски умирая на баррикадѣ при защитѣ дѣла, въ сущности для него равнодушнаго, но которое въ состояніи воспламенить человѣка подобнаго ему, признающаго справедливость непремѣннымъ элементомъ разумнаго существованія, и по этому возмущающагося, если она гдѣ-бы то нибыло нарушается. Человѣкъ, умирающій только во имя одной высшей справедливости, во имя общечеловѣческихъ принциповъ, во имя идеи— есть личность болѣе чѣмъ достойная уваженія и если мы въ ней замѣчаемъ недостатки, то должны предполагать дурносложившіяся обстоятельства, нехорошо повліявшія на формированіе ея характера. Въ Рудинѣ есть натура, есть матеріалъ для созиданія превосходнѣйшей личности, но увы! все это не направлено куда слѣдуетъ, богатой натурѣ негдѣ развернуться, она можетъ горѣть только вспышками, но не ровнымъ, нормальнымъ огнемъ.

Грустныя мысли должно навѣвать чтеніе «Рудина». Какъ

не болѣть душею, когда видишь безполезную гибель людей, которые и на западѣ составляютъ праздничное явленіе, а не только среди будничной русской обстановки. Не по силамъ намъ окажется роскошь, если мы станемъ допускать безполезную потерю такихъ рѣдкихъ счастливыхъ случайностей. Мы слишкомъ бѣдны выдающимися единицами, чтобы не придти въ отчаяніе отъ невозможности воспользоваться услугами каприза судьбы, вдругъ побаловавшей насъ свѣтлымъ метеоромъ на сѣромъ небѣ тусклой повседневной жизни.

Изъ женскихъ характеровъ въ «Рудинѣ» на первомъ планѣ стоитъ Наталья, дочь Ласунской. Она получила образованіе какъ всѣ барышни того времени и до знакомства съ Рудинымъ была вполнѣ довольна своею обстановкою. Послѣдняя не казалась ей мизерною, такъ какъ она въ умственномъ отношеніи не особенно возвышалась надъ нею. Но задатки выдти изъ обыкновенной колеи находились въ ней въ достаточномъ количествѣ. Какъ и всѣ женскіе характеры у Тургенева, личность Натальи является чрезвычайно симпатичною. Мы въ ней видимъ дѣвушку съ неиспорченною натурою, способностью увлечься не только мелкими житейскими интересами. До появленія Рудина она умственно спала. Ей не приходила въ голову мысль, что жизнь, ею водимая, въ сущности не жизнь, а какое-то животное прозябаніе. Не на столько развитая, чтобы сознательно усвоить себѣ все проповѣдуемое Рудинымъ, она тѣмъ не менѣе инстинктивно чувствуетъ, что въ его словахъ кроется именно тотъ настоящій идеалъ осмысленнаго человѣческаго бытія, что и ей самой иногда смутно мелькалъ въ ея думахъ послѣ чтенія любимыхъ поэтовъ и авторовъ вообще. Не на столько умственно взрослая, чтобы вполнѣ оцѣнить культурное значеніе личностей, подобныхъ Рудину, она все-же въ силу природнаго ума и не пошлаго склада натуры, удивляется, когда Рудинъ ей говоритъ, что ему пора отдохнуть. Она не понимаетъ какимъ образомъ человѣкъ настолько богато-одаренный и вслѣдствіе

того могущій приносить своимъ ближнимъ пользу человѣкъ имѣетъ право въ тридцать лѣтъ проситься на отдыхъ. Здоровой ея натурѣ не понятно фразерство и поэтому она всѣ слова Рудина принимаетъ за чистую монету; за-то, убѣдившись, что въ этомъ отношеніи ошиблась, она разомъ срываетъ съ своихъ глазъ завѣсу первоначальнаго обаянія, внушеннаго ей краснорѣчивымъ собесѣдникомъ. Когда Рудинъ въ первое свое посѣщеніе заговорилъ о предметахъ, выходящихъ изъ обыкновенныхъ темъ разговора, когда онъ своимъ новымъ знакомымъ показалъ часть своихъ знаній, часть своего прекраснаго умѣнья увлекательно говорить, — болѣе всѣхъ была поражена Наталья. Рудинъ, самъ, можетъ быть, того вполнѣ не сознавая, возбудилъ въ ней массу новыхъ желаній и стремленій. Подобно тому, какъ самая простая случайность ведетъ иногда за собою весьма важныя послѣдствія только потому, что плодъ уже созрѣлъ и требуетъ самаго ничтожнаго усилія, чтобы упасть на землю, такъ и въ данномъ случаѣ Рудинъ вовсе не былъ особенно значительно замѣшанъ въ дѣлѣ быстраго развитія Натальи. У нея, и безъ того, была бездна задатковъ, которые рано или поздно, но непремѣнно все-таки должны были увидѣть свѣтъ Божій, такъ что Рудинъ былъ только первымъ плугомъ, прошедшимъ по богатой черноземной почвѣ богатѣйшей русской женской натуры. Въ другихъ повѣстяхъ Тургенева намъ не разъ еще придется столкнуться съ такими черноземными силами, ждущими перваго благотворнаго дождя, чтобы дать роскошнѣйшіе всходы.

Посмотрите въ самомъ дѣлѣ, какъ дѣйствуютъ на Наталью слова Рудина.

«Наталья, хотя и раздѣлась и легла въ постель, но ни минуты не уснула и не закрывала даже глазъ. Подперши голову рукою, она глядѣла пристально въ темноту; лихорадочно бились ея жилы, и тяжелый вздохъ часто приподнималъ ея грудь».

Все это душевное настроеніе Натальи произведено не внѣшностью Рудина: послѣдняя не была настолько представительна, чтобы съ одного разу внушить дѣвушкѣ симпатію.

Нѣтъ! буря въ Натальѣ произведена нравственною личностью Рудина, она поражена мнимою мощью этого человѣка, предъ ея глазами рисуется гигантъ слова и мысли. Согласитесь, что дѣвушка способная увлечься подобными качествами въ мущинѣ не вполнѣ обыденна; она непремѣнно должна носить въ себѣ ту искру Божію, что отличаетъ истинно-человѣческое существо отъ человѣкоподобнаго животнаго, живущаго главнымъ образомъ въ физіологическомъ отношеніи. Фактъ, что изъ всѣхъ, пришедшихъ въ столкновеніе съ Рудинымъ, больше всего онъ подѣйствовалъ на Наталью, показываетъ, что она стояла выше своего окружающаго, была способнѣе отзываться на высшіе инстинкты человѣческой натуры. Наравнѣ съ нею положимъ увлекался и Басистовъ, добродушный учитель дѣтей Ласунской, но увлеченіе Натальи было высшей пробы. Мы не должны забывать, что она женщина. Слѣдовательно, когда въ дѣло вмѣшалась любовь, она становится въ два раза энергичнѣе мущины и поэтому ея увлеченіе можетъ повлечь за собою болѣе рѣшительные результаты. Женщина, вслѣдствіе своеобразно сложившихся историческихъ обстоятельствъ, постоянно направляла всѣ свои умственныя и нравственныя способности на то единственное поприще, которое ей было оставлено все-захватывающимъ мущиной. Это поприще есть—любовь. На немъ изощрялись женщины въ продолженіи всего почти своего историческаго существованія. Неудивительно поэтому, что, если и мужчина многое можетъ совершить подъ вліяніемъ любви, то женщина въ подобномъ случаѣ въ состояніи рѣшиться на все. Тысячелѣтній запасъ энергіи, переходящій изъ одного женскаго поколѣнія въ другое и постоянно въ одномъ и томъ-же направленіи, способенъ дѣлать чудеса. Вотъ причина поражающаго дѣйствія, которое производитъ на многихъ женщинъ любовь, разомъ превращающая неразвитую дѣвочку въ энергичную женщину, не знающую препятствій въ достиженіи своей цѣли. У мужчины любовь составляетъ не самую значительную часть тѣхъ ощущеній, что приходится ему въ своей жизни испытывать, у женщины-же — это все. Болѣе

важныхъ моментовъ въ ея жизни нѣтъ и при современномъ ея положеніи и быть не можетъ. Но крайне несправедливы тѣ критики, утверждающіе будто Рудина нельзя винить за его нежеланіе связать себя съ Натальею на всю жизнь, даже предполагая, что онъ любилъ дочь Ласунской. Женщина того времени, говорятъ они, не понимала другихъ добродѣтелей, кромѣ семейныхъ, поэтому человѣку съ такими грандіозными помыслами, какъ Рудинъ, Наталья могла быть только помѣхою въ дѣлѣ служенія общему благу. Она-бы потребовала отъ него исключительнаго посвященія времени одной ей.

Подобный взглядъ болѣе чѣмъ не вѣренъ. Развѣ женщина тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ оттого исключительно занималась своимъ сердцемъ, что ни на-что другое не была способна? Развѣ она виновата въ томъ, что и мужчина того времени не предлагалъ ей ничего, кромѣ удовлетворенія ея сердечныхъ склонностей? Развѣ она виновата, что весь характеръ эпохи былъ таковъ, что на первомъ планѣ, даже у людей высоко-развитыхъ и честныхъ, стояли не общественные вопросы (за неимѣніемъ ихъ), а вопросы единичнаго существованія, вопросы личнаго сердца и ума? Тутъ не зачѣмъ упрекать женщинъ. Ихъ развитіе идетъ всегда параллельно времени, въ которомъ онѣ живутъ. По мягкости и уступчивости своей натуры, онѣ всегда способны поддаваться всякому вліянію, дурному или хорошему, смотря по обстоятельствамъ. Онѣ не идутъ во главѣ движенія, но и не тормозятъ его. Такая личность, какъ Рудинъ, если-бы его слова не оставались-бы только словами, нашелъ-бы въ Натальѣ лучшаго помощника. Когда Рудинъ ей говоритъ, что женщина, которая любитъ, имѣетъ право требовать отъ любимаго человѣка, чтобы тотъ ей вполнѣ отдался, она съ этимъ мнѣніемъ совершенно не соглашается и горячо противъ него протестуетъ.

«Я понимаю, говоритъ она, что кто стремится къ великой цѣли, уже не долженъ думать о себѣ; но развѣ-же женщина не въ состояніи оцѣнить *такого* человѣка? Мнѣ кажется, напротивъ, женщина скорѣе отвернется отъ

эгоиста... Всѣ молодые люди, эти юноши, по вашему, всѣ — эгоисты, всѣ только собою заняты, даже когда любятъ. Повѣрьте, женщина не только способна понять самопожертвованіе: она сама умѣетъ пожертвовать собою».

И дѣйствительно! все дѣло только въ руководителѣ. Дайте женщинѣ надлежащее направленіе—изъ нея выйдетъ превосходный членъ цивилизованнаго общества, не дѣлайте изъ нея свѣтской куклы, и вы не будете потомъ имѣть возможности упрекать женщинъ въ безсердечіи и пустотѣ. Дайте наконецъ ей проникнуться общественными идеалами и вы навѣрное не обвините ее въ непризнаваніи другихъ добродѣтелей, кромѣ семейныхъ. Легко сказать: женщина сороковыхъ годовъ эгоистка, она стремится всецѣло завладѣть мужчиною и считаетъ измѣною себѣ всякія другія наклонности, гдѣ она не стоитъ на первомъ планѣ! но доказать это невозможно, по той простой причинѣ, что мы имѣемъ тутъ дѣло съ уклоненіемъ отъ истины. Женщина въ данномъ случаѣ не составляетъ что нибудь особенное, отличное отъ своей обстановки. Вините сколько вамъ угодно эпоху, совокупность всѣхъ условій, повліявшихъ на нее, но оставьте въ покоѣ женщинъ. Онѣ менѣе всего тутъ виноваты, такъ какъ играли вполнѣ пасивную роль. Онѣ слѣдовательно являются жертвами, а не виноватыми.

О чемъ разговаривала Наталья, когда оставалась вдвоемъ съ Рудинымъ? Еслибы были справедливы критики, о которыхъ мы раньше говорили, предметами разговора должны были быть только вопросы сердца. А въ самомъ дѣлѣ ничего подобнаго мы не находимъ. Наталья всегда вызывала Рудина на такія бесѣды, гдѣ-бы она могла извлечь пользу изъ его знаній, изъ его развитія. Онъ ей читалъ произведенія романтической школы, въ сороковыхъ годахъ еще не отжившей свой вѣкъ, объяснялъ ей великія творенія германской литературы, часто давая на читанное увлекательные краснорѣчивые комментаріи. Онъ вводилъ въ ея сознаніе много новыхъ поэтическихъ и философскихъ истинъ, до того ей неизвѣстныхъ, открывалъ для нея міръ новыхъ ощущеній и чувствованій, сообщалъ ей часть своего энтузіазма

предъ грандіозными созданіями человѣческаго ума, того энтузіазма, который служитъ предохранительнымъ средствомъ противъ поглощенія житейской пошлостью, того восторга, что лучше всякаго талисмана служитъ для постояннаго подогрѣванія въ человѣкѣ высшихъ стремленій. Неужели-же можно, послѣ усвоенія Натальею подобныхъ чувствъ, причислить ее къ разряду эгоистичныхъ женщинъ, могущихъ мѣшать общественному дѣятелю служить дѣлу своего назначенія. Только одна умственная близорукость или преднамѣренная тенденціозность можетъ не видѣть, что именно изъ подобныхъ Наталій формируются тѣ нерѣдкія въ исторіи женщины, которыя не разъ вдохновляли своихъ мужей на высокіе подвиги.

Наталья женщина дѣла, а не одного лишь слова. Разъ она чѣмъ-нибудь прониклась, она не останавливается ни передъ чѣмъ въ достиженіи своей цѣли. Какъ неизмѣримо выше Рудина становится она тогда, когда, несмотря на угрозы матери, рѣшается бросить свое обезпеченное положеніе, чтобы раздѣлить съ любимымъ человѣкомъ горе и нужду. Не нужно забывать, что это не есть поступокъ взбаламошенной дѣвушки, начитавшейся романовъ и только того и жаждущей какъ-бы какимъ-нибудь манеромъ на самой себѣ продѣлать одну изъ исторій, недавно ею съ замираніемъ сердца вычитанной изъ эффектной повѣсти. Посмотрите какъ не похожа сцена объясненія въ любви между Рудинымъ и Натальею, посмотрите какъ ведетъ себя при этомъ послѣдняя и вы должны будете сознаться, что имѣете дѣло не съ совсѣмъ обыкновенной дѣвушкой, не съ совсѣмъ обыкновенной страстью, которая-бы основывалась только на половомъ влеченіи. Тутъ мы видимъ объясненіе въ любви безъ обычныхъ «горячихъ, продолжительныхъ поцѣлуевъ», безъ «тихаго привлеченія къ себѣ» и тому подобныхъ аксесуаровъ шаблоннаго объясненія во взаимномъ расположеніи. Въ данномъ случаѣ ничего похожаго не произошло, такъ какъ Наталья пришла не затѣмъ, чтобы амурничать съ Рудинымъ. Она пришла [illegible] ться, дѣйствительно-ли тотъ ее лю-

[illegible] облагороженною и

соотвѣтствующей высокимъ стремленіямъ Рудина. А кому-же неизвѣстно, что наше обращеніе съ женщиною опредѣляется ею-же самою и что, значитъ, въ настоящемъ случаѣ, честь облагораживанія всей сцены всецѣло принадлежитъ Натальѣ.

«Ахъ, Наталья Алексѣевна, какъ я, счастливъ! теперь уже ничто насъ не разъединитъ!

Наталья взглянула ему въ глаза.

— Пустите меня, прошептала она:—мнѣ пора.

— Одно мгновенье, началъ Рудинъ...,

— Нѣтъ, пустите, пустите меня...

— Вы какъ будто меня боитесь?

— Нѣтъ, но мнѣ пора...

— Такъ повторите, по крайней мѣрѣ, еще разъ...

— Вы говорите, вы счастливы? спросила Наталья.

— Ѣ? Нѣтъ человѣка въ мірѣ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь?

Наталья подняла голову. Прекрасно было ея блѣдное лицо, благородное, молодое и взволнованное—въ таинственной тѣни бесѣдки, при слабомъ свѣтѣ, падавшемъ съ ночнаго неба.

— Знайте-же, сказала она:—я буду ваша.

— О Боже! воскликнулъ Рудинъ...

Но Наталья уклонилась и ушла».

Эта сцена по нашему очень характерна. Другая барышня просто-бы растаяла отъ ухаживанья такого «умника» какъ Рудинъ. Наша-же героиня не потому отвѣчаетъ взаимностью что польщена, а вслѣдствіе дѣйствительной любви. Подъ вліяніемъ этого чувства, съ нею происходитъ одинъ изъ тѣхъ переворотовъ, которые сразу даютъ умственную зрѣлость. На глазахъ читателя Наталья выростаетъ и изъ дѣвочки превращается въ энергичную женщину. Посмотрите на нее въ знаменитой сценѣ утренняго свиданія съ Рудинымъ. Поведеніе ея настолько достойно, настолько внушаетъ къ себѣ уваженіе и почтеніе, что Рудинъ теряется и ничего не можетъ возразить противъ ея проникнутыхъ негодованіемъ на него нападокъ. Здоровая логика Натальи не даетъ Рудину возможности пустить въ ходъ столь излюбленное имъ оружіе діалектики и онъ посрамленный долженъ удалиться съ поля сраженія. Тридцатипятилѣтній гегеліанецъ пасуетъ предъ провинціалкой девятнадцати лѣтъ!

Тургеневъ, по нашему мнѣнію, сдѣлалъ большую ошибку, выдавая впослѣдствіи Наталью замужъ за Волынцева. Положимъ, что Волынцевъ человѣкъ съ отличнымъ характеромъ, одна изъ цѣльныхъ русскихъ натуръ, но въ мужья Натальѣ онъ всетаки не годится! Какъ можетъ она удовлетвориться имъ, когда даже m-lle Boncourt жалѣетъ о «le pauvre garçon, il a si peu de ressources dans la conversation». Его можно любить какъ брата, но не какъ мужа, съ которымъ женщина дѣлитъ всѣ свои стремленія и желанія, который долженъ служить ближайшимъ повѣреннымъ ея думъ и помысловъ. Можетъ-ли женщина, любившая Рудина, заразившаяся отъ него высшими стремленіями, можетъ-ли она быть счастлива съ добрымъ, но ограниченнымъ человѣкомъ? Какъ можетъ она раздѣлять свою жизнь съ личностью которая при всѣхъ своихъ хорошихъ качествахъ, не въ состояніи понять сомнѣній, брошенныхъ въ ея душу Рудинымъ? Или можетъ быть мы въ лицѣ Натальи имѣемъ дѣло съ одной изъ тѣхъ неопредѣлившихся натуръ, которыя въ одинаковой степени довольствуются весьма разнородными лицами? Или, можетъ быть, мы не правы, возведя Наталью въ предыдущихъ страницахъ на слишкомъ высокій пьедесталъ? Можетъ быть она все-же обыкновенная провинціалка, которая не прочь пошалить и съ такимъ «умникомъ» какъ Рудинъ, хотя ей болѣе по плечу Волынцевы, и не прошедшія сквозь огонь и воду и мѣдныя трубы нѣмецкой философіи? Если это такъ, если мы не правы, то зачѣмъ-же въ такомъ случаѣ Тургеневу было возбуждать въ продолженіи всей повѣсти симпатію къ Натальѣ, зачѣмъ было окружать ее обаяніемъ, чтобы потомъ разомъ двумя строчками уничтожить первоначальное впечатлѣніе и превратить въ обыкновенную барышню, выходящую замужъ за всякого изъ боязни остаться въ старыхъ дѣвахъ? Но нѣтъ! Мы энергически вооружаемся въ защиту Натальи, и изъ поставленной намъ дилеммы предпочитаемъ выдти такимъ образомъ, что при всемъ нашемъ уваженіи къ тонкому такту Тургенева согласны предположить, что онъ сдѣлалъ психологическую ошибку, застав-

ая Наталью удовлетвориться такимъ мужемъ, какъ Волынцевъ, чѣмъ хотя на минуту подумать, что Наталья барышня, «имя коей легіонъ». Наталья не Елена изъ «Наканунѣ», не Лиза изъ «Дворянскаго гнѣзда», она, безъ сомнѣнія, мельче плаваетъ, но все-же слишкомъ глубоко, чтобы ей было достаточно просторно въ мелкой лужѣ помѣщицьей жизни à la «Старосвѣтскіе помѣщики» въ компаніи съ Волынцевымъ. А между тѣмъ Тургеневъ, устами Басистова, объявляетъ, что Наталья счастлива, принявъ предложеніе Волынцева. Тутъ явное противорѣчіе, несообразность со всѣмъ характеромъ Натальи, слишкомъ разсудительной и развитой, чтобы не понимать, какъ далеко отстаетъ ея будущій мужъ отъ идеала, мелькающаго въ ея воображеніи со времени знакомства съ Рудинымъ. Мы бы еще отчасти могли понять поступокъ нашей героини, если-бы Тургеневъ намъ показалъ, что послѣдняя, подъ вліяніемъ пребыванія въ свѣтскомъ московскомъ обществѣ, опошлилась, потеряла свои прежнія, хорошія стороны. Но нѣтъ! Тотъ-же Басистовъ, привезшій Лежневымъ извѣстіе о бракѣ Натальи съ Волынцевымъ, разсказываетъ, что Наталья съ презрѣніемъ отвергла предложеніе нѣкоего Корчагина, красиваго молодого человѣка и свѣтскаго льва, не смотря на то, что мать ея, ею очень любимая, чрезвычайно сильно желала видѣть свою дочь замужемъ за Корчагинымъ. Значитъ Наталья осталась прежнею —столица ее не испортила! И вдругъ такой шагъ назадъ: она выходитъ за Волынцева! Мы этого положительно не понимаемъ. Какъ безподобенъ конецъ или вѣрнѣе апофеозъ Рудина, какъ онъ истекаетъ изъ всего его характера, такъ несообразенъ поступокъ, завершающій собою появленіе въ повѣсти Натальи. Въ другомъ произведеніи Тургенева мы увидимъ, что дѣлаетъ русская женщина, когда ей не удается быть счастливымъ съ любимымъ человѣкомъ, увидимъ на какія энергичныя средства она рѣшается, чтобы затушить горесть своего сердца, средства, положимъ, нераціональныя и проистекающія только изъ неразумнаго устройства русской жизни, но все-же показывающія, что дѣйствительно женщина на нихъ

рѣшившаяся выходитъ изъ обыкновенной колеи провинціальныхъ русскихъ барынь. Наталья-же нелогична, появляясь при одномъ освѣщеніи въ началѣ повѣсти и при совершенно другомъ въ концѣ ея.

Объемъ нашего этюда, грозящаго затянуться до безконечности, не позволяетъ намъ останавливаться на другихъ дѣйствующихъ лицахъ «Рудина». Мы пропускаемъ поэтому великосвѣтскую львицу. Ласунскую, пріѣхавшую «отдохнуть» въ провинціи, ея сателита Пандзалевскаго, добродушнаго Басистова, красавицу—Александру Павловну. Мы пропускаемъ увальня Лежнева и даже не безъинтереснаго ненавистника женщинъ—Пигасова, съ его злоостроумными насмѣшками надъ прекрасною половиною человѣческаго рода. Мы дѣлаемъ этотъ пропускъ не съ особенно большимъ сожалѣніемъ, такъ какъ намѣрены главнымъ образомъ показать *общественное* значеніе Тургеневскихъ произведеній и поэтому не желаемъ останавливаться на лицахъ, не представляющихъ собою характернаго типа, носящаго на себѣ отпечатокъ эпохи.

«Рудинъ» былъ напечатанъ въ январской и февральской книжкахъ «Современника» за 1856 годъ. При появленіи своемъ онъ возбудилъ всеобщую сенсацію, всѣ поняли, что Тургеневъ изъ небольшаго міра лишнихъ людей и великихъ героевъ на маленькія дѣла перешелъ на широкое поле крупныхъ общественныхъ явленій и типовъ. И дѣйствительно, «Рудинымъ» начинается самый блестящій періодъ развитія Тургеневскаго таланта. Въ теченіи шести лѣтъ, съ 1856 по 1862, быстро превратившійся въ перваго русскаго беллетриста, писатель даетъ намъ «Рудина», «Фауста», «Асю», Дворянское гнѣздо, «Наканунѣ», «Первую любовь» и «Отцевъ и Дѣтей». Дѣятельность, которой можетъ позавидовать любой изъ корифеевъ европейской литературы! Съ «Рудина» датируется та громадная популярность Тургенева, которою, за исключеніемъ Пушкина и Гоголя, никто изъ представителей русскаго творчества не пользовался. До «Рудина» Тургеневъ былъ тоже любимцемъ журнальной публики, но никто въ немъ не видѣлъ, не смотря на „Записки Охотника“, одного

изъ тѣхъ людей, которые составляютъ предметъ національной гордости, предметъ всеобщаго почитанія. «Рудинъ» разомъ всѣмъ показалъ, что можно ожидать отъ его автора.

Вотъ какъ писалъ объ «Рудинѣ» покойный Дружининъ въ своей блестящей статьѣ о Тургеневѣ (Библ. для Чт. 1857). «Общій отзывъ читателей и очень развитыхъ и очень неразвитыхъ, сказался весьма скоро, въ одной и той-же формѣ. Самый тонкій цѣнитель и самый вѣтренный диллетантъ согласились въ одномъ приговорѣ:—«Рудинъ есть вещь истинно замѣчательная и, мѣстами, неудовлетворительная». Когда-же пришлось опредѣлять точнѣе степень достоинства и недостатковъ новой повѣсти,—отзывы раздѣлились и представили изъ себя нѣчто сбивчивое. Идея произведенія, по своей глубинѣ, могла выдержать какой угодно анализъ, хотя и тутъ одни цѣнители нашли, что Тургеневъ обошелся съ Рудинымъ весьма слабо, тогда какъ другіе почти обвиняли автора въ чрезмѣрной строгости приговора. Художественная сторона повѣсти, напротивъ того, сама давала на себя оружіе многимъ черезчуръ взыскательнымъ цѣнителямъ. Во многихъ мѣстахъ Рудина, вмѣсто живыхъ сценъ, тянулся голый разсказъ отъ авторскаго лица, вмѣсто личностей, рельефно-очертанныхъ, появлялись фигуры, едва обозначенныя не совсѣмъ вѣрною кистью. И за всѣмъ тѣмъ, повѣсть Рудинъ, разсматриваемая даже съ самой строго-художественной точки зрѣнія, признана была всѣми за новый, важный шагъ въ дѣятельности Тургенева. Въ ней не было недоконченностей и небрежностей, бросавшихъ такую тѣнь на многія предшествовавшія повѣсти автора нашего: она отличалась богатою и многостороннею поэзіею, наконецъ ея идея гармонировала съ формой, на сколько оно было возможно при трудности задачи. Переходъ отъ цѣлаго ряда эпизодическихъ эскизовъ къ произведенію, имѣющему почти видъ романа, всегда выходитъ труденъ, а г. Тургеневъ сладилъ съ этимъ переходомъ, какъ слѣдовало честному и добросовѣстному писателю его дарованія. Вся его новая вещь носила на себѣ привлекательный слѣдъ серьезной мысли и, благодаря этому слѣду, поэтическія частности Рудина имѣли въ себѣ нѣчто разительное, свѣжее, новое. Короче сказать, повѣсть особенно полюбилась людямъ, коротко знакомымъ со средствами ея сочинителя, цѣнителямъ очень хорошо знающимъ, какихъ достоинствъ они въ правѣ ждать отъ Тургенева, и съ какими слабыми сторонами поэта они должны мириться по необходимости».

Отзывъ огромной массы читателей былъ еще благосклоннѣе.

За исключеніомъ «Рудина» и «Переписки» (Отеч. Зап. № 1.), о которой рѣчь была раньше, въ томъ-же 1856 году Тургеневымъ были напечатаны: «Завтракъ у предводителя» и

«Фаустъ», оба въ «Современникѣ», первый въ августовской книжкѣ, второй въ октябрьской.

Изъ всѣхъ комедій Тургенева «Завтракъ у предводителя» принадлежитъ къ числу наиболѣе живыхъ и сценичныхъ. Это простая жанровая картинка и авторъ не бьетъ на глубину мысли, какъ въ другихъ комедіяхъ своихъ. Вы съ удовольствіемъ читаете нѣсколько каррикатурное изображеніе вдовы Кауровой и такъ какъ дѣло не идетъ о Богъ вѣсть какомъ важномъ явленіи жизни, то вы и прощаете автору водевильность комедіи. Suum cuique. Не комедіи сдѣлали Тургенева первымъ русскимъ беллетристомъ, слѣдовательно къ нимъ нельзя примѣнять масштабъ, служащій намъ для оцѣнки «Рудина», «Дворянскаго гнѣзда» и «Наканунѣ». Спасибо Тургеневу и за то, что онъ небогатый запасъ русскаго репертуара увеличилъ одною, хотя и не особенно блестящею пьесою, но всѣ-же тѣмъ, что на театральномъ жаргонѣ называется «utilité». Мы видѣли на сценѣ «Завтракъ у предводителя» и отъ души смѣялись происходящимъ въ немъ перепетіямъ. Что и требовалось доказать!

Теперь, когда рѣчь зашла о комедіяхъ Тургенева, скажемъ обо нихъ нѣсколько словъ, чтобы болѣе къ нимъ не возвращаться. Въ предисловіи къ седьмому тому Салаевскаго изданія, гдѣ собраны вмѣстѣ драматическія произведенія нашего писателя, разбросанныя по «Отеч. Запискамъ» и «Современнику», начиная съ 1843 г. по 1857 г., Тургеневъ дѣлаетъ оговорку, что самъ сознаетъ свою слабость въ драматической поэзіи и ни уступилъ-бы просьбамъ издателей перепечатать старыя комедіи свои, если-бы не желаніе представить ихъ читающей публикѣ въ томъ видѣ, въ какомъ были написаны: — напечатаны онѣ были вслѣдствіе цензурныхъ стѣсненій измѣненныя и обезображенныя. Изъ этой оговорки можно заключить, что въ реставрированныхъ комедіяхъ своихъ, Тургеневъ видитъ кое-какія достоинства. Къ сожалѣнію мы и въ новой редакціи никакъ не можемъ помириться съ сценичными попытками главы современныхъ русскихъ беллетристовъ. Всѣ его комедіи одна другой слабѣе. «Неосто-

рожность» — драматическій очеркъ изъ испанской жизни — до невозможности вялъ и скученъ. Единственный сносный «нумеръ» въ немъ — серенада въ стихахъ, сносный не въ силу своихъ достоинствъ, а больше потому, что на безлюдьи и Ѳома дворянинъ.

«Безденежье»—сцены петербургской жизни—стремятся къ водевилю, но далеко не достигаютъ даже этого скромнаго уровня, потому что въ нихъ нѣтъ никакой веселости и движенія. «Гдѣ тонко тамъ и рвется»—такъ тонко, что и самъ авторъ оборвался, сдѣлавъ совершенно непонятной «мораль» своей пьесы. Что касается «Мѣсяца въ деревнѣ», къ которому авторъ особенно благоволитъ, то мы право затрудняемся ближе опредѣлить его отличительныя черты. Лишенный драматической жилки, Тургеневъ тѣмъ не менѣе стремится вывести на сцену какую-то весьма хитросплетенную интригу, съ претензіями на психологическій анализъ. Но увы и ахъ! читателю отъ этого все-же не веселѣе и онъ съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаетъ конца неинтересной путаницы. Единственная комедія Тургенева, не лишенная кое-какихъ достоинствъ—это «Нахлѣбникъ»: при хорошихъ актерахъ онъ легко смотрится.

«Провинціалка», «Холостякъ» — хотя и пользовались во время оно успѣхомъ, но что-же не пользовалось успѣхомъ, когда въ нихъ играли Мартыновъ и Садовскій. При обсужденіи «Разговора на большей дорогѣ» намъ приходится собрать всѣ свои симпатіи къ Тургенева, чтобы снисходительно отнестись къ страной авторской неразборчивости. Въ pendant «Собакѣ», «Разговоръ на большей дорогѣ» служитъ интереснымъ указаніемъ, до чего можетъ дойти заблужденіе даже первокласснаго таланта относительно своихъ произведеній.

XII.

«Силы въ природѣ не теряются». Таковъ законъ, выработанный усовершенствованнымъ естествознаніемъ. Таково положеніе, выведенное изъ наблюденія многихъ единичныхъ случаевъ. Чѣмъ нибудь сила должна проявиться. Рано или поздно дѣйствіе ея обнаружится. Можно задержать ея обнаруженіе, но уничтожить нельзя. Не постепенно, такъ сразу вскинетъ скрытый огонь и съ тѣмъ большею интенсивностью, чѣмъ продолжительнѣе его держали подъ спудомъ. Горько ошибаются тѣ, что полагаютъ возможнымъ идти противъ естественнаго хода вещей, противъ нормальнаго развитія природныхъ даровъ. Еще никогда репрессивныя мѣры не привели къ цѣли, еще никогда никому не удавалось учредить контроль, изъ подъ власти котораго не ускользнуло бы стремящееся наружу проявленіе жизни и сознанія своихъ средствъ. Чѣмъ сильнѣе гнетъ, тѣмъ гибельнѣе и ненормальнѣе увидитъ свѣтъ Божій извѣстное явленіе, при другихъ обстоятельствахъ давшее бы. здоровые и полезные результаты, а теперь только служащее горькимъ и печальнымъ предостереженіемъ.

«Фаустъ» Тургенева есть лучшее доказательство всему этому. Въ немъ мы видимъ подтвержденіе высказаннаго выше. Въ немъ мы видимъ какъ нераціонально искусною дрессировкою убивать въ человѣкѣ свойственные ему инстинкты, какъ неразумно превращать одушевленное существо съ горячо волнующейся кровью въ какого-то манекена по внѣшности, но въ сущности таящаго въ глубинѣ души своей весьма взрывчатый матеріалъ, который при удобномъ случаѣ въ состояніи надѣлать очень много бѣдъ и причинить очень много несчастій. Какъ ни крѣпка оболочка, но если, по мѣрѣ возрастанія ея крѣпости, увеличивается и стремленіе заключеннаго вещества выдти наружу, то когда-нибудь равновѣсіе должно нарушится и дѣло принимаетъ скверный оборотъ.

Героиня разсказа—Вѣра Николаевна Ельцова имѣетъ весьма сильныя причины быть энергичной и страстной дѣвушкой. Ея отецъ былъ очень замѣчательный и талантливый человѣкъ. Со стороны матери наслѣдственность должна была еще сильнѣе сказаться. Дѣдъ ея Ладановъ долго жилъ въ Италіи, гдѣ онъ женился на простой крестьянкѣ изъ Альбано, предварительно похитивъ ее. На второй день послѣ того какъ родилась мать Вѣры Николаевны, бывшій женихъ альбанской крестьянки подкрался къ женѣ своего счастливаго соперника и убилъ ее на повалъ. Ладановъ воротился въ Россію и предался занятіямъ химіею, анатоміею, кабалистикой, продленіемъ жизни человѣческой и тому подобными фантастическими предметами. Не вполнѣ обыденная чета были дѣдъ Ельцовой и его жена!

«Вѣра Николаевна пошла въ свой кабинетъ и принесла оттуда довольно большой золотой медальонъ. Раскрывъ этотъ медальонъ, я увидѣлъ превосходно написанные миніатурные портреты дѣда Ельцовой и его жены—этой крестьянки изъ Албано. Дѣдъ Вѣры поразилъ меня сходствомъ со своею дочерью. Только черты у него, окаймленныя бѣлымъ облакомъ пудры, казались еще строже, заостреннѣе и рѣзче, а въ маленькихъ желтыхъ глазахъ просвѣчивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо было у итальянки! Сладострастное, раскрытое какъ расцвѣтшая роза, съ большими влажными глазами на выкатѣ и самодовольно улыбавшимися, румяными губами! Тонкія, чувственныя ноздри, казалось, дрожали и расширялись, какъ послѣ недавнихъ поцѣлуевъ; отъ смуглыхъ щекъ такъ и вѣяло зноемъ и здоровьемъ, роскошью молодости и женской силы... Этотъ лобъ не мыслилъ никогда, да и слава Богу! Она нарисована въ своемъ албанскомъ нарядѣ, живописецъ (мастеръ!) помѣстилъ виноградную вѣтку въ ея волосахъ, черныхъ, какъ смоль, съ ярко сѣрыми отблесками: это вакхическое украшеніе идетъ какъ нельзя болѣе къ выраженію ея лица. И что всего удивительнѣе: глядя на этотъ портретъ я вспомнилъ, что у Вѣры, несмотря на совершенное несходство очертаній, мелькаетъ иногда что-то похожее на эту улыбку, на этотъ взглядъ....»

Мать Вѣры тоже была женщина съ сильными страстями и вотъ чтобы предохранить свою дочь отъ нихъ, она даетъ ей такое воспитаніе, при которомъ развивается только умъ, но не сердце. Пуще огня она боится поэзіи, такъ какъ при этомъ разыгрывается фантазія, бушуютъ страсти. Вѣра Николаевна до встрѣчи съ героемъ повѣсти послѣ замужества, когда ей уже

было двадцать-восемь лѣтъ не читала ни одного стихотворенія, ни одного романа. Мать ея боялась жизни. Она боялась «тѣхъ тайныхъ силъ, на которыхъ построена жизнь, и которая изрѣдка, но внезапно пробиваются наружу». Вотъ отчего она низачто не хотѣла познакомить свою дочь съ жизнью, вотъ отчего она ей не давала читать книги, гдѣ послѣдняя изображалась. Она ее отдѣлила какою-то китайскою стѣною отъ дѣйствительности и воображала, что ей удастся такимъ образомъ продержать Вѣру навсегда. Но горько она ошиблась! Не счастіе, а гибель принесла подобная система. Узнать страсть въ молодости, когда она законна, когда человѣкъ располагаетъ собою—въ этомъ нѣтъ ничего дурнаго, но познакомиться съ нею въ зрѣлыя лѣта, когда жизнь наложила извѣстныя обязательства и свобода стѣснена условіями окружающей обстановки—это дѣйствительно горькая дилемма, изъ которой рѣдко кому можетъ удасться выдти не съ разбитымъ сердцемъ. Съ одной стороны долгъ, обязанности, принуждаютъ васъ смириться; вы головнымъ путемъ убѣждаете себя не отступать отъ должнаго, но сердце заставляетъ васъ дѣлать другое и вамъ томительно-страшно хочется послѣдовать его зову. Сердце тоже имѣетъ свои права и еще не народился тотъ философъ, который рѣшающимъ образомъ поставилъ бы его требованія ниже другихъ требованій человѣческой натуры. Мать Вѣры была того странаго мнѣнія, что согласовать требованіе сердца и долга нельзя.

« — Вы говорите, сказала она наконецъ:—читать поэтическія произведенія *и* полезно *и* пріятно.... я думаю, надо заранѣе выбрать въ жизни: *или* полезное, *или* пріятное, и такъ уже рѣшиться разъ на всегда. И я когда-то хотѣла соединить и то и другое.... Это невозможно и ведетъ къ гибели или къ пошлости».

Противъ такого мнѣнія много спорить не стоитъ: слишкомъ была-бы грустна жизнь, слишкомъ много давала-бы она опору пессимистамъ и мизантропамъ, еслибы полезное, должное нельзя было соединить съ пріятнымъ, если-бы всегда приходилось дѣлать выборъ между однимъ и другимъ—aut, aut! При самомъ суровомъ взглядѣ на жизнь, если принять за

истину изрѣченіе Базарова, что «природа есть мастерская, а человѣкъ въ ней работникъ», то и тогда мы не должны смотрѣть на дѣло съ такой мрачной точки зрѣнія. Подобный взглядъ ведетъ къ аскетизму, что можетъ быть примѣнимо къ отдѣльнымъ личностямъ, но никакъ не подходяще и пригодно какъ одинъ изъ пунктовъ общественнаго міросозерцанія, какъ одинъ изъ параграфовъ кодекса общественной нравственности. Мы пойдемъ дальше и настойчиво будемъ утверждать, что мать Вѣры Николаевны совершила преступленіе, беря за исходную точку воспитанія своей дочери подобный монашескій взглядъ на вещи. Какое право имѣла она убивать молодую натуру въ зародышѣ, не дать ей расцвѣсти, превратить для нея жизнь въ какую то казарменную обстановку, гдѣ все состоитъ изъ сочетанія хотя и *правильныхъ* линій, но не доставляющихъ удовольствія чувствующему человѣку, жаждущему не математики, а признаковъ живаго, подвижнаго элемента, хотя-бы и *не всегда* правильнаго. Человѣкъ, дѣлающій все и всегда *какъ слѣдуетъ*—есть фикція, вредный вымыселъ, дающій печальные результаты, когда его кто-нибудь вздумаетъ примѣнять къ жизни. Человѣкъ съ узкой пошло-филистерской натурою превращается, при такой системѣ, въ сухаго, безсердечнаго педанта, а широкая, полная силъ личность не поддается дрессировкѣ, и за то очень часто выходитъ изъ борьбы, растративъ на нее все данное ей отъ природы. Слѣдовательно и мать Вѣры въ своемъ вредномъ убѣжденіи возможности подавленія не подавляемаго оказала очень плохую услугу своей дочери, за которую та впослѣдствіи дорого поплатилась. Когда ей открыли новый міръ новыхъ ощущеній, когда ее ввели въ незнакомую область чувствъ и господства сердца наравнѣ съ разсудкомъ, въ ней произошелъ трагическій поединокъ между привитымъ воспитаніемъ и естественнымъ влеченіемъ ея натуры. Съ малолѣтства внушенное понятіе о долгѣ боролось противъ наплыва страсти и Вѣра Николаевна не могла выдержать несогласуемости этихъ двухъ элементовъ. Впечатлительная натура слишкомъ сильно отозвалась на полученное раздраженіе

и погибла вслѣдствіе силы своей отзывчивости, вслѣдствіе глубины своихъ ощущеній.

Вѣра Николаевна, не смотря на свою страстную натуру, не была знакома со страстью даже по имени.

«Мать Вѣры до того пріучила себя не давать воли своимъ чувствамъ, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою къ дочери; она ни разу не поцаловала ее при мнѣ, никогда не называла ее уменьшительнымъ именемъ, всегда Вѣра. Помню ея одно слово: я какъ-то сказалъ ей, что всѣ мы, современные люди, надломанные..... «надламывать себя не для чего, промолвила она—надо всего себя переломить или ужь не трогать».

Сама она предпочитаетъ первое. Вѣра выходитъ замужъ, по совѣту матери, за какого-то Пріимкова, человѣка весьма недальнаго, и обыденнаго, хотя и не злаго. Когда къ ней посватался герой повѣсти, человѣкъ во всякомъ случаѣ неизмѣримо выше стоявшій Пріимкова, мать Вѣры ему сказала: «Нѣтъ, мой милый, поѣзжайте въ Берлинъ, *надломитесь-жа еще*. Вы добры; но не такой мужъ нуженъ для Вѣры». «Стало быть, *ты* годился» справедливо разсуждаетъ нашъ герой, съ-избока посматривая на Пріимкова. Дѣйствительно Вѣра и Пріимковъ—такое сочетаніе можетъ выдумать только близорукая теорія старухи Ельцовой, полагающей возможнымъ совмѣстное существованіе двухъ діаметрально-противоположныхъ натуръ. Начало повѣсти какъ-будто нѣсколько подтверждаетъ, что справедливость на сторонѣ матери Вѣры: послѣдняя «счастливо» живетъ съ мужемъ своимъ, если только можно назвать ея жизнь такимъ именемъ, если названіе жизни можно безъ уклоненія отъ истины придавать физіологическому прозябанію. Но, Богъ съ нимъ! не будемъ слишкомъ взыскательными, и предположимъ, что чета Пріимковыхъ блаженствуетъ. Посмотримъ только, на сколько прочно основаніе, фундаментъ ихъ счастія, на сколько онъ въ состояніи противостать натиску разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ и случайностей, отъ встрѣчи съ которыми трудно уберечься.

Видали-ли вы когда-нибудь ребенка, которому удалось довести до окончанія постройку карточнаго домика? Какъ онъ тогда счастливъ и увѣренъ, что его твореніе продержится

долго, очень долго. Но вотъ прибѣжалъ его братишка и сильно чихнулъ. Домикъ распался и ребенокъ, внѣ себя отъ гнѣва, напускается на чихнувшаго: по его винѣ распалась прекрасная постройка, по его винѣ все несчастіе произошло. Дѣтской логикѣ никогда не придетъ на умъ подумать, что можетъ быть главная причина разрушенія весьма отдалена отъ чихнувшаго, а лежитъ въ непрочности самаго карточнаго домика. Въ «Фаустѣ» мы имѣемъ дѣло точно съ такимъ-же явленіемъ. Безъ сомнѣнія есть такіе близорукіе судьи, которые не умѣютъ отличить сущность отъ несущественнаго и прямо обвиняютъ героя повѣсти въ томъ, что онъ разрушилъ «счастіе» Вѣры. Вѣдь жила-же она, вполнѣ довольная своею обстановкою, до того какъ съ нимъ познакомились, сказала-бы старая Ельцова, если-бы увидѣла произшедшую катавасію и сказавъ это, совершенно уподобилась-бы выше обсужденному архитектору карточнаго домика. Вѣдь роль героя повѣсти болѣе чѣмъ отрицательная: онъ пришелъ и прочелъ Вѣрѣ «Фауста»; согласитесь, что тутъ еще меньше активности, чѣмъ чихнуть. Не онъ-же виноватъ въ томъ, что невинное чтеніе производитъ такую бурю въ настроеніи Вѣры. Вѣчно Вѣра не могла-же остаться въ предѣлахъ своего душевнаго Китая. Когда нибудь должна-же была-бы произойти брешь въ стѣнѣ, отдѣляющей ее отъ дѣйствительности. Слѣдовательно если не герой повѣсти, то другой, третій разыграли-бы его роль и открыли бы глаза Вѣрѣ Николаевнѣ, до того завѣшанные рукой заботливой матери. Еслибы Вѣра по натурѣ своей не была-бы предрасположена къ воспринятію сильныхъ чувствованій — и двадцать пять чтеній всевозможныхъ «Фаустовъ» не произвели бы никакого дѣйствія.

«Я всю ночь не спала, сказала она мнѣ, у меня голова болитъ; я вышла на воздухъ—авось пройдетъ.

— Неужели это отъ вчерашняго чтенія? спросилъ я.

— Конечно: я къ этому не привыкла. Въ этой вашей книгѣ *есть вещи, отъ которыхъ я никакъ отдѣлаться не могу;* мнѣ кажется, это онѣ мнѣ такъ жгутъ голову, прибавила она, приложивъ руку ко лбу.

— И прекрасно, промолвилъ я:—но вотъ что дурно: боюсь я, какъ-бы эта безсонница и головная боль не отбили у васъ охоты читать такія вещи.

— Вы думаете? возразила она и сорвала мимоходомъ вѣтку дикаго жасмина—Богъ знаетъ! Мнѣ кажется, *кто разъ ступитъ на эту дорогу, тотъ уже назадъ не вернется*».

Возможно-ли послѣ этого обвинять расшевелителя Вѣры? Представьте себѣ, что этотъ самый господинъ подъѣхалъ съ «Фаустомъ» къ другой барышнѣ или барынѣ. Ну, они бы его прочли, отдали-бы дань удивленія великому германскому поэту, и потомъ самымъ спокойнымъ образомъ пошли-бы болтать о сосѣдяхъ или пожалуй засѣли бы въ преферанчикъ. На Вѣру-же «Фаустъ» производитъ дѣйствіе электрической искры. Она вся встрепенулась отъ предчувствія знакомства съ неизвѣданнымъ міромъ страстей, желаніе матери ея застраховать дочь отъ нихъ не удалось, а послужило только къ приданію большей прелести незнакомымъ ощущеніямъ. При другомъ воспитаніи это знакомство не произвело-бы такого поражающаго впечатлѣнія и медленное развитіе страстей не причинило-бы такого вреда, который неизбѣженъ при внезапномъ ихъ наплывѣ, при внезапной вспышкѣ. Вѣра натура замѣчательно прямая и потому ей страшно дорого обходится каждая побѣда надъ преувеличеннымъ понятіемъ о долгѣ. Почувствовавъ любовь къ своему расшевелителю, она внѣ себя, ей представляется фантомъ матери, съ укоризной на нее взирающей. Она не въ состояніи примирить разнообразныя свои ощущенія. Не даромъ мать про нее сказала: «ты какъ ледъ: пока не растаешь, крѣпка, какъ камень: а растаешь, и слѣда отъ тебя не останется». Что она сама тутъ виновата, объ этомъ старуха и не подумала. Хитрить Вѣра не привыкла и потому первая объявляетъ герою повѣсти, что его любитъ и назначаетъ ему свиданіе.

«Послѣ чаю, когда я уже начиналъ думать о томъ какъ-бы незамѣтно выскользнуть изъ дому, она сама вдругъ объявила, что хочетъ идти гулять и предложила мнѣ проводить ее. Я всталъ, взялъ шляпу и побрелъ за ней. Я не смѣлъ заговорить, я едва дышалъ, я ждалъ ея перваго слова, ждалъ объясненій; но она молчала. Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ я до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это сдѣлалось—мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ друга. Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней, ее—ко мнѣ. При потухающемъ свѣтѣ дня,

ея лицо съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилась улыбкой само забвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцалуй....

Этотъ поцалуй былъ первымъ и послѣднимъ.

Вѣра вдругъ вырвалась изъ рукъ моихъ и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ....

— Оглянитесь, сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ:—вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы развѣ что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видѣла.

Она глубоко и рѣдко дышала.

— Кого, что?

— Мою мать, медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновенье.

— Полноте! началъ я: что вы это? Скажите мнѣ лучше....

— Нѣтъ, ради Бога нѣтъ! перебила она и схватила себя за голову.— Это сумашествіе.... Я съ ума схожу.... Этимъ шутить нельзя.—Это смерть.. Прощайте....

Я протянулъ къ ней руки.

— Остановитесь, ради Бога, на мгновенье, воскликнулъ я съ невольнымъ порывомъ. Я не зналъ, что говорилъ и едва держался на ногахъ.—Ради Бога.... вѣдь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечеромъ, поспѣшно проговорила она:—не сегодня, прошу васъ.... уѣзжайте сегодня.... завтра вечеромъ приходите къ калиткѣ сада, возлѣ озера. Я тамъ буду, я приду.... я клянусь тебѣ, что приду, прибавила она съ увлеченіемъ, и глаза ея блеснули: — кто-бы не останавливалъ меня, клянусь! Я все скажу тебѣ, только пусти меня сегодня.

И прежде чѣмъ я могъ промолвить слово, она исчезла.»

Не пришлось однакоже Вѣрѣ исполнить своего обѣщанія. Она не перенесла страшнаго нравственнаго потрясенія и смертельно занемогла. Вы понимаете, что привидѣніе матери при этомъ является олицетвореніемъ того начала въ нашей героинѣ, которое ей внушаетъ привязанность, уваженіе къ долгу, наперекоръ воплю сердца. Вѣра была слишкомъ правдива, чтобы пользоваться чѣмъ нибудь въ тайнѣ. Собственная ея душа была наисильнѣйшей тому помѣхой. На минуту она увлекается, но вдругъ предъ умственнымъ взоромъ ея возстаетъ грозный призракъ матери съ сухою проповѣдью о

долгѣ, и Вѣра не въ силахъ долго съ нимъ бороться. Слишкомъ велико вліяніе воспитанія, чтобы она могла отъ него эмансипироваться и вотъ молодая жизнь принесена въ жертву, доказавъ своимъ примѣромъ, что огонь нельзя потушить, слегка закрывъ его отъ доступа воздуха, мы говоримъ слегка, такъ какъ мы не знаемъ еще той педагогической системы, которая побѣдоносно могла-бы выдти изъ борьбы съ естественными требованіями человѣческой природы. Печальнымъ предостереженіемъ возвышается предъ нами симпатичная фигура Вѣры Ельцовой, увеличивая собою галлерею привлекательныхъ женскихъ портретовъ Тургенева. Въ ея лицѣ защитники свободы человѣческаго сердца могутъ почерпнуть горяздо болѣе сильныя доказательства, чѣмъ изъ всѣхъ Жоржъ-Зандовскихъ романовъ, потому что ничто не дѣйствуетъ на насъ сильнѣе чѣмъ грустный финалъ, являющійся результатомъ извѣстнаго нераціональнаго явленія.

«Фаустъ» былъ напечатанъ въ 10 № «Современника» за 1857 г. По поводу его Ивану Сергѣевичу пришлось выдержать маленькую перепалку съ издателемъ «Русскаго Вѣстника» г. Катковымъ. Дѣло состояло вотъ въ чемъ. Въ объявленіи о подпискѣ на «Русскій Вѣстникъ» на 1857 г. между прочимъ было сказано:..... «Особенно со стороны г-на Тургенева встрѣчено было новое изданіе живымъ сочувствіемъ. Онъ вызвался принимать въ немъ самое дѣятельное участіе. Для «Русскаго Вѣстника» былъ имъ предпринятъ особый трудъ. Въ письмѣ своемъ къ редактору онъ предлагалъ объявить заблаговременно, что въ одной изъ первыхъ книжекъ «Русскаго Вѣстника» будетъ помѣщена его повѣсть подъ заглавіемъ *Призраки* (вѣроятно, весьма сходная по содержанію съ разсказомъ, который появился въ октябрьской книжкѣ «Современника» подъ заглавіемъ *Фаустъ*). Неоднократно извѣщалъ онъ насъ о ходѣ своей работы, которая, какъ онъ писалъ, замедлилась отъ разныхъ обстоятельствъ и откладывалъ доставленіе ея въ редакцію отъ

одной книжки до другой. Наконецъ, въ августѣ, онъ уѣхалъ за границу, а редакція «Современника» напечатала объявленіе объ его «обязательномъ соглашеніи» съ нею. Зная лично г. Тургенева, и имѣя основанія уважать его не только какъ литератора, но и какъ человѣка, мы увѣрены, что въ его глазахъ *данное слово* должно быть обязательнѣе самаго формальнаго обязательства, а потому мы не сомнѣваемся, что онъ, рано или поздно, очиститъ и себя и насъ передъ нашею публикою».

Тургеневъ дѣйствительно не долго медлилъ разъясненіемъ. Вотъ что онъ писалъ редактору «Москов. Вѣд.».

«Парижъ 4-го (16) января 1857 г. М. Г., я на дняхъ получилъ № «Московскихъ Вѣдомостей», въ которомъ помѣщено объявленіе объ изданіи «Русскаго Вѣстника» въ будущемъ году, вмѣстѣ съ замѣчаніемъ на счетъ моихъ отношеній къ этому журналу. Какъ ни непріятно мнѣ занимать публику подробностями дѣла, лично до меня касающагося,— я не могу не отвѣчать на это замѣчаніе и надѣюсь, что вы не откажетесь помѣстить мой отвѣтъ въ вашей газетѣ.

Вотъ въ чемъ дѣло. Прошлой осенью я, не назначая впрочемъ опредѣленнаго срока, обѣщалъ г-ну издателю «Русскаго Вѣстника» повѣсть подъ названіемъ: «Призраки», за которую я принялся въ то-же время, но которую и до сихъ поръ кончить не успѣлъ. Въ началѣ нынѣшняго года я заключилъ съ гг. издателями «Современника» условіе, въ силу котораго я обязался помѣщать свои произведенія исключительно въ ихъ журналѣ, при чемъ однако я выговорилъ себѣ право исполнить прежнія свои обѣщанія, а именно въ отношеніи къ «Русскому Вѣстнику». Слѣдовательно, вся моя вина состоитъ въ томъ, что я до сихъ поръ не окончилъ этой повѣсти. Но г-нъ Катковъ, не смотря на то, что, по его словамъ, онъ питаетъ ко мнѣ уваженіе, почелъ себя въ правѣ намекнуть, что эту самую повѣсть я помѣстилъ подъ именемъ «Фаустъ» въ IX № «Современника», тогда какъ тѣмъ изъ нашихъ общихъ знакомыхъ, которымъ я сообщаю планы моихъ произведеній, хорошо извѣстно, что между этими двумя

повѣстями нѣтъ никакого сходства. Я нахожу, что подобный поступокъ со стороны г-на Каткова разрѣшаетъ меня совершенно отъ обязанности исполнить мое слово—и это я дѣлаю тѣмъ охотнѣе, что непоявленіе моей повѣсти на листахъ этого журнала, вѣроятно никѣмъ замѣчено не будетъ. Г-нъ Катковъ напрасно старается меня успокоить. Я слишкомъ хорошо знаю самъ, что дѣйствіе мое въ одномъ журналѣ—ни значительно способствовать его распространенію, ни повредить другому—рѣшительно не можетъ. Заслуженный успѣхъ «Русскаго Вѣстника» — лучшее тому доказательство. *Тургеневъ.*

На это письмо г-нъ Катковъ отвѣтилъ длиннымъ посланіемъ, изъ котораго выбираемъ слѣдующія мѣста:

.....Глубоко сожалѣю, что догадка о сходствѣ *Призраковъ*, обѣщанныхъ въ «Русскій Вѣстникъ», съ *Фаустомъ*, напечатаннымъ въ «Современникѣ», оскорбила г-на Тургенева. Догадка эта распространилась прежде моего замѣчанія, съ нѣкоторыми, не совсѣмъ лестными для редакціи комментаріями; я слышалъ ее отъ многихъ, въ томъ числѣ и отъ общихъ нашихъ знакомыхъ. Высказывая эту догадку, я впрочемъ не придавалъ ей особеннаго значенія. Авторъ властенъ надъ развитіемъ своего произведенія, одинъ и тотъ-же мотивъ можетъ развиться въ двухъ параллельныхъ произведеніяхъ, и два различные мотива могутъ слиться въ одномъ. Чистосердечно извиняюсь передъ г-мъ Тургеневымъ въ томъ, что могло показаться ему въ этой догадкѣ оскорбительнымъ, и объявляю, что силу моего упрека полагалъ я не въ этомъ. Теперь, когда г-нъ Тургеневъ объявилъ, что между *Фаустомъ* и планомъ другой повѣсти, которой даетъ онъ названіе *Призраковъ*, нѣтъ ничего общаго, я считаю это дѣло рѣшеннымъ, а потому и нахожу неумѣстнымъ распространяться о тѣхъ основаніяхъ, которыя заставляли меня и другихъ догадываться о сходствѣ между этими двумя разсказами. Сущность-же дѣла, по моему мнѣнію, заключается въ томъ, что если-бы г-нъ Тургеневъ не забылъ силы и формы своего обѣщанія, если-бъ онъ потрудился представить себѣ всю

непріятность положенія, въ какомъ должна была, по этому случаю, находиться редакція новаго журнала, то вмѣсто той повѣсти, которую въ мысли своей онъ назначалъ для «Русскаго Вѣстника», и которая не удавалась ему, онъ могъ-бы доставить другую повѣсть, которую успѣлъ кончить. Мы были-бы вправѣ считать свое обязательство передъ публикою исполненнымъ, если-бы вмѣсто *Призраковъ* представили ей *Фауста*. Думаемъ, что г-ну Тургеневу было-бы тѣмъ легче сдѣлать этотъ обмѣнъ, что редакція «Современника», при открытіи подписки на нынѣшній годъ, не обѣщала *Фауста*, и потому могла-бы имъ пожертвовать въ ожиданіи *Призраковъ* и многихъ другихъ произведеній г-на Тургенева, какъ своего исключительнаго сотрудника на будущее время.

. . . . . .

Г-нъ Тургеневъ находитъ въ свою очередь страннымъ, что я, позволивъ себѣ оскорбившее его замѣчаніе, заявляю свое уваженіе къ нему. На это скажу ему, что нравственное достоинство поступковъ опредѣляется прежде всего ихъ побужденіями; въ побужденіяхъ-же г-на Тургенева, относительно меня, я не могъ предполагать ничего дурнаго, и все недоразумѣніе объясняю тою забывчивостью, которой доказательство нашли мы въ его письмѣ изъ Парижа, напечатанномъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Сверхъ того, мы полагаемъ различіе между поступкомъ и человѣкомъ, и не одобряя поступка, можемъ сохранять полное уваженіе къ человѣку, особенно если онъ самъ готовъ сознать свою ошибку».

Закончимъ этотъ, выражаясь по парламентски, incident отвѣтнымъ, на этотъ разъ послѣднимъ, письмомъ Тургенева. Если мы вообще нѣсколько долго остановились на этомъ эпизодѣ, то только съ цѣлью показать, что уже въ 1857 г. до появленія «Аси», «Дворянскаго Гнѣзда», «Первой любви», «Наканунѣ», «Отцевъ и Дѣтей», популярность Тургенева была уже очень обширна и имя его составляло большую приманку для читающей публики.

Второе письмо Тургенева къ редактору «Московскихъ Вѣдомостей» гласило: М. Г. Получая снова отъ меня письмо,

въ которомъ идетъ рѣчь о моей повѣсти, обѣщанной «Русскому Вѣстнику» и т. д. вы рѣроятно подумаете, что игра не стоитъ свѣчъ. Это мнѣніе раздѣлитъ съ вами публика, раздѣляю и я. Но дѣлать нечего: надобно очистить этотъ вопросъ. Ограничусь двумя словами.

Я готовъ сознаться, что въ первомъ письмѣ моемъ изъ Парижа мнѣ-бы слѣдовало къ словамъ: не назначая опредѣленнаго срока прибавить слово: обязательнаго; я дѣйствительно надѣялся доставить мою повѣсть г-ну Каткову въ началѣ прошлаго года; — но въ дѣлѣ сочинительства одной доброй воли мало, и повѣсть моя осталась неконченной. Это не мѣшаетъ мнѣ объявить, что всю отвѣтственность за это неисправность (если только стоитъ употреблять такія громкія слова по поводу такого маловажнаго дѣла) я принимаю на себя.

Что-же касается до выговореннаго мною (при заключеніи условія съ «Современникомъ») права исполнить обѣщаніе, данное «Русскому Вѣстнику», то г-ну Каткову стоитъ обратиться къ редактору «Современника», у котораго хранится оригиналъ нашего условія, чтобы убѣдиться въ совершенной справедливости моихъ словъ. Сожалѣю, что этотъ запросъ г-ну Панаеву не былъ сдѣланъ г-мъ Катковымъ раньше; это-бы избавило и его и меня отъ новаго сомнѣнія и намека.

Въ надеждѣ, что этимъ объясненіемъ прекратится возникшее недоразумѣніе, прошу васъ принять, М. Г. увѣреніе въ совершенномъ уваженіи, съ которымъ остаюсь и пр.

Иванъ Тургеневъ.

Покончивъ съ этимъ дѣломъ, Иванъ Сергѣевичъ въ томъ-же 1857 году напечаталъ въ 4-й книжкѣ «Современника» за этотъ годъ одноактную комедію подъ названіемъ «*Чужой хлѣбъ*» и въ 10-й книжкѣ «Библіотеки для чтенія» за тотъ-же годъ—очеркъ «Поѣздка въ Полѣсье», заключившій собою «Записки Охотника». Послѣдніе въ это время были переведены на французскій языкъ Delaveau подъ заглавіемъ

«Recits d'un chasseur». Въ слѣдующемъ 1858 году «Записки Охотника» появились и на нѣмецкомъ языкѣ, въ плохомъ впрочемъ переводѣ Августа Больца подъ заглавіемъ «Aus dem Tagebuche eines Jägers».

XIII.

Предъ нами маленькая повѣсть — «Ася», всего въ 55 страницъ. Но сколько въ ней чувства, сколько поэзіи, не напускной фетовской, а истинной, глубокой, такъ и щемящей сердце пріятнымъ томленіемъ. Что-то отрадное вами овладѣваетъ, что-то знакомое мелькаетъ предъ вашими глазами, вы вспоминаете былое и вамъ хорошо на душѣ. Въ вашемъ сознаніи возстаютъ картины прошлаго со всѣмъ тѣмъ неопредѣленнымъ хаосомъ ощущеній, который одинъ только Тургеневъ и въ состояніи въ такой сильной степени воскресить у каждаго читателя. Всего сильнѣе сей-часъ указанная струйка появляется у нашего беллетриста, когда не выставляя общественныхъ типовъ, онъ вдругъ намъ рисуетъ какое-нибудь оригинальное женское существо въ родѣ Аси и Зинаиды изъ «Первой любви».

Ася не типъ, не представитель извѣстной общественной формаціи. Тѣмъ не менѣе характеръ ея имѣетъ общественную важность, такъ какъ въ ней мы видимъ цѣльную женскую натуру, не подвергшуюся порчѣ неумѣлой дрессировки. Незаконнорожденная Ася воспитывалась до тринадцати лѣтъ безъ всякой системы, или вѣрнѣе сказать вовсе не воспитывалась, такъ-такъ нельзя-же въ самомъ дѣлѣ назвать такимъ громкимъ именемъ-то, что маленькой Асѣ давали ѣсть, пить, да одѣвали до девяти лѣтъ по крестьянски, а потомъ какъ барышню. И хорошо, что ее не «воспитали». По крайней мѣрѣ остались въ неприкосновенности ея хорошіе природные задатки, доставшіеся ей по наслѣдству отъ простой, но су-

ровой и «характерной» матери ея — деревенской дѣвки — Татьяны. Неиспорченная, здоровая народная натура сказалась самымъ привлекательнымъ образомъ въ Асѣ, когда ей дали образованіе, сообщившее ей только хорошія стороны, между тѣмъ какъ дурныя отъ нея отпрянули и не привились. А привиться имъ было болѣе чѣмъ легко. Представьте себѣ, что «незаконнорожденная» дѣвочка попадаетъ въ аристократическій пансіонъ, гдѣ каждая изъ воспитанницъ уже съ колыбели заражена сословными предразсудками и смотритъ поэтому съ величайшимъ пренебреженіемъ на лицъ не «хорошей» фамиліи. Не хуже ихъ взрослыхъ маменекъ и тетенекъ онѣ могутъ всякому «указать его мѣсто» и уязвить отсутствіемъ доблестныхъ предковъ. А ужъ какъ плохо должно приходиться лицу, котораго даже ближайшіе родственники неизвѣстны. Много нужно было Асѣ имѣть неиспорченной натуры, чтобы не стать озлобленною противъ всего свѣта, много ей нужно было обладать хорошими задатками, чтобы не заразиться мелкими качествами своихъ подругъ съ придачею завистливости, пронырливости и подлизыванья. Значитъ корень былъ хорошъ, если столько дурныхъ условій не подѣйствовали гибельнымъ образомъ.

Ася чрезвычайно своеобразная натура,—одинъ изъ *безсознательно-геройскихъ* характеровъ. Поясникъ нѣсколько нашу мысль, что бы она читателю не показалась страною и не понятною. Дѣло вотъ въ чемъ. Есть личности, которыя вслѣдствіе образованія и хорошаго воспитанія развили въ себѣ чувства гражданскаго мужества, въ сущности представляющаго только водоизмѣненное и облагороженное личное. Такой человѣкъ въ состояніи воодушевиться отвлеченною идеею, онъ даже способенъ рискнуть жизнью, что бы привести ее въ исполненіе. Но геройство въ немъ пасивное. Если оно не будетъ каждый разъ особенно вызвано, то субъектъ имъ обладающій, можетъ просуществовать долгіе годы безъ того, чтобы окружающіе имѣли-бы самое отдаленное понятіе о таковыхъ его качествахъ до тѣхъ самыхъ поръ, пока какое нибудь экстраординарное происшествіе не вытя-

нетъ ихъ на свѣтъ Божій, чтобы всѣхъ поразить своею неожиданностью. Въ противоположность такимъ пасивнымъ героямъ есть натуры, для которыхъ сильныя ощущенія (признакъ не слабой и не трусливой натуры) также необходимы какъ иному обѣдать каждый день. Безъ случаевъ, когда кровь быстрѣе течетъ въ жилахъ, и организмъ живетъ возбужденною жизнью, имъ скучно. Имъ трудно переносить будничную, ровную обстановку, безъ всякихъ потрясеній. Между женщинами всего чаще попадаются подобныя личности, такъ какъ женская натура страстнѣе, порывистѣе, болѣе подчинена, вслѣдствіе тысячелѣтней отвычки думать, сердцу чѣмъ разсудку. Такимъ характерамъ мы можемъ дать названіе только *безсознательнаго* героизма, ибо онъ у нихъ въ крови, онъ составляетъ не отъемлемую часть всего ихъ существа. Онъ выражается въ самомъ обыкновенномъ движеніи, въ каждомъ словѣ, во всякомъ поступкѣ. Онъ отражается наконецъ на физіономіи, всегда оживленной и указывающей на душевное настроеніе. Вотъ, напримѣръ, возьмемъ Асю. Она и сѣсть не можетъ какъ всѣ люди. Непремѣнно вскарабкается на высокую скалу, чтобы хотя нѣсколько поволноваться, хотя немного вообразить себя въ необыкновенной обстановкѣ. Она шалитъ какъ маленькая дѣвочка, хотя очень умна и далеко не безъ развитія. Все въ силу своей натуры, требующей безпрестанной смѣны ощущеній, и при томъ волнующихъ сердце. Когда она хочетъ прикинуться «благовоспитанной» дѣвицей — ей это совершенно не удается потому, что она становится тогда натянутой и не естественной. Братъ Аси, добродушный Гагинъ, отлично понимаетъ ее и говоритъ, что его сестрѣ можетъ понравиться только герой, необыкновенный человѣкъ или живописный пастухъ въ горномъ ущельѣ. О томъ, какимъ образомъ ей понравился г. Н., разсказчикъ въ «Асѣ», скажемъ послѣ.

Ася томится въ ожиданіи чего-нибудь особеннаго. Ей-бы захотѣлось стать Жанной д'Аркъ или въ родѣ этого, да жалко случаевъ такихъ болѣе нѣтъ, ничего не подѣлаешь. Ей вдругъ приходитъ на умъ совсѣмъ нелѣпое и экцентрич-

ное желаніе быть птичкой, что бы кружиться въ синевѣ небесъ, парить надъ облаками и сразу все обозрѣвать, вообще возвыситься надъ всемъ земнымъ. Нужно замѣтить, что все это не желанія капризной дѣвочки, бѣсящейся съ жиру. Ася эксцентрична совсѣмъ особеннымъ образомъ; она страшно впечатлительна и нервна въ томъ смыслѣ, что ничто не проходитъ мимо нея не замѣченнымъ, безъ того, чтобы не оставить какой-нибудь слѣдъ. Когда ей весело, она не станетъ стѣсняться чужимъ присутствіемъ, не побоится вести себя самымъ «неблаговоспитаннымъ» манеромъ. Что бы напримѣръ, сказали маменьки и тетенки, какіе бы крики ужаса они испустили при слѣдующей сценѣ:

«Если-бы мы съ вами были птицы—какъ-бы мы взвились, какъ-бы полетѣли.... Такъ-бы и утонули въ этой синевѣ.... Но мы не птицы.

— А крылья могутъ у насъ вырости, возразилъ я.

— Какъ такъ?

—Поживите—узнаете. Есть чувства, которыя поднимаютъ насъ отъ земли. Не безпокойтесь, у васъ будутъ крылья.

А у васъ были?

— Какъ вамъ сказать.... Кажется до сихъ поръ, я еще не леталъ.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился къ ней.

— Умѣете вы вальсировать? спросила она вдругъ.

— Умѣю, отвѣчалъ я, нѣсколько озадаченный.

— Такъ пойдемте, пойдемте.... Я попрошу брата сыграть намъ вальсъ.... Мы вообразимъ, что мы летаемъ, что у насъ выросли крылья.

Она побѣжала къ дому, я побѣжалъ вслѣдъ за нею и нѣсколько мгновеній спустя, мы кружились въ тѣсной комнатѣ подъ сладкіе звуки Ланера. Ася вальсировала прекрасно, съ увлеченіемъ. Что-то мягкое, женское проступило вдругъ сквозь ея дѣвическій, строгій обликъ. Долго потомъ рука моя чувствовала прикосновеніе ея нѣжнаго стана, долго слышалось мнѣ ея ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мнѣ темные, неподвижные, почти закрытые глаза на блѣдномъ, но оживленномъ лицѣ, рѣзко обвѣянномъ кудрями.»

Но пусть ихъ маменекъ и тетенекъ, пускай кричатъ, что Ася неблаговоспитанная дѣвочка, которую нужно забрать въ ежевыя рукавицы, что бы выгнать «дурь» изъ головы. Все это не помѣшаетъ намъ въ ней видѣть по истинѣ замѣчательную натуру. Но сколько нужно умѣнія, сколько знанія человѣческой природы, что бы утилизировать ее для общества. Вѣдь героическихъ подвиговъ въ не героическій вѣкъ

нашъ негдѣ и совершать-то. Да наконецъ они и не составляютъ норму жизни, ихъ можно допускать только какъ рѣдкое исключеніе, какъ годовой праздникъ, не чаще. Въ противномъ случаѣ, они нарушаютъ обычное теченіе цивилизованной жизни и служатъ только помѣхою ходу прогресса. Общество все болѣе и болѣе приближается къ уничтоженію индивидуальнаго вліянія, оно идетъ по пути всеобщаго уравненія, спеціализированія занятій каждаго изъ членовъ своихъ. Поэтому оно болѣе не нуждается, какъ въ первобытныя времена, въ личной храбрости, въ личной доброкачественности. Ему главнымъ образомъ нужны члены, которые, отрѣшившись отъ міровыхъ стремленій, удовольствовались-бы скромною ролью чернорабочаго въ дѣлѣ прогресса и не заявляли-бы никакихъ претензій на необыкновенные случаи, на экстраординарныя происшествія, нарушающія спокойное развитіе здоровой гражданской жизни. Пока общество еще не достигло своего только-что показаннаго идеальнаго положенія, оно требуетъ мужества и героизма отъ своихъ членовъ, желающихъ споспѣшествовать его поступательному движенію, но оба эти качества должны быть совсѣмъ другаго разряда. Требуется мужество гражданское, то мужество, которое должно поддерживать передовыхъ людей въ ихъ борьбѣ съ недомысліемъ и недоброжелательствомъ рутины, въ стремленіи уничтожить нераціональныя условія обыденной жизни, гдѣ многіе еще не возвысились до того, чтобы проникнуться неразумностью современнаго имъ положенія дѣлъ. Чтобы имъ обладать—нужно быть высокоразвитымъ человѣкомъ. Одной личной храбрости тутъ мало. Рудинъ только отчасти обладалъ «*гражданственностью*», если можно такъ выразиться. Въ немъ не было умѣнья благотворно дѣйствовать на своихъ согражданъ, потому что у него слово не согласовалось съ дѣломъ и несоотвѣтствіе это уничтожало заслугу его тамъ, гдѣ онъ давалъ импульсы умственной жизни людямъ, не додумавшимся самымъ ни дочего. Но Рудинъ — «дѣла давно минувшихъ дней». Ася гораздо ближе намъ, она уже составляетъ переходъ къ Лизѣ

Калитиной, къ Еленѣ Стаховой. Въ ней уже вѣяніе новой жизни, приближеніе эпохи, гдѣ можно было заняться кое чѣмъ кромѣ прекрасноговоренія о матеріяхъ высокихъ.

По нашему мнѣнію значеніе характера Аси гораздо глубже, чѣмъ его обыкновенно понимаютъ. Большинство критиковъ въ ней видитъ необыкновенно подвижную натуру, всегда за погонею чего-нибудь выдающагося и больше ничего. Можетъ быть и самъ авторъ ничего другаго не имѣлъ въ мысляхъ, создавая «Асю». Про это мы ничего не знаемъ. Но наше мнѣніе по этому поводу радикально противоположно. Мы въ Асѣ видимъ отраженіе цѣлаго, огромнаго движенія въ русскомъ обществѣ.

Начало пятидесятыхъ годовъ характеризуется весьма замѣтнымъ стремленіемъ эмансипироваться отъ многихъ устарѣлыхъ взглядовъ — наслѣдія предъидущихъ эпохъ. Никакіе искусственные тормазы не были въ состояніи задержать это стремленіе, слишкомъ сильно сказавшееся во всѣхъ слояхъ общества. На зло своимъ врагамъ и недоброжелателямъ въ общемъ движеніи не отстала и женщина. И она въ своей сферѣ прониклась желаніемъ отбросить все тормозящую рутину и она захотѣла дохнуть новымъ воздухомъ свободы и независимости отъ нелѣпыхъ требованій свѣтскаго китаизма, для нея въ особенности тягостнаго своимъ безконечнымъ количествомъ стѣсненій на всякомъ шагу. Но гдѣ лучше и скорѣе могли проявиться новыя идеи, какъ не на торной женской дорожкѣ, которая ни одна женщина миновать не могла. Мы говоримъ о любви, составлявшей все для женщины прежняго времени, такъ какъ другихъ болѣе важныхъ интересовъ у нея не было. Вотъ отчего на этомъ поприщѣ всего раньше стало замѣтно вліяніе новыхъ понятій. Ася служитъ однимъ изъ первыхъ представителей новаго направленія. Она хотя не дошла «своимъ умомъ» до того, чтобы отвергнуть старыя понятія о любви, объ отношеніяхъ женщины и мужчины между собой, но за то мысли ея, сюда относящіяся, не были спутаны, ей не были привиты воспитаніемъ представленія, совершенно чуждыя человѣческой при-

родѣ и логическимъ требованіямъ ума. Поэтому нечего удивляться, что полюбивъ, она не обращаетъ вниманіе на свое «поведеніе» и безъ всякихъ околичностей назначаетъ любимому человѣку свиданіе и даже не утаиваетъ отъ брата возникающее въ ней чувство. Но да не придутъ въ ужасъ нравственные папеньки и маменьки! Истинная нравственность тутъ ни чуть не нарушена. Если Ася увлечется и, о ужасъ! — «падетъ», то все-же будущій мужъ ея можетъ быть увѣренъ въ томъ, что она своему супружескому долгу останется вѣрна и ему не измѣнитъ. Она его не надуетъ; если-же разлюбитъ, то прямо объ этомъ объявитъ, не желая ни съ кѣмъ играть въ жмурки. Вѣдь Ася полюбила не оттого, что воображенье ея испорчено жизнью въ институтѣ— монастырѣ, съ его тлетворнымъ вліяніемъ. Она не изъ тѣхъ барышень, что занимаютъ свое досужее время совсѣмъ не дѣвичьими мечтами о душкахъ-гусарахъ. Нѣтъ! Ася—чистая непорочная дѣвушка. Но подъ естественнымъ дѣйствіемъ страсти, она не стѣсняется рѣшаться на поступки, можетъ быть и возбуждающіе порицаніе сухихъ и безжизненныхъ моралистовъ, но за которые ни одинъ развитой человѣкъ, имѣющій понятіе объ истинной нравственности, ее осуждать не станетъ.

Какъ счастливъ долженъ быть человѣкъ, успѣвшій внушить такой дѣвушкѣ, какъ Ася, привязанность къ себѣ! Какъ долженъ онъ быть радъ, завоевавъ сердце прекраснаго, непомятаго жизнью существа! Какъ высоко долженъ онъ ее цѣнить, если только вполнѣ понимаетъ богатый рудникъ ея натуры и чувствуетъ въ себѣ достаточно умѣнья, чтобы извлечь изъ него пользу. Не пугаться ея, не быть радымъ, что отдѣлался отъ «экцентричной» Аси, какъ это дѣлаетъ г. Н., а плакать, горько плакать нужно было этому самому г. Н., во первыхъ потому, что настоящее счастье, по его-же винѣ, ускользнуло изъ рукъ его, а во вторыхъ долженъ онъ былъ плакаться на самаго себя за то, что Богъ наградилъ его такимъ недомысліемъ. Вѣдь онъ не понялъ Аси, ему было жалко ея только первые дни, когда онъ самъ еще находился подъ вліяніемъ всепожирающей страсти.

А счастье было такъ близко.

«Ася, сказалъ я едва слышно.

Она медленно подняла на меня свои глаза.... О, взглядъ женщины, которая полюбила, кто тебя опишетъ? Они молили эти глаза, они довѣрялись, вопрошали, отдавались.... Я не могъ противиться ихъ обаянію. Тонкій огонь пробѣжалъ по мнѣ жгучими иглами, я нагнулся и приникъ къ ея рукѣ....

Послышался трепетный звукъ, похожій на прерывистый вздохъ, и я почувствовалъ на моихъ волосахъ прикосновеніе слабой, какъ листъ дрожавшей, руки. Я поднялъ голову и увидалъ ея лицо. Какъ оно вдругъ преобразилось. Выраженіе страха исчезло съ него, взоръ ушелъ куда-то далеко и увлекалъ меня за собою, губы слегка раскрылись, лобъ поблѣднѣлъ какъ мраморъ и кудри отодвинулись назадъ, какъ будто вѣтеръ ихъ откинулъ. Я забылъ все и потянулъ ее къ себѣ — покорно повиновалась ея рука, все ея тѣло повлеклось вслѣдъ за рукою, шаль покатилась съ плечъ и голова ея тихо легла на мою грудь, легла подъ мои загорѣвшіяся губы....

— Ваша.... прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокругъ ея стана....»

Горячая сцена, только что описанная, къ успокоенію всѣхъ матушекъ и тетюшекъ, окончилась весьма благополучно. Г. Н., тоже видно принадлежащій къ породѣ русскихъ гегеліанцевъ, какъ подобаетъ такому разсудочному мыслителю, маленько струхнулъ и если самъ и не далъ стречка, то, во всякомъ случаѣ, обратилъ въ бѣгство своимъ поведеніемъ оскорбленную до глубины души Асю. Какъ Наталья и она бѣдная разочаровалась въ своемъ идеалѣ, если только можно обозначить г. Н. такимъ громкимъ именемъ. И чѣмъ онъ только ей понравился — остается, выражаясь высокимъ слогомъ, покрытымъ мракомъ неизвѣстности. Какимъ образомъ г. Н., хотя въ отдаленномъ походилъ на того необыкновеннаго человѣка, что одинъ, по словамъ хорошо знавшаго Асю Гагина, могъ ей нравиться—тоже остается неразъясненнымъ въ повѣсти. Онъ даже не фразеръ à la Рудинъ; онъ и на словахъ не драпируется въ мантію необыкновеннаго смертнаго, чѣмъ-бы могъ обмануть неопытную и неособенно-развитую дѣвушку и заставить ее все принимать за чистую монету.

Въ продолженіи всей повѣсти, г. Н. ведетъ себя самымъ безцвѣтнымъ образомъ, такъ что читатель не выно-

сить никакого опредѣленнаго представленія о его личности. Трудно, очень трудно догадаться, чѣмъ онъ прельстилъ Асю и такъ сильно заставилъ ее понизить требованія отъ любимаго человѣка. Но какъ-бы то ни было, мы во всякомъ случаѣ должны быть Тургеневу чрезвычайно благодарны за «Асю». Если г. Н. блѣденъ, если за него можно обвинить автора въ слабости красокъ, то не нужно при этомъ забывать, что въ сущности г. Н. только аксессуаръ въ повѣсти и ничего болѣе. Главный интересъ исключительно выпадаетъ на долю оригинальной и въ высшей степени симпатичной героини; она одна насъ занимаетъ. И какъ хорошо выдержанъ характеръ Аси! Ни одинъ шагъ ея не противорѣчитъ съ ея нравственнымъ существомъ, всякій поступокъ логически изъ него проистекаетъ. «Асей» Тургеневъ далъ защитникамъ самобытности русской женской натуры еще одно вѣское доказательство, и вотъ почему эта маленькая повѣсть составляетъ одну изъ тѣхъ симпатичныхъ связей, которая соединяетъ нашего знаменитаго писателя съ русской читающей публикой.

Замѣчательная черта большинства Тургеневскихъ повѣстей сказывается и въ «Асѣ». Черта эта заключается въ привлекательности выводимыхъ имъ женскихъ характеровъ и въ энергичности ихъ. Можетъ быть это происходитъ отъ того, что требованія наши отъ женщины гораздо скромнѣе, но во всякомъ случаѣ всѣ женскіе типы у Тургенева оставляютъ чувство удовлетворенности и вы вполнѣ согласны съ ихъ поступками. Вамъ рѣдко приходиться въ нихъ что-нибудь порицать и они ни разу не возбуждаютъ вашего негодованія, что сплошь, да рядомъ вамъ приходиться дѣлать относительно выводимыхъ мужчинъ. Просмотрите галлерею женскихъ типовъ у Тургенева: вездѣ у него женщина является невинной жертвой своего соціальнаго положенія или страждущей отъ нескладицы всей русской жизни вообще. Вотъ мелькаетъ предъ нашими глазами Маша изъ «Затишья», Вѣра, Наталья, Ася, Лиза изъ «Дворянскаго Гнѣзда», Елена изъ «Наканунѣ», Зинаида изъ «Первой Любви». Какія все

свѣтлыя, неиспорченныя своею обстановкою личности! Сколько въ нихъ свѣжести и не поблеклыхъ убѣжденій, убѣжденій если и не всегда глубокихъ и поражающихъ своею основательностію, то все-же не навѣянныхъ извнѣ, а выношенныхъ въ глубинѣ души.

Оттого-ли, что женщины въ повѣстяхъ Тургенева играютъ пассивную роль или отъ того, что являются съ меньшими претензіями, но онѣ всегда оказываются послѣдовательнѣе, прямѣе мужчинъ и не допускаютъ, чтобы слово у нихъ расходилось съ дѣломъ. Ни надъ одной изъ женскихъ личностей у Тургенева нельзя себѣ позволить пронизировать, хотя такъ называемыхъ «щекотливыхъ» положеній не оберешься у разбираемаго нами писателя. Тѣмъ, что у Тургенева женщина всегда является въ симпатичномъ свѣтѣ, можно себѣ объяснить отчасти, отчего онъ въ женской читающей публикѣ пользуется такою предпочтительною предъ другими писателями любовью. Мы этимъ совсѣмъ не желаемъ сказать, что Тургеневъ какъ-бы лестью прекрасному полу завоевалъ себѣ его расположеніе. Нѣтъ! Русскія женщины слишкомъ умны, чтобы любить своихъ панигиристовъ! Онѣ слишкомъ хорошо сознаютъ недостаточность того, чѣмъ въ настоящее время обладаютъ, чтобы удовольствоваться ничего не выражающими словами мадригала. Тургеневъ только оттого имъ дорогъ, что можетъ быть лучше всѣхъ русскихъ писателей понялъ женское сердце и вотъ отчего чтеніе его повѣстей такъ сильно дѣйствуетъ на слабый полъ. Тонкимъ анализомъ вскрываетъ Тургеневъ чувства женщины, показывая намъ послѣдовательность процесса любви въ душѣ ея. Симпатичными штрихами очерчиваетъ онъ неуловимыя движенія женскаго сердца, когда оно только-что загорается симпатіею, когда оно само почти еще не отдаетъ себѣ въ этомъ отчета. И еще по одной причинѣ дорогъ Тургеневъ женщинамъ. Если онъ и не является Жоржъ-Зандомъ русской литературы, если онъ и не проповѣдуетъ безусловную свободу человѣческаго сердца въ дѣлѣ любви, то все-же онъ выступаетъ защитникомъ всякой склонности, если только въ основѣ

ея лежитъ не развратъ, а дѣйствительное чувство. Въ противоположность женскимъ характерамъ Писемскаго, всегда носящимъ слишкомъ большой отпечатокъ животной страстности, у Тургенева постоянно на первомъ планѣ стоитъ не любовь, основанная на физическихъ качествахъ, а чувство, проистекающее изъ нравственнаго величія одной изъ сторонъ и способности понимать его съ другой. Если въ «Асѣ» мы не совсѣмъ видимъ оправданіе этой черты, то вину тутъ слѣдуетъ взвалить только на блѣдность красокъ, употребленныхъ авторомъ для характеристики личности г. Н. Нѣтъ сомнѣнія, что такая порывающаяся къ высшему натура, какъ Ася не могла увлечься однимъ красивымъ личикомъ. Можетъ быть поэтическій колоритъ обстановки, гдѣ дѣйствіе происходитъ, Рейнъ съ его обрывистыми берегами, пароходы вдали мелькающіе, религіозныя процессіи, лѣто, бытъ рейнскихъ жителей, можетъ быть все это заставило бѣдную дѣвушку посмотрѣть сквозь поэтическую призму на Н. и принять его за человѣка, способнаго отречься отъ ходячихъ взглядовъ и понятій, за человѣка, не зараженнаго филистерскими идеями о взаимныхъ отношеніяхъ мужчины и женщины и небоящагося взять себѣ въ спутницы жизни дѣвушку, не совсѣмъ похожую на «спокойныхъ» россійскихъ барышень, на скалы не влѣзающихъ и свиданій въ разрушенной башнѣ не назначающихъ. Бѣдная, бѣдная Ася! Ты не знала, что имѣла дѣло съ русскимъ гегеліанцемъ, отличительная черта котораго есть разсуждать некстати и тогда, когда въ этомъ нѣтъ никакой надобности.

—

«Ася» вызвала два обширные разбора: Н. Г. Чернышевскаго подъ названіемъ: «Русскій человѣкъ на rendez vous» и П. В. Анненкова: «О литературномъ типѣ слабаго человѣка».

XIV.

Мы приступаемъ къ самой значительной изъ повѣстей Тургенева, къ «Дворянскому Гнѣзду». Оно обильнѣе другихъ его произведеній типичными лицами. Оно представляетъ собою эпопею жизни дворянина «прежняго» времени и составляетъ лебединую пѣснь «до-реформенной» эпохи. Послѣ него у Тургенева начинаютъ появляться новыя лица, для которыхъ жизнь, изображенная въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», составляетъ уже достояніе исторіи. Въ героѣ повѣсти — Лаврецкомъ мы видимъ послѣдняго представителя ничего недѣлающихъ россійскихъ философовъ, которымъ ихъ бездѣлье можно простить и не заклеймить весьма нелестными эпитетами, въ героинѣ-Лизѣ — послѣднюю жертву дурныхъ условій русской жизни, при которыхъ женщина можетъ найти утѣху въ одной любви и, потерпѣвши на этомъ поприщѣ пораженіе, не видитъ предъ собою никакой другой цѣли и потому хоронитъ себя на вѣкъ въ монастырѣ.

Лица, наиболѣе останавливающія на себѣ вниманіе при чтеніи «Дворянскаго Гнѣзда» это — Лаврецкій, Лиза и Паншинъ. На нихъ мы нѣсколько болѣе остановимся. Жена Лаврецкаго, тетка Лизы и старикъ Леммъ, хотя тоже небезынтересныя личности, но общественной важности не представляютъ, а потому мы объ нихъ упоминаемъ только вскользь. Посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, какой фазисъ русскаго общественнаго развитія отразился на лицахъ, выводимыхъ въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ».

Что такое представляетъ своею особою Лаврецкій? Разсмотримъ его свойства и качества, чтобы съумѣть подвести его подъ какую-нибудь категорію.

Лаврецкій во первыхъ дворянинъ, но дворянинъ русскій. Это весьма важное обстоятельство, которое не слѣдуетъ

упускать изъ виду. Присущее широкой русской натурѣ добродушіе сказалось весьма сильно въ чувствахъ и тенденціяхъ нашей аристократіи. На западѣ дворянство составляетъ совершенно замкнутое сословіе, для котораго какъ-бы неписаны законы прогресса. Какъ и двѣсти лѣтъ тому назадъ, оно полно сословныхъ предразсудковъ и крайне нетерпимо къ лицамъ, не обладающимъ достодолжнымъ спискомъ доблестныхъ предковъ. Какъ и прежде, оно никого не впускаетъ въ свой кругъ и считаетъ ниже своего достоинства заниматься «недворянскими» дѣлами. Подобныя понятія имѣютъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ очерствѣніе души, измельчаніе характера и вообще придаютъ всему существу человѣка что-то мизерное, неспособное понимать и чувствовать что-нибудь возвышенное. Германское юнкерство всего лучше показываетъ вліяніе непониманія идей о равенствѣ всѣхъ образованныхъ людей, объ образованіи, какъ единственномъ различіи между разными лицами. Россія, къ счастію, не обладаетъ такимъ узко понимающимъ свои привиллегіи дворянствомъ. Какъ нѣтъ худа безъ добра, такъ и въ данномъ случаѣ, меньшее развитіе гражданственности въ Россіи не дало возможности очень сильно отстояться обособленности дворянства какъ сословія. Главная сила русскаго дворянства была больше въ богатствѣ. Лишившись послѣдняго въ значительной степени съ освобожденіемъ крестьянъ, оно значительно начало стушевываться и подходить подъ общій уровень. Вотъ въ послѣднемъ смыслѣ, т. е. понимая подъ дворяниномъ богатаго человѣка, мы и дали это названіе Лаврецкому. Матеріальное обезпеченіе, имѣвшее мѣсто у очень многихъ лицъ предшествовавшей эпохи, дѣлаетъ изъ Лаврецкаго не единичное лицо, а представителя цѣлаго разряда людей. Какъ Рудинъ есть представитель неимущаго гегеліанца сороковыхъ годовъ, такъ Лаврецкій являетъ въ себѣ русскаго интеллигентнаго человѣка, котораго судьба поставила внѣ необходимости добывать себѣ хлѣбъ насущный. И ему какъ Рудину трудно было подъискать себѣ подходящую дѣятельность. Служба для денегъ была для него излишнею, служба какъ средство при-

нести своей странѣ пользу тоже была немыслима. Заниматься торговыми дѣлами ему не нужно было. Въ ученые онъ не лѣзъ. Значитъ оставалось одно — жить диллетантомъ въ свое удовольствіе да любить. И Лаврецкому, какъ женщинѣ того времени было подходяща и привлекательна одна область любви, и онъ, желая чѣмъ нибудь наполнить свое существованіе, долженъ былъ устремить свои помыслы на поиски хорошей женщины, достойной его влеченія. Въ сознаніе Лаврецкаго уже проникла мысль о пользѣ, которую всякій любящій свою страну гражданинъ долженъ приносить, онъ въ глубинѣ души согласенъ съ другомъ своимъ Михалевичемъ, обзывающимъ его «байбакомъ». Онъ протестуетъ только противъ «злостнаго, разсуждающаго» байбака. И дѣйствительно, если Лаврецкій байбакъ, то оттого, что всѣ тогда были байбаки. Жизнь-то русская сама обайбачилась и спала, не производя ничего дѣйствительнаго. Не спалъ одинъ «народъ». Онъ одинъ нарушалъ шумомъ своей работы тишь, царившую повсюду. Онъ одинъ въ борьбѣ за свое существованіе представлялъ собою осмысленное бытіе. Но къ сожалѣнію, въ немъ былъ еще слишкомъ малъ запасъ интеллигенціи, чтобы выдвинуть изъ своей среды два три дѣятельныхъ типа, которые устыдили-бы «дворянчиковъ» активностью своей натуры въ противоположность ихъ байбачьимъ наклонностямъ. «Хорошіе» люди того времени всѣ были изъ привиллегированнаго сословія. Эти «благонамѣренные» дворяне, хотя и не были проникнуты кастовымъ букетомъ, все-же не были въ состояніи, вслѣдствіе вѣковой отвычки дѣлать кое-что прочное, произвести что-нибудь кромѣ разочарованныхъ Онѣгиныхъ да скучающихъ Печориныхъ и Лишнихъ людей.

Лаврецкій вовсе не злостный байбакъ. Онъ постоянно работаетъ надъ своимъ образованіемъ, мало имѣя возможности заниматься чѣмъ-нибудь инымъ. Онъ изъ за границы, послѣ того, какъ потерялъ надежду на семейное счастіе, пріѣзжаетъ съ твердымъ намѣреніемъ взяться за «дѣло». Но увы! «дѣло» то смутно для него самаго и онъ хорошенько не знаетъ, въ чемъ оно состоитъ. Въ концѣ повѣсти оно

впрочемъ нѣсколько выясняется. Тургеневъ намъ говоритъ, что Лаврецкій нашелъ себѣ наконецъ дѣятельность, что онъ сталъ землю пахать и хорошо устроилъ своихъ крестьянъ! Мы за это должны ему сказать большое спасибо. Дѣло освобожденія, продиктованное указомъ 19 февраля, было-бы несравненно труднѣе приведено въ исполненіе, если-бы единичныя попытки улучшить крестьянскій бытъ не были-бы произведены до него, если-бы не было людей и двадцать лѣтъ тому назадъ, бывшихъ готовыми содѣйствовать всѣми силами тому, чтобы снять съ родной страны клеймо, такъ сильно ее отличавшее отъ европейскихъ государствъ. Да, думать о своихъ крестьянахъ было единственнымъ дѣломъ, чѣмъ мыслящій помѣщикъ того времени могъ заняться. Онъ долженъ былъ хотя позднею заботою искупить часть тѣхъ вѣковыхъ прегрѣшеній, что его предки совершили относительно этого угнетеннаго люда, дающаго силу и крѣпость всему государству и чьею работою барамъ того времени была дана возможность вести диллетантскую интеллигентную жизнь. Всякій образованный, мыслящій владѣтель человѣческихъ существованій долженъ былъ, если только имѣлъ понятіе о міровой правдѣ и справедливости, всѣми силами и на всякомъ шагу стараться быть полезнымъ своимъ «меньшимъ братьямъ» и заставить ихъ забыть вѣковыя неправды. Лаврецкій, какъ и всѣ интеллигентные и честные люди того времени, былъ проникнутъ сознаніемъ анормальности крѣпостнаго права и потому онъ какъ человѣкъ, не жертвующій своими убѣжденіями для служенія мамонѣ, старался по мѣрѣ возможности смягчить гнетъ учрежденія, для уничтоженія котораго единичныя попытки были безсильны.

Еще однимъ Лаврецкій обязанъ «народу», еще за одну вещь ему приходится благодарить своихъ «мужичковъ». Они дали ему мать и этимъ самымъ возможность подкрѣпить кровь, текущую въ его жилахъ, новымъ запасомъ здоровыхъ, народныхъ силъ, обновить застоявшуюся и начинавшую плеснѣвѣть породу свѣжимъ притокомъ неиспорченнаго бездѣльемъ элемента. Мать Лаврецкаго — кроткая Маланья дала

сыну своему доброту и незлобивость и подъ вліяніемъ образованія оба эти качества соединились въ одно, весьма хорошее цѣлое. Да, многимъ, очень многимъ былъ обязанъ Лаврецкій крестьянскому сословію! Если его можно назвать порядочнымъ человѣкомъ, то только благодаря «народу». Только отъ него онъ могъ получить свои хорошія наклонности, только изъ этого источника почерпнуть свои заслуживающія уваженія черты характера, потому что съ отцовской стороны ему было очень мало чѣмъ позаимствоваться. Рукой первокласснаго мастера Тургеневъ обрисовалъ отца и дѣда Лаврецкаго; изъ этой великолѣпной характеристики мы можемъ съ большею долею вѣроятности заключить, что плейбейскій элементъ сильно послужилъ въ пользу нашему герою. Мать внесла въ его натуру крѣпость, пріобрѣтаемую производительною работою. Трудъ великое дѣло: онъ одинъ спасаетъ породу людей отъ измельченія и не даетъ чахлыхъ потомковъ, долговѣчныхъ какъ мухи. Не даромъ-же Прудонъ такъ гордился своими предками, говоря, что всѣ они у него были мужики, значитъ люди, нормально жившіе и потому имѣющіе возможность завѣщать своимъ дѣтямъ физическую и нравственную мощь. И въ Лаврецкомъ текла трудовая кровь и потому онъ могъ съ большимъ участіемъ отнестись къ людямъ, неопирающимся на чужія услуги, а единственно на правѣ, пріобрѣтаемымъ трудомъ.

Поиски за личнымъ счастіемъ не совсѣмъ удались Лаврецкому. Онъ только годъ или два имѣлъ вѣрную спутницу жизни, онъ только очень недолго могъ считать себя въ обладаніи существомъ, имъ интересующимся, имъ живущимъ. Благодаря «спартанскому» воспитанію, женщины были для него совершенною «terra incognita», и онъ поэтому крайне легко попадается въ просакъ, не раскусивъ кокетки жены своей и приписывая ей несуществующія качества. Неопытный, честный Лаврецкій не можетъ унизиться до того, чтобы заняться подозрительнымъ анализомъ обстановки, въ которой выросла жена его, Варвара Павловна, и понять не вполнѣ ангельскую натуру львицы - институтки. Къ тому-же, его

(всѣ мы люди, всѣ человѣки) ослѣпляетъ поразительная красота Варвары Павловны и онъ, не долго думая, рѣшается соединить съ нею жизнь свою неразрывными узами на вѣки нерасторжимаго брака. Для нея онъ прерываетъ свои занятія, для нея ведетъ свѣтскую жизнь въ Петербургѣ, для нея отправляется странствовать по Европѣ. Все еще близорукій и обманутый на счетъ жены своей, онъ не замѣчаетъ, что дѣлается у него подъ носомъ и даже не подозрѣваетъ о развратныхъ шашняхъ своей супруги, пока случайное обстоятельство не раскрываетъ ему глаза и съ убійственною очевидностью показываетъ, что счастіе его было чисто фиктивное, что его все время супружества безсовѣстнѣйшимъ образомъ обманывали. Неудивительно, что нашъ герой въ страшномъ горѣ. Его отчаянье безгранично! Ему не жалко, что именно *его* обманули. Онъ небоится насмѣшекъ свѣта, не опасается прозванія рогоносца. Ему только горько, очень горько такъ гнусно разочароваться. Ему обидно глупѣйшимъ образомъ остаться въ дуракахъ, даже не фольгу принять за чистое золото. Какъ идеалистъ, Лаврецкій вѣритъ въ абсолютную чистоту и никакіе частные случаи не въ состояніи поколебать общаго строя его міросозерцанія. Но все-же всякій разъ, когда ему приходится имѣть дѣло съ такимъ жесткимъ прикосновеніемъ неидеальной дѣйствительности, все его нравственное существо страшно потрясается несходствомъ мечты и дѣйствительности и извращеніемъ лучшихъ человѣческихъ инстинктовъ. Идеализмъ слишкомъ крѣпко сидѣлъ въ Лаврецкомъ, что-бы двумя, тремя фактами его можно было-бы выгнать. И дѣйствительно! Вѣра Павловна ничуть не умалила вѣру Лаврецкаго въ возможность существованія чистаго, непорочнаго женскаго существа. Обжегшись на молокѣ, нашъ идеалистъ не только что на воду не дуетъ, но съ прежнимъ довѣріемъ подходитъ къ тому же горячему напитку, на этотъ разъ только принявъ мѣры, чтобы какъ нибудь не смѣшать настоящее молоко съ кислою подмѣсью мѣла въ воду. Оправившись отъ удара, нанесеннаго ему Вѣрой Павловной, Лаврецкій снова чувствуетъ по-

требность женской любви, онъ совсѣмъ еще не намѣренъ остаться весь вѣкъ свой одинокимъ бобылемъ, которому не съ кѣмъ дѣлить свои думы и мечты. Въ немъ живетъ еще жажда счастія, онъ не сдалъ еще свои чувства въ архивъ. Въ такомъ настроеніи онъ встрѣчается съ дѣвушкой, неособенно развитой, но съ необыкновенно богатымъ запасомъ «натуры», съ чистою душою и таковыми-же помыслами. Сначала незамѣтно, но потомъ все сильнѣе и сильнѣе разгорается въ Лаврецкомъ новое чувство. Онъ не однѣхъ съ нею убѣжденій въ дѣлѣ религіи, но это ему не мѣшаетъ ихъ уважать, потому что онъ, какъ и всякій развитой и образованный человѣкъ, находитъ достойнымъ уваженія все то, что искренно. Къ тому-же онъ, можетъ быть, втайнѣ надѣется передѣлать Лизу на свой ладъ. Его очаровываетъ ея простота, ея безискусственность. Между ними не происходитъ никакихъ «любовныхъ» разговоровъ и даже самое «объясненіе» выходитъ какъ-бы случайно и совсѣмъ не такъ, какъ оно въ большинствѣ романовъ описывается.

Не долго продолжалось счастіе Лаврецкаго. Въ моментъ, когда онъ подумалъ, что послѣднее наконецъ ему улыбнулось и далось, злорадная судьба подсовываетъ ему Варвару Павловну, которую онъ было уже считалъ умершею. Какъ злой геній горя и печали она внезапно является, какъ воплощеніе принципа о нерасторжимости брака, о вѣчномъ союзѣ двухъ существъ, всего менѣе другъ другу симпатизирующихъ. О любви-же внѣ брака не помышляетъ какъ Лаврецкій, такъ и тѣмъ болѣе Лиза. Съ разбитымъ сердцемъ они разстаются, чтобы остальную часть жизни горевать о своихъ попранныхъ чувствахъ. Лиза хоронитъ себя въ монастырѣ, Лаврецкій углубляется въ занятія хозяйствомъ.

Любовь къ Лизѣ составляетъ послѣднее звѣно молодости нашего героя. Послѣ этого онъ уже начинаетъ думать о старости, чувства его не такъ уже воспріимчивы, онъ какъ будто дряхлѣетъ и душею. Но, говоритъ намъ Тургеневъ, Лаврецкій не утратилъ вѣры въ добро, постоянство воли, охоту къ дѣятельности. За эти качества, за это непоколе-

бимое убѣжденіе въ торжествѣ хорошаго, присущее всѣмъ вообще представителямъ сороковыхъ годовъ, имъ можно простить ихъ многочисленныя отступленія отъ идеала вполнѣ полезнаго члена общества. За ихъ вѣру въ справедливое и должное ихъ слѣдуетъ уважать и смотрѣть на нихъ какъ на людей, которыхъ только общая нескладица эпохи сдѣлала людьми, не выдерживающими строгой критики. Лаврецкій, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ наиболѣе симпатичнымъ изъ людей сороковыхъ годовъ. Вы не можете къ нему чувствовать ничего инаго, кромѣ самаго безграничнаго расположенія, вы не можете ему отказать въ самой искренней любви, хотя-бы за одинъ его взглядъ на молодое поколѣніе, за отсутствіе въ немъ беззубой злобы отживающихъ эгоистовъ, съ ненавистью взирающихъ на молодыя силы, почитая ихъ своими личными врагами. Какъ человѣкъ философски развитой, Лаврецкій понимаетъ невозможность передѣлать общій законъ, въ силу котораго постоянно идетъ смѣна поколѣній, причемъ каждое послѣдующее совершеннѣе предъидущаго. Лаврецкій, кромѣ того, чувствуетъ приближеніе новаго времени, онъ понимаетъ, что новому поколѣнію даны будутъ лучшія условія для развитія и по этому оно будетъ выше стоять стараго. Вотъ отчего онъ скромно отодвигается на второй планъ, чтобы не стѣснять движенія свѣжихъ силъ.

«Играйте, веселитесь, ростите, молодыя силы, думалъ онъ, и не было горечи въ его думахъ:—жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить; вамъ не приходится, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ-бы уцѣлѣть—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! — а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать, — и благословеніе брата старика будетъ съ вами. А мнѣ остается отдать вамъ послѣдній поклонъ — и хотя съ печалью, но безъ зависти, безъ всякихъ темныхъ чувствъ, сказать въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай безполезная жизнь!»

Но отчего-же безполезная жизнь? Отчего такой отчаянный пессимизмъ, спроситъ читатель и мы къ нему вполнѣ присоединимся. Неужели-же всякій долженъ играть первенствующую роль? Или Лаврецкій оттого считаетъ себя без-

полезнымъ, что на смѣну его поколѣнію явились люди съ лучшимъ запасомъ силъ? Но и въ такомъ случаѣ онъ не правъ. Полезенъ всякій, въ комъ теплится искра Божья, полезенъ всякій, кто не пропитался пошлостью, полезенъ всякій, кто, сознавая свой наличный нравственный капиталъ, этимъ подаетъ примѣръ смиренья шипящей, дряхлой посредственности, не желающей уступить первенства, потому что и во время молодости имъ не пользовалась. Если-бы всѣ люди предъидущей эпохи были проникнуты однѣми убѣжденіями съ Лаврецкимъ, если-бы они сходились въ своихъ взглядахъ—вся знаменитая борьба между «отцами» и «дѣтьми» не существовала-бы и не растрачивались-бы силы молодаго поколѣнія на преодолѣніе препятствій со стороны лицъ, которыя были одинаково заинтересованы въ низложеніи общихъ непріятелей какъ старой такъ и молодой Россіи. Будь всѣ Лаврецкими, антагонизмъ стараго и новаго времени потерялъ-бы свой острый характеръ и не помѣшалъ-бы единодушности совмѣстныхъ дѣйствій; исторія современной намъ эпохи носила-бы совсѣмъ иной отпечатокъ. И отчего это люди сороковыхъ годовъ такъ непомѣрно живучи! Отчего въ нихъ такъ сильна жажда власти? Отчего это ни одно поколѣніе не должно было съ такими усиліями отстоять свое право существованія, какъ шестидесятые годы отъ притязаній сороковыхъ? Констатированіе этого грустнаго факта должно насъ привести къ печальному заключенію, что Лаврецкіе не были въ большинствѣ, что и они представляли только свѣтлыя исключенія...

Отношенія Лаврецкаго къ молодому поколѣнію намъ дороги еще въ одномъ смыслѣ: мы въ нихъ видимъ убѣжденія самаго Тургенева по тому-же предмету. Но объ этомъ рѣчь впереди. Мы къ нему возвратимся при разборѣ «Отцевъ и Дѣтей» и «Дыма».

Если въ Асѣ мы видимъ богатую натуру, не исковерканную безалабернымъ воспитаніемъ, и потому сохранив-

шуюся во всей своей прекрасной природной неприкосновенности, то Лиза Калитина дорога для насъ совершенно по другой причинѣ, совсѣмъ другими сторонами своего характера, въ сущности своей похожаго на таковой оригинальной сестры Гагина. Если Асю можно хорошо приравнить бурному потоку, то Лиза подойдетъ подъ опредѣленіе спокойной, но многоводной рѣки. И здѣсь и тамъ мы имѣемъ дѣло съ большимъ запасомъ двигательной силы, но во второмъ случаѣ для утилизированія требуется меньше умѣнія, руководителемъ можетъ быть менѣе искусный кормчій. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ лежитъ причина того, что Аси не могутъ быть повседневными явленіями, между тѣмъ какъ Лиза имъ должна быть, при правильности общаго строя русской жизни. Лиза именно тѣмъ для насъ и важна, что не представляетъ собою какую-нибудь титаническую натуру, рвущуюся изъ обыденныхъ рамокъ. Нѣтъ, Лиза Калитина— простая русская дѣвушка и въ этомъ значеніе ея типа. Подобную Лизу мы уже встрѣчаемъ у Пушкина въ его «Капитанской Дочкѣ». И тамъ комендантская Маша тиха и обыкновенна на первый взглядъ, а понадобится, такъ она выскажетъ такія черты характера, что западный человѣкъ непремѣнно ее въ героини произведетъ. Лиза имѣетъ съ нею очень много сходства. Она не одного покроя съ Натальей Ласунской и пожалуй не особенно-бы увлеклась Рудинымъ, потому что обстановка, гдѣ она выросла, чисто-русская обстановка ея дѣтства, подъ руководствомъ простой крестьянки, не могла ее настолько развить, чтобы она имѣла особенное расположеніе къ міровымъ стремленіямъ Рудина. Ее Лаврецкій прельстилъ не рѣчами своими, не тенденціями, имъ высказываемыми, не мнимымъ величіемъ своей личности, а просто «такъ себѣ». Онъ ей полюбился какъ хорошій человѣкъ, понимая послѣдній эпитетъ въ обыденномъ смыслѣ, т. е. когда говорящій и самъ не отдаетъ себѣ яснаго отчета объ элементахъ, составляющихъ хорошаго человѣка. Лиза довольно неразвита и «политика» ее не интересуетъ. Когда въ ея присутствіи Лаврецкій, увлекшись споромъ съ Паншинымъ,

неожиданно для самаго себя превратился въ славянофила, ей было только пріятно, что «отдѣлали» Паншина за его, по мнѣнію Лизы, слишкомъ уже сильные нападки на Россію и презрѣніе къ ней. Ощущенія ея при этомъ были чисто инстинктивнаго характера, такъ какъ она сама доводовъ противъ Паншина не была-бы въ состояніи привести, да можетъ быть и не поинтересовалась-бы особенно завести разговоръ на такую высокую тему. И впечатлѣніе, которое вы выносите относительно ея характера, тоже чисто инстинктивное. «Хорошая дѣвушка эта Лиза» говорите вы себѣ, но вамъ съ перваго раза очень трудно подъискать доказательства высказанному мнѣнію. Во всемъ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», за исключеніемъ постриженія въ монахини, очень мало тѣхъ чертъ, которыя рѣзко запечатлѣли-бы въ вашемъ сознаніи образъ Лизы. Достоинства ея больше выражаются въ мелкихъ поступкахъ, которые легко ускользаютъ изъ памяти. Да оно и неудивительно. Мы уже замѣтили, что Лиза не Ася, не титаническая натура, поэтому къ ней нужно присмотрѣться и самому находить въ ней хорошія стороны. Но за то какъ много въ ней этихъ «не міровыхъ» хорошихъ сторонъ! Какая прекрасная картина составляется изъ совокупности ихъ!

«Паншинъ громко и рѣшительно взялъ первые аккорды сонаты (онъ игралъ вторую руку), но Лиза не начинала своей партіи. Онъ остановился и посмотрѣлъ на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствіе; губы ея не улыбались, все лицо было строго, почти печально.

— Что съ вами? спросилъ онъ.

— Зачѣмъ вы не сдержали своего слова? сказала она. Я вамъ показала кантату Христофора Ѳедорыча (Лемма) подъ тѣмъ условіемъ, чтобъ вы не говорили ему о ней.

— Виноватъ, Лизавета Михайловна, къ слову пришлось.

— Вы его огорчили — и меня тоже. Теперь онъ и мнѣ довѣрять не будетъ.

— Что прикажете дѣлать, Лизавета Михайловна! Отъ младыхъ ногтей не могу видѣть равнодушно нѣмца: такъ и подмываетъ меня его подразнить.

— Что вы это говорите, Владиміръ Николаевичъ! Этотъ нѣмецъ, бѣдный, одинокій, убитый человѣкъ—и вамъ его не жаль? Вамъ хочется дразнить его?»

Въ выписанной нами сценкѣ ничего необыкновеннаго нѣтъ и читатель можетъ удивиться, зачѣмъ мы ее привели.

Дѣйствительно, необыкновеннаго тутъ мало. Но примите во вниманіе еще другое обстоятельство: Паншинъ ухаживаетъ за Лизой, онъ ей не ненравится. Уже этого одного довольно, чтобы она относилась къ своему поклоннику внимательнѣе и снисходительнѣе. А между тѣмъ ничего подобнаго не замѣчается. Со строгимъ почти печальнымъ лицемъ Лиза упрекаетъ Паншина, и въ этой строгости чувствуется прямая душа, которая не смотритъ на вещи съ легкостью провинціальной барышни. Ея защита бѣднаго одинокаго нѣмца тоже не отзывается сентиментальною сердобольностію дѣвицъ, въ большинствѣ случаевъ составляющихъ контингентъ россійскихъ барышень. Тутъ скрывается глубокій нравственный принципъ, ясно и твердо сознанный. Умственный міръ Лизы не особенно богатъ, но за то чѣмъ она владѣетъ, въ ней сидитъ крѣпко. «Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre» можетъ она сказать про себя. Андрей Колосовъ когда-то только тѣмъ и прослылъ необыкновеннымъ человѣкомъ, что среди Панургова стада своихъ товарищей одинъ отличался искренностью. Воздадимъ-же и мы должное Лизѣ Калитиной за полное отсутствіе того, что подразумѣвается подъ словомъ «жеманства».

« — Вотъ и въ вашемъ домѣ, продолжалъ Паншинъ: — матушка ваша, конечно, ко мнѣ благоволитъ—она такая добрая; вы... впрочемъ я не знаю вашего мнѣнія обо мнѣ; за то ваша тетушка просто меня терпѣть не можетъ. Я ее тоже, должно быть, обидѣлъ какимъ нибудь необдуманнымъ, глупымъ словомъ. Вѣдь она меня не любитъ, не правда-ли?»

«Какъ можно!» затараторила-бы иная на мѣстѣ Лизы, «это совсѣмъ не такъ, вы совершенно ошибаетесь!» и такъ далѣе въ томъ-же родѣ. Совсѣмъ иначе дѣлаетъ наша барышня.

«Да, произнесла Лиза *съ небольшой запинкой:* — вы ей не нравитесь.»

«Небольшая запинка» очевидно означаетъ въ ней нѣкоторую борьбу между желаніемъ быть правдивой и требованіями вѣжливости. Первое чувство беретъ верхъ и она, не стѣсняясь, говоритъ Паншину довольно рѣзкую истину. Подобное поведеніе болѣе чѣмъ удивительно въ провинціаль-

ной барышнѣ, не особенно интеллигентной къ тому. Очевидно въ ея лицѣ мы имѣемъ дѣло съ непосредственной богатой женской натурой, въ которой дрессировка не убила свойственныя ей прекрасныя качества. Не даромъ-же Лаврецкому именно и понравилась въ Лизѣ ея замѣчательная простота, въ особенности его поразившая послѣ столкновенія съ столичными экземплярами «благовоспитанныхъ» дѣвицъ, шагу не умѣющихъ ступить безъ фальши и неестественности. Какъ-бы растаяла всякая изъ этихъ дѣвицъ наединѣ съ блестящимъ, красивымъ, умнымъ, даровитымъ свѣтскимъ львомъ Паншинымъ. Сколько кокетства было-бы израсходовано, чтобы понравиться ему. А наша-то какъ себя ведетъ.

«Вторая часть сонаты—довольно быстрое allegro—совсѣмъ не пошла: на двадцатомъ тактѣ, Паншинъ, отставшій такта на два, не выдержалъ и со смѣхомъ отодвинулъ свой стулъ.

— Нѣтъ! воскликнулъ онъ: — я не могу сегодня играть; хорошо, что Леммъ насъ не слышалъ: онъ-бы въ обморокъ упалъ.

Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась къ Паншину.

— Что-же мы будемъ дѣлать? спросила она».

Вопросъ Лизы настолько хорошо рекомендуетъ ее, что даже Паншинъ не можетъ скрыть своего удивленія. Какъ ни незначительно ея восклицанье, но оно насъ вводитъ въ полный прелести и обаянія нравственный міръ Лизы, откуда совершенно изгнано все то, что не можетъ найти себѣ достаточно причинъ для оправданія своего существованія. Съ какой горячностью она считаетъ своимъ долгомъ заступиться предъ Лаврецкимъ за женѹ его. Она, никогда не думавшая врываться въ чью нибудь душу, не смотря на рѣзкое замѣчаніе Лаврецкаго: «мы не поймемъ другъ друга», настойчиво, хотя тихо, ему говоритъ: «вы должны простить, — если хотите, чтобы и васъ простили». Сколько нужно было Лизѣ имѣть въ себѣ доброты и сочувствія ко всему человѣческому, чтобы съ почти незнакомою личностію вступить въ рѣзкій споръ объ особѣ ей тоже неизвѣстной и завоевавшей ея заочную симпатію единственно предположеніемъ о своемъ несчастіи. Какъ глубоко и искренно чувства эти должны

проникать ее, чтобы она сбросила свою холодную оболочку и въ отвѣтъ на нападки Лаврецкаго на жену свою возразила бы съ дрожью всего тѣла: «зачѣмъ оскорблять!» Какъ видите мы тутъ не имѣемъ дѣло съ нескромнымъ любопытствомъ. Нѣтъ, Лиза, исходя изъ своего христіанскаго, всепрощающаго міросозерцанія, наперекоръ наростающему собственному чувству къ Лаврецкому, считаетъ своимъ долгомъ заступиться за Варвару Павловну въ надеждѣ примирить между собою два существа, соединенныя другъ съ другомъ узами церковнаго брака. Въ Лизѣ говоритъ сознаніе долга, чувство обязанности. Когда Лаврецкій въ отвѣтъ на ея усовѣщеванія, нѣсколько забывается и въ нетерпѣніи топаетъ ногою, Лиза ничуть не обижается, напротивъ того она торопливо ему говоритъ: «не сердитесь, простите меня». Очевидно, личное *я* не играло въ ея ходатайствѣ никакой роли, единственнымъ мотивомъ было облегчить участь будто несчастной женщины. Черта достойная высокаго уваженія!

Исторія любви къ Лаврецкому также хорошо намъ ее выставляетъ, какъ и только-что обсужденныя черты характера, а все вмѣстѣ въ самыхъ симпатичныхъ краскахъ рисуетъ намъ нравственную физіономію Лизы. Но къ сожалѣнію превосходный матеріалъ подвергся очень нераціональной переработкѣ и потому вмѣсто того, чтобы стать полезной общественной силою, Лиза идетъ въ монастырь, влекомая мистическимъ міросозерцаніемъ, привитымъ ей суровой няней, одною изъ тѣхъ крѣпкихъ, чисто-русскихъ натуръ, что Некрасовъ такъ рельефно выставилъ въ своемъ «Власѣ». При другомъ воспитаніи, при другомъ воздухѣ окружающей обстановки Лиза не погибла-бы такъ преждевременно для свѣта, не стала-бы думать, что за предѣлами личнаго счастія, личныхъ потребностей, человѣка ничто не удерживаетъ въ жизни, что разъ потерпѣвши неудачу, на какомъ-бы то ни было поприщѣ, мы имѣемъ право лишать общество содѣйствія честныхъ и полныхъ силъ сочленовъ.

И такъ еще одна жертва нераціональнаго устройства русской жизни прежняго времени! Еще одна лишняя ги-

бель, обусловленная ненормальностью жизненныхъ условій! Если при Рудинѣ мы горевали о томъ, что блестящее явленіе его было въ достаточной степени эксплоатировано, то тѣмъ большую грусть долженъ въ насъ возбудить безполезный конецъ Лизы Калитиной. Рудинъ — роскошь, не повседневная личность, слѣдовательно безъ него еще можно кое-какъ обойтись. Но Лиза—хлѣбъ насущный, такъ что съ лишеніемъ подобныхъ дѣвушекъ, типъ русской женщины долженъ мельчать и терять свою нравственную мощь. Сколько энергіи, силы и выдержки сосредоточены въ несчастной Лизѣ — и все это пропадаетъ безъ всякой пользы! Печальнымъ мавзолеемъ высится ея фигура на кладбищѣ прожитаго фазиса русскаго общественнаго развитія, своимъ печальнымъ примѣромъ показывая, что никогда у насъ не было недостатка въ крѣпкихъ, здоровыхъ личностяхъ; вся бѣда лишь состояла въ томъ, что не было ясно-сознанныхъ общественныхъ идеаловъ. Всякій жилъ самъ по себѣ, всякій залѣзалъ въ глухую раковину личнаго существованія и потому соціальные инстинкты были въ такомъ маломъ развитіи. Неправильныя условія создавали неправильныхъ людей, и избытокъ силъ, ищущій выхода, вмѣсто правильнаго употребленія, шелъ на созиданіе безобразнаго порядка вещей. Не умѣя, ничего не дѣлать — это понятно. Но обладая сокровищами, не имѣть возможности ими воспользоваться—это грустно!

Изъ разбора предшествовавшихъ «Дворянскому Гнѣзду» произведеній, читатели могли убѣдиться, что главная сила Тургеневскаго таланта заключается въ воспроизведеніи типовъ, которые можно назвать, выражаясь вульгарно, «нѣжными». Жанръ не всегда удается нашему беллетристу. «Дворянское Гнѣздо» составляетъ въ этомъ отношеніи исключеніе. Въ немъ фигурируетъ личность, хотя и не вполнѣ жанровая, но за то и ни въ какомъ случаѣ «нѣжная». Мы говоримъ про Паншина. По обычной чуткости своей, Турге-

невъ захватилъ нарождающійся типъ въ самый моментъ его появленія и намѣтилъ его характерныя особенности. При этомъ онъ обнаружилъ, если можно такъ сказать, очень много «художественнаго такта». Дѣло вотъ въ чемъ. Типъ Паншина, типъ администратора, у котораго на первомъ планѣ стоитъ самая неидеальная погоня за устройствомъ своего излюбленнаго *я*, за дѣланіемъ своей карьеры, имѣетъ въ себѣ настолько непривлекательныхъ сторонъ и репрезентируются часто такими не симпатичными представителями, что иной авторъ не пощадилъ бы самыхъ густыхъ красокъ на воспроизведеніе этого типа. Писемскій въ «Тысячѣ душъ», приблизительно въ Калиновичѣ далъ весьма близкаго духовнаго родственника Паншина. Какой-же эффектъ онъ этимъ произвелъ? Вы съ презрѣніемъ отворачиваетесь отъ Калиновича и не особенно станете спорить противъ того мнѣнія, что Калиновичъ не типъ, а каррикатура. Не трудно доказать, что черное дѣйствительно черно. Вотъ Тургеневъ задался болѣе трудною задачею. Онъ обставилъ своего администратора многими весьма симпатичными аттрибутами: Паншинъ и артистъ, и увлечься иногда можетъ, съ перваго взгляда онъ какъ будто можетъ нравиться. Но рядомъ деталей, въ которыхъ такъ часто высказывается настоящая сущность человѣческаго характера, Тургеневъ показываетъ намъ мелочность и пошлость Паншинской натуры, мало по малу онъ его развѣнчиваетъ въ глазахъ читателя и въ концѣ романа окончательно его убиваетъ картиной его петербургскаго образа жизни. Тактъ автора слѣдовательно высказался здѣсь въ умѣніи удержать себя отъ погони за дешевымъ эффектомъ. За то и польза, принесенная такимъ пріемомъ, гораздо больше. Калиновичъ, можете вы возразить, не указываетъ еще окончательной негодности своего типа. Паншинъ-же зажимаетъ вамъ ротъ. Болѣе блестящаго представителя нельзя уже найти, и потому его развѣнчаніе болѣе знаменательно. Въ рисовкѣ Паншина сказалась общая черта, свойственная творчеству нашего беллетриста. Тургеневъ въ своихъ произведеніяхъ всегда имѣетъ дѣло съ первоклассными

представителями извѣстной общественной формаціи. Онъ рѣдко останавливается на герояхъ второй руки. Поэтому, рѣшившись охарактеризовать съ виду просвѣщеннаго и не пошлаго великосвѣтскаго льва—онъ выбралъ наиболѣе крупный экземпляръ. Въ «Наканунѣ» Тургеневъ затронулъ приблизительно такое-же лице — чиновника-дѣльца Курнатовскаго, но Паншинъ типичнѣе. Вотъ почему имя его сдѣлалось почти нарицательнымъ наравнѣ съ другими Тургеневскими героями, изъ среды которыхъ онъ выдѣляется своимъ жанровымъ характеромъ.

Если «Рудинъ» положилъ первое основаніе славѣ Тургенева какъ *первокласснаго* писателя, то «Дворянское Гнѣздо» окончательно ее укрѣпило и имя его автора всѣми начинается ставить на ряду съ великими именами русской литературы Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ. Вся читающая Россія съ восторгомъ наслаждалась поэзіею «Дворянскаго Гнѣзда», наряду съ силою мысли творческой фантазіи. Критика не разошлась съ большинствомъ и напечатала цѣлый рой хвалебныхъ рецензій, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательныя принадлежатъ покойному Аполлону Григорьеву и П. В. Анненкову. Первый по поводу «Дворянскаго Гнѣзда» разобралъ всю творческую дѣятельность Тургенева и пришелъ къ чрезвычайно лестнымъ для послѣдняго выводамъ. Но по своей туманности, часто доходящей до кликушества, статьи Григорьева представляютъ слишкомъ мало осязательнаго, чтобы служить симптомами всеобщаго настроенія. Гораздо удобнѣе въ этомъ отношеніи рецензія г. Анненкова. Вотъ что онъ писалъ.

«Трудно сказать, начиная разборъ новаго произведенія г. Тургенева, что болѣе заслуживаетъ вниманія, само-ли оно со всѣми своими достоинствами, или необычайный успѣхъ, который встрѣтилъ его во всѣхъ слояхъ нашего общества. Во всякомъ случаѣ стоитъ серьезно подумать о причинахъ того единогласнаго сочувствія и одобренія, того восторга и

увлеченія, которые вызваны были появленіемъ *Дворянскаго Гнѣзда*. На новомъ романѣ автора сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и воззрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примиренія и образовалъ родъ какого-то литературнаго trève de Dieu, гдѣ каждый позабылъ на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ съ другими спокойно насладиться произведеніемъ и присоединить голосъ свой къ общей и единодушной похвалѣ. Конечно, тутъ можно видѣть торжество поэзіи и художественнаго таланта, самовластно подчиняющихъ себѣ разнороднѣйшіе оттѣнки общественной мысли, но съ нѣкоторою основательностію тутъ можно предполагать также, что не каждая изъ рукоплещущихъ сторонъ одинаково понимаетъ внутреннее значеніе произведенія, и не каждая въ приговорѣ своемъ подразумѣваетъ именно то, что другая».

Мы не слѣдуемъ за критикомъ въ изложеніи причинъ только-что имъ констатированнаго явленія. Мы привели его мнѣніе единственно съ цѣлью показать впечатлѣніе, произведенное *Дворянскимъ Гнѣздомъ*. Въ видахъ этого-же намъ кажется нелишнимъ привести и окончаніе статьи г. Анненкова, служащей мѣриломъ какъ относилась къ Тургеневу интеллигенція того времени (статья г. Анненкова напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1859 г.,—эпоха, когда журналъ этотъ не заслуживалъ еще характеристики, данной въ введеніи къ настоящему этюду).

«Ни у одного изъ нашихъ повѣствователей нѣтъ такого чутья къ тончайшимъ поэтическимъ оттѣнкамъ жизни, такого остраго психическаго анализа и такого пониманія невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, которыя пересѣкаютъ въ разныхъ направленіяхъ современный бытъ нашъ. Вотъ почему отъ него всегда можно ожидать именно того слова, которое на очереди, или которымъ занято большинство умовъ. Преимущество это, кромѣ таланта, условливается и обширностью горизонта, какимъ пользуется его мысль:

оно отличаетъ даже многіе изъ прежнихъ его разсказовъ, стоящіе, по исполненію, ниже задачъ, набросанныхъ имъ для разрѣшенія. При такихъ качествахъ невозможно писателю смотрѣть на предметы постоянно съ одной точки зрѣнія или не видѣть какъ приближается время ихъ измѣненія, и какъ возстаетъ за ними рядъ новыхъ явленій, имѣющихъ право требовать, чтобы поэтъ-этнографъ обратился къ нимъ лицомъ. До сихъ поръ г. Тургеневъ былъ избранный и непревосходимый лѣтописецъ *безвыходныхъ положеній*. Какъ ни удобны, для развязки потрясающей драмы, такъ называемыя «безвыходныя положенія» вообще, но и для нихъ наступила пора преобразованія. Можно требовать теперь, по крайней мѣрѣ, чтобы «безвыходныя положенія» рождались изъ естественнаго теченія и развитія обстоятельствъ, изъ свободной воли самихъ лицъ, выбравшихъ себѣ дорогу посреди множества дорогъ, а не походили на стѣну, поставленную какою-то невидимою рукой поперекъ пути, на которую неизбѣжно наталкиваются всѣ проѣзжающіе и проходящіе, и подъ тѣнью которой умираютъ, не зная, что имъ дѣлать. Настроеніе, родившее всѣ прежніе романы г. Тургенева, исчерпано послѣднимъ, *Дворянскимъ Гнѣздомъ*, кажется намъ, до капли. Дворянскимъ Гнѣздомъ авторъ завершилъ всѣ старыя свои представленія, всѣ образы, тревожившіе душу его въ теченіи многихъ лѣтъ; онъ возвелъ ихъ наконецъ до полнаго выраженія и тѣмъ самымъ простился съ ними на всегда. Таково обычное дѣйствіе мастерскихъ произведеній на самого писателя. Мастерскимъ своимъ произведеніемъ авторъ окончательно снимаетъ съ себя многолѣтнюю работу и отгоняетъ прочь цѣпь мыслей и образовъ, деспотически владѣвшихъ его фантазіею до минуты ихъ всесторонняго осуществленія. Мастерское произведеніе есть желанный конецъ творческаго пути, съ которымъ забываются волненія и страданія дороги, вмѣстѣ со всѣми его явленіями: память о нихъ есть уже достояніе исторіи и записокъ. Послѣ него, какъ послѣ мистическаго возрожденія, жизнь должна начинаться сызнова, и счастливъ тотъ художникъ, который

такимъ образомъ можетъ становится нѣсколько разъ духовно-юнымъ, чувствовать себя нѣсколько разъ безъ прошлаго и не замѣчать въ фантазіи своей ни малѣйшаго признака закоренѣлой привычки или застарѣлыхъ вкусовъ и наклонностей. Этого именно имѣемъ мы право и поводъ ожидать отъ г. Тургенева».

Надежды г. Анненкова сбылись.

XV.

Широкими волнами катилась русская жизнь. Все впередъ и впередъ стремилось наше общество подъ вліяніемъ толчка, сообщеннаго обстоятельствами, увидѣвшими свѣтъ Божій во время несчастно-счастливой крымской кампаніи, несчастной потому, что стоило Россіи много жертвъ и счастливой вслѣдствіе того, что раскрыла глаза русскому народу, незамѣчавшему подъ парадным блескомъ оффиціальнаго покрова шаткость основанія и гнилость подпоръ. Встрепенулась Россія, охваченная стремленіемъ лучше организовать свой бытъ; она жила наканунѣ большихъ соціальныхъ перемѣнъ, наканунѣ полнаго прощанія съ прежнимъ образомъ жизни. «Когда же придетъ настоящій день?—тоскливо вопрошали лучшіе люди русской страны и нетерпѣніе ихъ брало. А кто же будетъ дѣйствовать при измѣненныхъ условіяхъ, кто будутъ эти люди, которымъ подъ силу жить при полномъ дневномъ освѣщеніи, которые съумѣютъ воспользоваться выгодами своего положенія. Гдѣ та новая сила, что нуждается въ наступленіи наконецъ дня? Гдѣ та общественная формація, которой прежній порядокъ сталъ невыносимъ настолько, что прежняя атмосфера не даетъ ей достаточно воздуха для дыханія, гдѣ тѣ задатки лучшаго будущаго, что необходимы для замѣны дурнаго хорошимъ, каковы наконецъ размѣры новыхъ стремленій?»

Вотъ вопросы, волновавшіе развитыхъ людей эпохи второй половины пятидесятыхъ годовъ, заставлявшіе ихъ внимательно анализировать окружающую обстановку. Тургеневъ, не измѣнившій своей обычной чуткости, былъ изъ числа этихъ людей. «Наканунѣ», напечатанное въ январьской и февральской книжкахъ «Современника» за 1860 г., есть лучшее доказательство этихъ тревожныхъ душъ. По необыкновенному богатству мыслей, по поэтическому колориту, доведенному до апогея совершенства, «Наканунѣ» занимаетъ можетъ быть самое выдающееся мѣсто между Тургеневскими произведеніями. Да и неудивительно отчего! Ни въ одномъ изъ сочиненій своихъ, Тургеневу не приходилось имѣть дѣло съ такими прекрасными натурами, съ такою знаменательною эпохою, съ такою грандіозною тенденціею. Нигдѣ ему не была дана такая полная возможность примѣнить свою высоко-художественную форму къ такому хорошему и многосодержательному сюжету. Какъ у Шпильгагена въ нѣмецкой литературѣ, у Тургенева мысль и форма суть двѣ вещи другъ друга дополняющія, другъ другу помогающія слиться въ одно общее прекрасное цѣлое. Но Шпильгагенъ поставленъ въ лучшія условія, чѣмъ нашъ беллетристъ: у него подъ рукой величественный сорокъ восьмой годъ, рабочее движеніе Лассаля и тому подобныя эпохи, рождающія замѣчательные типы, смѣлыхъ энергичныхъ людей, наиболѣе удобныхъ для поэтически-философскаго воспроизведенія. Тургеневу же очень рѣдко предоставляются подобные случаи. У насъ нѣтъ недостатку въ отдѣльныхъ личностяхъ, достойныхъ его пера; ну, онѣ и выходятъ хорошо, но эпохъ съ такимъ же характеромъ мало, больше чѣмъ мало: одно и обчелся. Вотъ отчего въ большинствѣ произведеній Тургенева ваше вниманіе сосредоточивается на одномъ, много двухъ дѣйствующихъ лицахъ. Въ «Наканунѣ» же васъ занимаетъ вся обстановка повѣсти. На первомъ планѣ рисуется центръ разсказа—Елена; ее оттѣняютъ Берсеневъ, Шубинъ, Инсаровъ. Цѣлыхъ четыре человѣка, которымъ вы никакъ не можете отказать въ своей симпатіи. Всякій изъ нихъ представляетъ характерный

типъ своего времени или если не типъ (слишкомъ прекрасна была бы русская жизнь съ Еленой, Берсеневымъ и Шубинымъ какъ обыкновеннымъ явленіемъ), то во всякомъ случаѣ весьма живыя личности, на развитіе коихъ пробужденіе окружавшей ихъ жизни имѣло огромное вліяніе.

Вотъ предъ нами Елена. Она вѣрное олицетвореніе въ поэтической формѣ состоянія нашей родины въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, когда міросозерцаніе общества еще не окрѣпло, когда только-что стало проявляться неопредѣленное стремленіе къ чему то хорошему, объ существенныхъ чертахъ котораго стремившіеся не имѣли еще яснаго представленія. Точно такое же настроеніе мы замѣчаемъ и у Елены. Она не отдаетъ еще себѣ отчета въ своихъ стремленіяхъ, она не съумѣетъ отстоять ихъ законности въ теоретическомъ спорѣ, но инстинктивно душа ея куда-то рвется, гдѣ все построено на хорошихъ началахъ, гдѣ тревожный духъ ея можетъ найти успокоеніе. Когда она слушаетъ прочувственныя рѣчи Берсенева «душа ея раскрывается, и что-то нѣжное, справедливое, хорошее не то вливается въ ея сердце, не то въ немъ выростаетъ». Какъ Шубинъ отлично выражается, она въ ожидательномъ настроеніи.

« — Ступай, ступай, продолжалъ Шубинъ: — я только такъ, я тебя не задерживаю, и проберись прямо въ садъ, тамъ ты найдешь Елену. Она, кажется, тебя ждетъ, кого-то она ждетъ во всякомъ случаѣ.... Понимаешь ты силу этихъ словъ: *она ждетъ?*»

Чего-же ждетъ Елена? Съ этимъ вопросомъ она сама еще не сладила.

«Чего мнѣ хочется,—пишетъ она въ дневникѣ своемъ. Отчего мнѣ такъ тяжело на сердцѣ, такъ тошно? Отчего я съ завистью гляжу на пролетающихъ птицъ? Кажется, полетѣла-бы съ ними, полетѣла, куда, не знаю, только далеко, далеко, отсюда. И не грѣшно-ли это желаніе? У меня здѣсь мать, отецъ, семья. Развѣ я не люблю ихъ? Нѣтъ я люблю ихъ такъ, какъ-бы хотѣлось любить. Мнѣ страшно вымолвить это, но это правда. Можетъ быть я большая грѣшница; можетъ быть оттого мнѣ такъ грустно, оттого мнѣ нѣтъ покоя. Какая-то рука лежитъ на мнѣ и давитъ меня. Точно я въ тюрьмѣ, и вотъ-вотъ на меня повалятся стѣны. Отчего-же другіе этого не чувствуютъ?»

Какъ видите молодое стремленіе еще весьма не ясно,

ни чуть еще не формулировано. Но это не важно, не въ этомъ суть. Направленіе вещь не трудная, было бы что направлять. Намъ драгоцѣнно въ Еленѣ ея желаніе выйти изъ окружающей ее обстановки, намъ важно видѣть въ ней не единичную дѣвушку, а представительницу многихъ ей подобныхъ, тоже неопредѣленно томившихся въ ожиданіи чего-то лучшаго, чѣмъ то, къ чему онѣ уже привыкли изъ каждодневной жизни. Поэтому фраза Елены «отчего-же другіе этого не чувствуютъ» не вѣрна, такъ какъ противорѣчитъ истинѣ. Елена была бы для насъ равнодушна, она занимала бы насъ не болѣе красивой картинки, если бы не являла въ себѣ характерныя черты русской жизни. Подобно ей, послѣдняя томилась въ ожиданіи болѣе осмысленнаго будущаго, въ ожиданіи людей, которые удовлетворили бы ея вновь пробудившимся стремленіямъ, ея идеалу истинно-человѣческаго бытія. Мы не желаемъ утверждать, что всѣ мысли Елены вѣрны, что вѣрно ея нежеланіе возвращаться въ Россію, что вѣрно ея предпочтеніе Инсарова Шубину и Берсеневу, намъ только важно констатировать въ Еленѣ прекрасный матеріалъ для осуществленія мечты о хорошей женщинѣ. Елена не настолько философски развита, чтобы усмотрѣть въ задачахъ практической русской жизни такую же прекрасную цѣль, какъ въ освобожденіи Болгаріи, она не настолько подчиняетъ свое сердце разсудку, чтобы понять ненормальность поголовнаго геройства, но мы все таки съ любовью будемъ анализировать черты ея характера, потому что намъ еще дороже видѣть грандіозныя стремленія, не навѣянныя образованіемъ, а явившіяся непосредственнымъ результатомъ не пошлой и возвышенной натуры. Вѣдь Елена не особенно образована, она отъ Берсенева въ первый разъ узнаетъ о существованіи Шеллинга, изъ ея дневника не видно, чтобы она наединѣ,сама съ собою размышляла о какихъ-нибудь общественныхъ предметахъ и идеяхъ. Однакоже васъ не смущаетъ это съ перваго раза шокирующее отсутствіе многихъ отраслей знанія и достаточнаго развитія. Вы отлично понимаете, что все это дѣло наживное и проникаетесь двойнымъ уваженіемъ къ

Еленѣ, при видѣ того, какъ она, не настолько проникшаяся образованностью и развитіемъ, чтобы путемъ упорнаго анализа и размышленія дойти до сознанія, что каждый человѣкъ по мѣрѣ силъ своихъ долженъ приносить пользу,—тѣмъ не менѣе инстинктивно томится своею инертностью.

«Къ чему молодость, къ чему я живу, зачѣмъ у меня душа, зачѣмъ все это?» восклицаетъ она въ своемъ дневникѣ какъ бы безнадежно. Но не слѣдуетъ упускать изъ вида, что восклицаніе это не есть Чулкатуринскій вопль о безполезности проведенной имъ жизни. Нѣтъ! Елена полна силъ и свѣжести, она еще не испытала никакихъ разочарованій, она не имѣетъ никакого права смотрѣть на міръ глазами чахоточнаго героя «Дневника Лишняго Человѣка». Будь она обыкновенная барышня, она бы разсматривала окружающее сквозь призму беззаботнаго отношенія къ дѣлу, такъ свойственнаго и естественнаго въ молодомъ существѣ. Но какъ дѣвушкѣ той формаціи русской общественной жизни, когда разные прекрасно-говорители превратились уже въ ничего не значущихъ фразеровъ, когда типъ Рудина былъ окончательно дискредитированъ разными Гамлетами Щигровскаго уѣзда, когда однимъ словомъ ноги русскаго общества засидѣлись и имѣли настойчивую необходимость разминаться, какъ дѣвушкѣ такой couche sociale, для Елены нужно «дѣло», нужны люди «дѣла», люди трезваго отношенія къ дѣйствительности, но при томъ не дѣльцы à la Паншинъ и Курнатовскій, а личности, руководящіяся въ своей дѣятельности высшими принципами справедливости и гражданской честности. Натальѣ изъ «Рудина» непремѣнно понравился бы Берсеневъ съ его симпатичнымъ и благороднымъ направленіемъ мыслей, Елена же только *уважаетъ* его. При первомъ появленіи человѣка дѣла, хотя и неимѣющаго особенныхъ правъ на предпочтеніе (объ этомъ дальше), Берсеневъ долженъ уступить сердце Елены энергичному и героическому въ глазахъ ея Инсарову и удовольствоваться званіемъ почтеннаго друга. При объясненіи характера этой дѣвушки, хорошо знающіе ее Берсеневъ и Шубинъ становятся въ тупикъ.

« — А Елены Николаевны бюстъ, спросилъ Берсеневъ, подвигается?

— Нѣтъ братъ, не подвигается. Отъ этого лица можно въ отчаяніе придти. Посмотришь: линіи чистыя, строгія, прямыя, кажется не трудно схватить сходство! Не тутъ-то было.... не дается, какъ кладъ въ руки. Замѣтилъ ты, какъ она слушаетъ? Ни одна черта не тронется, только выраженіе взгляда безпрестанно мѣняется, а отъ него мѣняется вся фигура. Что тутъ прикажешь дѣлать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо.... странное существо, прибавилъ онъ послѣ короткаго молчанія.

— Да; она удивительная дѣвушка, повторилъ за нимъ Берсеневъ.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вотъ послѣ этого и разсуждай о крови, о породѣ. И вѣдь забавно-то, что она точно его дочь, похожа на него, и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю отъ всего сердца, она-же моя благодѣтельница; но вѣдь это курица. Откуда же взялась эта душа? Кто зажегъ этотъ огонь? Вотъ опять тебѣ задача, философъ!»

Берсеневъ не въ состояніи разрѣшить предложенный Шубинымъ вопросъ и не трудно догадаться отчего. Какъ человѣкъ самъ составляющій эпоху пробужденія русской жизни послѣ долгаго сна, Берсеневъ не можетъ себѣ дать вполнѣ точный отчетъ о характерныхъ чертахъ своего времени. Не то онъ бы догадался, какимъ образомъ дочь Николая Артемьевича и Анны Васильевны могла выдти тѣмъ, чѣмъ она была. Онъ бы понялъ, что характеръ не столько наслѣдуется отъ родителей, сколько формируется обстановкою и что слѣдовательно причину характера Елены нужно искать не въ родительскомъ домѣ, а извнѣ. Елена пережила эпоху Натальи Ласунской, потому что была окружена умными людьми и настолько честными, не только въ обыденномъ значеніи этого понятія, что Рудинъ не могъ ей уже показаться чѣмъ то особеннымъ, небывалымъ. Она не получила воспитанія Лизы Калитиной, силы ея, богатыя силы русской женщины не ушли всецѣло на построеніе крѣпкаго мистическаго міросозерцанія, а устремились на болѣе реальную почву. Но реальность Елены нѣсколько отличается отъ того, что мы обыкновенно подъ этимъ словомъ понимаемъ. Бываетъ реальность, которая при всѣхъ своихъ рѣзкихъ особенностяхъ въ значительной степени не лишена идеальнаго характера. Реальная сфера, на которую направляетъ Елена свои наклон-

ности, такого грандіознаго размѣра, что придаютъ всѣмъ ея поступкамъ истинный и высоко-идеальный оттѣнокъ. Въ Инсаровѣ она увлеклась не на столько его личностью, сколько тою идею, представителямъ коей онъ явился. Послѣ смерти Инсарова она не оставляетъ его дѣла и дѣятельно продолжаетъ дѣйствовать въ томъ же направленіи.

«Милые мои родные,— пишетъ она своимъ, — я навсегда прощаюсь съ вами. Вы меня больше не увидите. Вчера скончался Дмитрій. Все кончено для меня.

Сегодня я уѣзжаю съ его тѣломъ въ Зару. Я его схороню и что со мною будетъ, не знаю! Но уже мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Дмитрія. Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія, буду ходить за больными, ранеными. Я не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Д. останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни. Я выучилась по болгарски и по сербски. Вѣроятно, я всего этого не перенесу — тѣмъ лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Насъ судьба соединила не даромъ; кто знаетъ, можетъ быть я его убила, теперь его очередь увлечь меня за собою.

Простите мнѣ всѣ огорченія, которыя я вамъ причинила; это было не въ моей волѣ. А вернуться въ Россію — За чѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?»

Какъ видите Елена есть женщина совмѣщенія слова съ дѣломъ и вотъ почему, за исключеніемъ послѣднихъ моментовъ ея появленія въ повѣсти, она вполнѣ вѣрно отразила на себѣ характеръ эпохи, послѣдовавшей за крымской кампаніею. Если иной проницательный читатель лукаво намъ замѣтитъ, что дѣйствіе повѣсти происходитъ до восточной войны и слѣдовательно наша вышеизложенная параллель нѣсколько грѣшитъ противъ истины, то мы такому любителю ариѳметическихъ вычисленій замѣтимъ, что извѣстное общественное настроеніе не выскакиваетъ въ полномъ облаченіи, какъ Паллада изъ головы Зевса. Общественное міросозерцаніе, въ особенности когда дѣло идетъ о радикальной реформѣ, зрѣетъ годами и десятилѣтіями. При другихъ обстоятельствахъ оно бы начало медленно проявляться, теперь же, подъ вліяніемъ особенныхъ условій, оно быстро вспыхнуло и могучимъ потокомъ разлилось по всей Россіи, до самыхъ отдаленныхъ уголковъ ея.

Еще болѣе потому Елена доказываетъ неизбѣжность пробужденія русской жизни въ то время, что получила воспитаніе довольно самостоятельное, т. е. ее не подвергали той нераціональной педагогической логикѣ, что родители называютъ *своей методой* и примѣнять которую къ своимъ дѣтямъ считаютъ своимъ священнымъ долгомъ. Мать Елены, какъ выражается Шубинъ,—курица и потому вліянія на нее не могла имѣть; отецъ мало интересовался дочерью. Вотъ и росла она, больше предоставленная самой себѣ и тѣмъ впечатлѣніямъ, что окружающая жизнь на нее производила. Такъ уже въ двѣнадцать лѣтъ она испытала весьма сильныя ощущенія во время знакомства съ нищенкой Катей, которая въ значительной степени пробудила ея мыслительную способность и заставляла думать о предметахъ, далеко превышающихъ ея дѣтскій уровень мыслей и подкапывающихъ розовый взглядъ на жизнь и ея значеніе, такъ обыкновенный въ первыя поры человѣческаго существованія. Сама воспитанная въ богатствѣ и довольствѣ, она, опять таки отъ сближенія съ Катей, узнаетъ, что есть и горе на землѣ, что не всѣмъ одинаково хорошо живется. Елена проникается вслѣдствіе этого любовью ко всему угнетенному и, не имѣя большаго круга дѣятельности, дѣлается покровительницею притѣсняемыхъ животныхъ; даже муху она считаетъ себя обязанной освободить отъ пожиранія паукомъ. Все это она дѣлаетъ по добротѣ душевной, а главнымъ образомъ потому, что природное качество получило хорошее направленіе. И такъ, сама дѣйствительность, повседневная жизнь развиваетъ нашу героиню. Но не это еще дѣлаетъ ее вѣрнымъ отраженіемъ «*предразсвѣтной*» эпохи. Тутъ только фундаментъ будущаго зданія. Начало повѣсти имѣетъ дѣло еще только съ сырымъ матеріаломъ.

«Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи. Потомъ она утихала, даже смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное, безименное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталыя не взлетѣвшія крылья, но эти порывы не обходились ей даромъ.

Какъ она ни старалась не выдать того, что въ ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась въ самомъ ея наружномъ спокойствіи, и родные ея часто были въ правѣ пожимать плечами, удивляться и не понимать ея «странностей».

Въ этомъ неопредѣленномъ томительномъ положеніи она впервые является читателю. Ее начинаетъ интересовать симпатичная личность Берсенева.

«Елена дальше обыкновеннаго не отходила отъ окна. Она много думала о Берсеневѣ, о своемъ разговорѣ съ нимъ. Онъ ей нравился; она вѣрила теплотѣ его чувствъ, чистотѣ его намѣреній. Онъ никогда еще такъ не говорилъ объ ней, какъ въ этотъ вечеръ. Она вспомнила выраженіе его несмѣлыхъ глазъ, его улыбки — и сама улыбнулась и задумалась, но не о немъ. Она принялась глядѣть въ «ночь» черезъ открытое окно. Долго глядѣла она на темное, низко-нависшее небо; потомъ она встала, движеніемъ головы откинула отъ лица волосы и, сама не зная зачѣмъ, протянула къ нему, къ этому небу, свои обнаженныя, похолодѣвшія руки; потомъ она ихъ уронила, стала на колѣни передъ своею постелью, прижалась лицомъ къ подушкѣ, и не смотря на всѣ свои усилія не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумѣвающими, но жгучими слезами».

Царство Берсенева недолго продолжалось. Сама нѣжная Елена нуждалась въ болѣе энергичной натурѣ. Ей нуженъ былъ человѣкъ, который былъ-бы въ состояніи назвать свою дѣятельность великой, цѣль, ради которой живетъ—грандіозной. Но гдѣ-же взять такое лице въ Россіи, гдѣ-тѣ великія цѣли для русскаго, о чемъ можно было-бы толковать въ 1860 г. въ романѣ, выставить какъ не единичное явленіе? И вотъ въ угоду такой невозможности Тургеневъ дѣлаетъ капитальную ошибку. Спрашивается, должна-ли насъ занимать Елена, если-бы была пригодна только въ спутницы героическимъ личностямъ, если-бы она разъигрывала только роль экзотическаго растенія въ русской жизни. Елена настолько тѣсно связана съ новымъ пробудившимся потокомъ русской жизни, что только въ связи съ этимъ обстоятельствомъ Тургеневъ долженъ былъ намъ показать развязку ея душевнаго настроенія. Тургеневъ долженъ былъ заставить Елену доразвиться подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ до того, чтобы она поняла громадность и значеніе *гражданскаго* мужества, гражданскаго героизма. А то она глубоко пора-

жается самымъ банальнымъ героизмомъ Инсарова. Елена должна была понять, что идти сражаться противъ Турокъ, когда послѣдніе высказываютъ упорное желаніе отдѣлить вашу голову отъ туловища, гораздо легче, чѣмъ бороться съ тою массою рутинеровъ, что на каждомъ шагу желаютъ препятствовать прогрессу новыхъ требованій. Когда у васъ сидятъ на шеѣ, то не нужно особеннаго развитія и величія души, чтобы додуматься и рѣшиться на протестъ. Поэтому авторъ поставилъ Инсарова въ слишкомъ благопріятныя условія, давъ ему возможность явиться «героемъ», по мѣткому выраженію Берсенева. Ужъ именно «герой»! Велика заслуга, что онъ желаетъ освободить свою родину!, Да тотъ-же самый Шубинъ, котораго Елена полу-презираетъ, былъ-бы ничуть не меньшимъ героемъ, поставленный на мѣсто Инсарова. И нашъ братъ руссакъ въ двѣнадцатомъ году француза выгонялъ и все-же въ герои никѣмъ производимымъ не былъ Но положимъ даже, что Инсаровъ не герой, а самый что ни на есть восемьдесятъ четвертой пробы герой. И тогда его фигура не имѣетъ особеннаго значенія въ повѣсти. Мы уже при разборѣ «Аси» замѣтили, что героизмъ не можетъ быть постояннымъ явленіемъ и неизбѣжнымъ ингредіентомъ повседневной жизни. Изъ этого слѣдуетъ, что Тургеневъ самъ подорвалъ значеніе личности Елены, заставляя ее удовлетворяться только экстраординарными положеніями. Спрашивается, что это за попиринское отрицаніе смысла въ жизни Россіи, какъ мы это видимъ въ прощальномъ письмѣ Елены? Неужели-же пойти въ сестры милосердія есть большій подвигъ чѣмъ возвратиться въ Россію и поступить хотя-бы въ народныя учительницы? Или можетъ быть ей претитъ пошлость московской обстановки, московскаго образа жизни; можетъ быть она боится заразиться и погрязнуть самой. Но въ такомъ случаѣ, гдѣ-же будетъ превосходство непошлой личности надъ пошлой, въ чемъ она выразится какъ не въ томъ, что послѣдняя при всѣхъ обстоятельствахъ остается съ неизмѣненнымъ внутреннимъ міромъ?

Но возвратимся къ Инсарову. Посмотримъ какія сто-

роны его характера были настолько хороши, что онъ пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ сердце Елены. Писаревъ называетъ Инсарова маріонеткой, Добролюбовъ признаетъ за нимъ значеніе грусти автора о невозможности такихъ людей на Руси. Мы не согласны ни съ тѣмъ ни съ другимъ мнѣніемъ. Добролюбовъ придалъ слишкомъ большую важность Инсарову, Писаревъ слишкомъ его унизилъ. Нѣтъ, Инсаровъ живой человѣкъ, но чѣмъ онъ больше имѣетъ правъ нравиться *русской* дѣвушкѣ, чѣмъ Берсеневъ и даже Шубинъ—этого мы не понимаемъ. Что такое этотъ Инсаровъ? Гдѣ въ немъ то міровое нѣчто, что такъ поразило впечатлительную душу Елены? Мы вѣдь не должны забывать, что мелодраматическій фейерверкъ не долженъ поражать нашу героиню, не то чѣмъ же она будетъ отличаться отъ сентиментальной провинціалки, отъ Маши въ «Бретерѣ», которая плѣняется Лучковымъ только потому, что видитъ въ упорномъ его молчаніи нѣчто демоническое.

Какъ Шубинъ по обыкновенію своему мѣтко охарактеризовалъ «*героя*» Инсарова, послѣдній дѣйствительно во многомъ напоминаетъ «благовоспитаннаго мальчика, котораго отпустили на воскресенье домой».

«Талантовъ никакихъ, поэзіи *нема*, способностей къ работѣ пропасть, помять большая, умъ не разнообразный и не глубокій, но здоровый и живой; сушь и сила и даже даръ слова, когда рѣчь идетъ объ его, между нами сказать, скучнѣйшей Болгаріи. Что? ты скажешь я несправедливъ? ты съ нимъ на *ты* не будешь и никто съ нимъ на *ты* не бывалъ; я, какъ артистъ, ему противенъ, чѣмъ я горжусь. Сушь, сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своею землею связанъ—не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молъ, въ насъ живая вода! За то и задача его легче, удобопонятнѣе: стоитъ только Турокъ вытурить, велика штука! Но всѣ эти качества, слава Богу, не нравятся женщинамъ. Обаянія нѣтъ, *шарму*; не то, что въ насъ съ тобой».

Въ этой краткой характеристикѣ все чрезвычайно вѣрно. Можно уважать человѣка съ положительными качествами, но увлечься имъ трудно. Для послѣдняго требуется извѣстнаго рода даровитость, мягкость, однимъ словомъ, kurzwegs какъ говорятъ нѣмцы, требуется *поэзія* въ ея неопошлен-

номъ значеніи. А въ Инсаровѣ ничего поэтичнаго нѣтъ. Самая эта абсолютная честность его и нежеланіе кому-либо быть обязаннымъ какъ-то отдаетъ сухимъ педантизмомъ, отъ ригоризма его вѣетъ моралистомъ и учителемъ. Берсеневъ ничуть не меньше Инсарова честенъ и проникнутъ сознаніемъ чувства собственнаго достоинства, однакоже онъ по всей вѣроятности не откажется отъ радушнаго приглашенія погостить на дачѣ и жить въ комнатахъ, которыя безъ того стояли-бы пустыя и никѣмъ не занятыя. А Инсаровъ нѣтъ! Математически вычислилъ, что за двѣ комнаты онъ долженъ платить двадцать рублей и только подъ этимъ условіемъ можетъ поселиться. Какъ будто онъ не сможетъ когда-нибудь Берсеневу отплатить подобнымъ-же образомъ. Подобное поведеніе отзывается даже мелочностью. «Du sublime au ridicule n'est q'un pas» сказалъ французскій императоръ и изрѣченіе его не трудно примѣнить къ Инсарову. Есть личности, которымъ не желаешь хотя-бы на минуту быть обязаннымъ, но Бересеневъ-же не принадлежитъ къ этой категоріи, такъ что поступокъ Инсарова по отношенію къ нему, мы можемъ назвать хорошимъ только съ отвлеченной точки зрѣнія; симпатизировать мы ему не можемъ. Отъ него вѣетъ именно тою сушью, про которую упоминалъ Шубинъ. Что подобные принципы хороши въ «гражданинѣ»—въ этомъ мы не станемъ сомнѣваться ни на минуту, но что русская широкая натура не можетъ по основному характеру своему удовлетвориться нѣмецкою аккуратностью Инсарова — тутъ тоже, кажется, сомнѣнія едва-ли могутъ быть умѣстны. Suum cuique, вотъ почему нѣмецкая порядочность, при всѣхъ своихъ почтенныхъ качествахъ, трудно дается нашему брату руссаку, что ничуть не мѣшаетъ ему однакоже быть очень хорошимъ человѣкомъ и полезнымъ членомъ образованнаго общества.

Намъ могутъ возразить, что Елена не приходила съ Инсаровымъ въ такія близкія столкновенія, чтобы замѣтить его нѣмецкій педантизмъ. Мы съ этимъ готовы согласиться. Но въ такомъ случаѣ, что-же именно она въ немъ замѣчала?

Одну любовь къ родинѣ? Да этого мало. «Стоитъ только вытурить Турокъ—велика штука», скажемъ мы вслѣдъ за Шубинымъ. Этого недостаточно, чтобы пріобрѣсть героическій обликъ. Или Елена была настолько малоразвита, что не могла отнять отъ личности Инсарова высоко-идеальный характеръ дѣла, которому если-бы онъ *не* служилъ, то всякій порядочный человѣкъ могъ-бы считать себя въ правѣ и руки ему не протягивать. Мы можемъ только тогда выдать кому-нибудь дипломъ на возвышенность, когда онъ по своимъ принципамъ далеко превосходитъ всѣхъ окружающихъ людей. А въ данномъ случаѣ, какъ Инсаровъ самъ говоритъ, въ Болгаріи послѣдній мужикъ проникнутъ тѣмъ-же стремленіемъ, что и онъ, студентъ московскаго университета. Торгаши, что поссорились изъ-за грошей и мирить которыхъ Инсаровъ поѣхалъ въ Троицко-Сергіевскую лавру, пылали тою-же любовью къ родинѣ, неменѣе его готовы были всѣмъ пожертвовать, чтобы освободить ее изъ-подъ ига угнетателей. Значитъ Елена могла только уважать въ лицѣ Инсарова народъ, горячо преданный своей странѣ и ничего болѣе. *Не* патріотомъ Инсаровъ не могъ быть, все равно какъ всякій порядочный человѣкъ долженъ всегда быть правдивымъ. Смѣшноже было-бы если-бы намъ поставили въ идеалъ человѣка, который не лжетъ. Тутъ заслуга довольно отрицательная. Тургеневу не зачѣмъ было выписывать изъ-за границы людей, любящихъ свою родину. Мы, слава Богу, такими не обижены. Некрасовъ за героями въ Болгарію не ѣздилъ, а между тѣмъ вывелъ въ одномъ изъ своихъ наиболѣе прекрасныхъ произведеній такіе образцы любви къ родинѣ, что Инсаровъ только блѣднѣетъ предъ ними. Какъ видите, читатель, идеи, представителемъ коихъ нашъ Болгаръ выступаетъ, вовсе не на столько новы, чтобы Елена, являющаяся символомъ пробужденія русской жизни, символомъ нахожденія наканунѣ благотворныхъ преобразованій, имѣла-бы право съ замираніемъ сердца говорить:

«Освободить свою родину! Эти слова такъ велики, что даже выговорить страшно!»

Да, мы согласны, эти слова страшно выговорить, но развѣ не страшно выговорить слова, хотя-бы Берсенева, когда онъ разсказываетъ о своемъ желаніи быть профессоромъ исторіи, пойти по слѣдамъ Грановскаго. Все это не менѣе великія слова, а между тѣмъ они проходятъ безслѣдно для Елены и она не находитъ въ нихъ нѣчто достойное и способное утолить ея духовную жажду. Если-же отнять отъ Инсарова его дѣятельность по освобожденію родины, то отъ него очень мало останется. Чѣмъ, въ такомъ случаѣ, онъ будетъ отличаться отъ Берсенева? Инсаровъ *не* лжетъ, *не* измѣняетъ разъ предначертанному намѣренію, *не* беретъ денегъ взаймы, *не* хвастаетъ — вотъ и всѣ его особенныя добродѣтели; но согласитесь, что вы имѣете здѣсь дѣло съ свойствами довольно отрицательнаго характера. Что-же Инсаровъ *да* дѣлаетъ, кромѣ для своей скучной Болгаріи, объ этомъ весьма мало указаній въ повѣсти. Онъ миритъ своихъ земляковъ, даже ѣздитъ по ихъ просьбѣ за 60 верстъ изъ любви, такъ сказать, къ искусству, ну! за это еще не слѣдуетъ вѣнокъ безсмертія. Только въ одномъ отношеніи Инсаровъ былъ-бы дѣйствительно выше русскихъ людей, если-бы его поведеніе при томъ не было такъ странно, такъ нераціонально. Мы говоримъ о его любви къ Еленѣ. Въ началѣ сцены объясненія вы нѣсколько изумлены Болгариномъ, вы чувствуете, что нашъ братъ сиволапый иначе повелъ-бы дѣло, но тревожное состояніе ваше не долго продолжается, ибо конецъ той-же сцены убѣждаетъ васъ, что и высоко-идеальные «ирои» могутъ быть непослѣдовательны и подъ вліяніемъ страсти отступить отъ принципа превращенія живаго человѣка въ машину, все дѣлающую по правиламъ науки и искусства.

Вся вообще исторія любви Инсарова къ Еленѣ весьма интересна. Она россійскимъ патріотамъ даетъ еще одинъ поводъ не падать духомъ отъ своей собственной непригодности и избавляетъ отъ необходимости преклоняться предъ заграничнымъ образцемъ всевозможныхъ добродѣтелей.

Инсаровъ вдругъ объявляетъ Берсеневу, что собирается

«съѣзжать съ дачи. Берсеневъ объ этомъ докладываетъ Еленѣ и вотъ какъ объясняетъ причину внезапнаго рѣшенія Инсарова.

« — Вотъ видите-ли, началъ Берсеневъ съ грустною улыбкою.—Какъ-бы вамъ это объяснить? Придется мнѣ возвратиться къ нынѣшней веснѣ, къ тому времени, когда я ближе познакомился съ Инсаровымъ. Я тогда встрѣтился съ нимъ въ домѣ одного родственника; у этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мнѣ показалось, что Инсаровъ къ ней неравнодушенъ, и я сказалъ ему это. Онъ разсмѣялся и отвѣчалъ мнѣ, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что онъ немедленно-бы уѣхалъ, еслибы что нибудь подобное съ нимъ случилось, такъ какъ онъ не желаетъ, это были его собственныя слова,—для удовлетворенія личнаго чувства измѣнить своему дѣлу и своему долгу. Я Болгаръ, сказалъ онъ, и мнѣ русской любви не нужно».

И такъ, господинъ Инсаровъ на столько возвышенъ, что рѣшается избѣгать соблазна въ опасеніи измѣнить дѣлу родины. Безъ сомнѣнія, это прекрасная вещь, хотя мы все-таки не понимаемъ возможности видѣть въ такомъ ходячемъ собраніи разныхъ принциповъ отступленіе отъ нихъ во имя какой-нибудь юбки. Если уже вы, господинъ Инсаровъ, *«ирой»*, то должны-же знать, что не всѣ истинные герои и освободители своей родины были холостые. Вотъ вашъ collega—итальянецъ Гарибальди былъ-же женатъ на бразиліанкѣ и это ему не помѣшало однако-же освободить родную страну. Ужь быть ироемъ—такъ по всѣмъ статьямъ! сказать подобно наполеоновскому солдату въ романсѣ Гейне:

Was schert mich Weib, was schert mich Kind
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen.

Но положимъ господинъ Инсаровъ полагаетъ, что жена удержитъ его за фалды сюртука и не пуститъ въ Болгарію. Не станемъ противъ этого спорить, ибо взгляды разные бываютъ. На одномъ, однако-же, мы настаиваемъ. Отчего ирой нашъ не удираетъ сейчасъ-же послѣ объясненія въ обоюдной любви, отчего когда Елена ему на шею бросается, онъ ей отвѣчаетъ тѣмъ-же? На что-же онъ ирой, какъ не на то, чтобы пристыдить насъ, обыкновенныхъ смертныхъ своею твердостью?

«Но вѣдь тутъ вмѣшалась страсть», возразитъ намъ читатель. Прекрасно! мы и не осуждаемъ Инсарова за его естественное чувство. Наоборотъ г. Н. изъ «Аси» подвергся нашему порицанію, когда тотъ оттолкнулъ отъ себя отдавшуюся ему дѣвушку во имя какихъ-то прѣсныхъ принциповъ. Но гдѣ-же въ такомъ случаѣ превосходство Инсарова, въ чемъ оно выразилось при сценѣ объясненія въ любви; не слѣдуетъ-же забывать, что въ данномъ случаѣ принципы, въ силу которыхъ онъ могъ-бы отвергнуть «русскую любовь» ни въ какомъ случаѣ къ категоріи прѣсныхъ не принадлежали. «Какъ—скажутъ намъ опять — послѣ того, какъ Елена уже лежала въ объятіяхъ Инсарова, развѣ послѣдній не представлялъ ей лишеній и опасностей, которымъ она подвергнется, связавъ съ нимъ свою судьбу, развѣ онъ ей не нарисовалъ невеселую картину ихъ будущаго совмѣстнаго житія, развѣ онъ вообще всѣми силами не старался заставить убояться Елену союза съ нимъ»? Да, отвѣтимъ мы, дѣйствительно, Инсаровъ поступилъ какъ честный человѣкъ, онъ ничего не скрылъ отъ полюбившей его дѣвушки, но чѣмъ же онъ успокоился, чѣмъ утишилъ свои собственныя сомнѣнія на счетъ того, что Елена не помѣшаетъ ему въ его дѣятельности?

« — Такъ ты пойдешь за мной всюду? говорилъ онъ ей, четверть часа спустя, по прежнему окружая и поддерживая ее своими объятіями.

— Всюду, на край земли. Гдѣ ты будешь, тамъ я буду.

— И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на нашъ бракъ?

— Я себя не обманываю; я это знаю.

— Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?

— Знаю.

— Что я не русскій, что мнѣ не суждено жить въ Россіи, что тебѣ придется разорвать всѣ твои связи съ отечествомъ, съ родными?

— Знаю, знаю.

— Ты знаешь такъ-же, что я посвятилъ себя дѣлу трудному, неблагодарному, что мнѣ.... что намъ придется подвергаться не однѣмъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію, быть можетъ?

— Знаю все, знаю.... *я тебя люблю.*

— Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ своихъ привычекъ, что тамъ, одна, между чужими, ты, можетъ быть, принуждена будешь работать....

Она положила ему руки на губы. Я люблю тебя, мой милый».

Инсаровъ повѣрилъ словамъ Елены и за это его обвинять нечего. Но неужели-же онъ раньше не настолько хорошо понялъ предметъ своего влеченія, чтобы догадаться, что она не изъ тѣхъ барышень, которымъ нужны платья и рысаки, чтобы быть «счастливыми». Стоила-ли бы она его любви, принадлежа къ этой категоріи? И что же, наконецъ, слова Елены, сказанныя въ экстазѣ страсти, убѣдили его въ противномъ? Мало-ли что говорится подъ вліяніемъ любви. Еще наши бабушки распѣвали насмѣшливо, что «съ милымъ рай и въ шалашѣ». Елена ничего болѣе убѣдительнаго не сказала. Она положила ему руки на губы и не дала говорить— тутъ видна любовь и кромѣ того ничего.

Итакъ Инсаровъ въ сценѣ объясненія ничего *«геройскаго»* не проявилъ; что-же касается его послѣдующаго поведенія (о предъидущемъ мы говорили), то всякій порядочный *русскій*, хотя-бы тѣ-же Берсеневъ и Шубинъ, точно также поступили-бы. Значитъ не за чѣмъ было выписывать изъ Болгаріи добродѣтели, за которыми и у насъ дѣло не станетъ. Вотъ отчего мы полагаемъ, что Добролюбовъ увлекся въ своемъ пессимизмѣ, стараясь доказать невозможность появленія Инсарова въ Россіи, идеальность его характера въ сравненіи съ русскими. Нѣтъ, скажемъ мы, Инсаровъ не болѣе, какъ очень порядочный человѣкъ! Противъ такого опредѣленія мы не протестуемъ, но чтобы онъ уже такъ высоко стоялъ, что намъ, бѣднымъ русскимъ лапотникамъ, оставалось-бы только умилиться духомъ и сознаться въ своемъ безсиліи—съ этимъ мы никакъ согласиться не можемъ. Самобичеваніе вещь хорошая и полезная, но оно становится натянутымъ и даже вреднымъ, когда переходитъ границы должнаго. Въ данномъ случаѣ, пессимизмъ Добролюбова является одностороннимъ. Если вѣренъ его взглядъ, то какой-же выводъ мы должны сдѣлать изъ «Наканунѣ»? Неужели же такой грустно-безнадежный, что у насъ хорошихъ людей нѣтъ? Неужели-же справедлива бутада Шубина о томъ, что

«....Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все-либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи изъ пустаго въ порожнее переливатели, да палки барабанныя! А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самыхъ себя изучили, щупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ что я, молъ, чувствую, вотъ что я думаю. Полезное, дѣльное занятіе! Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла-бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула-бы какъ рыба въ воду! Что-же это, Уваръ Ивановичъ? Когда-же наша придетъ пора? когда у насъ народятся люди?

— Дай срокъ, отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ, — будутъ.

— Будутъ? Почва! Черноземная сила! Ты сказалъ будутъ? Смотрите-жъ я запишу ваше слово».

Говорящій подобнымъ образомъ не вполнѣ увѣренъ во всемъ имъ сказанномъ. Онъ самъ ничуть не такого низкаго мнѣнія о своей обстановкѣ, потому что какъ человѣкъ неглупый и развитой видитъ уже вездѣ намѣченными новыхъ людей, не фразеровъ прежнихъ годовъ, а людей дѣла, людей полезной дѣятельности. Не даромъ-же повѣсть носитъ такое многозначительное названіе «Наканунѣ». Да, мы были наканунѣ конца стараго порядка вещей, наканунѣ совершеннаго преобразованія прежней Россіи, наканунѣ замѣны обветшалаго новыми формами крѣпкаго и разумнаго бытія. Все вокругъ дышало надеждою на лучшее будущее, смѣло глядѣло впередъ, полное сознанія тѣхъ силъ, что накопились въ теченіи долгаго времени гнета и стѣсненія. Съ этой точки зрѣнія Тургеневъ могъ-бы подвергнуться порицанію за то, что будто отрицалъ годность существующаго матеріала для построенія новаго зданія общественной жизни, какъ-бы констатировалъ одно только желаніе русской жизни вырваться изъ прежнихъ оковъ, но ничего больше. Удовлетворенія новыхъ стремленій какъ-бы не предвидѣлось изъ повѣсти. Если-бы этотъ взглядъ былъ вѣренъ, — спрашивается для чего творческая фантазія автора создала Шубина и Берсенева, эти симпатичныя *русскія* натуры. Видно Тургеневъ наравнѣ съ Шубинымъ не очень крѣпко убѣжденъ въ справедливости своего отрицательнаго взгляда на русскихъ людей, видно онъ находился самъ съ собою въ противорѣчіи,

когда писалъ «Наканунѣ», видно въ немъ самомъ происходилъ тотъ неопредѣленный поворотъ къ другому образу жизни, что такъ сильно отразился на личности Елены. У Тургенева вы всегда можете замѣтить, что онъ неразрывно связанъ со своими героями, что ихъ сомнѣнія часто суть и его собственныя. Какъ Берне, онъ имѣетъ право сказать про себя, что пишетъ сокомъ своихъ нервовъ. Слѣдовательно по Тургеневу, какъ автору «Наканунѣ» мы можемъ судить, что дѣйствительно прежній образъ жизни доживалъ свои послѣдніе дни, что вѣяніе весны новаго строя уже чувствовалось въ воздухѣ и что повѣсть, о которой теперь идетъ рѣчь, была ранней ласточкой, возвѣстившей радостную вѣсть о предстоящей перемѣнѣ. Что-же касается нѣкоторыхъ безнадежныхъ мѣстъ повѣсти—«so war es nicht so böse gemeint», какъ говорятъ нѣмцы: Пессимистическія самоуничижительныя разсужденія выражаютъ только борьбу авторскаго міросозерцанія: онъ еще не вполнѣ увѣренъ въ радостномъ фактѣ пробужденія и потому какъ добросовѣстный человѣкъ ставитъ себѣ всевозможныя препятствія, прежде чѣмъ повѣрить дѣйствительности новаго явленія. Въ параллель пессимистическимъ мѣстамъ, въ повѣсти есть такія, гдѣ Шубинъ отрицаетъ нашу непригодность и въ этихъ отрицаніяхъ чувствуется спрятавшійся за него авторъ.

«Да, говоритъ Шубинъ, молодое, славное, смѣлое дѣло. Смерть, жизнь, борьба, паденіе, торжество, любовь, свобода, родина.... хорошо, хорошо. Дай Богъ всякому! Это не то, что сидѣть по горло въ болотѣ и стараться показывать видъ, что тебѣ все равно, когда тебѣ дѣйствительно въ сущности все равно. А тамъ — натянуты струны, звени на весь міръ или порвись!

Шубинъ уронилъ голову на грудь.

— Да, продолжалъ онъ послѣ долгаго молчанія,— Инсаровъ ее стоитъ. А впрочемъ, что за вздоръ! Никто ея не стоитъ. Инсаровъ..... Инсаровъ.... къ чему ложное смиреніе? Ну, положимъ, онъ молодецъ, онъ постоитъ за себя, да будто ужъ мы такая совершенная дрянь?»

Нѣтъ, отвѣтимъ мы за Шубина. Заря новой жизни свѣтлыми лучами уже занималась на горизонтѣ, тамъ и сямъ уже видны были освѣщенныя мѣста. Мракъ разсѣявался и подъ свѣжими каплями утренней росы можно было замѣтить

высокіе, хорошіе новые всходы, выросшіе на почвѣ удобренной бездѣйствіемъ прежнихъ годовъ, на почвѣ, долгое время не приносившей никакихъ плодовъ и потому теперь готовившейся разомъ вознаградить скупость прежнихъ лѣтъ и обиліемъ новой жатвы заставить забыть долгіе годы безплодія. Какъ-бы послѣ крѣпкаго сна, расправляла Русь свои могучіе члены, приготовлялась приступить къ энергичной работѣ, достойной ея мощныхъ силъ. Но не изъ заграницы выписывала она себѣ руководителей, и въ русской землѣ ихъ достаточное количество насчитывалось. Лихо мы зажили, сразу нагнали потерянное и даже перегнали нужное. Набѣдокурили мы при этомъ, точно. Ну, да вѣдь это не за нами одними водится. Вотъ и французы въ 89 году сразу начали въ каждомъ годѣ жить за пятьдесятъ прежнихъ. Ну, тоже немножко увлеклись. Да ничего, въ прокъ пошло. Задали себѣ ходу на долго и еще до сихъ пережевываютъ, что сразу тогда на свѣтъ Божій выпустили въ три, четыре года. На маленькія тарелочки они раскладываютъ то, что въ девятидесятыхъ годахъ имъ въ одной мискѣ сервировано было. Безъ эксцессовъ никогда дѣло не обходится, когда нужно жить при необыкновенныхъ условіяхъ. Однако-же изъ за деревьевъ лѣса не видѣть—не слѣдуетъ, изъ за отдѣльныхъ несообразностей не понять цѣлаго движенія, цѣлой эпохи—это непростительно.

Какъ Тургеневъ понялъ новый потокъ русской жизни, мы увидимъ дальше, при разборѣ тѣхъ его произведеній, которыя порвали добрыя отношенія между нимъ и читающей публикой, которыя одно время заставили ее забыть заслуги автора, искупающаго всѣ прегрѣшенія свои одними «Записками Охотника».

Нечего много распространяться о томъ, что «Наканунѣ» было встрѣчено съ энтузіазмомъ. Всѣ были очарованы до нельзя задушевнымъ колоритомъ повѣсти, всѣмъ отрадно было слѣдить за могучимъ разцвѣтомъ таланта любимаго

писателя. Критика единодушными похвалами выразила всеобщее настроеніе и этимъ прочнѣе укрѣпляла высокій пьедесталъ, на который, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, Тургеневъ такъ заслуженно былъ поставленъ въ силу своего необыкновеннаго дарованія, тонкаго ума и всесторонняго развитія. Литературныя дрязги не вмѣшались въ оцѣнку «Наканунѣ», и «Современникъ» въ одной изъ лучшихъ и блестящихъ статей Добролюбова отдалъ дань удивленія чуткости автора къ характеру эпохи. Кто не читалъ «Когда-же придетъ настоящій день?» Кто не сочувствовалъ расточаемымъ тамъ Тургеневу похваламъ. Нужно быть г. Антоновичемъ, чтобы утверждать, что Тургеневъ былъ раздосадованъ этою статьею и вслѣдствіе этого окаррикатурилъ Добролюбова, выставивъ его въ *Базаровѣ* (!!). Помимо возмутительности игнустности такого предположенія, нужно опять-таки обладать смѣлостью г. Антоновича, чтобы публично рѣшиться исковеркать смыслъ всѣми прочтенной статьи. Тургеневъ могъ быть только благодаренъ даровитому критику за раскрытіе истиннаго смысла своего произведенія, а тутъ вдругъ обвиненіе въ злобѣ! Но чего не наговоритъ мелкое чувство, видя себя въ положеніи моськи, которая хоть отчаяннымъ лаемъ должна обнаружить свое существованіе и мнимое значеніе.

Творить все капитальныя вещи трудно и даже первокласснный талантъ непремѣнно имѣетъ въ исторіи своего развитія полосы, когда творческая мысль отдыхаетъ отъ уже совершеннаго и готовится къ новому сильному обнаруженію. Между «Наканунѣ» и «Отцами и Дѣтьми» находится промежутокъ двухъ лѣтъ, въ теченіи которыхъ Тургеневъ заявилъ себя въ беллетристической формѣ только «Первою Любо́вью». При всемъ томъ, что она превосходно написана и съ особеннымъ удовольствіемъ читается, такъ какъ у всякаго поневолѣ воскресаетъ при этомъ въ памяти собственныя ощущенія, «Первая любовь» не заключаетъ въ себѣ

общественныхъ типовъ и такъ сказать вся состоитъ изъ «поэзіи». Фабула сбивается на истинное происшествіе, но вы не въ претензіи за это, вамъ многое родственно въ повѣсти, вы многое и сами испытали. Своеобразная личность княжны Зинаиды нѣсколько смахиваетъ на Асю, но въ той больше оригинальности, она не кокетничаетъ, чего никакъ однакоже нельзя отнять отъ предмета страсти многочисленныхъ кавалеровъ, увивающихся за хорошенькой княжной.

Въ ряду другихъ женскихъ портретовъ Тургенева княжна Засѣкина занимаетъ не послѣднее мѣсто по своей симпатичности, но «культурныхъ» элементовъ въ ней очень мало, даже меньше, чѣмъ у Аси. Если не гнаться за типами, а удовольствоваться характерами, то княжна не лишена интереса, хотя характеръ ея далеко не исчерпанъ Тургеневымъ.

Изъ небеллетристическихъ работъ Тургеневъ въ теченіи времени съ 1859 г. по 62 годъ напечаталъ: *Обѣдъ въ обществѣ литературнаго англійскаго фонда* (Библіотека для Чтенія т. CLIII), *Воспоминанія о Бѣлинскомъ* (Моск. Вѣст. № 21). Въ 1859 г. вышли въ Петербургѣ «Украинскіе народные разсказы Марко-Вовчка, переведенные съ малороссійскаго нарѣчія И. С. Тургеневымъ». Въ 1860 г., одновременно съ «Наканунѣ» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», появилась въ 1 № «Современника» за этотъ годъ критическая статья или, какъ авторъ ее назвалъ, «публичное чтеніе» «*Гамлетъ и Донъ-Кихотъ*». Статья написана нѣсколько слишкомъ торжественнымъ слогомъ, но тѣмъ не менѣе содержитъ много интересныхъ мѣстъ. Вотъ напр. одно, характеризующее Донъ-Кихота.

«Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся внѣ отдѣльнаго человѣка, не легко ему дающуюся, требующую служенія и жертвъ,—но доступную постоянству служенія и силѣ жертвы. Донъ-Кихотъ проникнутъ весь преданностью къ идеалу, для котораго онъ готовъ подвергаться всѣмъ

возможнымъ лишеніямъ, жертвовать жизнію; самую жизнь свою онъ цѣнитъ на столько, на сколько она можетъ служить средствомъ къ воплощенію идеала, къ водворенію истины, справедливости на землѣ. Намъ скажутъ, что идеалъ этотъ почерпнутъ разстроеннымъ его воображеніемъ изъ фантастическаго міра рыцарскихъ романовъ; согласны—и въ этомъ-то состоитъ комическая сторона Донъ-Кихота; но самый идеалъ остается во всей своей нетронутой чистотѣ. Жить для себя, заботиться о себѣ—Донъ-Кихотъ почелъ-бы постыднымъ. Онъ весь живетъ (если такъ можно выразиться) внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодѣйствія враждебнымъ человѣчеству силамъ—волшебникамъ-великанамъ—т. е. притѣснителямъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе—оцѣните это слово!—онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки.»

XVI.

Habent fata sua libelli! Это изрѣченіе всегда останется вѣрнымъ и никогда не потеряетъ своего значенія. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ. Вслѣдствіе нѣкоторыхъ чисто субъективныхъ причинъ Тургеневъ въ 1847 году рѣшается бросить литературу. Написавши уже «Парашу», «Андрея Колосова», «Бретера» и «Три портрета», онъ почему-то вообразилъ, что не созданъ для литературы, что у него слишкомъ мало средствъ для художественнаго воспроизведенія. Въ такомъ настроеніи духа онъ наталкивается на Панаева, которому нечѣмъ наполнить въ своемъ журналѣ отдѣлъ «Смѣси». Тургеневъ, уступая просьбамъ издателя, отыскиваетъ у себя залежавшійся очеркъ и изъ этого послѣдняго развивается одно изъ капитальнѣйшихъ произведеній русской литературы послѣднихъ десятилѣтій — «Записки охотника». Совершенно

помимо воли автора изъ вещи, которой онъ не придавалъ почти никакого значенія, выходитъ нѣчто въ родѣ грандіознаго.

Прошло пятьнадцать лѣтъ. Изъ робкаго дебютанта Тургеневъ сдѣлался звѣздою первой величины, вся Россія съ упоеніемъ зачитывается каждою строчкою, выходящею изъ подъ его пера. Онъ самъ находится на вершинѣ своего творческаго таланта и въ продолженіи шести лѣтъ выпускаетъ въ свѣтъ «Рудина», «Асю», «Фауста», «Дворянское Гнѣздо», «Наканунѣ» и «Первую Любовь». Онъ внимательно слѣдитъ за происходящимъ въ русскомъ обществѣ и отъ умственнаго взора его не можетъ укрыться нарождающееся новое поколѣніе, нарождающіяся новыя формы соціальныхъ отношеній. То, о существованіи котораго никто еще не догадывается, уже ясными очертаніями сложило свой образъ въ мысляхъ Тургенева и онъ проникается желаніемъ воспроизвести результатъ своихъ наблюденій въ формѣ беллетристическаго разсказа. Тонкая наблюдательность Тургенева настолько ушла впередъ, что когда онъ одному изъ своихъ пріятелей, человѣку очень умному и чуткому на «вѣянія» эпохи, сообщилъ планъ своей новой повѣсти («Отцы и Дѣти»), то получилъ отвѣтъ, повергшій его въ изумленіе: «Да вѣдь ты кажется уже представилъ подобный типъ ....въ Рудинѣ». «Я промолчалъ, говоритъ Тургеневъ; что было сказать? Рудинъ и Базаровъ—одинъ и тотъ-же типъ!»

И такъ лучшіе, интеллигентнѣйшіе люди еще ничего не подозрѣвали объ умственной физіономіи своего времени. Общество русское находилось въ медовомъ мѣсяцѣ своего пробужденія, принципы еще не установились, желанія не оформировались, не спеціализировались. Всѣ только инстинктивно стремились къ чему-то «хорошему», весьма смутно рисовавшемуся въ восторженныхъ умахъ. Но никто не проникалъ въ сущность новаго движенія, никто не понималъ всю глубину разлада, всю рѣзкость границы, отдѣлявшей старый строй отъ новаго.

Казалось бы, что при такомъ положеніи дѣла русское общество, и въ особенности молодое поколѣніе, должно было съ восторгомъ встрѣтить подведеніе своей умственной физіономіи подъ извѣстный типъ, оно должно было отдать дань удивленія проницательности своего лѣтописца и быть ему благодарнымъ за *добросовѣстное* исполненіе взятой на себя задачи. Но что-же вышло на самомъ дѣлѣ?

Всякое новое понятіе, въ особенности такое, которое чрезвычайно сильно разнится отъ установленнаго рутиною многихъ лѣтъ, прививается чрезвычайно трудно. И обратно, разъ вы себѣ привили это новое, разъ вы потратили такъ много усилій на его усвоеніе,—оно уже остановится для васъ чѣмъ-то незыблимымъ, авторитетнымъ и вы готовы побивать каменьями всякаго, кто осмѣлится подкапываться подъ прочность его. Рутина мѣняетъ только дирекцію и подъ современнымъ костюмомъ бойко и самоувѣренно заявляетъ права на преобладаніе.

Все это какъ нельзя лучше примѣняется къ нашему обществу шестидесятыхъ годовъ. Подъ вліяніемъ благопріятно сложившихся историческихъ условій, «день», наступленія котораго такъ озабоченно справлялся Добролюбовъ, разбирая «Наканунѣ», болѣе или менѣе началъ проявляться. Довѣрчиво глядѣли всѣ въ будущее, населяя его всевозможными благами и прелестями, нарисованными розовою фантазіею. Съ надеждою и упованіемъ русское общество глядѣло на «молодое поколѣніе» и было совершенно право. Для новыхъ формъ общественной жизни требовались новые люди, для прочной постройки зданія будущаго требовались силы, ничемъ не связанныя съ прошедшимъ, неоставившія въ «*добромъ старомъ времени*» никакихъ воспоминаній, которыя въ малѣйшемъ удержали-бы ихъ отъ безпристрастной реорганизаціи соціальнаго тѣла. И Тургеневъ былъ того мнѣнія, что только оторванное отъ прошлаго не нормальнаго строя русской жизни поколѣніе могло явиться дѣятелями возрожденія. Еще въ «Наканунѣ» даже Берсеневъ и Шубинъ,

далеко ушедшіе отъ фразерствующихъ Рудиныхъ и расплывчатыхъ Лаврецкихъ, мало удовлетворяли его и онъ противопоставилъ имъ человѣка дѣла, человѣка энергичнаго и съ силой воли—Инсарова. Поэтому никого не должно удивлять, если онъ писалъ слѣдующее въ своемъ дневникѣ: «30-го іюля. Воскресенье. Часа полтора тому назадъ я кончилъ наконецъ свой романъ... Не знаю, каковъ будетъ успѣхъ.—«Современникъ» вѣроятно обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова—и не повѣритъ, что во все время писанія *я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе*»...

Базаровъ, представитель молодаго поколѣнія, былъ дорогъ автору. При всемъ своемъ несогласіи со многими его воззрѣніями, Тургеневу все-же таки было пріятно констатировать исчезновеніе чахлой породы россійскихъ Гамлетовъ и замѣну ихъ здоровыми, крѣпкими фигурами. Онъ вполнѣ признаетъ законность преобладанія новыхъ людей и не рисуетъ ни одного «*Отца*», который въ малѣйшемъ навелъ читателя на мысль о томъ, что отцевъ дѣйствительно не слѣдуетъ сдать въ архивъ. Да и какъ могъ не радоваться Базарову Тургеневъ, тотъ самый Тургеневъ, который въ теченіи всего своего сознательнаго существованія съ тоскою смотрѣлъ на недостатокъ у насъ людей, который, еще создавая «Записки Охотника», имѣлъ весьма ясные идеалы желательнаго устройства русской жизни. Неужели онъ могъ дѣлать что нибудь иное, какъ не радоваться, когда наконецъ, идеалы его начинали осуществляться, изъ области фантазіи переходить въ дѣйствительность, облекаться мясомъ и костьми. Неужели-же онъ могъ дѣлать что нибудь иное, какъ не рукоплескать реформаціонному движенію, онъ, который въ разговорахъ съ Бѣлинскимъ двадцать лѣтъ до этого, страстно жаждалъ перемѣны. Тургеневъ, написавшій апофеозъ Рудина, заключительныя слова Лаврецкаго, создавшій Инсарова, неужели же онъ могъ быть «ретроградомъ», не привѣтствовать сердечною радостью первые лучи восходящаго солнца, долженствующаго уничтожить прежній мракъ и вызвать къ жизни дремавшія силы. Всякій, знавшій хотя въ

отдаленной степени Тургенева, долженъ былъ еще до появленія романа съ многозначительнымъ названіемъ *«Отцы и Дѣти»* отвѣчать на вышепоставленные вопросы трижды-кратнымъ энергическимъ: *нѣтъ!* Не предубѣжденный цѣнитель долженъ вывести тоже самое заключеніе по прочтеніи «Отцевъ и Дѣтей» и ясно увидѣть, что симпатіи Тургенева въ значительной степени принадлежатъ Базарову, потому что зачѣмъ-же иначе было ему одарить послѣдняго такою импонирующею силою характера, зачѣмъ было придавать умирающему Базарову почти героическій обликъ. Заграничные критики поэтому никакъ не могутъ понять, отчего за Базарова Тургеневъ потерялъ одно время симпатіи молодаго русскаго поколѣнія. Вотъ что пишетъ одинъ нѣмецкій критикъ:

«Es bleibt für den unbefangenen... Leser schlechthin unbegreiflich, wie sich gerade die radicale Jugend Russlands über diesen geistigen Vertreter ihrer Richtung (Bazaroff), ihrer Ueberzeügungen und Bestrebungen, wie ihn T. zeichnete, in eine Wuth hinein erhitzen konte, die sie den Dichter gleichsam in die Achterkläreu und mit jeder Schmäkung überhäufen liess. Man sollte denken, jeder moderne Radikale könne nur mit froher Genugthung in einer so stolzen Gestalt, von solcher Wucht des Characters, solcher grundlichen Freiheit von allem Kleinlichen, Trivialeu, Faulen, Schlaffen und Lügenhaften, sein und seiner parteigenossen typisches Portrait dargestellt sehn» [1]).

---

[1]) То есть:

«Для непредубѣжденнаго... читателя остается совершенно непонятнымъ, какъ могла радикальная русская молодежь, по поводу подобнаго представителя ея убѣжденій и стремленій, какимъ нарисовалъ Базарова Тургеневъ—войти въ такую ярость, что подвергла сочинителя формальной опалѣ и осыпала его всяческой бранью? Можно было скорѣе предположить, что всякій новѣйшій радикалъ съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признаетъ свой собственный портретъ, своихъ единомышленниковъ въ такомъ гордомъ образѣ, одаренномъ такою силою характера, и такой полной независимости отъ всего мелкаго, пошлаго, вялаго и ложнаго».

Итакъ, казалось бы «Отцы и Дѣти» должны были имѣть огромный успѣхъ, русское общество должно было отдать дань удивленія силѣ таланта, съумѣвшаго уловить трудно поддающееся воспроизведенію эпохи. Но, habent fata sua libelli, говоримъ мы вторично. Базаровъ носилъ въ себѣ слѣды критическаго къ нему отношенія автора, а молодое, неувѣренное еще въ себѣ, поколѣніе, не окрѣпло еще на столько, чтобы спокойно перенести хотя малѣйшіе нападки. Все новое, не установившееся, какъ извѣстно, на первыхъ порахъ своего существованія, пуще огня боится всякаго не ласковаго слова и въ этомъ обстоятельствѣ нужно видѣть причину странной судьбы «Отцевъ и Дѣтей».

Теперь, когда послѣ появленія знаменитаго романа прошло 13 лѣтъ, когда тогдашнія «дѣти» пріобрѣли извѣстнаго рода «солидность» и сами смотрятъ въ «отцы», слово «молодое поколѣніе» не носитъ уже того священнаго характера, вслѣдствіе котораго о немъ можно было говорить только въ восторженныхъ междометіяхъ. Поэтому, намъ кажется, мало кто изъ нашихъ читателей объявитъ насъ внѣ закона, если мы заявимъ, что Базаровъ и даже Аркадій Кирсановъ—весьма вѣрные представители «нигилистовъ» шестидесятыхъ годовъ и притомъ экземпляры высшей пробы.

Разбирать подробно «Отцы и Дѣти» мы не намѣрены, такъ какъ объ нихъ буквально существуетъ цѣлая литература, а самый романъ принадлежитъ къ числу наиболѣе читаемыхъ. Снова поднимать ни къ чему не ведущій споръ о принципахъ, мы не видимъ никакой надобности, а потому постараемся лучше оправдать Тургенева отъ обвиненія въ желаніи оклеветать молодое поколѣніе не столько доводами, почерпнутыми изъ содержанія романа, сколько внѣшними, показывающими какъ далеко было отъ истины вышеприведенное подозрѣніе. Но отъ нѣкоторыхъ критическихъ соображеній мы не можемъ удержаться, такъ какъ онѣ касаются одной стороны дѣла, мало затронутой многочисленными критиками.

Базаровъ носитъ на себѣ характеръ, чрезвычайно рѣзко расходящійся съ большинствомъ или даже со всѣми литературными типами какъ въ произведеніяхъ разбираемаго нами писателя, такъ и другихъ русскихъ беллетристовъ.

Всѣ герои двадцатыхъ, тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ принадлежатъ къ привиллегированому сословію. Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ, Чулкатуринъ, Рудинъ, Лаврецкій, даже Берсеневъ и Шубинъ, эти представители эпохи, непосредственно соприкасающейся съ «*разсвѣтомъ*» русской жизни,—всѣ были дворянскаго происхожденія и освобождены отъ ежедневной борьбы за существованіе. Прекраснодушіе, главнымъ образомъ выражавшееся въ эффектныхъ словахъ о человѣческомъ достоинствѣ, гуманности, и тому подобныхъ матеріяхъ важныхъ, болѣе всего подходило къ нравственно-хилому, изнѣженному поколѣнію нашихъ отцевъ, совершенно непривыкшихъ къ разумной дѣятельности. При наступленіи новаго времени потребовались очевидно новые люди, но большинство общества видѣло ихъ тамъ, гдѣ они могли оказаться не въ особенно большомъ числѣ.

Одинъ современный русскій писатель чрезвычайно остроумно и мѣтко назвалъ нигилистовъ шестидесятыхъ годовъ «кающимися дворянами». Такое опредѣленіе какъ нельзя лучше подходитъ къ дѣятелямъ à la Аркадій Кирсановъ и вообще тѣмъ лицамъ, которыя полагали, что имъ стоило захотѣть, чтобы вполнѣ одемократизироваться и представлять собою fine fleur реформаціоннаго движенія. Они не вполнѣ сообразили, что для жизненности каждаго направленія требуется, чтобы вы не думали при каждомъ своемъ болѣе или менѣе удовлетворительномъ поступкѣ «ахъ, какой я паинька, какъ это я хорошо сдѣлалъ». Герои не норма жизни и человѣчество осталось бы при такомъ порядкѣ безъ необходимаго, потому что вѣдь въ самомъ дѣлѣ не богамъ же горшки обжигать. Слѣдовательно, «кающіеся дворяне» внесли свой дворянскій, привиллегированный элементъ въ движеніе шести десятыхъ годовъ и, становясь на ходули, придавали ему театральный оттѣнокъ. Никто не захотѣлъ идти въ простые

чернорабочіе прогресса, всякому хотѣлось быть выдающимся дѣятелемъ. Вообще наши свѣжеиспеченные нигилисты были лишены главнаго свойства прочности и устойчивости всякаго дѣла—естественности. Не въ силу принциповъ и ощущеній, проникшихъ въ кровь и плоть, а чисто головнымъ путемъ, наши нигилисты были такими же искуственными отрицателями, какъ Рудины были искуственными гегеліянцами. Измѣнилась только форма и нѣкоторыя детали.

Тургеневъ гораздо глубже вникъ въ сущность реформаціоннаго движенія, истинный характеръ новаго вліянія. Онъ понялъ, что новые дѣятели должны выйдти изъ другой среды, нежели люди привиллегированнаго сословія. При демократическомъ характерѣ «*разсѣта*» только настоящіе, нефиктивные демократы, должны были представлять его. Такимъ людямъ нечего увѣрять въ искренности своего демократизма: въ этомъ никто не сомнѣвается. Слѣдовательно силы ихъ и способности уйдутъ не на рисовку и не на позированіе, не на прекрасные разговоры о прекрасныхъ вещахъ, а на дѣло, то животрепещущее дѣло, которое вытекаетъ изъ потребности трудами собственныхъ рукъ добыть средства къ существованію. Киснуть въ сладкомъ томленіи или, наоборотъ, не вѣря самому себѣ, увѣрять другихъ, что намъ наплевать на все—человѣку занятому некогда, и потому Тургеневъ обнаружилъ громадный художественный тактъ и историческое пониманіе нарождающейся эпохи тѣмъ, что героемъ своего романа взялъ небарина. Онъ настолько хорошо уяснилъ себѣ всю глубокую разницу стараго и новаго порядка вещей, что представителемъ «дѣтей» избралъ человѣка изъ «народа», если и не въ буквальномъ смыслѣ, то во всякомъ случаѣ воспитаннаго въ средѣ, мало имѣющей общаго съ таковой Онѣгиныхъ и Рудиныхъ.

«Виновникъ всего горя (Базаровъ) взобрался на телѣгу, закурилъ сигару, и когда на четвертой верстѣ, при поворотѣ дороги, въ послѣдній разъ предстала его глазамъ развернутая въ одну линію Кирсановская усадьба съ своимъ новымъ господскимъ домомъ, онъ только сплюнулъ и, пробормотавъ: «Барыни проклятые», плотнѣе завернулся въ шинель.

Базаровъ одинъ изъ первыхъ литературныхъ типовъ «не благороднаго» происхожденія и неудивительно, что критики, тоже большею частью изъ кающихся дворянъ, не сразу уяснили себѣ его характеръ и ложно его поняли. Безхарактерная порода Рудиныхъ, отживавшая свою историческую роль, на столько была не похожа на Базарова, что послѣдній ей показался чѣмъ-то невозможнымъ, продуктомъ нездоровой и — главное — «неблагонамѣренной» въ либеральномъ смыслѣ авторской фантазіи Тургенева. Люди, израсходовавшіе себя на прекрасноговореніе, на мелкій анализъ своихъ дрянныхъ фигуръ, на диллетантизмъ, отзывающій обломовщиной, эти люди вдругъ лицемъ къ лицу сталкиваются съ разночинцемъ, который даже ихъ любимое бѣлкообразное верченье на колесѣ нѣмецкой философіи отвергаетъ и весьма насмѣшливо приглашаетъ излѣнившихся гамлетовъ заняться дѣломъ. Какъ не всполошиться, какъ не постараться успокоить свою совѣсть предположеніемъ, что авторъ несовсѣмъ въ унисонъ дѣйствуетъ съ дѣйствительностью, какъ не утверждать, чтобы окончательно уничтожить безпокойный призракъ, что авторъ даже поступилъ своимъ романомъ граждански-нечестно.

Тургенева обвинили въ клеветѣ, хотя гораздо логичнѣе было бы обвиненіе въ идеализаціи. Ну, чего больше нужно было расходившимся гамлетамъ россійскимъ? Базаровъ заставляетъ всѣхъ поклоняться себѣ, совсѣмъ объ этомъ не стараясь, у него слово не расходится съ дѣломъ, онъ не хнычетъ на свою судьбу, какъ этъ дѣлаютъ всѣ безхарактерные люди, онъ наконецъ съ римскимъ спокойствіемъ умираетъ. Что еще остается? Удивляйтесь ему, старайтесь подражать энергіи его и выдержкѣ, а не кричите, что Базаровъ каррикатура.

Въ рѣзкости героя «Отцевъ и Дѣтей» увидѣли какую-то необыкновенную душевную огрубѣлость, въ его отрицаніи искусства—какую-то необыкновенную черствость, а между тѣмъ черезъ два, три года на страницахъ «Русскаго Слова» авторъ «Нерѣшеннаго вопроса» пошелъ гораздо дальше Базарова и въ томъ-же журналѣ Лермонтова обозвали поэтомъ

чахоточныхъ барышень и съ грязью смѣшали великую тѣнь Пушкина.

Какъ нелогичны и странны должны казаться обвиненія въ утировкѣ базаровской рѣзкости, если вспомнитъ, что «Наканунѣ» отдѣляется отъ «Отцевъ и Дѣтей» всего двумя годами. Въ «Наканунѣ» никто не вздумалъ придраться къ Шубину, а между тѣмъ онъ отпускаетъ разныя истины въ такой формѣ, которая очень недалека отъ базаровщины. Когда Шубинъ мать Елены, свою благодѣтельницу, обозвалъ курицей,—никто въ этомъ не увидѣлъ намѣренія уличить подростающее поколѣніе въ «неуваженіи къ старшимъ». Никто не напалъ на Тургенева за вложенную въ уста Шубина рѣзкую характеристику «гамлетиковъ, мелюзги, палокъ барабанныхъ» сороковыхъ годовъ, а когда Базаровъ обругалъ тѣхъ-же людей «романтиками», а ихъ убѣжденія «вздоромъ», всѣ хоромъ закричали «Тургеневъ пересолилъ, онъ хотѣлъ оплевать молодое поколѣніе».

Базаровъ до такой степени сбилъ съ толку нашихъ гамлетствующихъ и рудинствующихъ либераловъ, что они не обратили вниманіе на то обстоятельство, что многія сентенціи и мысли косматаго нигилиста совсѣмъ не въ первый разъ появляются у Тургенева. Пигасовъ въ «Рудинѣ» въ два раза рѣзче Базарова, а за многими его словами чувствуется спрятавшійся за нихъ авторъ. Уже въ первой части нашего этюда мы указали на то, что еще Бѣлинскій замѣтилъ въ нашемъ беллетристѣ стремленіе къ рѣзкимъ, рельефнымъ опредѣленіямъ. Въ серединѣ сороковыхъ годовъ онъ сказалъ: «Тургеневъ врагъ всего неопредѣленнаго». Ничего удивительнаго въ томъ, что съ теченіемъ времени вражда эта увеличилась. Тургеневъ въ своемъ развитіи всегда шелъ параллельно своему времени. Слѣдовательно, если уже въ то время, когда все млѣло въ неопредѣленныхъ чувствіяхъ, и въ самой неопредѣленности видѣло, что то опредѣленное, если еще тогда Тургеневъ вызвалъ вышеприведенную характеристику Бѣлинскаго, то понятно, что стремленіе русской мысли къ

болѣе оформленному и стройному міросозерцанію не могло оставить за собой автора «Записокъ Охотника».

Отъ всей души онъ порадовался, увидѣвъ наконецъ, что единичное чувство его дѣлается общимъ достояніемъ новаго поколѣнія, что проходитъ пора безплодной исключительно мозговой дѣятельности, что міровоззрѣніе русскаго общества круто обрываетъ съ прошедшимъ и вступаетъ въ новый фазисъ положительности. Что такія рѣзкія перемѣны не бываютъ безъ шероховатостей, что много неосновательнаго будетъ удѣломъ и новаго направленія, ибо errare humanum est—въ этомъ Тургеневъ не сомнѣвался, и потому не все въ Базаровѣ безусловно хорошо и мощная фигура его обнаруживаетъ свою ахиллесову пяту. Но утверждать, что «умыселъ другой тутъ былъ», могли люди совершенно незнакомые съ умственною физіономіею автора «Рудина» и «Наканунѣ». Въ своихъ воспоминаніяхъ Тургеневъ говоритъ, что за исключеніемъ взглядовъ Базарова на искусство, онъ во всемъ съ нимъ согласенъ. И мы должны этому вѣрить: болѣе всего Тургеневъ ненавидитъ пошлость, филистерство, и гамлетство Щигровскаго уѣзда. А эта же нелюбовь къ перечисленнымъ свойствамъ—есть квинтъ-эссенція базаровскаго типа. Слѣдовательно помимо того довѣрія, которое мы обязаны питать къ словамъ всякаго честнаго писателя, въ справедливости этого увѣренія насъ убѣждаетъ основательное знакомство съ направленіемъ всей вообще литературной дѣятельности Тургенева.

Въ пользу истинности того-же увѣренія говоритъ также то, что оно появилось въ свѣтѣ въ 1869 г., когда значительно улеглось броженіе шестидесятыхъ годовъ, когда базаровщина перестала быть «злобой дня», а самъ авторъ «Отцевъ и Дѣтей» почти совершенно сталъ выходить изъ временной опалы, совсѣмъ безъ всякихъ попытокъ съ своей стороны, а просто въ силу вещей. Если Тургеневъ снова поднялъ забытый вопросъ, то единственно съ цѣлью выставить дѣло со всѣхъ сторонъ и разъ на всегда положить конецъ всякаго рода предположеніямъ и инсинуаціямъ, обильно

посыпавшихся на него, благодаря мнимому его союзу съ московскими отцами отечества.

Типъ Базарова, какъ извѣстно, былъ различно понятъ. Только что послѣ напечатанія «Отцевъ и Дѣтей», въ февральской книжкѣ (1862 г.) «Русскаго Вѣстника».

«Современникъ» въ лицѣ своего исполняющаго послѣ смерти Добролюбова должность критика г. Антоновича обрушился съ пѣною у рта на Тургенева. Для достиженія наивозможно-большаго эффекта г. критикомъ были пущены въ ходъ всевозможныя ухищренія и софизмы, онъ не пренебрегъ даже такимъ не литературнымъ средствомъ, какъ перевираніе текста и приписываніе автору словъ, имъ никогда не сказанныхъ. Чтобы вполнѣ оцѣнить смѣсь завѣдомо не искреннихъ разсужденій, инсинуацій и даже простой лжи, въ совокупности своей представляющихъ суть статьи г. Антоновича, нужно было-бы ее привести цѣликомъ, тѣмъ болѣе, что очень многіе по всей вѣроятности ее не читали. Къ сожалѣнію исполнить это довольно трудно, и потому о пресловутомъ «Асмодѣе нашего времени» (такъ называлась статья г. Антоновича) намъ приходится говорить только вскользь. Казалось-бы попытка г. Антоновича бросить грязью въ Тургенева должна была кончиться только тѣмъ, что нападающій самъ-бы въ ней выпачкался и представилъ-бы наглядную иллюстрацію къ извѣстной крыловской баснѣ. На самомъ-же дѣлѣ вышло нѣсколько иначе. «Асмодей» былъ напечатанъ въ журналѣ, окруженномъ самыми обширными симпатіями, и этого было достаточно, чтобы взгляды критика нашли массу сочувствующихъ. Русскій человѣкъ вообще, русскій журнальный читатель въ частности, у кого нибудь въ крѣпостной зависимости непремѣнно долженъ быть. Всѣ его теоріи и вѣянія имѣютъ рабскій характеръ, а принципъ всегда возводится въ догматъ. Авторитетовъ у насъ нѣтъ: либо мазурикъ, либо богъ. У европейцевъ говорятъ: ученый Дарвинъ и его противникъ Катрфажъ. У насъ-же: Святой

Дарвинъ и ракалья Катрфажъ. И относительно своихъ домо-рощенныхъ свѣтилъ у насъ такая-же тактика. Напечатана вещь въ «Современникѣ» значитъ она превосходна, а главное либеральна, въ «Русскомъ Вѣстникѣ» — значитъ дрянь и катковщина. До уразумѣнія сущности у насъ ни кто не доходитъ, да оно и легче такъ. Журнальная фирма избавляетъ не любящаго думать россійскаго человѣка отъ утомительной мозговой работы и сразу направляютъ его симпатіи въ извѣстную сторону.

Совершенно иначе, чѣмъ «Современникъ», понялъ Базарова Писаревъ. Онъ очень откровенно сознался, что герой «Отцевъ и Дѣтей» ему нравится. Не желая вилять хвостомъ, увлекающійся, но всегда честный и добросовѣстный, онъ ничуть не отрекся отъ тургеневскаго героя, и причины подобнаго своего взгляда разъяснилъ въ обширной статьѣ, «Нерѣшенный вопросъ», надѣлавшей въ свое время большой шумъ, какъ своего рода философская программа молодаго поколѣнія. Но въ увлеченіи скороспѣлымъ реализмомъ, Писаревъ совершенно упустилъ изъ виду дѣйствительнаго Базарова, т. е. того, котораго авторъ представилъ: онъ выдумалъ своего Базарова, которому и приписывалъ мнѣнія и чувства, ничуть не вытекающія изъ основнаго характера героя «Отцевъ и Дѣтей». Но какъ бы то ни было заступничество Писарева не совсѣмъ спасло Тургенева. Значительная часть «молодаго поколѣнія» предала его анафемѣ и исключила изъ числа предметовъ своего поклоненія. Настроеніе это проникло и въ литературу. Авторъ «Записокъ Охотника» многими, даже печатно, былъ приравниваемъ г. Стебницкому, «съ позволенія сказать» г. Клюшникову, даже г. Авенаріусу, автору пріобрѣвшаго печальную извѣстность «Повѣтрія». Обвиненія, сыпавшіяся на Тургенева, имѣли совершенный характеръ эпидемическаго явленія: одинъ сказалъ, другіе подхватывали, не размышляя о томъ, что говорили, и пошла писать безтолочь россійская. Никто не разсудилъ, что не народился еще тотъ лексикографъ, который слово «клевета» станетъ опредѣлять такъ, что въ составъ ея войдетъ опо-

этизированіе личности оклеветаннаго. Никому и въ умъ не приходило, что, напротивъ того, клеветники суть тѣ, которые имѣли смѣлость утверждать, что Тургеневъ, желая отомстить Добролюбову (за что, никто не задавалъ собѣ вопроса), взялъ и окаррикатурилъ его въ Базаровѣ, никого не пробрала дрожь негодованія, никто печатно этого не выразилъ, когда г. Антоновичъ, въ своей беззастѣнчивости дошелъ до того, что къ высоко-поэтической картинѣ свиданія умирающаго Базарова съ Одинцовой, къ словамъ его: «Великодушная! — охъ, какъ близко, и какая молодая, свѣжая, чистая.... въ этой гадкой комнатѣ» прибавилъ слѣдующій комментарій: «*Читатель ясно видитъ, какой гадкій смыслъ заключается въ его словахъ*». Не вѣрится, но фактъ тотъ, что подчеркнутыя слова были напечатаны въ журналѣ, всѣми уважаемомъ и не нашлись люди, которые предали-бы критика всеобщему позору, которые показали ему, насколько онъ самъ возбуждаетъ отвращеніе своими грязными подозрѣніями, направленными къ оскверненію такого возвышеннаго эпизода.

«Авторъ до того золъ на своего героя, что не хочетъ простить его и примириться съ нимъ даже передъ смертью, въ ту, выражаясь ораторски, священную минуту, когда герой одной ногой стоитъ уже на краю гроба».

Эту колоссальную неправду г. Антоновичъ изрекъ о великолѣпной и возвышающей сценѣ смерти Базарова, въ которой авторъ придалъ ему положительно римскій обликъ и окружилъ ореоломъ героя. Дальше критическая недобросовѣстность не можетъ уже идти, ибо переходитъ въ область передергиванія.

«Отцы и Дѣти» были причиною нѣкотораго рода охлажденія русской публики къ Тургеневу, но въ тоже время они показали всю громадность его авторитета въ русскомъ обществѣ. Ни одно произведеніе русской литературы не было предметомъ такого всеобщаго оживленнаго вниманія какъ «Отцы и Дѣти».Можно сказать безъ преувеличенія, что вся

грамотная Россія прочла знаменитый романъ. Въ февралѣ 1862 г. «Отцы и Дѣти» появились въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ выдуманная Тургеневымъ кличка «нигилистъ» съ почти невѣроятною для литературнаго типа быстротою сдѣлалась нарицательной и правильно или неправильно стала смнонимомъ молодаго поколѣнія. Самое заглавіе «Отцы и Дѣти» тоже вошло въ ежедневный лексиконъ и употреблялась безъ вспоминанія каждый разъ тургеневскаго романа, — честь, которой удостоились въ русской литературѣ и то послѣ долгихъ лѣтъ только нѣкоторыя изрѣченія изъ «Горе отъ Ума» и Крыловскихъ басень.

Какъ всякая вещь, проникающая въ массы, «Отцы и Дѣти» не менѣе странно чѣмъ въ журналистикѣ были приняты въ обществѣ. Въ «Литературныхъ Воспоминаніяхъ» Тургеневъ разсказываетъ, что пріѣхавши лѣтомъ 1862 г. въ Петербургъ, онъ былъ совершенно озадаченъ отношеніемъ къ своей особѣ лицъ, съ политическими взглядами которыхъ онъ имѣлъ весьма мало общаго. Люди, которымъ онъ всего менѣе могъ симпатизировать встрѣчали его съ отверзтыми объятіями какъ союзника въ дѣлѣ уничтоженія «вредныхъ» идей. Нравственная брезгливость Тургенева понятно была возмущена подобнаго рода пониманіемъ его честнаго отношенія къ молодому поколѣнію. Настроеніе это еще болѣе увеличилось послѣ того, какъ нашъ романистъ съ грустью увидѣлъ, что люди, мнѣніемъ которыхъ онъ дорожилъ, отворачивались отъ него и считали симпатіи къ Тургеневу извѣстнаго лагеря вполнѣ справедливыми. Кому изъ нихъ вѣрить—Тургеневъ не могъ знать, такъ какъ путаница взглядовъ на «Отцы и Дѣти» достигло невозможныхъ размѣровъ: г. Антоновичъ неприлично ругался, Писаревъ восторгался, часть «Отцевъ» была довольна, а г. Катковъ пишетъ Тургеневу письмо, гдѣ обвиняетъ его въ поклоненіи Базарову. «Вы пресмыкаетесь предъ молодымъ поколѣніемъ» пишетъ ему одинъ; «вы плюете на него» говорятъ другіе, «вы сами нигилистъ» утверждаютъ одни его знакомые; «вы ретрогадъ» негодуютъ другіе. Весь этотъ хаосъ завершаетъ одна «остроумная по словамъ Тургенева

дама, объявляющая ему, что онъ ни «Отцевъ» ни «Дѣтей» не выставилъ.

Въ настоящее время довольно трудно понять причины, породившія эту путаницу, но если взглянуть на нее съ исторической точки зрѣнія, то дѣло объяснится очень просто: «Отцевъ и Дѣтей» постигла участь подобная той, которую испытываетъ всякое понятіе, опередившее современную ему эпоху. Есть понятія, которыя по новизнѣ своей навлекаютъ гибель, на людей, впервые ихъ высказывающихъ. Такихъ людей потомство впослѣдствіи вознаграждаетъ прозваніемъ геніевъ. Тургеневъ не геній и за свои мысли гоненію не подвергался, но какъ первоклассному таланту и ему при созданіи типа Базарова удалось на нѣсколько лѣтъ предвосхитить у общественной мысли формулированіе умственной физіономіи новаго поколѣнія и вотъ почему рутина и недомысліе подъ разными видами накинулись на него и обвинили въ искаженіи дѣйствительности. Вмѣсто сентиментальничанія съ «нашимъ временемъ, когда», Тургеневъ показалъ трезвую правду, вотъ почему неоперившееся движеніе швырнуло въ него камнемъ и думало при этомъ, что оно совершенно право. За то теперь, когда русская публика изъ романовъ другихъ корифеевъ русской лутературы — Писемскаго и Гончарова, и второстепенныхъ талантовъ, каковы гг. Стебницкій и Вс. Крестовскій видѣли, что значитъ выставить молодое поколѣніе въ неблагопріятномъ свѣтѣ — прежняя холодность къ автору «Отцевъ и дѣтей» совершенно исчезла и замѣнилась удивленіемъ къ тонкому художественному чутью Тургенева, сразу уловившему крупныя черты новаго движенія.

Въ первой части нашего труда мы сказали, что при разборѣ «Отцевъ и Дѣтей» имѣли подъ рукой матеріалъ, которымъ рецензенты еще не пользовались. Слова наши имѣютъ двоякій смыслъ. Во первыхъ мы этимъ намеками на то, что многочисленные критики «Отцевъ и Дѣтей» не имѣли предъ собой «Литературныхъ воспоминаній», которыя въ значитель-

ной степени помогаютъ стать на настоящую точку зрѣнія. Но кромѣ того, у насъ былъ еще одинъ источникъ, выясняющій чувства Тургенева какъ къ «отцамъ», такъ и къ «дѣтямъ». Источникъ этотъ—оттискъ «Отцевъ и Дѣтей» изъ «Русскаго Вѣстника» съ тѣми возстановленіями первоначальнаго текста, измѣнить который г. Катковъ почему-то считалъ себя въ правѣ. Поправки на поляхъ оттиска сдѣланы рукой самого Ивана Сергѣевича, а самый оттискъ подаренъ Петербургской публичной Библіотекѣ, гдѣ мы имъ и воспользовались, благодаря любезности г. Директора ея.

Новый матеріалъ совершенно не важенъ въ художественномъ отношеніи, такъ какъ въ немъ измѣнены только отдѣльныя слова и фразы, но какъ матеріалъ для сужденія, *какъ* авторъ относился къ дѣйствующимъ лицамъ романа, онъ представляетъ нѣкоторый интересъ. Г. Антоновичъ напр. увѣрялъ, что Тургеневъ такъ золъ на Базарова, что даже заставляетъ его проигрывать въ карты отцу Алексѣю. Къ Павлу-же Кирсанову, по словамъ того-же критика, авторъ пылаетъ самою нелицемѣрною любовью. Посмотримъ на сколько наши выписки оправдаютъ слова г. критика. При этомъ заранѣе просимъ извиненія у читателя за мелочность многихъ поправокъ Тургенева, но противъ мелочей нужно сражаться такимъ-же оружіемъ.

Стр. 516. Я *эфтимъ* хочу доказать, милостивый государь (Павелъ Петровичъ, когда сердился, съ нетерпѣніемъ (новое: съ *намѣреніемъ*) говорилъ: эфтимъ и эфто, хотя очень хорошо зналъ, что подобныхъ словъ грамматика не допускаетъ».

Еще разъ повторяемъ и сами отлично сознаемъ, что отъ замѣна слова нетерпѣніе словомъ: намѣреніе не важно, но вѣдь часто въ мелочахъ сказывается общій строй извѣстнаго характера. По этому читатель, надѣемся, изъ дальнѣйшихъ нѣсколькихъ выписокъ убѣдится, насколько г. Антоновичу будетъ полезно ихъ читать.

Стр. 501. Правда, говоря съ ними (крестьянами), онъ (Павелъ Петровичъ) морщится и нюхаетъ одеколонъ (новое):....

Стр. 579. — Вотъ тебѣ на! Презабавный старикашка (новое: *и добрѣйшій*) прибавилъ Базаровъ, какъ только Василій Ивановичъ вышелъ.

Стр. 611. Павелъ Петровичъ показался, слегка поклонился и, проговоривъ съ какою-то забавною унылостью: «вы здѣсь» — удалился (новое: вмѣсто «забавною» — злобною).

Стр. 647. Часто тупыя его (Базарова) выходки (новое: *иногда* тупыя).

Мы не станемъ утомлять вниманіе читателей дальнѣйшими цитатами, остальныя всѣ въ томъ-же родѣ. Но уже самый фактъ, что Тургеневъ счелъ нужнымъ сдѣлать эти поправки, а вышеназванный экземпляръ подарить публичному книгохранилищу — много говоритъ въ пользу искренности намѣреній автора «Отцевъ и Дѣтей».

Въ заключеніе сдѣлаемъ еще одно важное замѣчаніе: оттискъ поступилъ въ публичную Библіотеку въ 1872 г., но поправки сдѣланы въ 1864 году; значитъ въ разгаръ самыхъ гнусныхъ обвиненій противъ Тургенева.

XVII.

«Отцами и Дѣтьми» завершается самый блестящій періодъ дѣятельности Тургенева. Послѣ нихъ съ 1862 по 1875 г. нашъ романистъ написалъ всего одну крупную вещь — «Дымъ», но за то много второстепенныхъ, которыя въ значительной степени вредятъ «тоталитету» извѣстности, какъ выражался Бѣлинскій. Если тѣмъ не менѣе слава Тургенева не только не уменьшилась за это время, но даже окрѣпла, то только благодаря тому, что дѣятельность его за предъидущіе шесть лѣтъ съ 1856 по 1862 г. была чрезвычайно плодовита, и это искупало послѣдующій роздыхъ.

Въ теченіи 1863 г. Тургеневъ ничего не напечаталъ. Слухи однако-же носились, что онъ готовитъ что-то круп-

ное. Такъ напр., «Петерб. Вѣдом.», въ январѣ 1863 г. писали: «Носятся слухи о новомъ произведеніи г. Тургенева, которое появится въ «Времени». Мы съ своей стороны, надѣемся въ скоромъ времени предложить читателямъ статью г. Тургенева «О Пушкинѣ». Статья «О Пушкинѣ» въ печати не появилась еще до сихъ поръ, но если мы не ошибаемся, то часть ея вошла въ «Воспоминанія о Бѣлинскомъ», какъ отрывокъ изъ публичной лекціи о Пушкинѣ. «Новое-же произведеніе», о которомъ толковали «Петерб. Вѣд.», были «Призраки», напечатанные въ 1 и 2 № «Эпохи» 1864 г., смѣнившей «Время».

«Призраки» названы авторомъ «фантазіею», но, признаться, мы въ нихъ находимъ мало фантастическаго. Они носятъ на себѣ характеръ какой-то дѣланности и производятъ очень мало иллюзіи, а это есть главная цѣль всякаго разсказа, разсчитывающаго хотя на время перенести читателя внѣ реальнаго міра. Вы ни разу не содрогаетесь при чтеніи «Призраковъ», не то что при разсказахъ Гоффмана или Эдгара Поэ, не смотря на всю невѣроятность сюжета производящихъ большое впечатлѣніе. По всей вѣроятности малый эффектъ «Призраковъ» происходитъ оттого, что въ нихъ слишкомъ перемѣшаны фантастическое съ нефантастическимъ: тутъ есть и сказочная Эллисъ, и обличенія наполеоновскаго цезаризма, картины возставшихъ изъ гроба римскихъ легіоновъ и опять обличеніе барышни, зачитывающейся современнымъ Ювеналомъ, однимъ словомъ все какъ-то слишкомъ безпорядно свалено въ одну кучу и носитъ отпечатокъ какой-то небрежности. Даже нѣсколько хорошихъ картинъ природы не искупаютъ общей вялости. Все вообще какъ будто сочинено авторомъ искуственнымъ возбужденіемъ своей фантазіи, но не свободнымъ и естественнымъ ея обнаруженіемъ.

«Призраки» почему-то подали нѣкоторымъ органамъ печати поводъ предполагать, что ими Тургеневъ желаетъ закончить свое литературное поприще. «Если это такъ, говорила одна газета, — онъ разстается съ публикою далеко до

утраты къ нему ея сочувствія, симпатіи, интереса». Тургеневъ однакоже, какъ видно, не совсѣмъ еще рѣшился разстаться на 46 году съ писательской карьерой и еще въ томъ-же 1864 г. «Сѣв. Почта» писала: «Нашъ даровитый писатель И. С. Тургеневъ, въ настоящее время живущій въ Парижѣ, написалъ новую вещь, подъ названіемъ «*Собака*». Говорятъ, что И. С. Тургеневъ предполагаетъ написать цѣлый рядъ юмористическихъ очерковъ, подобныхъ «Собакѣ». Читавшіе новое произведеніе г. Тургенева утверждаютъ, что это вещь прелестная, хотя и не изъ капитальныхъ произведеній автора. Въ петербургской корреспонденціи газеты «Nord» сообщаютъ, что «Собака» будетъ напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ» въ началѣ будущаго года». Обсужденная «Собака» появилась въ фельетонѣ «Петерб. Вѣд.» (№ 85) за 1865 г., но далеко не соотвѣтствовала славѣ, которая ей предшествовала. Это одна изъ неудавшихся вещей Тургенева. Какъ сказка—она не интересна, какъ фактъ — невѣроятна, наконецъ какъ иронія—не достигаетъ цѣли. Г. Суворинъ, слышавшій «Собаку» въ чтеніи самаго Тургенева—увѣряетъ, впрочемъ, что она очень понравилась слушавшимъ талантливую, живую передачу разсказа самимъ авторомъ Г. Суворинъ утверждаетъ, что авторъ самою интонаціею, жестами выражалъ комическій страхъ помѣщика, фигурирующаго въ «Собакѣ», что очень забавляло слушателей. Въ чтеніи разумѣется такіе аксесуары пропадаютъ, и «Собака» возбуждаетъ только недоумѣніе, зачѣмъ Тургеневъ напечаталъ такую слабую вещь.

Въ томъ-же 1865 г. Тургеневъ написалъ для Карлсруэскаго изданія своихъ сочиненій очеркъ «Довольно». Мы говоримъ «очеркъ», хотя такой эпитетъ совсѣмъ не заслуженъ «Довольно». Но мы право затрудняемся прибрать для него названіе. Вульгарно выражаясь, это—«Богъ знаетъ, что такое». Не знаемъ, какъ другіе понимаютъ «Довольно»; но что касается автора настоящаго этюда, онъ прямо признается, что совершенно не понимаетъ загадочный «очеркъ». Это *какой-то* безпорядочный сумбуръ, наборъ словъ, ничѣмъ

между собою не связанныхъ, скорѣе похожій на бредъ, нежели на литературное произведеніе. Можетъ быть причина лежитъ тутъ въ томъ, что «Довольно» состоитъ только изъ средины: начальныя главы замѣнены точками, а конечныя гамлетовскимъ: «The rest is si lemt» и опять точками. Но зачѣмъ печатать одну средину?

Заглавіемъ своимъ «Довольно» подало поводъ къ вторичному предположенію, что имъ завершится литературная карьера Тургенева, но и на этотъ разъ нашъ беллетристъ не захотѣлъ такъ рано разстаться со своею дѣятельностью. Въ ноябрѣ 1866 г. вышли «Волшебныя сказки» Перро, переведенныя Тургеневымъ съ французскаго, изданныя г. Вольфомъ съ рисунками Дорэ и посвященныя Государынѣ Императрицѣ. Наконецъ въ мартовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за 1867 г. появился «Дымъ».

На предъидущихъ страницахъ, при разборѣ главныхъ произведеній Тургенева, почти все вышедшее изъ подъ нера знаменитаго мыслителя-беллетриста находило въ авторѣ на стоящаго этюда горячаго защитника. Удачно или неудачно, (объ этомъ судить не намъ), мы старались указать на высоту творческаго анализа автора «Записокъ Охотника», на тонкій художественный тактъ его, умѣющій распознавать существенное отъ второстепеннаго, на безпристрастное, чуждое всякихъ субъективныхъ побужденій, отношеніе къ общественнымъ вопросамъ и явленіямъ русской жизни. Даже въ наиболѣе «angefeindeten», какъ нѣмцы выражаются, произведеніи Тургенева въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» мы постарались обнаружить талантъ автора достойный своего славнаго прошедшаго и гражданскую честность не измѣнившую тому своему возвышенному уровню, который послужилъ исходнымъ пунктомъ «Записокъ Охотника». Не врываясь даже въ частную жизнь, мы желали убѣдить читателей въ нашемъ правѣ составить себѣ болѣе или менѣе хорошее представленіе о Тургеневѣ, такъ какъ выносили изъ его произведеній

впечатлѣніе продукта думъ человѣка, горячо преданнаго истиннымъ интересамъ своей страны, отбросившаго всякія эгоистическія побужденія при изображеніи происходящаго вокругъ него, не накидывающагося злорадно на новыя явленія жизни, изъ за то, что послѣднія стараются отодвинуть на второй планъ прежнихъ дѣятелей. Мы горячо полемизировали противъ критиковъ, которые въ своей тенденціозной близорукости дошли до обвиненія Тургенева въ гнусномъ желаніи оклеветать по личной злобѣ, представителя новаго вѣянія, обнаружившагося въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, мы говорили, что подобное обвиненіе, помимо не литературнаго характера своего, глубоко расходится съ нравственною физіономіею друга Бѣлинскаго и ревностнаго протестанта противъ крѣпостнаго права. Ссылаясь на прежнюю дѣятельность Тургенева, мы утверждали, что только изучившій ее самымъ поверхностнымъ образомъ, могъ его обвинить въ какихъ-бы то ни было поползновеніяхъ, не истекающихъ прямо изъ ясно сознанныхъ нравственныхъ принциповъ. Но теперь намъ приходится повести рѣчь о такомъ сочиненіи разбираемаго въ этомъ этюдѣ автора, изъ за котораго намъ, къ сожалѣнію, приходится разорвать хорошія съ нимъ сношенія и болѣе или менѣе сурово отнестись къ любимому бытописателю русской жизни. Если нравственная личность Тургенева не пострадаетъ при этомъ, то за то въ умственной обнаружатся нѣкоторые недостатки, являющіеся слѣдствіемъ отчужденности автора отъ изображаемой имъ среды.

Мы уже не разъ указывали на ту особенность Тургеневскаго таланта, что ему удаются главнымъ образомъ «*нѣжныя*» проявленія русской жизни, что сила его и значеніе состоитъ въ первоклассномъ умѣніи подмѣчать и разлагать на ясные элементы сложныя чувствованія, въ совокупности своей не производящихъ яснаго представленія. Уловить характеръ цѣлой эпохи, произвести психологическій анализъ запутаннаго положенія, наконецъ внушить симпатіи къ безвыходнымъ положеніямъ, въ этомъ Тургеневъ не имѣетъ себѣ

соперниковъ, и вполнѣ заслуживаетъ свою необыкновенную популярность. Если на ряду съ поименованными качествами въ «Наканунѣ» и «Отцахъ и Дѣтяхъ» намъ приходится констатировать рѣзкій юморъ автора, то не нужно забывать, что юморъ этотъ при всей своей внѣшней рѣзкости, не обусловливаетъ такого-же внутренняго характера. И наконецъ юморъ и рѣзкость Шубина и Тургенева направлены на такія огромныя области духа, что ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть приравнены къ обыденному смѣху и глумленію. Насмѣшки Шубина и Базарова болѣе или менѣе подходятъ къ мефистофелевскому разряду и потому не удивительно, если они удались автору, главная сила котораго состоитъ въ тонкости всего имъ воспроизводимаго. Но мелкія проявленія отрицательныхъ сторонъ жизни не подходятъ подъ общій складъ дарованія нашего писателя. Предположивъ даже, что онъ не лишенъ способности вѣрно и мѣтко схватить грошовыя обнаруженія дѣйствительности, мы тѣмъ не менѣе настойчиво утверждаемъ, что не въ этомъ сильная сторона таланта Тургенева. Мы готовы согласиться, что шероховатости, смѣшныя стороны могутъ быть очень удачно уловлены Тургеневымъ. Но развѣ для этого нужно быть Тургеневымъ? Развѣ нужно обладать особымъ даромъ, чтобы воспроизвести и безъ того бросающееся въ глаза, и безъ того достаточно яркое, чтобы не пройти не замѣченнымъ.

Жизнь настолько разнообразна въ своихъ проявленіяхъ, настолько различнымъ образомъ выходитъ наружу, что вызвала цѣлый легіонъ писателей, обработывающихъ темы, изъ нея взятыя. Всякій, смотря по степени своего дарованія и развитія, выбираетъ себѣ большую или меньшую область для художественнаго воспроизведенія. Всѣ они также, сообразно своимъ дарованіямъ, распадаются на различныя категоріи. Есть геніи, первоклассные таланты, второстепенныя дарованія и такъ далѣе до авторовъ «картинокъ съ натуры», гдѣ нибудь въ «Петербургскомъ Листкѣ» или «Петербургской Газетѣ». Всѣ они отличаются другъ отъ друга широтою міросозерцанія, болѣе или менѣе постоянно гармонирующаго со

степенью авторской способности. Поэтому если вы въ «маленькой» прессѣ читаете повѣсть съ «маленькимъ» сюжетцемъ, въ родѣ того, какъ чиновникъ Коркинъ пьянъ напился, а потомъ супруга его колотила, то вы ничуть на такую мелкость не претендуете, разсуждая вполнѣ вѣрно, что по кораблю и плаваніе. Когда же вы только что удовлетворившись скромнымъ дарованьицемъ сотрудника «Пет. Листка», переходите къ чтенію вещи, подъ которой красуется подпись Тургенева, вы сразу-же откидываете въ сторону свое добродушіе и мѣняете методъ измѣренія достоинствъ новаго для васъ произведенія. Приступая къ такому чтенію незнакомой для васъ повѣсти или романа, вы по наведенію заранѣе предвкушаете прелести, въ нихъ разсыпанныя и жадно перелистываете книгу въ надеждѣ почерпнуть новыя указанія на непонятый еще вами потокъ жизни, на черты, которыя по своей неуловимости поддаются анализу только выдающихся умовъ.

Но ошибаться и обманываться—удѣлъ рода человѣческаго и эта горькая участь не оставляетъ васъ и въ области художества. Вы ожидали много, вышло мало, предполагали одно, оказалось другое. Разочарованіе ваше однакоже, не всегда носитъ одинъ и тотъ-же характеръ. Если любопытныя русскія газеты и корреспонденты иностранныхъ иной разъ цѣлымъ годомъ раньше въ различныхъ формахъ извѣщаютъ отечественную и заграничную публику: Тургеневъ пишетъ новую повѣсть, мы слыхали, что нашъ даровитый писатель занятъ новымъ произведеніемъ, le celebre romancièr russe готовитъ новый романъ и т. д.; а изъ всего этого шума выскочитъ какая нибудь «Собака», то вы, прочитавши мышь рожденную горою, почешете себѣ затылокъ и съ сердцемъ скажете: и что это за охота Тургеневу всякую дрянь печатать, чего онъ не послѣдуетъ умному совѣту Бѣлинскаго не печатать вещей, что ни то, ни се, не то, чтобы очень скверно, но и не то, чтобы очень хорошо. Но иной разъ ваши обманутыя надежды подерживаются совершенно другимъ колоритомъ, гораздо сильнѣе отзывающимся на «тоталитетѣ» извѣстности писателя.

Вы видите многозначущее заглавіе, авторъ съ вами бесѣдуетъ на этотъ разъ не о собакѣ уже, старается на что-то васъ навести, что-то вамъ такое указать, но увы! указываетъ совсѣмъ не такъ какъ слѣдуетъ и то, что слѣдуетъ. И не то, чтобы авторъ не вѣрно что-нибудь выставилъ, не то, чтобы исказилъ извѣстное явленіе. Нѣтъ, такихъ прегрѣшеній за авторомъ «Записокъ Охотника» не водится! но вотъ бѣда-то въ чемъ: масштабъ нашъ романистъ потерялъ, вершки за сажени принялъ. Онъ совершенно забылъ, что если noblesse oblige, то еще больше крупный талантъ. Встрѣчая въ его книгѣ выставленными только мелкія, ничтожныя стороны извѣстнаго типа, мы, если книга исходитъ изъ подъ знаменитаго пера, имѣемъ право предполагать, что типъ этотъ ничего крупнаго не заключаетъ, потому что въ противномъ случаѣ; тонкій анализъ талантливаго писателя не преминулъ-бы все это выставить въ надлежащемъ свѣтѣ. А между тѣмъ оно не такъ..... Крупное то есть, да авторъ его просмотрѣлъ и совершилъ проступокъ противъ художественной правды.

Нѣтъ ничего болѣе преступнаго въ художественномъ отношеніи, какъ возведеніе частнаго случая въ общее явленіе; но этотъ проступокъ вдвойнѣ достоенъ порицанія, если провинившимся является беллетристъ, уже заручившійся авторитетомъ блестящаго и умнаго аналитика. Неопытный читатель невольно поддается обаянію имени и такимъ образомъ общественное мнѣніе насилуется, направляемое по ложному пути. Мы никогда не станемъ утверждать, чтобы извѣстное произведеніе, подписанное даже Шекспиромъ, могло имѣть вліяніе, если оно не явится выраженіемъ настроенія, распространеннаго уже въ данномъ обществѣ, но нельзя также отрицать, что такія настроенія нерѣдко бываютъ мимолетныя, основанныя на скороперехоляцихъ основаніяхъ. И вотъ факторомъ такого-то настроенія можетъ быть крупный талантъ, поддавшійся обману своихъ чувствъ.

Молодое поколѣніе, движеніе шестидесятыхъ годовъ безъ сомнѣнія выдвинуло очень много нездоровыхъ элементовъ; какъ всякое движеніе, распространившееся на массу, оно

захватило Ноздревыхъ и Собакевичей нигилизма, но нужно быть уже очень близорукимъ, что-бы не увидѣть за ними болѣе утѣшительныхъ фигуръ. Если г. Стебницкій или г. Вс. Крестовскій не желаетъ видѣть хорошихъ сторонъ шестидесятыхъ годовъ, то на то они гг. Стебницкій и Вс. Крестовскій. Но вѣдь не къ одной-же компаніи съ этими господами принадлежитъ Тургеневъ. Не говоря уже о нехудожественныхъ причинахъ, вышеназваннымъ писателямъ можетъ быть извинительно такъ ошибиться; не всякій же обладаетъ широкимъ кругозоромъ первоклассnаго таланта. Но Тургеневъ, какъ онъ могъ отъ гордой фигуры Базарова перейти къ Губареву изъ «Дыма»?

Мы ничуть ненамѣрены утверждать, что картины баденско-россійскаго радикализма не вѣрны, что они насилуютъ дѣйствительность.—Нѣтъ! все это вѣрно, очень вѣрно, но неужели-же ничего лучшаго шестидесятые годы не произвели, неужели-же Губаревъ съ своей безтолковой командой представляетъ экстрактъ «разсвѣта». Вѣдь если это правда, то какой-же грустный, безнадежно-грустный выводъ долженъ слѣдовать изъ «Дыма». Одну эпоху въ теченіи всей нашей исторической жизни мы прожили при благопріятныхъ условіяхъ, а между тѣмъ какіе отрицательные результаты! Для Губаревыхъ право не стоило пробуждаться.

Но нѣтъ! Зачѣмъ увлекаться мизантропіею. Вмѣстѣ съ превосходною жатвой выросли и плевелы. Долой ихъ, пусть они не мѣшаютъ здоровымъ растеніямъ и не будемъ вѣрить тѣмъ, которые станутъ насъ увѣрять, что изъ за этихъ плевелъ пропадутъ здоровыя зерна. Будемъ смотрѣть, какъ на продуктъ нездоровой авторской мысли всѣ возведенія на русскую жизнь, будемъ видѣть въ «Дымѣ» только то, что Тургеневъ подъ вліяніемъ двухъ, трехъ отрицательныхъ фактовъ потерялъ мѣрку и можетъ быть помимо своей воли, написалъ пасквиль на молодое поколѣніе. Но не одно только молодое поколѣніе испытало на себя мизантропическое жало автора «Дыма». Вся русская жизнь вообще представилась ему въ самыхъ черныхъ краскахъ и онъ разразился тирадою,

которая была-бы убійственна, если-бы хотя въ четвертой доли заключала въ себѣ истину.

« Онъ принялся глядѣть въ окно. День стоялъ сѣрый и сырой; дождя не было, но туманъ еще держался, и низкія облака заволокли все небо. Вѣтеръ дулъ на встрѣчу поѣзду; бѣловатые клубы пара, то одни, то смѣшанные съ другими, болѣе темными клубами дыма, мчались безконечною вереницею мимо окна, подъ которымъ сидѣлъ Литвиновъ. Онъ сталъ слѣдить за этимъ паромъ, за этимъ дымомъ, безпрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цѣпляясь за траву, за кусты, какъ-бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно мѣнялись и оставались тѣ-же.... Однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда вѣтеръ мѣнялся, дорога уклонялась—вся масса вдругъ исчезала и тотчасъ-же виднѣлась въ противоположномъ окнѣ; потомъ опять перебрасывался громадный хвостъ, и опять застилалъ Литвинову видъ широкой, прирейнской равнины. Онъ глядѣлъ — глядѣлъ, и странное напало на него размышленіе.... Онъ сидѣлъ одинъ въ вагонѣ: никто нн мѣшалъ ему. — «Дымъ, дымъ», повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское. Все дымъ и паръ, думалъ онъ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все тоже да тоже; все торопится, спѣшитъ куда-то — и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ — и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять таже безустанная, тревожная и — ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что̀ съ громомъ и трескомъ совершилось на его глазахъ въ послѣдніе годы.... дымъ, шепталъ онъ, дымъ; вспомнилиось горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, высоко и низко-поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей.... дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и знаменитый пикникъ, вспомнились и другія сужденія и рѣчи другихъ государственныхъ людей — и даже все то, что̀ проповѣдывалъ Потугинъ.,... дымъ, дымъ и больше ничего».

Чтобы дойти до такого чудовищнаго вывода, дѣйствительно нужно жить не въ Россіи, какъ это и было съ Тургеневымъ, а главное слыхать объ ней или читать только одно скверное и отчаянное.

Обвинять однакоже Тургенева за «Дымъ» въ «гражданской» нечестности не имѣетъ смысла. Если неказисты у него «демократы», то что за зрѣлище представляютъ аристократы! Это баденское «arbre russe» съ недовольными генералами, ихъ пошлые и глупые разговоры, что болѣе можетъ возбудить веселое настроеніе самого завзятаго демократа. Что

можетъ быть поучительнѣе слѣдующей «картинки съ натуры».

« — Нѣтъ, нѣтъ, съ прежнею мягкостію перебилъ снисходительный генералъ.—Вотъ нашъ пріятель, Валеріанъ Владиміровичъ, упомянулъ о продажѣ дворянскихъ имѣній. Чтожъ? Развѣ это не фактъ?

— Да ихъ и продать теперь не возможно, никому они не нужны! воскликнулъ раздражительный генералъ.

— Можетъ быть.... можетъ быть. Потому-то и надо заявлять этотъ фактъ... этотъ грустный фактъ на каждомъ шагу. Мы разорены — прекрасно; мы унижены—объ этомъ спорить нельзя; но мы, крупные владѣльцы, мы все-таки представляемъ начало.... un principe. Поддерживать этотъ принципъ—нашъ долгъ. Pardon, madame, вы кажется, платокъ уронили. Когда нѣкоторое, такъ сказать, омраченіе овладѣваетъ даже высшими умами, мы должны указывать—съ покорностію указывать (генералъ протянулъ палецъ)—указывать перстомъ гражданина на бездну, куда все стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить съ почтительною твердостію: «воротитесь, воротитесь назадъ».... Вотъ что мы должны говорить.

— Нельзя-же, однако, совсѣмъ воротиться, задумчиво замѣтилъ Ратмировъ.

Снисходительный генералъ только осклабился.

— Совсѣмъ; совсѣмъ назадъ, mon très cher. Чѣмъ дальше назадъ, тѣмъ лучше.

Генералъ опять вѣжливо взглянулъ на Литвинова. Тотъ не вытерпѣлъ.

— Ужь не до семибоярщины ли намъ вернуться, ваше превосходительство?

— А хоть-бы и такъ! Я выражаю свое мнѣніе не обинуясь; надо передѣлать... да... передѣлать все сдѣланное.

— И девятнадцатое февраля?

— И девятнадцатое февраля—насколько это возможно. On est patriote ou on ne l'est pas. А воля? скажутъ мнѣ. Вы думаете сладка народу эта воля? Спросите-ка его....»

Цѣлые годы существованія покойной «Вѣсти» исчерпаны рукою мастера въ этихъ немногихъ строкахъ. Поэтому неудивительно, что «гуси» очень сильно загоготали и еще сильнѣе «нигилистовъ» напустились на автора.

При всей превосходной отдѣлкѣ, при всей жизненной правдѣ многихъ сценъ, «Дымъ» однако же, по причинамъ весьма понятнымъ, никого не удовлетворилъ, и авторъ его, что называется, сѣлъ между двумя стульями. Да и неудивительно почему: жизнь не поддается никакимъ увѣщаніямъ даже первоклассныхъ талантовъ, старающихся ее увѣрить

въ ея безсодержательности. Тѣмъ болѣе, значитъ, должна отнестись съ недовѣріемъ къ такимъ увѣреніямъ молодая гражданственность, полная сознанія изобилія юныхъ и свѣжихъ силъ, надѣющаяся совершить еще очень и очень многое...

Напечатавши «Дымъ» и прочитавши его на литературномъ утрѣ въ Москвѣ 29 марта, и на литературномъ вечерѣ въ Петербургѣ 3-го Апрѣля, оба раза въ пользу «Общества для пособія нуждающимся литераторамъ», Тургеневъ опять отправился въ Баденъ-Баденъ; на свою «Villa Tourguéneff». Отсюда онъ прислалъ для 1 № «Русскаго Вѣстника» за 1868 г. разсказъ «Исторія лейтенанта Ергунова» и для 1 № преобразованнаго въ литературный журналъ «Вѣстн. Европы» разсказъ «Бригадиръ». Съ преобразованіемъ «Вѣст. Евр.» Тургеневъ навсегда развязывается съ московскими спасителями отечества и рѣзко примыкаетъ къ «лѣвому» флангу русской интеллигенціи. «Литературныя воспоминанія» и «Объясненія по поводу Отцевъ и Дѣтей», появившіяся въ Салаевскомъ изданіи его сочиненій открыли глаза русской публикѣ насчетъ истинныхъ политическихъ чувствъ ея любимѣйшаго писателя, имя котораго такъ безцеремонно эксплоатировалось катковской кликой.

Живя въ Баденѣ, Тургеневъ на свой роскошной виллѣ устроилъ нѣсколько театральныхъ представленій съ такой оригинальной обстановкой, что мы находимъ нелишнимъ привесть слѣдующее интересное мѣсто изъ нѣмецкой газеты «Der Salon». 1868 г.

Хорошая вещь національность и родина! Но сколько бы ни проливалось «благороднаго» пота и «благородной» крови за эти святыя блага, тѣмъ не менѣе пріятно сознаніе, что существуютъ на свѣтѣ такіе нейтральные уголки, куда не заносится ни одной изъ великихъ и страстныхъ симпатій и антипатій.

Подобный нейтральный уголокъ образуетъ на нѣмецкой почвѣ прелестная долина между возвышенностями Шварцвальда, по которой протекаетъ рѣчка Осъ и надъ которой царитъ «старый замокъ» — лѣтнее сборное мѣсто лучшаго общества Европы, прелестный Баденъ-Баденъ.

Рядомъ съ космополитическимъ міромъ, встрѣчающимся вездѣ, гдѣ бьютъ цѣлительные ключи и бѣгаетъ шарикъ рулетки, образовалось въ Баденѣ общество, сгладившее въ своей средѣ разъединяющія національныя начала, что-

бы въ истинномъ наслажденіи жизнью осуществить, какъ можно полнѣе, стремленія чисто-человѣческой культуры. Съ жизнью людей, пріѣзжающихъ на воды, этотъ избранный кружокъ не имѣетъ ничего общаго; его не касается эта блестящая, пестрая, шумная толпа. Онъ состоитъ не изъ лѣтнихъ перелетныхъ птицъ, не изъ больныхъ, которыхъ приводитъ сюда начало сезона и разгоняетъ по домамъ его конецъ: этотъ кружокъ сложился изъ нѣсколькихъ высокообразованныхъ, счастливо обставленныхъ семействъ, принадлежащихъ къ различнымъ національностямъ, очарованныхъ несравненными прелестями Бадена и промѣнявшихъ свою прежнюю жизнь въ большихъ центрахъ современной свѣтской жизни на пребываніе среди этихъ чудныхъ долинъ и лѣсовъ. Если лѣтомъ этотъ кружокъ и разрастается, то зима все-таки не уничтожаетъ его вполнѣ. Его члены остаются вѣрными прекрасной отчизнѣ, которая не заставляетъ ихъ жертвовать ни какими потребностями ума, вкуса, элегантности и комфорта, нераздѣльно связанными съ ихъ привычками. Около одной семьи группируется этотъ кружокъ: около Луи Віардо и его жены, великой пѣвицы Полины Віардо. Имя этой знаменитой четы упоминается почти нераздѣльно съ другимъ, не менѣе блестящимъ именемъ ближайшаго ея друга, великаго русскаго повѣствователя Ивана Тургенева, автора «Записокъ охотника», «Отцовъ и Дѣтей», «Призраковъ». И онъ нашелъ здѣсь отчизну вдали отъ родины и помѣстій своихъ отцовъ. Недалеко отъ виллы Віардо, въ тиргартенталѣ, со стороны Лихтентальской аллеи, возвышаются изъ-за деревъ сада высокая крыша и высокія трубы виллы, которую онъ выстроилъ здѣсь себѣ. И всякій дивится, что, выстроивъ эту виллу, напоминающую прекрасный замокъ среди лѣса и полянъ, хозяинъ не живетъ въ ней. Столько же роскошное, сколько и привлекательное строеніе, вполнѣ оконченное и омеблированное отъ чердака до погреба, стоитъ не обитаемымъ и покинутымъ. Его владѣлецъ остается жить въ наемномъ помѣщеніи, гдѣ онъ находилъ пріютъ уже въ теченіе четырехъ или пяти лѣтъ. «Зачѣмъ поэту и охотнику замокъ со всей принадлежащей къ нему жизненной обстановкой?» — спросилъ онъ, можетъ быть, себя.

Въ послѣднее лѣто, залы и гостиныя этой виллы оживлялись однако нѣсколько разъ. Свѣжая, веселая и шумная жизнь, — искусство, юношеское увлеченіе и величавая серьезность привлекли туда и другія силы. Эльфы и феи со своей царицей во главѣ сдѣлали замокъ мѣстомъ своихъ игръ, и властители земные послѣдовали за ними, чтобы послушать ихъ завѣтныя желанія и пѣсни.

Не будемъ задавать загадокъ читателю и разскажемъ, въ чемъ дѣло. Тургеневъ сочинилъ восхитительную волшебную пьесу, а Полина Віардо положила ее на музыку. Чтобы познакомить общество съ художественнымъ произведеніемъ двухъ талантливыхъ друзей, въ Баденѣ—этомъ собраніи всѣхъ музыкальнкхъ силъ — нѣтъ надобности хлопотать у театральнаго начальства или заинтересовывать пѣвцовъ и журналистовъ. Здѣсь всегда найдется художественно образованный другъ, теноръ или баритонъ, всегда есть молодыя пѣвицы, которыя берутъ на себя съ величайшей готовностью исполненіе всякой

роли, какую назначитъ имъ ихъ уважаемая руководительница въ дѣлѣ музыки, представляющая своею особою въ одно и то же время и режиссера, и дирижера, а подчасъ и весь оркестръ. Гдѣ было найдти лучшее мѣсто и гдѣ было всего удобнѣе наскоро устроить театръ, какъ не въ домѣ *самаго* поэта, въ салонѣ необитаемой «Villa Turgénjew»?

Такъ и сдѣлано. Въ одинъ прекрасный день тишина запустѣлой виллы была нарушена; кругомъ пробудилось эхо отъ восхитительныхъ арій и хоровъ отъ нѣжныхъ женскихъ и полныхъ силы мужскихъ голосовъ, сливавшихся въ искусномъ пѣніи, и отъ единодушныхъ и частыхъ криковъ восторга восхищенныхъ слушателей.

Многимъ извѣстна, вѣроятно, дружба, которую питаетъ къ великой артисткѣ королева прусская Августа, неизмѣнная лѣтняя гостья Бадена. Какъ на воскресныхъ утрахъ въ виллѣ Віардо, такъ присутствовала она и при исполненіяхъ оперы, повторящихся нѣсколько разъ въ продолженіе августа и сентября. Космополитическое баденское общество, многочисленная аристократія мысли и искусства составляли публику, которая подъ вліяніемъ высокаго наслажденія все болѣе и болѣе одушевлялась и искренно оцѣнила живой энтузіазмъ царственной гостьи. «Это долженъ непремѣнно увидѣть король когда-онъ пріѣдетъ», заключила королева выраженіе своего удовольствія передъ Віардо и Тургеневымъ. Во второй половинѣ сентября прибылъ въ Баденъ король Вильгельмъ и вечеромъ 24-го числа того же мѣсяца въ салонѣ замка собралось общество, какое едва ли когда-нибудь собиралось въ домѣ писателя, человѣка частнаго, не служащаго, не чиновнаго, не имѣющаго ни какихъ знаковъ отличія. Для такого общества, разумѣется, должно было даваться что-нибудь особенное; давалось первое представленіе новѣйшей опереты, «*Cracquamiche, le dernier des sorciers*», веселенькой, фантастической музыкальной сказки.

Ничего не могло быть проще импровизированной сцены: зеленый занавѣсъ отдѣлялъ ее отъ остальнаго пространства залы; пара олеандровъ представляла лѣсъ, заставленное окно изображало хижину. Очарованіе истинной поэзіи не зависитъ отъ обстановки. Всякій, кто видѣлъ въ этотъ вечеръ прелестныхъ дочерей Віардо, кто видѣлъ царицу эльфовъ, съ жезломъ въ рукѣ, съ яснымъ обращеннымъ кверху взглядомъ,—кто ихъ видѣлъ, окруженныхъ хоромъ волшебницъ, кто слышалъ финалъ перваго акта «la lune, notre blanche reine», тотъ навѣрное убѣдился, что можно забыться и безъ мастерскихъ декорацій.

Увлеченіе и восторгъ были всеобщіе. На всѣхъ лицахъ сіялъ отблескъ этого восторга, начиная съ лица короля Вильгельма и его супруги. Надо познакомить читателя съ остальными лицами собравшагося у Тургенева общества. Рядомъ съ королевской четой сидѣли дочери Беттины фонъ-Арнимъ, графини Флеммингъ (супруги посланника въ Карльсруэ), графиня Оріолла, придворная дама е. в. королевы прусской и графъ Флеммингъ; въ слѣдующемъ ряду — придворныя дамы, сопровождавшія ея величество: принцесса Каролатъ

и графиня Бранденбургъ, прусскій министръ двора графъ Шлейницъ и мужъ композиторши оперетты, Луи Віардо. Далѣе стояли баронъ Френцъ, каммергеръ королевы, знаменитый скрипачъ Леонардъ, тайный легаціонстратъ Абекенъ, которому французы дали многознаменательное прозвище: «la plume de Bismark», гофмаршалъ графъ Пюклеръ и генералъ Вайеръ, у рояля сидѣла сама m-me Віардо, а за нею, прислонясь къ камину, стояла мощная фигура Тургенева, любовавшагося своимъ твореніемъ, своимъ заломъ и рѣдкими гостями.

За этимъ вечеромъ слѣдовали еще другіе: на милыхъ фей любовались не одно многочисленное и блестящее собраніе. Если, въѣзжая въ Баденъ, вы оставите въ сторонѣ національную односторонность, то двери залы Тургенева покажутся вамъ дверями въ храмъ чистаго искусства; предъ вами исчезнутъ всѣ требованія и рамки, созданныя рожденіемъ, властью, положеніемъ въ свѣтѣ, и вы убѣдитесь, что и сильные міра сего поддаются подъ-конецъ обаянію прекраснаго.

Лѣтомъ 1868 г. Тургеневъ былъ въ Петербургѣ и написалъ слѣдующее нелишенное біографическаго интереса письмо къ редактору «С.-Пет. Вѣд.».

«М. Г. Сегодня проѣздомъ черезъ Петербургъ, прочелъ я вашъ воскресный фельетонъ (отъ 7 іюля. № 183), въ которомъ упоминается мое имя, и прошу у васъ позволенія сказать два слова по этому поводу. Я и прежде зналъ, что князю П. В. Долгорукову заблагоразсудилось выкопать старый анекдотъ о томъ, какъ 30 лѣтъ тому назадъ (въ маѣ 1838 г.), я находясь на «Николаѣ I», сгорѣвшемъ близь Травемюнде, кричалъ: «спасите меня, я единственный сынъ у матери!» (острота тутъ должна состоять въ томъ, что я назвалъ себя единственнымъ сыномъ, тогда какъ у меня есть братъ). Близость смерти могла смутить девятнадцати-лѣтняго мальчика—и я не намѣренъ увѣрять читателя, что я глядѣлъ на нее равнодушно, но означенныхъ словъ, сочиненныхъ на другой день однимъ остроумнымъ княземъ (не Долгоруковымъ), я не произнесъ. Видно, князю Долгорукову, желавшему мнѣ сдѣлать оскорбленіе, нечего было сказать про меня, коли онъ рѣшился повторить такую старую и вздорную сплетню. — Вы совершенно вѣрно указали настоящую причину, заставившую меня избѣгать встрѣчи съ княземъ Долгоруковымъ; со многими другими эмигрантами, политическія мнѣнія которыхъ я не раздѣляю, но въ жизни кото-

рыхъ не было процессовъ въ родѣ брюссельскаго и парижскаго, — я остался и остаюсь въ хорошихъ отношеніяхъ. — Князь Долгоруковъ грозился напечатать всѣ мои бывшіе съ нимъ разговоры: я, съ моей стороны, даю ему на это полное и безусловное разрѣшеніе. Я не раскаяваюсь ни въ одномъ изъ сказанныхъ мною ему словъ; но признаюсь, не могу не раскаяваться въ томъ, что вообще вступилъ въ знакомство съ княземъ П. В. Долгоруковымъ. Примите и пр. Ив. Тургеневъ (Спб. Вѣд. 1868 г. № 186).

Намъ остается досказать еще очень не много, чтобы покончить съ біографіею Тургенева.

Начиная съ 1868 г. Тургеневъ помѣстилъ рядъ разсказовъ въ «Вѣст. Европѣ». Таковы: «Странная исторія», «Степной король Лиръ», «Стукъ—стукъ—стукъ» наконецъ въ 1872 г. *большую* (по объему только) повѣсть: «Вешнія воды». Въ 1873 г. появился въ ноябрьской книжкѣ «Вѣст. Евр.» очеркъ «Конецъ Чертопханова и Недопюскина». Въ 1874 г. появилась въ «Вѣст. Евр.» повѣсть «Пунинъ и Бабуринъ», въ «Складчинѣ»,—не напечатанный въ свое время. очеркъ «Записокъ Охотника»—«Живыя мощи», а въ «Недѣлѣ» за этотъ же годъ былъ помѣщенъ небольшой разсказъ изъ «Іюньскихъ дней» 48 г. «Наши послали». Въ 1875 г. Иванъ Сергѣевичъ покамѣсть (Іюнь) еще ничѣмъ себя не заявилъ, если не считать разсказа «Стучитъ», еще въ прошломъ году вошедшаго въ «Полное Собраніе», но просмотрѣннаго тамъ рецензентами.

Изъ небеллетристическихъ вещей Тургенева за періодъ 1868—75 г. въ высшей степени интересны «Воспоминанія о Бѣлинскомъ», пролившія значительный свѣтъ на личность основателя русской критики. «Казнь Тропмана», благодаря отдѣлкѣ деталей, также читается не безъ интереса.

Въ анализъ перечисленныхъ выше повѣстей Тургенева мы вдаваться не будемъ изъ уваженія къ автору тѣхъ превосходныхъ повѣстей, разборъ которыхъ находится на предъидущихъ страницахъ...

Подводя общій итогъ произведеніямъ Тургенева, намъ

не трудно въ нихъ найти всѣ тѣ элементы, которые въ своей совокупности составляютъ человѣческую жизнь вообще и русскую въ частности. Въ глубокой и многосодержательной натурѣ его нашло себѣ мѣсто и отголосокъ все волнующее образованнаго человѣка, или нѣтъ, зачѣмъ такъ узко ограничивать кругъ поэтической дѣятельности Тургенева, его духъ обнимаетъ собою и съ любовью лелѣетъ все, что является слѣдствіемъ доброй и не пошлой натуры. Nihil humanum mihi alienum est, смѣло можетъ онъ сказать про себя. Человѣчество и цивилизація—вотъ два главные герои всѣхъ его многочисленныхъ произведеній и въ этомъ сила его таланта и тайна успѣха его беллетристической пропаганды. Сила убѣжденій и связанная съ этимъ мощь духа окружаютъ читателя волной неотразимаго вліянія и нѣжно, но крѣпко направляютъ его на широкое поле обще-человѣческихъ интересовъ, въ область спокойнаго духа, гдѣ находятъ отдохновеніе и утѣшеніе самыя разнообразныя чувства. Грусть умѣряется сочувствіемъ просвѣщеннаго мыслителя, стоны наболѣвшаго сердца находятъ отголосокъ своимъ страданіямъ, а усталая душа, разочарованная въ поискахъ за совершеннымъ, наталкивается на то убѣжденіе, что въ сочувствіи всеобщимъ страданіямъ и откликъ на всякое идеальное проявленіе она найдетъ себѣ успокоеніе. Рудинъ, ничуть не отбивая охоты стать поклонникомъ его міровыхъ стремленій, въ связи съ энергіею Базарова, даетъ вамъ образецъ, заслуживающій всеобщаго уваженія, а прекрасная натура Лизы Калитиной въ связи съ культурой Елены Стаховой представятъ при своемъ смѣшеній идеалъ, вполнѣ удовлетворяющій всякую стремящуюся женщину. Съ другой стороны порывы животныхъ стремленій, некультурные элементы русскаго характера, его вялость и не выдержанность, гамлетство Щигровскаго уѣзда, разрушающее дѣйствіе рефлексіи, этого оплота безхарактерности, холодное отношеніе къ возвышенному—все это находитъ своего грознаго Ювенала въ Тургеневѣ, грознаго не силою своего бичующаго негодованія, не страстнымъ выраженіемъ своихъ чувствъ, но за то безпощадно убивающаго

тонкимъ анализомъ и вѣрнымъ выставленіемъ на общественное позорище тѣхъ качествъ нашихъ, которыя явились слѣдствіемъ дурно сложившихся историческихъ условій и помѣшали намъ достичь той степени образованія, которая намъ самою природою была предназначена въ силу нашихъ естественныхъ дарованій.

Литературная карьера Тургенева далеко еще не кончена, ему всего 56 лѣтъ, значитъ мы многое еще можемъ ожидать отъ него и сказать, чѣмъ онъ еще станетъ впослѣдствіи довольно трудно, но одно несомнѣнно уже теперь: Тургеневъ принадлежитъ къ числу тѣхъ именъ, которыя оставляютъ глубокій слѣдъ въ умахъ своихъ современниковъ и съ превосходною атестаціею переходятъ въ потомство. Онъ не геній, поэтому нельзя разсчитывать, что *вся* его произведенія прочтутся черезъ сто лѣтъ съ такимъ же интересомъ, но въ тоже время вѣрно и то, что многіе типы его не умрутъ. Не перестанутъ жить какъ историческіе типы Рудинъ и Лаврецкій, едвали изгладится изъ памяти Базаровъ. Наконецъ Лиза Калитина и Елена Стахова едва-ли тоже скоро перестанутъ привлекать къ себѣ всеобщую симпатію.

Литературная карьера всякаго первокласснаго писателя претерпѣваютъ три фазиса, отдѣляющіяся другъ отъ друга болѣе или менѣе продолжительными промежутками времени, смотря по степени таланта писателя. Наиболѣе рѣзко эти фазисы выходятъ у беллетриста.

Первый фазисъ—это рожденіе литературной славы. Неизвѣстный дотолѣ писатель пишетъ первую вещь, обращающую на него вниманіе. Его хвалятъ или бранятъ — это зависитъ отъ степени тенденціозности его первенца и понятно отъ степени обнаруженнаго таланта. Если ему удалось возбудить интересную полемику, пріобрѣсть друзей и враговъ (необходимое условіе)—карьера его сдѣлана, онъ пойдетъ впередъ. Очень много писателей, можно даже сказать громадное большинство, однакоже очень часто останавливается на этой ступени и живутъ въ памяти читателей и рецензентовъ лѣтъ пять, шесть — maximum десять.

Но избранные переходятъ въ слѣдующую категорію. Они не довольствуются первоначальнымъ успѣхомъ, талантъ ихъ развивается и производятъ наконецъ вещь, составляющую «крупное явленіе» въ литературѣ. Роману или повѣсти посвящаются цѣлыя критическія статьи, авторъ становится «нашъ даровитый писатель N N». Прочность имени этой категоріи писателей несравненно продолжительнѣе первой, оно простирается на нѣсколько десятковъ лѣтъ.

Но лишь очень немногіе переходятъ въ третій фазисъ. Это уже «классики». Отличительное ихъ свойство то, что слава ихъ крѣпнетъ съ годами, совершенно независимо отъ степени ихъ продуктивности. Тургеневъ уже лѣтъ 12 перешелъ въ послѣднюю категорію. Съ «Отцевъ и Дѣтей» онъ ничего epoche machendes, какъ нѣмцы говорятъ, не произвелъ, а между тѣмъ имя его становится все крупнѣе и крупнѣе и превратилось наконецъ въ предметъ національной гордости. Ежегодно расходится многотысячное полное собраніе его сочиненій, онъ попалъ наконецъ въ курсы словесности. Заграницею существуютъ многочисленные переводы всѣхъ его даже невыдающихся сочиненій, ему заграничные критики посвящаютъ цѣлые этюды, но что самое главное — онъ уже не называется въ литературной рѣчи господинъ Тургеневъ, а просто Тургеневъ—признакъ, что извѣстное имя сдѣлалось всеобщимъ достояніемъ и знакомо всякому грамотному человѣку. И все это въ пятидесятыхъ годахъ своей жизни—возрастъ для писателя едва перешедшій «молодой». Будемъ надѣяться, что наиболѣе любимый послѣ Пушкина писатель подаритъ насъ еще многими первоклассными произведеніями, которыя еще болѣе укрѣпятъ симпатичныя связи, существующія между нимъ и образованной публикою всѣхъ странъ. Мы-же русскіе наиболѣе будемъ гордиться такимъ превосходнымъ воплощеніемъ всѣхъ лучшихъ качествъ русскаго духа и съ любовію будемъ слѣдить за дальнѣйшими могучими его обнаруженіями.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ женатъ не былъ.

КОНЕЦЪ.

PG
3435
V4

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

SEP 23 '68

NOV 21 1968

FEB 2